



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

A 471691

БИБЛИОТЕКА

ОТДЕЛЪ:

№ 112

Шкафъ: 148

Полка: 3

Инвентаръ 1888 г. № 632

Института Сель. хоз. в Лисовод.

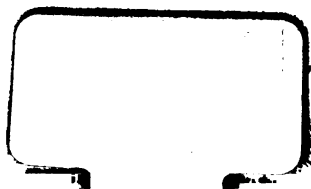
Г. Ново-Александровъ

PROPERTY OF

*University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS



2. 5385

Соловьевъ 324

ИЗГНАННИКЪ.

Соловьевъ 324

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

(ХРОНИКА ЧЕТЫРЕХЪ ПОКОЛѢНІЙ).

Продолженіе романовъ

„СЕРГѢЙ ГОРБАТОВЪ“, „ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦЪ“ И „СТАРЫЙ ДОМЪ“.

*632
1888*

Всеволода Соловьева.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



Изданіе А. Ф. МАРКСА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. Ф. Маркса, Сред. Подъячская, д. № 1.

1885.

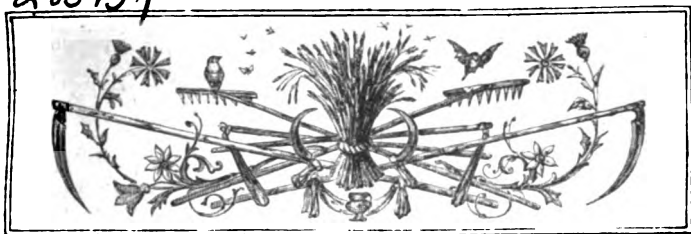


*3
1888*

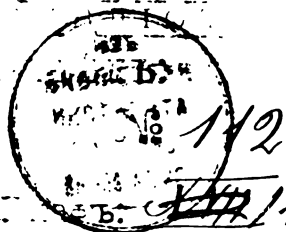
891.78
S692 23

260
2.81

F203 285939 Словоиство 324



632
1888



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Лѣсовикъ.

По живописной просьбѣ вѣковаго Горбатовскаго парка, что было духу, бѣжали двое маленькихъ крестьянскихъ ребятишекъ—мальчикъ и дѣвочка. Оба они ревели благимъ матомъ. Выгорѣвшіе отъ солнца, разноцвѣтные ихъ волосы въ беспорядкѣ падали на загорѣлыя лица, выражавшія безпредѣльный ужасъ.

Въ рукахъ у ребятишекъ были кошѣлки, почти верхомъ наполненныя сочною, спѣлой земляникой. Кошѣлки тряслись, ягоды то и дѣло сыпались; но перепуганныя дѣти не замѣчали этого.

„А-у!“—раздалось въ чистомъ воздухѣ безоблачнаго лѣтняго утра, и, на перерѣзъ имъ, изъ-за старыхъ сосенъ вышла здоровая, румяная дѣвка, тоже съ кошѣлкой, наполненной ягодами.

Завидя ребятишекъ, она крикнула:

— Фенька!.. Митька!.. и куда это вы, оголтылые, запропали?.. аукалась, аукалась — хоть бы разокъ откликнулись!.. гляньте-ка — солнышко гдѣ!.. видно подзатыльниковъ захотѣлось... мамка то не похвалить!..

Но тутъ она услышала ихъ ревъ, разглядѣла ихъ красныя, сморщенные въ гримасу ужаса лица.

— Ну чего, чего вы?.. заботливо произнесла она.

Мальчикъ карапузъ хотѣлъ было остановиться, да со всего разбѣгу попалъ на большую кочку и растянулся. По счастью, ягоды уцѣлѣли, не рассыпались. Онъ заревѣлъ еще пуще. Дѣвочка, между тѣмъ, подбѣжала къ старшей сестрѣ и судорожно охватывала ее рученками.

— Да съ чего это вы такъ? испужались? говорила та, — гнался за вами кто — что ли?.. звѣрь?.. волкъ?..

Ребятишки долго не могли прійти въ себя — наконецъ, остановивъ слезы, почувствовавъ присутствіе защиты, запищали въ одинъ голосъ:

— Повстрѣчали тамъ вотъ... сейчасъ... у поворота къ барскому дому...

— Кого?.. кого повстрѣчали?!

— Страшный такой... весь бѣлый... бѣ-ѣ-лый!.. глаза ровно уголья!.. задыхаясь выговорилъ мальчикъ.

— Лѣсовикъ!.. пра... вотъ тѣ Христось! быстро закрестившись перебила его дѣвочка. Бѣлый... бѣ-ѣ-лый... и глазами такъ и повелъ на насъ... говорить: „Здорово, дѣтки, много ли ягодъ?..“ Ну мы и подрали!..

Послѣ этого объясненія, ихъ страхъ сообщился и

старшей сестрѣ, а главное, на нее подѣйствовало это опредѣленіе: „бѣлый... бѣ-ѣ-лый!“ Она даже взвизгнула—и ужъ всѣ трое побѣжали теперь, такъ что только голыя пятки мелькали изъ-за высокой травы...

Между тѣмъ, въ глубинѣ просѣки, показался человекъ съ длинной, бѣлой бородой. Но „лѣсовикъ“ не думалъ преслѣдовать ребятишекъ: замѣтивъ ихъ среди высокой травы, онъ ласково ихъ окликнулъ, поздоровался съ ними, а когда они съ ревомъ пустились отъ него бѣжать, онъ слабо улыбнулся и тотчасъ же забылъ про нихъ.

Теперь онъ шелъ вдоль просѣки скорымъ шагомъ, опустивъ голову, погруженный въ свои мысли. Въ немъ не было ничего страшнаго и на лѣсовика онъ не походилъ нисколько. Несмотря на длинную, какъ снѣгъ бѣлую бороду и на мелкія морщины, избороздившія его блѣдное лицо, онъ вовсе не казался старымъ: шагъ его былъ твердъ и легокъ, какъ у молодого человека; вся небольшая, сухощавая фигура, всѣ движенія показывали силу и бодрость.

На ногахъ у него были высокіе, дорожные сапоги; короткая бархатная венгерка обхватывала его все еще гибкій станъ; мягкая широкополая шляпа скрывала его лобъ и глаза. Но когда онъ поднялъ голову и взглянулъ на безоблачное утреннее небо, сквозившее то тамъ, то здѣсь, изъ-за густыхъ вѣтвей вѣковыхъ деревьевъ, свѣтлые глаза его, которые показались ребятишкамъ угольями, блеснули мягко и привлекательно.

Онъ былъ красивъ, этотъ длиннородый, бодрый старикъ, той особенной красотою старости, которая

все увеличивается съ годами, и можетъ быть только отблескомъ разумной жизни, полной трудовъ и испытаній и не помраченной ни однимъ упрекомъ со- вѣсти.

Достигнувъ конца просѣки, старикъ остановился и оглядѣлся; потомъ свернулъ въ сторону и скоро вышелъ въ ту часть парка, гдѣ слѣды запустѣнія бросались еще больше въ глаза.

Когда-то утрамбованныя и посыпанныя краснымъ пескомъ дорожки, теперь заросли травой. Вычурные мостики, перекинутые черезъ канавы, всѣ покоси- лись. Много лѣтъ нечищенные пруды, покрылись тиной. Густая зелень беспорядочно обвивалась во- кругъ бесѣдокъ и почти совершенно ихъ скрывала. Бѣлыя мраморныя статуи мѣстами совсѣмъ почер- вѣли, обломились и носили на себѣ слѣды многихъ непогодъ.

Давно, давно никто не заглядывалъ въ этотъ ста- ринный паркъ, никто его не поддерживалъ. Хозяина не было и никто не зналъ даже явится ли когда нибудь хозяинъ. Теперь здѣсь хозяйничали только разныя наѣкомыя, птицы, да мелкіе звѣрки, рас- плодившіеся въ великомъ множествѣ.

Зимою, иногда, забѣгали сюда изъ лѣса волки, а лѣтомъ иной разъ забредали деревенскіе ребяташки, да и то ненарокомъ, и постоявъ разинувъ рты пе- редъ какою нибудь статуей, спѣшили скорѣе назадъ въ лѣсъ, боясь, что вотъ, вотъ ихъ кто нибудь на- кроетъ въ этомъ давно покинутомъ, но все же за- претномъ барскомъ паркѣ.

Обогнувъ большой прудъ, старикъ поднялся на живописный холмикъ. Здѣсь, подъ могучими, тем-

ными вѣтвями дуба, еще уцѣлѣла ветхая скамья. Онъ сѣлъ на нее, снялъ шляпу и долго глядѣлъ вокругъ себя, переводя глаза съ одного предмета на другой.

Глаза его вдругъ померкли, тихая одинокая слеза скатилась по щекѣ. Голова опустилась. Непослушная прядь густыхъ бѣлыхъ волосъ скользнула на лицо.

Отсюда, съ этого холма, было видно многое. На далекое разстояніе за прудомъ шла зеленая поляна, и въ ея глубинѣ виднѣлась, озаренная яркимъ солнцемъ, часть фасада бѣлаго стариннаго дома.

Все здѣсь, въ этой живописной картинѣ, было до мельчайшихъ подробностей знакомо старику. Но онъ почти не узнавалъ этихъ съ дѣтства милыхъ предметовъ, хоть они и нерѣдко грезились ему въ теченіе всей жизни, среди совѣтъ иной обстановки. Да, онъ не узнавалъ. Онъ покинулъ эти мѣста почти юношей, и они сохранились въ его памяти во всемъ блескѣ своей былой красоты, изукрашенной и позлащенной всѣмъ яркимъ свѣтомъ юныхъ впечатлѣній.

Когда, въ былые годы, онъ забирался на этотъ холмъ и отдыхалъ на этой самой скамьѣ, все, что его окружало, казалось ему такимъ огромнымъ, величественнымъ, почти волшебнымъ. Этотъ паркъ былъ тогда для него безконечнымъ. Теперь же все явилось передъ нимъ въ уменьшенномъ видѣ—размѣры совѣтъ измѣнились.

Вѣдь вотъ, бывало, этотъ прудъ казался чуть не моремъ. Поляна уходила далеко, далеко, а бѣлый домъ виднѣлся будто на краю свѣта. И этотъ дубъ—

а вѣдь онъ еще какъ разросся съ тѣхъ поръ!—этотъ дубъ уходилъ въ самое небо...

Да, все стало меньше, мельче, все потеряло свой волшебный свѣтъ, а самъ онъ, сухой маленький старикъ, какъ выросъ!!

Онъ вдругъ почувствовалъ себя теперь великаномъ, среди этой, бывало, подавлявшей его величіемъ картины.

Но эти первыя ощущенія скоро замѣнились другими.

Бодѣ тридцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ въ послѣдній разъ былъ здѣсь. Жизнь была ключемъ тогда и получала новый смыслъ, и казалось—конца не будетъ этой жизни... все впереди свѣтло такъ было и радостно. Онъ завершилъ тогда двухлѣтней заграничной поѣздкой свою юность. На многое открылись глаза, исчезло много самообмановъ. И, наконецъ, явилась давножданная любовь, произошла встрѣча съ суженой, которую онъ, фантазеръ и мистикъ, ждалъ долгіе годы, которую онъ, при исключительныхъ обстоятельствахъ, узналъ и на мѣтилъ себѣ еще ребенкомъ. Фантастическія грѣзы превратились въ дѣйствительность. И онъ пріѣхалъ тогда сюда, въ родное Горбатовское, для свиданія съ отцомъ и матерью...

Ему казалось теперь, что это было такъ недавно.

Онъ забылся на мигъ и представилось ему, что вотъ онъ встанетъ съ ветхой скамейки, обойдетъ прудъ и найдетъ все точно такъ, какъ было тогда.

И онъ, этотъ сѣдой старикъ, въ которомъ никто бы не узналъ Бориса Сергѣевича Горбатова, бы-

стрымъ, молодымъ шагомъ спустился съ пригорка и поспѣшилъ къ издали бѣлѣвшемуся дому.

Это былъ почти бредъ. Онъ не замѣчалъ, что когда то широкая дорожка, огибавшая прудъ, теперь превратилась въ узенькую тропинку, да и та уже заросла травою. Онъ все спѣшилъ, спѣшилъ. Вотъ сейчасъ откроется передъ нимъ обширный цвѣтникъ, весь пестрѣющій разнообразными, искусно сгруппированными куртинами цвѣтовъ. Мигъ—и онъ услышитъ ласковый голосъ:

„Борисъ, ты рано вышелъ сегодня утромъ, а я думала погулять вмѣстѣ съ тобою...“

Кто говоритъ это? — мать! Онъ видитъ ее, высокую, прекрасную старуху, съ ясными глазами, съ такой улыбкой, какая только и можетъ быть у матери. Онъ чувствуетъ ея милое прикосновеніе.

А вотъ и отецъ въ своемъ старомодномъ костюмѣ, въ неизбѣжныхъ чулкахъ и башмакахъ съ красными каблуками. Вотъ младшій братъ Владиміръ, высокій, полный, въ щегольскомъ мундирѣ гвардейскаго офицера, съ полузакрытыми по привычкѣ глазами, съ вѣчной, полупрезрительной улыбкой. Дальше—граціозная фигурка хорошенькой женщины съ манерами капризнаго ребенка, съ птичьимъ выраженіемъ въ лицѣ, съ тоненькимъ голоскомъ — это Катринъ, жена брата. Тутъ же, въ цвѣтахъ, окруженный няньками, играетъ толстенкій, прелестный ребенокъ и смѣется, заливается безпричиннымъ смѣхомъ, пускаетъ пузыри пухлыми губками и тянетъ къ нему свои рученки...

Мигъ—и нѣтъ никого. Онъ остановился, оглядѣлся: гдѣ же эти пестрые клумбы съ причудливо

извивавшимися между ними ярко-желтыми дорожками? гдѣ эти фонтаны?!—Пустырь!!.

Долго онъ стоялъ не трогаясь съ мѣста и, мало-по-малу, опять забывалъ дѣйствительность, и опять жилъ въ прошедшемъ.

Да, новая жизнь начиналась: борьба съ любимой невѣстой, еще болѣе фантазеркой чѣмъ онъ, была однако не трудна. Они въ Петербургѣ. Всѣ сомнѣнія исчезли, всѣ недоразумѣнія окончены. Его бѣдная Нина, точно также, какъ и онъ, ждавшая его съ дѣтства, уже не предлагаетъ ему выдуманную ею сначала какую-то „ангельскую любовь“, она поняла свои заблужденія...

Она вышла изъ-подъ вреднаго вліянія Татариновой и ея секты. Она согласна быть его женой. Отецъ и мать не выставляютъ никакихъ препятствій. Свѣтъ толкуетъ о *mésalliance*’ѣ; но какое ему дѣло до мнѣнія свѣта. Онъ счастливъ...

А между тѣмъ обстоятельства не позволяютъ ему жить этимъ счастьемъ: въ семьѣ происходитъ драма—онъ случайно открываетъ измѣну жены брата... Съ другой стороны пріатели стараются завербовать его въ члены тайнаго общества... Заговоръ зрѣетъ... Смерть императора Александра I помогаетъ заговорщикамъ... Несчастный бунтъ „четырнадцатаго декабря“... Имя Горбатова произнесено, онъ замѣченъ на площади въ числѣ главныхъ мятежниковъ... Его арестуютъ... и при обыскѣ попадается переданный ему братомъ портфель съ бумагами, относящимися до дѣятельности „общества“. Братъ не выручаетъ—молчитъ. Невинный человѣкъ въ крѣпости. Но онъ не можетъ выдать своего роднаго брата. не можетъ

положить пятна на честное и знаменитое родовое имя...

Приговоръ произнесенъ—Борисъ Горбатовъ въ Сибири, на каторгѣ. Но Сибирь и каторга, эти ужасныя слова, казавшіяся хуже смертнаго приговора, оказываются вовсе не ужасными.

Тамъ, въ далекой и дикой странѣ, началась новая жизнь, только тамъ было приготовлено ему истинное счастье. Онъ не одинъ,—съ нимъ всѣ, кто ему дорогъ. Къ нему спѣшить его невѣста...

Старикъ опять на мгновеніе прищелъ въ себя и опять осмотрѣлся. Но бывший роскошный цвѣтникъ, превратившійся въ пустырь, теперь ничего не сказалъ ему...

И когда онъ снова ушелъ отъ дѣйствительности, передъ нимъ ясно, ясно мелькнуло зданіе острога въ Читѣ, убогая острожная церковка... Онъ вѣнчается съ Ниной. Глубокое, тихое счастье наполняетъ его душу... Глазами, полными благодарныхъ слезъ, глядитъ онъ на блѣдное лицо своей невѣсты и не слышитъ какъ глухо звенятъ его кандалы...

Проходитъ время. Каторга... Но развѣ это каторга, когда онъ можетъ часто, часто видѣться съ нею, съ дорогой женою, въ маленькомъ уютномъ домикѣ возлѣ острога, гдѣ она живетъ со своей, обожающей ее, родственницей, княгиней Маратовой.

Развѣ это каторга, когда и старики Горбатовы пріѣзжаютъ въ Сибирь и проводятъ возлѣ сына не мало времени...

Дружная огромная семья политическихъ ссыльныхъ и ихъ самоотверженныхъ женъ; среди дикой природы колонія прекрасныхъ и умныхъ людей, отрезвив-

шихся послѣ тяжелаго урока жизни—развѣ это каторга?! Съ нею было тяжело разставаться, съ этой каторгой, когда были сняты кандалы, когда дружная семья стала разбредаться по безконечному пространству Сибири. Было не мало тоски при прощаніи съ вѣрными друзьями дорогой неволи. И эта неволя не подорвала силы—она создала людей твердыхъ, спокойно и честно глядящихъ на жизнь, безъ ропота принимающихъ свою долю...

Старикъ опустилъ голову и тихо направился къ дому.

Солнце уже высоко поднялось и начинало печь. Кругомъ стояла невозмутимая тишина—ни звука, ни пороха...

Среди этого безмолвія и безлюдья еще унылѣе бросалось въ глаза запустѣнье давно покинутой огромной барской усадьбы. Казалось—все вымерло.

Старикъ вздрогнулъ, сердце его заныло. Ему опять слышались въ этой тишинѣ милые голоса, ему опять видѣлись дорогія лица.

Да гдѣ же они—гдѣ?!—Всѣ умерли, никого не осталось!.. вся жизнь прошла!..

Зачѣмъ же, получивъ вѣсть о новой свободѣ, онъ такъ спѣшилъ сюда?! Зачѣмъ такъ тревожно билось его уставшее сердце?!

Неужели дѣйствительно уже никого нѣтъ?! Неужели прошла жизнь?!—да когда же это она успѣла пройти?!

И эти долгіе, долгіе годы показались ему сномъ, и показалось ему, что онъ заснулъ здѣсь и только теперь проснулся.

Но къ чему же это пробужденіе, если все бы

сонъ, если вмѣстѣ съ этимъ сномъ ушли всѣ они, всѣ, кого онъ любилъ?.. Зачѣмъ было пробуждаться?!

И вмѣстѣ съ этимъ онъ чувствовалъ въ себѣ и силу, и бодрость. Онъ чувствовалъ, что живетъ, и ничто въ немъ не указывало на болѣзнь и дряхлость.

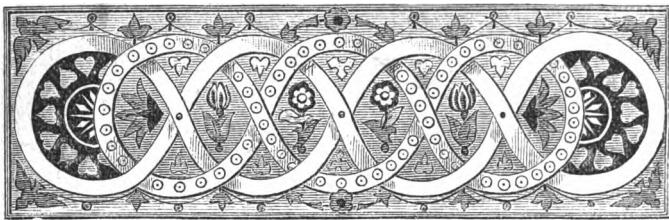
Зачѣмъ же жить?! Для кого жить?! Кого любить?!—Никого нѣтъ... все пусто кругомъ... все тихо... Никто не встанетъ изъ могилы... Ничей дорогой, ласкающій голосъ не скажетъ на яву: „Ты прошелъ тяжелую, долгую школу, ты вынесъ всѣ испытанія... Ты сохранилъ еще бодрость и силы... Ты на родинѣ, свободенъ, богатъ... еще впереди много безмятежныхъ дней... впереди счастливая старость!“...

Никто не скажетъ!.. Никто не вернется... Все тихо... Все умерло... Все прошло...

Одинъ!.. одинъ!!

Еще ниже склонилась голова старика и тихія слезы, катясь одна за другою изъ глазъ, мочили его длинную серебряную бороду...





II.

Итоги.

Жутко бываетъ человѣку, оглянувшись назадъ и замѣтивъ какъ быстро идетъ время и жизнь, рѣшить, что тридцать лѣтъ—много, много времени. А между тѣмъ это такъ, и не мудрено, что въ продолженіи тридцати лѣтъ большія перемѣны произошли въ семьѣ Горбатовыхъ; не мудрено, что въ это время выросло и созрѣло новое поколѣніе, а прежнее сошло въ могилу.

Бываетъ счастливый родъ, члены котораго наследуютъ отъ предковъ долголѣтіе. Люди видятъ своихъ дѣтей, внуковъ и правнуковъ и умираютъ тогда, когда уже становится тяжело жить, когда отъ жизни взято все, что только можетъ дать она. Но такихъ людей встрѣчается все меньше и меньше, даже въ самыхъ издавна отличавшихся долголѣтіемъ фами-

ліяхъ сокращается срокъ жизни. Причинъ этому много...

Родъ Горбатовыхъ и въ прежнія времена не отличался долголѣтіемъ. Изъ исторіи мы знаемъ только одного Горбатова временъ царя Ивана Грознаго, который дожилъ до глубокой старости. Другъ Петра Ш, Борисъ Григорьевичъ Горбатовъ умеръ пятидесяти съ небольшимъ лѣтъ, несмотря на замѣчательно крѣпкую природу и сложеніе.

Сынъ его, Сергѣй Борисовичъ, никогда не отличался особой крѣпостью и послѣ испытаній, пережитыхъ имъ въ молодости и конечно сильно повліявшихъ на его здоровье, поддерживалъ себя только правильной деревенской жизнью. Еслибы эта тихая, однообразная и спокойная жизнь безъ особыхъ радостей, но и безъ горя, могла продолжаться, онъ вѣроятно достигъ бы счастливой старости.

Но это не было ему суждено. Человѣкъ сердечный и впечатлительный, онъ плохо перенесъ несчастье своего любимаго сына Бориса. Годъ слѣдствія надъ декабристами состарилъ его на много лѣтъ. Вернувшись изъ поѣздки въ Сибирь къ сыну, онъ почувствовалъ всѣ недуги старости и не могъ уже больше оправиться. Въ своемъ родномъ и миломъ Горбатовскомъ, среди любимой обстановки, напоминавшей ему хотя тревожные, но все же лучшіе годы жизни, окруженный своими неизмѣнными старыми друзьями-внигами — онъ медленно угасалъ, самъ того не замѣчая.

По временамъ онъ еще строилъ планы, что вотъ по веснѣ, когда немного окрѣпнетъ, снова поѣдутъ они съ женою въ Сибирь къ Борису и Нинѣ. Но

скоро уже и эти планы стали забываться, объ нихъ не говорилось больше.

Татьяна Владиміровна Горбатова, крѣпкая, выносливая женщина, ни на шагъ не отходила отъ больного мужа. Онъ угасалъ, но былъ спокоенъ, его сердце устало, настолько устало, что переставало сильно чувствовать, безразлично ко всему относилось. Ея сердце устало не меньше, а между тѣмъ продолжало жить горячей, мучительной жизнью. Положимъ, ударъ, нежданно ее поразившій, когда арестовали Бориса, не сломилъ ее и она теперь видѣла, что несчастье не было еще такъ велико. Она судила по-своему, глядѣла на вещи глубоко и ясно, и послѣ поѣздки въ Сибирь не разъ повторяла себѣ, что все случилось для Бориса можетъ быть и къ лучшему, что пути Провидѣнія неисповѣдимы и, кто знаетъ, былъ ли бы онъ счастливѣе, еслибы остался свободнымъ, въ обществѣ. Во всякомъ случаѣ она знала, что онъ не одинокъ, что вольѣ него хорошая и любящая жена и друзья. Но все же это сознаніе не мѣшало материнскому сердцу обливаться кровью въ разлукѣ съ сыномъ, хоть и не въ этомъ было ея главное несчастье.

Пуще всего ее мучила теперь семейная жизнь другого сына. И хотя отъ нея было скрыто многое, но она почти подозрѣвала истину, отгоняла отъ себя эти мысли, но все же невольно подозрѣвала. Невѣста была безнадежна. Теперь она уѣхала опять за границу съ дѣтьми и живетъ тамъ уже второй годъ. Какъ живетъ, что тамъ дѣлаетъ — ничего неизвѣстно, пишетъ она рѣдко.

Сынъ Владиміръ въ Петербургѣ, продолжаетъ

службу, которая ему очень удастся. Какимъ образомъ онъ могъ отпустить жену, что между ними было—она даже не хочетъ его и спрашивать. Она чувствуетъ, что онъ ничего новаго ей не скажетъ.

Онъ прїѣзжалъ какъ то въ Горбатовское не надолго. Онъ сдѣлался въ семьѣ еще болѣе нелюдимымъ, ни одного откровеннаго, сердечнаго разговора не было между ними. Въ немъ произошла большая перемѣна, онъ такой странный, мрачный.

Сердце матери видѣло, что онъ очень несчастливъ, но ничѣмъ не могла она помочь ему, да онъ и не просилъ ея помощи.

Всего этого горя оказалось мало, пришло новое горе. Мужъ тяжело боленъ и она видитъ, ясно видитъ, что онъ уже не встанетъ, что придется ей похоронить его. И она не отходить отъ него ни на минуту, ловить каждый его взглядъ, прислушивается къ каждому его дыханью.

Онъ безсиленъ, онъ плохо видитъ; но тяжело ему стало бы, еслибы могъ онъ разглядѣть ея лицо въ инныя минуты.—Такая скорбь выражается на этомъ прекрасномъ, старческомъ лицѣ. Только въ молитвѣ находитъ она отраду и почерпаетъ въ ней силу для этихъ мучительныхъ дней, для этихъ почти бессонныхъ ночей.

Проходятъ недѣли—больному не лучше, онъ видимо слабѣетъ. Доктора теряютъ всякую надежду. Иногда онъ начинаетъ жестоко страдать и она страдаетъ съ нимъ, страдаетъ вдвойнѣ.

Приходятъ послѣднія минуты. Онъ понялъ наконецъ, что умираетъ. Сначала онъ возмутился при

этомъ сознаниі. Но такое возмущеніе продолжалось недолго, оно прошло и смѣнилось спокойствіемъ. Онъ лежалъ въ полной памяти, страданія прекратились, только слабость была такая, что трудно было ему поднять руку, трудно было шевельнуть языкомъ.

Она сидѣла надъ нимъ безъ слезъ, не отрывая взгляда отъ его блѣднаго лица и его потухшихъ глазъ. Она уже не молила Бога о томъ, чтобы онъ сохранилъ ему жизнь, она понимала, что смерть — спасеніе.

Но какъ же это? онъ—умираетъ?! Тутъ было что то такое, чего она не понимала, никакъ не могла постигнуть. Онъ умираетъ!..

И внезапно разгорѣвшимся пламенемъ вспыхнула въ ней вся ея любовь къ нему, та любовь, которой она отдала всю жизнь съ первыхъ дней своего отрочества.

Онъ умираетъ... онъ, бывший счастьемъ и горемъ всей ея жизни, онъ, такъ долго жданный ею! Во вторую половину ея жизни, въ долгіе годы тихаго семейнаго счастья, прежняя страсть мало-по-малу переставала говорить въ ней, съ годами и кровь остывала. А главное, являлись различные интересы, наполнявшіе жизнь—дѣти, судьба ихъ.

Иногда его какъ будто и совсѣмъ для нея не было. Не было его потому, что онъ и она — были одно, они жили одной жизнью, одними мыслями и чувствами...

Теперь онъ уходитъ, они разъединяются!..

И вся прежняя любовь, никогда не проходившая, никогда не уменьшавшаяся, но только невидная и неслышная, снова проявилась во всей своей силѣ,

какъ будто вернулось прежнее время. Она опять любила его какъ въ молодые годы.

Тоже самое обновленіе чувствъ передъ вѣчной разлукой происходило и въ немъ.

— Ближе ко мнѣ... ближе!.. Дай руку, Таня!.. то и дѣло шепталъ онъ.

Проходили часы, слабость его увеличивалась.

— Таня! вдругъ прошепталъ онъ,—я хочу исповѣдаться и пріобщиться, пригласи священника...

Она вся вздрогнула отъ неожиданности и изумленія. Она въ первую минуту просто не повѣрила ушамъ своимъ.

Онъ сказалъ это, онъ, всю жизнь мучившій ее своимъ невѣріемъ?!

Она поспѣшила исполнить его желаніе. Онъ слабо ей улыбнулся. Онъ зналъ что бѣльшаго удовольствія не можетъ доставить ей въ эти печальныя минуты—и рѣшился доставить ей это удовольствіе.

Но во время исповѣди и причастія никогда неизвѣданное имъ благоговѣйное чувство сошло ему въ душу. Какъ будто тяжесть спала съ его плечъ, тоска исчезла. Онъ не въ силахъ уже былъ разсуждать и анализировать своихъ ощущеній, онъ просто предавался имъ.

Когда священникъ ушелъ и Татьяна Владиміровна склонилась къ нему и поздравила его, всѣми силами удерживая подступавшія слезы, онъ изъ глубины сердца шепнулъ ей:

— Теперь мнѣ хорошо... хорошо...

Онъ задремалъ. Прошло нѣсколько часовъ. Вдругъ онъ открылъ глаза и слабо сжалъ руку жены.

— Прощай, Таня! разслышала она.—Прощай...

не печалься... мнѣ хорошо... прости меня... я много горя причинилъ тебѣ... но вѣдь ты знаешь какъ я всегда любилъ... какъ я люблю тебя... Вѣдь мы хорошо... мы дружно прожили съ тобою, Таня...

Онъ хотѣлъ еще сказать что-то, но замолчалъ и сталъ забываться. Онъ уже ничего не видѣлъ, или вѣрнѣе, видѣлъ очень многое. Время отъ времени онъ произносилъ имена сыновей, звалъ ихъ, говорилъ съ ними... и потомъ опять звалъ ее.

— Таня!.. сюда... ближе!.. ближе... видишь, какъ хорошо... пойдѣмъ вмѣстѣ...

Наконецъ голосъ его совсѣмъ замеръ. Онъ глухо вздохнулъ, потомъ слабо простоналъ. Началась агонія.

Она сидѣла неподвижно, съ застывшимъ лицомъ, держа въ рукахъ его холодѣющую руку. Когда эта рука совсѣмъ остыла, когда она почувствовала что все уже кончено, она тихо поднялась, перекрестила и поцѣловала своего друга, закрыла ему глаза, опустилась на колѣни, и долго, безъ слезъ и рыданій, но всей силой своей вѣры и своей любви молилась.

Никто не смѣлъ подойти и ее потревожить.

Наконецъ она встала съ колѣнъ, еще перекрестила и поцѣловала усопшаго, а потомъ твердымъ голосомъ стала дѣлать распоряженія.

Но стоило только взглянуть на ея преобразившееся лицо—и каждому ясно становилось ея безысходное горе. Да, это было безысходное горе, хотя никто не услышалъ отъ нея ни одной жалобы.

Ея жизнь была кончена.

Черезъ полгода она поѣхала въ Сибирь къ сыну и невѣстѣ. Они съ трудомъ ее узнали — это была дряхлая, больная старуха. Она уже не жила, она только спокойно и терпѣливо ждала смерти. Черезъ два года она умерла, завѣщавъ перевести ея тѣло въ Горбатовское и похоронить въ родовомъ склепѣ рядомъ съ могилой мужа.

По окончаніи срока каторги, значительно для него сокращеннаго, Борисъ Горбатовъ былъ переведенъ на поселеніе въ одинъ изъ самыхъ живописныхъ уголковъ югозападной Сибири. Онъ устроился съ женой и княгиней Маратовой, совсѣмъ забывшей о Петербургѣ ради своей обожаемой воспитанницы, въ просторномъ, выстроенномъ ими домѣ. Большія денежныя средства, нашедшіяся въ рукахъ Нины, а также состояніе княгини — давали имъ возможность устроить даже и въ этой дикой странѣ такую обстановку, какая была имъ по вкусу.

Скоро Борисъ Сергѣевичъ и его семья сдѣлались самыми извѣстными и уважаемыми людьми въ этой мѣстности. Не говоря уже о томъ, что каждый прибывавшій изъ Россіи или проѣзжавшій спѣшилъ въ домъ Горбатовыхъ, гдѣ всегда находилъ радушный пріемъ и удобства европейской жизни, но даже окрестные инородцы полюбили добраго русскаго барина и шли къ нему за помощью и за совѣтомъ. Онъ самъ полюбилъ этихъ полудикихъ сыновъ Азіи, заинтересовался ихъ бытомъ, не жалѣлъ для нихъ денегъ и приносилъ имъ не мало пользы.

Однако его близость съ инородцами и вообще вліяніе, полученное имъ въ краѣ, доставляли ему

не мало непріятностей. Мѣстное начальство зорко за нимъ слѣдило и очень часто черезчуръ безцеремонно вмѣшивалось въ жизнь его. Если должностныя лица были порядочными людьми, они конечно ни въ чемъ ни мѣшали Горбатову и были съ нимъ въ наилучшихъ отношеніяхъ. Но попадались люди и непорядочные, люди желавшіе показать свою власть, поломаться надъ этимъ знатнымъ и богатымъ человѣкомъ, который тѣмъ не менѣе все же былъ „преступникомъ“. Конечно и этихъ людей ему легко было задобрить тѣми же деньгами; но поступать такъ, было не въ его правилахъ и онъ не разъ переносилъ большія непріятности. Онъ подвергался самымъ безсовѣстнымъ доносамъ, въ которыхъ его выставляли чуть ли не возмутителемъ и пристанодержателемъ.

Однимъ изъ самыхъ лучшихъ его удовольствій была переписка съ друзьями, съ товарищами долгаго заточенія, разосланными теперь по Сибири и Кавказу. И вотъ начальствующія лица, желавшія сдѣлать ему непріятности, всячески тормозили эту переписку. Очень часто письмо, написанное въ чело-вѣку жившему за нѣсколько верстъ, шло сначала въ Петербургъ, разбиралось въ „третьемъ отдѣленіи“ и затѣмъ возвращалось обратно, достигая по назначенію иной разъ не ранѣе какъ черезъ полгода, а часто и совсѣмъ теряясь по дорогѣ.

Несмотря однако на непріятности, жизнь Горбатовыхъ все же шла хорошо. Въ семьѣ у нихъ было дружно и ладно. Мужъ и жена не могли наглядѣться другъ на друга и не могла на нихъ наглядѣться старуха Маратова. Скоро у Горбатовыхъ ро-

дился ребенокъ-мальчикъ, а затѣмъ черезъ два года и дѣвочка.

Борису Сергѣевичу стыдно было бы пожаловаться на жизнь свою, — онъ былъ здоровъ, дѣятеленъ, о скукѣ не было и помину. Онъ любилъ всѣ проявленія жизни, все его интересовало, каждый новый годъ обогащалъ его знаніями. Онъ погрузился въ изученіе страны, гдѣ привелось ему жить. Одинъ предметъ увлекалъ его къ другому. Его мистицизмъ, стремленіе къ высшимъ загадкамъ и истинамъ человѣческаго духа потерпѣли крушеніе въ европейскомъ массонствѣ. Затѣмъ, перенесенное испытаніе и жизнь заставили его спуститься на землю. Но теперь, среди новой обстановки, въ немъ поднялись прежніе вопросы и онъ рѣшилъ, что пожалуй здѣсь, вблизи къ колыбели міра, онъ и найдетъ не мало отвѣтовъ.

Онъ ревностно принялся изучать восточные языки, азіатскую науку, входилъ въ сношенія съ учеными ламами и наконецъ достигъ того, что они признали его ученость даже въ азіатскомъ значеніи этого слова. Раскаиваться ему не пришлось; если на многіе вопросы еще и не было найдено отвѣта, то все же онъ наталкивался на весьма интересныя явленія изъ области духа, существованія которыхъ онъ прежде и не подозрѣвалъ.

Такъ проходили годы. Ему суждено было испить полную чашу семейнаго счастья и семейнаго горя. Сначала онъ съ женою похоронилъ горячо любимую ими княгиню Маратову, а затѣмъ и обоихъ дѣтей своихъ, умершихъ отъ азіатской холеры. Горе и

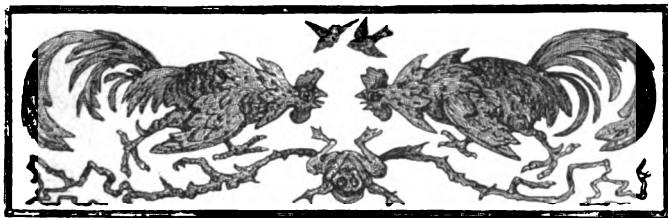
навсегда оставшаяся тоска по дѣтямъ сломили и безъ того плохое здоровье Нины.

Это здоровье сдѣлалось теперь главной заботой Бориса Сергѣевича. Все, что можно было сдѣлать деньгами и человѣческимъ знаніемъ, было сдѣлано для поддержанія жизни Нины. Она „жила“, хотя и страдаая. Но время брало свое, корень болѣзни не могъ быть вырванъ. Нина Александровна лишилась употребленія ногъ и послѣднія пять лѣтъ своей жизни никто иначе не видалъ ее, какъ въ креслѣ на колесахъ, которое въ ясные хорошіе дни возилъ Борисъ Сергѣевичъ по обширному саду, разбитому вокругъ ихъ дома.

Нина Александровна умерла пятидесяти лѣтъ, умерла отъ медленно развивавшагося въ ней истощенія силъ. Она не сознавала того что умираетъ,— просто заснула, въ послѣдній разъ улыбнувшись мужу и слабо сжавъ его руку.

Онъ долженъ былъ призвать себѣ на помощь всю свою философію, всю свою мистическую вѣру, чтобы перенести этотъ ударъ, ожидаемый имъ многіе годы, но все же казавшійся ему невозможнымъ.





III.

Младшая линія.

Владиміръ Горбатовъ послѣ смерти отца и матери получилъ половину ихъ огромнаго состоянія. Исполнилась даже его завѣтная мечта — къ нему перешелъ и великолѣпный Петербургскій домъ. Служебные его успѣхи росли быстро: въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ онъ былъ уже генераломъ и занималъ вліятельное и видное положеніе.

Жизнь устроилась именно такъ, какъ онъ желалъ. Всѣ цѣли были достигнуты, всѣ тревоги должны были исчезнуть. Погубленный имъ братъ далеко, въ Сибири, и даже, какъ онъ зналъ, считаетъ себя счастливымъ. А если онъ счастливъ, такъ и смущаться нечего, совѣсть не должна упрекать, значить все устроилось къ лучшему, значить онъ ни въ чемъ не виноватъ.

А между тѣмъ, онъ, холодный и расчетливый че-

ловѣкъ, привыкшій жить только ради себя, ставившій высшею задачею угожденіе своему честолюбію и грубымъ страстямъ,—онъ былъ очень несчастливъ среди успѣховъ и богатства.

Всѣ его старые пріятели, знавшіе его до двадцать-пятаго года, его просто не узнавали. Онъ сдѣлался мрачнымъ и нелюдимымъ, часто запирался у себя. Никто не слыхалъ его смѣха, даже его пронія, которую онъ любилъ выставлять на видъ, пропала.

Такая перемена говорила въ его пользу и о немъ стали судить какъ о человѣкѣ, въ которомъ ошибались сначала, рѣшили, что онъ оказался гораздо сердечнѣе и глубже, чѣмъ о немъ думали.

„Этотъ человѣкъ сраженъ семейнымъ горемъ, на него страшно подѣйствовала ссылка въ Сибирь любимаго брата, смерть отца и матери, а главное,—жена, жена его убиваетъ!“

Но такое заключеніе было невѣрно. Кромѣ враждебнаго чувства и зависти онъ никогда ничего не питалъ къ брату. Къ отцу и матери онъ относился равнодушно и еще за многіе годы до ихъ смерти рассчитывалъ на эту смерть и на ней строилъ различные планы.

Его томило и мучило нѣчто такое, чего онъ и самъ опредѣлить не могъ. Съ того самаго дня какъ онъ предалъ брата, не смотря ни на что, онъ не имѣлъ покоя. Онъ придумалъ для себя и передъ самимъ собою большую защитительную рѣчь, постоянно повторялъ ее себѣ, оправдалъ себя, рѣшилъ, что это оправданіе справедливо,—а между тѣмъ не могъ успокоиться.

Братъ, хотя и счастливый въ своей далекой ссылке, стоялъ передъ нимъ и не отходилъ прочь. И онъ боялся этого призрака пуще всего на свѣтѣ. Онъ много разъ начиналъ письмо брату, находилъ, что долженъ же написать ему—и ни разу не имѣлъ силы докончить такого письма. Такъ ни одного письма и не послалъ онъ въ Сибирь.

Его ощущенія, его страданія можно выразить такъ: „онъ разлюбилъ себя“. Онъ, прежде только и знавшій что носиться съ собою и ставить себя на пьедесталъ, курить передъ собою фиміамъ, теперь тяготился собою, не заботился о себѣ. Все пришло, все есть, а между тѣмъ оказывалось, что ничего не нужно, что не стоитъ „онъ“, этотъ идолъ, этотъ „я“ того, чтобы съ нимъ такъ носиться, чтобы доставлять ему всякое удовольствіе.

И вслѣдствіе этой все возростающей отчужденности отъ себя, доходившей иногда просто до самоненависти, совсѣмъ измѣнился его характеръ. Теперь ему ни до чего не было никакого дѣла.

Жена и ихъ взаимныя отношенія его не мучили, онъ махнулъ на все это рукой, потому что прежняго самолюбія уже не было. Она была ему только противна и ея отсутствіе оказывалось все таки утѣшеніемъ.

Она широко пользовалась такой перемѣной въ характерѣ мужа и скоро онъ остался совсѣмъ одинъ въ своемъ огромномъ домѣ.

Екатерина Михайловна почти безвыѣздно жила за границей. Она вытребовала для себя очень большую ежегодную сумму, которая ей акуратно высы-

лалась мужемъ, и онъ иногда почти по годамъ не имѣлъ о ней извѣстій.

Всѣ знали, что она тайно приняла католицизмъ, что она воспитываетъ дѣтей въ іезуитской школѣ. Сначала ея имя соединяли съ именемъ графа Щапскаго, потомъ возвращавшіеся изъ-за границы рассказывали, что Щапскій давно уже порвалъ съ нею, что она ведетъ самую безнравственную жизнь. Сожалѣли о дѣтяхъ.

Наконецъ начали обвинять Владиміра Сергѣевича въ его безхарактерности.

„Если онъ ничего не можетъ сдѣлать съ женой, то по крайней мѣрѣ долженъ спасти дѣтей...“

Эти толки дошли до него. Онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, вышелъ изъ обычной апатіи, написалъ женѣ рѣшительное письмо, заставившее ее пріѣхать въ Петербургъ.

Черезъ мѣсяцъ она уѣхала, но уже безъ дѣтей.

Дѣти стали воспитываться въ Петербургѣ. Отецъ очень мало обращалъ на нихъ вниманія, на этихъ двухъ быстро выросавшихъ мальчиковъ. Они были отданы на руки наемнымъ воспитателямъ.

Тотъ прекрасный образъ семейной жизни и семейнаго воспитанія, который въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній былъ присущъ семьѣ Горбатовыхъ, исчезъ безслѣдно. Эти бѣдные дѣти, Сергѣй и Николай, имѣя отца и мать, были самыми жалкими круглыми сиротами.

Все больше и больше тяготясь собою и жизнью, потерявшей весь прежній смыслъ, Владиміръ Сергѣевичъ ни разу не остановился на мысли о дѣтяхъ. Ему и въ голову не приходило, что любовь къ дѣ-

тямъ, забота о нихъ, исполненіе относительно нихъ своихъ обязанностей могутъ быть для него единственнымъ лекарствомъ, что быть можетъ дѣти примирять его и съ самимъ собою и съ жизнью.

Онъ просто не находилъ въ себѣ отеческаго чувства. Общественное мнѣніе потребовало отъ него, чтобы онъ взялъ дѣтей къ себѣ—и онъ исполнилъ это требованіе. Они жили съ нимъ въ одномъ домѣ, ни въ чемъ не нуждались, воспитывались такъ, какъ воспитывались ихъ сверстники, принадлежавшіе къ одному съ ними кругу—большаго никто отъ него не могъ требовать.

Онъ часто по цѣлымъ недѣлямъ не видалъ дѣтей, а когда встрѣчался съ ними, ему становилось еще скучнѣе, еще тяжелѣе.

Эти мальчики, всегда какъ то затихавшіе и смущавшіеся при его появленіи, робко отвѣчавшіе на его вопросы, только раздражали его.

„Она приучила ихъ меня ненавидѣть“ думалъ онъ и спѣшилъ скорѣе прочь отъ нихъ.

Никто не приучалъ ихъ его ненавидѣть, до своего пріѣзда они просто никогда о немъ не думали, потому что почти никогда о немъ не слыхали отъ матери.

Поселясь подъ однимъ съ нимъ кровомъ, они знали, что онъ такое и какъ къ нему надо относиться.

Еслибы онъ захотѣлъ—конечно они стали бы глядѣть на него какъ на отца; но онъ не сдѣлалъ ни одной попытки къ сближенію съ ними. Они видѣли въ немъ совсѣмъ чужого человѣка, неразговорчиваго, мрачнаго, строгаго.

А между тѣмъ этотъ чужой человѣкъ имѣлъ надъ ними права и власть, и они его боялись. Онъ никогда еще ни въ чемъ не поступилъ съ ними жестоко, но не смотря на это, они оба почему-то были убѣждены, что онъ способенъ на всякую жестокость.

Ихъ гувернеры и учителя въ самыхъ крайнихъ случаяхъ выставляли его имя:

„Мы будемъ жаловаться вашему отцу и вотъ тогда—увидите.“

И никакія наказанія не дѣйствовали на мальчиковъ такъ, какъ эта фраза.

Если Владиміръ Сергѣевичъ мало обращалъ вниманія на этихъ дѣтей, жившихъ съ нимъ и носившихъ его имя, то конечно о другихъ своихъ дѣтяхъ, не носившихъ его имени, онъ уже совсѣмъ не думалъ. Такихъ дѣтей было у него нѣсколько, но онъ даже не зналъ, что стало съ ними.

Изъ своихъ мимолетныхъ привязанностей онъ помнилъ только одну. Это была скромная молодая дѣвушка, съ которой онъ сошелся незадолго до своей женитьбы. Онъ имѣлъ отъ нея сына и навѣщалъ ее въ теченіе болѣе чѣмъ трехъ лѣтъ. Для него, въ дѣлахъ такого рода, была цѣлая вѣчность. Къ концу трехлѣтняго срока его посѣщенія скромнаго домика на Васильевскомъ Островѣ сдѣлались весьма рѣдки. Ему стали надоѣдать и мать, и ребенокъ. Вѣроятно прошло бы нѣсколько мѣсяцевъ—и несчастная соблазненная имъ женщина была бы имъ совсѣмъ забыта. Но тутъ случилось нѣчто непредвидѣнное.

Какъ то разъ Владиміръ Сергѣевичъ заѣхалъ въ укромный домикъ и никого не нашелъ въ немъ—

его возлюбленная съ ребенкомъ неизвѣстно куда скрылась. Она оставила ему записку, гдѣ говорила, что хотя очень поздно, но наконецъ поняла свое заблужденіе, а главное — поняла „его“, такъ какъ узнала о такихъ его поступкахъ, послѣ которыхъ не хочетъ имѣть съ нимъ ничего общаго. Она вымолила прощенье у своихъ родныхъ и уѣзжаетъ къ нимъ—куда?—ему нечего объ этомъ заботиться. Но она проситъ его объ одномъ—забыть про ея существованіе и про существованіе ребенка...

Владиміръ Сергѣевичъ вознегодовалъ. Не онъ бросилъ—его бросили!

И вмѣстѣ съ этимъ онъ вдругъ почувствовалъ въ себѣ что то такое, какъ будто даже нѣкоторую страстную нѣжность къ этой покинувшей его женщинѣ. За минуту передъ тѣмъ онъ думалъ о ней равнодушно и холодно, теперь же, по прочтеніи ея письма, ему показалось, что она нужна для него.

„Что за вздоръ! къ чему это, она должна вернуться!“ властно и рѣшительно, по своей привычкѣ, твердилъ онъ себѣ.

Онъ сталъ наводить справки — гдѣ она, — и ничего не узналъ. Цѣлый годъ онъ нѣтъ, нѣтъ — да и возвращался къ мыслямъ о ней и продолжалъ наводить свои безуспѣшныя справки. Но въ концѣ концовъ и на это дѣло махнулъ рукою...

Между тѣмъ его терпѣніе въ борьбѣ съ нелюбовью къ самому себѣ и отвращеніемъ къ жизни—истощилось. Подошло военное время, началась венгерская кампанія. Владиміръ Сергѣевичъ попросился на театръ военныхъ дѣйствій. Всѣ его сослуживцы въ одинъ голосъ свидѣтельствовали, что онъ высказы-

валъ въ самыхъ горячихъ дѣлахъ большую храбрость, хотя это и не была истинная храбрость героя, а просто исканіе смерти.

Онъ нашелъ то, чего искалъ. Онъ палъ въ жаркомъ дѣлѣ, впереди русскихъ солдатъ, и въ послѣднюю минуту, смертельно раненый, пересиливая тяжкія страданія, чувствовалъ себя счастливымъ — онъ наконецъ пересталъ себя ненавидѣть и успокоился...

Въ это время молодые Горбатовы не только уже имѣли свои семьи, но старшій, Сергѣй Владиміровичъ, женившись очень рано, успѣлъ даже овдовѣть.

При жизни отца они считали себя людьми очень богатыми; но разобравшись въ наслѣдствѣ, увидѣли, что ошибались.

Владиміръ Сергѣевичъ, тяготясь жизнью и думая только о томъ какъ бы забыться, въ послѣдніе годы особенно сильно предался своей страсти къ картамъ. Уже послѣ смерти отца, получивъ наслѣдство, онъ долженъ былъ выплатить огромные долги, сдѣланные имъ въ молодости. А умирая онъ оставилъ новымъ представителямъ рода Горбатовыхъ настолько запутанное состояніе, что его трудно было и распутать. Имѣнія были давно заложены, то и дѣло оказывались новые долги.

Между тѣмъ и Сергѣй и Николай не взяли особенно большого приданаго за своими женами.

Узнавъ о смерти мужа, пріѣхала изъ-за границы Катерина Михайловна для того, чтобы получить свою законную часть наслѣдства. Когда выяснилась сумма этой законной части — она пришла въ ужасъ.

У нея тоже было не мало долговъ и, за покрытіемъ ихъ, средствъ оказывалось вовсе недостаточно для такой жизни, какую она привыкла вести. Она сочла за лучшее остаться въ Россіи и, послѣ объясненія съ сыновьями, поселилась въ Горбатовскомъ домѣ.

Сергѣй и Николай служили въ гвардейскихъ полкахъ, но ни тотъ, ни другой до сихъ поръ не дѣлали блестящей карьеры.

Вообще Катерина Михайловна убѣдилась, что все теперь ужъ не то, какъ было въ годы ея молодости. Общество измѣнилось, прежнія отношенія порваны, домъ обветшалъ... нужно начинать все снова.

Она не боялась того, что ея безпорядочная жизнь можетъ ей въ чемъ нибудь повредить. Стоитъ только обновить старый великолѣпный домъ, дать нѣсколько блестящихъ баловъ—и все вернется, весь Петербургъ у нея будетъ.

Она такъ и рассчитывала.

Но вотъ оказывается настолько сильное разстройство дѣлъ, что прежняго образа жизни вести нельзя. А главное, ужъ и въ обществѣ ходятъ толки о томъ, что Горбатовы разорены.

Во что бы ни стало нужно заставить замолкнуть эти толки—*il faut faire bonne mine au mauvais jeu*. Годъ, другой можно будетъ еще вывернуться, а тамъ остается одна послѣдняя надежда: Сергѣй овдовѣлъ, его нужно женить на очень богатой дѣвушкѣ, состояніе которой могло бы помочь поддерживать блескъ падающаго дома.

И она стала заботиться объ этомъ, стала высматривать для сына богатую невѣсту.

Черезъ два года ей удалось достигнуть цѣли— Сергѣй Владиміровичъ женился на прелестной и молоденькой княжнѣ Засѣцкой, круглой сиротѣ, только что выпущенной изъ Смольнаго института.

Положимъ, княжна принесла мужу не Богъ вѣсть какое состояніе, всего съ небольшимъ полмилліона, но у нея были самыя блестящія надежды въ будущемъ: она была единственной наслѣдницей очень богатыхъ и старыхъ дядей и тетокъ. А полмилліона, получаемые Сергѣемъ Владиміровичемъ изъ рукъ въ руки въ безконтрольное распоряженіе, давали возможность значительно очистить дѣла и продержаться до полученія перваго наслѣдства...

Съ ранней весны до глубокой осени Горбатовы жили въ Знаменскомъ имѣніи,—сосѣднемъ съ Горбатовскимъ—и это значительно сокращало ихъ расходы.

Такимъ образомъ семья состояла теперь изъ: Катерины Михайловны, Сергѣя, его второй жены и четырехъ маленькихъ дѣтей отъ перваго брака и изъ Николая съ женою и единственнымъ сыномъ.

Вотъ и всѣ свѣдѣнія, какія имѣлъ о своихъ родныхъ Борисъ Сергѣевичъ, возвращаясь изъ Сибири на родину.





IV.

Барскій прїздъ.

Борись Сергѣевичъ никого не извѣстилъ о своемъ прїздѣ.

Въ послѣдніе годы, онъ время отъ времени получалъ письма отъ племянниковъ и считалъ своимъ долгомъ отвѣчать имъ. Но это была вовсе не родственная, а чисто официальная переписка, изъ которой онъ никакъ не могъ узнать, что такое Сергѣй и Николай.

Они передавали ему внѣшнія событія своей жизни—и только. Въ послѣднемъ ихъ письмѣ были обычныя фразы о томъ, что они радуются его скорому возвращенію—и такъ далѣе.

Въ своемъ отвѣтѣ онъ говорилъ, между прочимъ, что о возвращеніи еще не думаетъ. Это была правда.

Но вдругъ его потянуло на родину, вдругъ въ немъ поднялось какое то ожиданіе, почти даже на-

дежда, — на что — онъ и самъ не зналъ. Онъ быстро собрался въ дорогу въ сопровожденіи своего вѣрнаго, всю жизнь бывшаго при немъ, камердинера Степана.

Они на нѣсколько дней остановились въ Москвѣ. Борисъ Сергѣевичъ повидался кой съ кѣмъ, устроилъ нѣкоторыя свои дѣла и поспѣшилъ въ Горбатовское.

Степанъ, однолѣтокъ своего господина, такъ же хорошо, какъ и онъ, сохранившійся старикъ, считалъ своимъ долгомъ замѣтить передъ выѣздомъ изъ Москвы:

— А вы бы, Борисъ Сергѣичъ, увѣдомили молодыхъ господъ, племянничковъ, о прибытіи въ Горбатовское... Вѣдь они, надо полагать, въ Знаменскомъ?

— Да, въ Знаменскомъ, писали, что цѣлое лѣто и осень пробудуть.

— Ну, такъ вотъ и извѣстили бы, а то не хорошо — обидятся пожалуй, подумаютъ: дяденька, молъ, не хочетъ и знать насъ...

— Ничего они не подумаютъ, что я имъ — чужой!.. не знаютъ меня совсѣмъ... угрюмо проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ.

Степанъ покачалъ головою.

— Какъ же это — чужой!? Кровь то вѣдь своя...

Онъ запнулся и видимо чего то смутился, а потомъ продолжалъ:

— Серезенька то, чай помните, малютка какой былъ? ровно ангельчикъ, онъ же и вѣстникъ вашъ,

одинъ у васъ остался. Вотъ спросить то, жаль, некого, здѣсь ихъ мало знаютъ. Да авось, Богъ милостивъ, выйдетъ Сереженька хорошимъ, добрымъ баринномъ, такъ, можетъ, вамъ, батюшка, и въ утѣшеніе будетъ подъ старость... такъ то! Напишите, напишите...

Изъ этого разговора видно было, какія отношенія существовали между господиномъ и крѣпостнымъ человѣкомъ. Этотъ крѣпостной человѣкъ былъ лучшимъ другомъ барина, и никогда не стѣснялся высказывать свои мнѣнія и давать совѣты.

Борисъ Сергѣевичъ нерѣдко слѣдовалъ его совѣтамъ, но на этотъ разъ остался при своемъ рѣшеніи и такъ и не извѣстилъ своихъ племянниковъ. Онъ рѣшительно не хотѣлъ никакихъ встрѣчъ и приготовленій, ему было тяжело все это, ему хотѣлось незамѣтно очутиться въ своемъ старомъ гнѣздѣ и оглядѣться, одуматься.

Онъ пріѣхалъ въ Горбатовское яснымъ лѣтнимъ вечеромъ, и его встрѣтила полная тишина давно покинутой барской усадьбы. Большой домъ былъ наглухо запертъ. Коляска Бориса Сергѣевича остановилась у громадныхъ воротъ, которыя тоже стояли на запорѣ. Всѣ спали. Степану долго пришлось стучаться. Наконецъ, со всѣхъ сторонъ сбѣжавшіяся и отчаянно лаявшія собаки разбудили людей.

— Баринъ пріѣхалъ! кричалъ Степанъ.

— Какой баринъ?

— Баринъ изъ Сибири, Борисъ Сергѣевичъ.

Эта вѣсть мгновенно облетѣла всѣ дома, построенные полукругомъ около барскаго дома и служившіе

помѣщеніемъ безчисленной дворни. Болѣе двадцати лѣтъ эта дворня оставалась безъ всякаго дѣла, даромъ жила, кормилась и плодилась. Успѣло за это время вырости новое поколѣніе, никогда не выдавшее большого барскаго дома отпертымъ и жилымъ. У этого поколѣнія уже сложилась легенда о прежнихъ барахъ, баринѣ Борисѣ Сергѣевичѣ, живущемъ гдѣ то за тридцать земель. Этого барина ждали, но какъ тридцать лѣтъ тому назадъ, такъ и теперь срокъ его пріѣзда казался неопредѣленнымъ и далекимъ, до того неопредѣленнымъ и далекимъ, что баринъ уже давно превратился въ какое то сказочное существо.

Знаменскихъ господъ иногда видали. Изрѣдка, разъ въ лѣто, они наѣзжали въ Горбатовское. Тогда старый ключникъ, Петръ Сидоровичъ, отпиралъ домъ и водилъ баръ по безчисленнымъ комнатамъ, толкуя о томъ, что онъ содержитъ все въ исправности, что ни одна вещичка не пропала въ домѣ и все на своемъ мѣстѣ.

Дворня выглядывала изъ всѣхъ щелей на нарядныхъ господъ и затѣмъ, когда они уѣзжали, долго шли о нихъ разговоры.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, уже послѣ смерти Владиміра Сергѣевича, случилось слѣдующее происшествіе: наѣхали знаменскіе господа, а съ ними ихъ матушка изъ чужихъ краевъ, барыня Катерина Михайловна. Ее горбатовская дворня хорошо знала, — знала и недолюбливала. Тѣмъ не менѣе всѣ старые дворовые сочли своимъ долгомъ выйти къ барынѣ Катеринѣ Михайловнѣ, чуть не земно ей поклониться и приложиться къ ея ручкѣ.

Охъ, ужъ и измѣнилась же она! Ее помнили такой молоденькой, легкой какъ птичка — теперь уже не то. Но она такая же щеголиха и голосъ у нея такой же властный, и глазами она такъ же поводитьъ.

Катерина Михайловна приказала вести себя въ домъ, первымъ же дѣломъ напустилась на ключника, что пыли много, а затѣмъ позвала своихъ людей, пріѣхавшихъ съ господами изъ Знаменскаго, и начала отбирать многія дорогія барскія вещи.

Только и слышно было:

— Вотъ это укладывайте! Вотъ это!..

„Какъ же такъ?! вѣдь домъ то — Бориса Сергѣевича, а не Катерины Михайловны, и онъ долженъ барское добро беречь пуще глаза, и никому, какъ есть никому, не давать къ нему и прикоснуться. Какъ же это, не разъ наѣзжали молодые господа, бариновы племянники и никогда то ни одну вещь не тронули... Замѣчалъ онъ, что на многое у нихъ глаза разбѣгаются, стоятъ, поговариваютъ, разглядываютъ, а до сей поры все же ничего не взяли. Такъ что же это?!“

Онъ было заикнулся Катеринѣ Михайловнѣ о томъ, что онъ баринова распоряженія на счетъ вещей не получалъ. Можетъ управляющій, Кузьма Захарычъ, чтó знаетъ, такъ пусть ужъ барыня дозволить ему спросить Кузьму Захарыча.

Какъ закричить на него Катерина Михайловна:

„Какой тамъ еще Кузьма Захарычъ! мои это вещи и я за ними пріѣхала... А ты — дерзкій грубіанъ, скотъ...“

И не успѣлъ старикъ очнуться, какъ она своей барской ручкой изрядно таки прямо его въ лицо хлопнула.

Старикъ оробѣлъ, отошелъ и грустно смотрѣлъ, какъ чужіе холопы барское добро разбираютъ, да укладываютъ. Побѣждалъ онъ къ управителю докладывать: „Такъ молъ и такъ, есть что ли отъ барина распоряженіе?“

Управитель почесалъ въ затылкѣ.

— Нѣтъ, говорить, никакого распоряженія. А только, что же съ ней подѣлаешь!..

Однако, все же онъ съѣздилъ въ Знаменское къ Катеринѣ Михайловнѣ, переговорилъ съ нею и вернувшись успокоилъ ключника:

— Ея это вещи, и тебѣ, старина, за нихъ отвѣчать не придется. Да она говоритъ, что еще не все свое взяла, еще, молъ, много осталось.

Черезъ нѣсколько времени управитель пошелъ въ домъ, отобралъ нѣсколько цѣнныхъ вещей и сказалъ ключнику, что везетъ ихъ въ Знаменское, барынѣ...

И вдругъ—баринъ пріѣхалъ! Это извѣстіе было такъ неожиданно, такъ невѣроятно, что всѣ сразу оказались ошеломленными будто ударомъ грома.

Да вѣрно ли, какъ тому быть? Какъ это—баринъ пріѣхалъ...

Но въ тонѣ, какимъ передавалось это извѣстіе, заключалось нѣчто такое, что никакъ нельзя было не повѣрить. Всѣ почувствовали это.

Баринъ пріѣхалъ! Что изъ этого будетъ, что теперь со всѣми ими станется, какая жизнь начнется?—эти вопросы не задавались еще, думать то было не

когда, но они инстинктивно возникали въ каждомъ, сказывались въ тревогѣ, изобразившейся на всѣхъ лицахъ.

Не прошло и десяти минутъ, какъ уже не было такого уголка въ обширномъ помѣщеніи горбатовской дворни, гдѣ не произносилось бы на всѣ лады слово: „баринъ“. Не было ни одного человѣка, даже ребенка, который бы не проснулся и не одѣвался поспѣшно.

— Баринъ... баринъ пріѣхалъ! шамкали старики и старухи.

— Баринъ пріѣхалъ, чего дрыхнешь то! — вставай... вставай! будили малыхъ ребятъ, тормошили ихъ, толкали. — Баринъ, баринъ пріѣхалъ!..

Дѣти, испуганныя до полусмерти, подымали ревъ; но матери, при первомъ отчаянномъ звукѣ этого рева, давали имъ колотушку.

— Что ты, аспидъ!.. что ты... нишкни!.. баринъ пріѣхалъ... услышитъ... услышитъ!

И ребенокъ, въ конецъ перепуганный этимъ уже извѣстнымъ, но совсѣмъ непонятнымъ ему и казавшимся страшнымъ словомъ, сдерживалъ свои рыданія, свой крикъ и начиналъ дрожать всѣмъ тѣломъ и прятаться куда ни попало, ожидая близкой, неминуемой гибели.

Но кромѣ дѣтей и подростковъ, дрожавшихъ отъ страху и прятавшихся спросонья по угламъ, всѣ, поспѣшно одѣвшись, спѣшили къ барскому дому. Меняе чѣмъ за полчаса безмолвный, поросшій густою травою дворъ наполнился сотнями человѣческихъ фигуръ, туманно рисовавшихся въ полусумракѣ лѣтняго вечера.

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

Вся эта толпа остановилась въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ барскаго крыльца и не мигая смотрѣла передъ собою на крыльцо, на окна.

А между тѣмъ ничего не было видно—на крыльцѣ никто не показывался, окна попрежнему стояли съ заколоченными ставнями.

Проходили минуты. И вотъ дверь въ барскій домъ отворилась, на крыльцѣ появился управляющій, Кузьма Захарычъ, много лѣтъ бывший неограниченнымъ властителемъ огромной дворни. Этотъ грозный и поразительно важнаго вида человѣкъ лѣтъ пятидесяти, всегда выплывавшій медленно, тяжелой походкой, съ откинутой головою, теперь, чуть кубаремъ не скатился съ крыльца. Онъ подбѣжалъ къ толпѣ и крикнулъ:

— Олухи!.. Ну чего же вы стоите то?!. да идите же, дьяволы, отпирать окна. Ступайте въ домъ, да тише... не топать!..

Толпа дрогнула, потомъ на мгновеніе снова какъ бы застыла. Еще мигъ—и всѣ хлынули къ дому.

Отпирались одна за другою тяжелыя ставни, большая дверь барскаго крыльца стояла настежь и въ нее проходили мужчины и женщины. Черезъ нѣсколько минутъ, пріемная, освѣщенная на-скоро зажженными двумя свѣчками, биткомъ набилась этимъ людомъ. Отсюда была видна огромная зала, вся увѣшанная старинными портретами, погруженная почти въ полный мракъ. Слабое мерцаніе свѣчи, одиноко торчавшей въ старинномъ запыленномъ канделябрѣ, не могло побѣдить этого мрака.

Всѣ замерли, стояли не шелохнувшись и ждали. Прошло, какъ имъ показалось, не мало времени.

Наконецъ, тамъ вдали, въ самомъ концѣ громадной залы, сверкнулъ свѣтъ, хлопнула дверь, по старому мозаиковому паркету гулко раздались шаги... ближе... ближе... Въ залѣ зажглось еще нѣсколько свѣчей, Кузьма Захарычъ подскочилъ къ дверямъ пріемной и отчаянно замахалъ руками:

— Сюда, въ залу, баринъ зоветъ... тише!..

Толпа стала проходить въ залу. Старики и старухи протискивались впередъ, молодые, въ робости и тревогѣ, отставали.

Изъ полумрака выдѣлилась сухошавая небольшая фигура съ длинной, бѣлой и блестящей какъ серебро бородой.

— Баринъ... баринъ!! раздался въ толпѣ глухой восторженный шепотъ.

Послышались всхлипыванія. Все смѣшалось. Старики и старухи со всѣхъ сторонъ обступили Бориса Сергѣевича, падали передъ нимъ, цѣловали ему ноги, причитывали:

— Красное наше солнышко, свѣтикъ нашъ ненаглядный!.. Нечаяли мы тебя видѣть!.. Слава тебѣ Господи... Эхъ, батюшка, батюшка—да и не узнать тебя—уѣзжалъ ты молоденькій, а вернулся то старенькій!..

— Да, старенькій вернулся! повторялъ онъ взволнованнымъ голосомъ, поднимая и обнимая старыхъ слугъ.— Много времени... вотъ и вы не помолодѣли. А дай ка — узнавать стану... Петръ!.. Марья... Акулина... здравствуйте!..

Онъ всматривался, называлъ всѣхъ этихъ стариковъ и старухъ по именамъ.

— Батюшка, золотой, насъ не забудь, помнись!
восторженно, умиленно шептали кругомъ, снова
ловя его руки, припадая къ его платью.

Въ первую минуту онъ было сталъ отнимать свои
руки, не давалъ цѣловать ихъ, но тотчасъ же по-
нялъ и почувствовалъ, что это фальшь, что это без-
смыслица, что это обида—и уже не отнималъ боль-
ше рукъ, и отдавалъ себя всего поцѣлуямъ. Широ-
кое, давно, давно неизвѣданное имъ чувство охва-
тило его и онъ каждого и каждую обнималъ и цѣ-
ловалъ громко и крѣпко, отъ всего сердца. Онъ
любилъ въ эту минуту всѣ эти сморщенные старыя
лица, всѣхъ этихъ дряхлыхъ и бодрыхъ людей, про-
питанныхъ запахомъ тѣснаго жилья и кухни.

Наконецъ онъ перецѣловалъ всѣхъ стариковъ и
старухъ и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Во-
кругъ него уже были совсѣмъ незнакомыя лица,
глядѣвшія на него смущенно и изумленно. На нѣко-
торыхъ изъ нихъ онъ прочелъ даже страхъ. И эти
тоже всѣ стали подходить къ его ручьямъ. Но теперь
ему это было непріятно и неловко. Онъ положилъ
руки въ карманы и началъ кланяться на всѣ сто-
роны.

— Здравствуйте, здравствуйте! повторялъ онъ.

Его взглядъ поднялся выше и скользнулъ по вы-
ступавшимъ изъ мрака старымъ портретамъ. Онъ
окинулъ взоромъ эту огромную залу съ двойнымъ
свѣтомъ, хорами, глубокимъ потолкомъ, совсѣмъ уже
терявшимся во мракѣ.

Ему стало вдругъ тяжело и тоскливо; онъ почув-
ствовалъ утомленіе...

— Усталъ, спать пора!.. проговорилъ онъ тихо и печально.

Толпа разступилась и онъ медленно, почти шатаясь, пошелъ изъ залы по скрипящему подъ его шагами старому мозаичному паркету.





V.

Дядя и племянникъ.

Плохо спалось въ эту ночь Борису Сергѣевичу. Старое, родовое гнѣздо не успокоило и не согрѣло. А между тѣмъ вѣдь это была та самая комната, въ которой онъ выросъ и гдѣ до сихъ поръ оставались нетронутыми многія его прежнія, дорогія по воспоминаніямъ, вещи.

Но уставшій старикъ, сердце котораго, несмотря на долгую и трудную жизнь и быть можетъ даже именно вслѣдствіе этой жизни, было до сихъ поръ еще молодо, страшился коснуться этихъ окружавшихъ его воспоминаній. Онъ чувствовалъ, что стоить только допустить ихъ до себя — и они имъ совсѣмъ овладѣютъ. Онъ напрягалъ всѣ свои силы, боролся съ ними какъ съ врагами изъ простого, инстинктивнаго чувства самосохраненія, потому что ему нужно было прежде все отдохнуть. Онъ

чувствовалъ большую слабость, голова была тяжела, въ виски стучало, лихорадочная дрожь пробѣгала по всѣмъ членамъ. Онъ старался ни о чемъ не думать, звалъ сонъ.

И сонъ наконецъ пришелъ; но не надолго. Съ первыми лучами солнца проснулся Борисъ Сергѣевичъ, всталъ, поспѣшно одѣлся и вышелъ изъ спальни.

Глубокая, жуткая тишина стояла въ огромномъ пустомъ домѣ. Онъ пошелъ знакомой дорогой, отпирая двери, къ которымъ столько лѣтъ не прикасалась рука его. Онъ обходилъ комнату за комнатой.

И эти разнообразныя комнаты, знакомыя до мельчайшихъ подробностей, встрѣчали его своей грустной тишиною, своей атмосферой пустоты и затхлости. Весь домъ производилъ на него впечатлѣніе кладбища. Каждая комната была мавзолеемъ, на которомъ при его приближеніи выступали полустертые буквы знакомаго и дорогого имени.

И блѣдный старикъ спѣшилъ дальше и дальше, не останавливаясь, не вглядываясь, чувствуя только подступающую къ сердцу тоску, съ которой ему хотѣлось упрямо бороться.

Обойдя весь домъ, онъ вышелъ на стеклянную террасу. Дверь была заперта, ключа не оказалось. Борисъ Сергѣевичъ постоялъ минуту, оглядѣлся, растворилъ широкое, составленное изъ разноцвѣтныхъ стеколъ окно, приподвинулся и легкимъ движеніемъ перепрыгнувъ черезъ это окно въ садъ, гдѣ встрѣтило его раннее лѣтнее утро...

Но прогулка не освѣжила и не ободрила. Упря-

мая борьба съ воспоминавіями ни къ чему не привела—они одолѣли, и мы видѣли съ какимъ тяжелымъ сознаніемъ своего одиночества возвращался старикъ съ этой прогулки...

Теперь дверь террасы стояла отпертою и едва Борисъ Сергѣевичъ поднялся по широкимъ ступенямъ, какъ замѣтилъ своего Степана, стоявшаго почти у самой двери и съ жаромъ что-то кому-то объяснявшаго. Кому—еще не было видно. Но мигъ—и Борисъ Сергѣевичъ различилъ высокую, широкоплечую фигуру щегольски одѣтаго въ не то утренній, не то охотничій костюмъ молодого человѣка лѣтъ тридцати съ небольшимъ.

Борисъ Сергѣевичъ остановился, взглянулся и вдругъ у него шибко забилося сердце. Глаза его блеснули — и новымъ чувствомъ, именно тѣмъ чувствомъ, отсутствіе котораго такъ его тяготило, вдругъ пахнуло на него.

— Сергѣй!! тревожно, смущенно и въ тоже время радостно проговорилъ онъ и протянулъ передъ собою руки.

Молодой человѣкъ бросился къ нему. Они обнялись.

— Дядюшка; хорошо ли это, не дать знать... началъ было племянникъ неизбежную, требовавшуюся приличіями фразу, но тутъ же и замолчалъ, видя, что дядя его не слушаетъ.

Да, онъ не слушалъ, онъ не могъ слышать. Отстраняя отъ себя племянника и снова его къ себѣ привлекая, онъ жадно вглядывался въ красивое, открытое, хотя и не отличавшееся правильностью очертаній лицо молодого человѣка.

Ему казалось, что это лицо ежесекундно передь нимъ мѣняется. Вотъ сейчасъ онъ узналъ въ немъ своего отца, узнаетъ брата, теперь вотъ узнаетъ мать... Ея... ея улыбка!.. Вотъ она какъ живая!.. Еще мигъ—и онъ видитъ передь собою самого себя въ старыя годы...

„На всѣхъ похожъ!.. Нашъ... мой... родной!“ Безсознательно, въ полузабытій шепталъ онъ и снова привлекалъ къ себѣ племянника, и снова горячо цѣловалъ его и чувствовалъ какъ все шире и шире поднимается въ сердцѣ теплое, отрадное чувство.

Степанъ, въ своемъ длиннополомъ бутылочнаго цвѣта сюртукѣ, съ узкими, нѣсколько короткими рукавами, въ огромномъ клѣтчатомъ платкѣ, обмотанномъ вокругъ длинной худой шеи, стоялъ не шевелясь. Гладко выбритое лицо его, съ крупнымъ носомъ, маленькими свѣтлыми глазами и большимъ лысымъ лбомъ, все свѣтилось радушной улыбкой.

— Такъ какъ же это ты, какъ узналъ о томъ, что я здѣсь?—Наконецъ, приходя въ себя и все продолжая крѣпко сжимать руки племянника, проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Я это, сударь, съ вечера еще распорядился,—сказалъ Степанъ,—послалъ въ Знаменское. Вотъ и теперь Сергѣю Владиміровичу докладываю: дяденька-то, молъ, у насъ чудакъ, какимъ съизмальства былъ—такимъ и остался... Бывало вѣчно никому не сказавшись какъ свѣгъ на голову нагрянеть... такъ вотъ и теперь. А Сергѣй Владиміровичъ на меня не въ обидѣ, что я отъ себя распорядился...

— Какой въ обидѣ, большое тебѣ спасибо, любезный! громкимъ, звонкимъ голосомъ сказалъ моло-

дой Горбатовъ съ изумленіемъ и весело поглядывая то на дядю, то на Степана.

Конечно онъ не сталъ объяснять какое впечатлѣніе въ Знаменскомъ произвело посольство Степана. А дѣло было вотъ какъ. Совсѣмъ уже ночью прискакалъ запыхавшись изъ Горбатовскаго гонецъ съ извѣстіемъ о приѣздѣ барина. Всѣ уже въ Знаменскомъ разошлись по своимъ комнатамъ и даже погасили свѣчи. Не ложилась еще только Катерина Михайловна; она, по старой привычкѣ, засыпала и вставала очень поздно. Когда ей доложили о гонцѣ, она видимо нѣсколько встревожилась и приказала призвать его къ себѣ. Горбатовскій дворовый вошелъ въ горницу къ баринѣ съ большою робостью—Катерину Михайловну всѣ горбатовскіе, хотя и рѣдко видали, но почему то ужасно боялись.

— Когда приѣхалъ? строгимъ тономъ спросила она.

— Да ужь совсѣмъ вечеромъ, ваше превосходительство,—отвѣтилъ посланный, вся фигура котораго выражала не то перепугъ, не то крайнее изумленіе.

— Что же письмо есть ко мнѣ или къ молодому барину?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Такъ значитъ на словахъ что сказать приказано!? Да кто тебя послалъ? самъ баринъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, баринъ надо полагать започивать изволили, а это Степанъ Трофимычъ мнѣ наказали: ступай, молъ, сейчасъ верхомъ въ Знаменское и доложи господамъ, что баринъ приѣхалъ—только и всего... Я мигомъ и поскакалъ...

Катерина Михайловна сразу не сообразила.

— Какой еще тамъ Степанъ Трофимычъ!?

Гонецъ совсѣмъ растерялся.

— Да Степанъ Трофимычъ... ихній... барскій... съ бариномъ онъ прѣѣхалъ... нашъ, горбатовскій...

— А!! презрительно протянула Катерина Михайловна и махнула рукой.—Хорошо... ступай...

Посланный низко поклонился и вышелъ.

Она осталась одна и нѣсколько мгновений сидѣла неподвижно, кусая губы и обдумывая что-то. Потомъ она прошла въ комнаты, которыя занималъ ея старшій сынъ съ женою.

Все было тихо. Но изъ полуотворенной двери кабинета Сергѣя Владиміровича пробилась полоска свѣта. Катерина Михайловна заглянула — ея сынъ сидѣлъ у открытаго окна въ накинутаго на одно плечо шелковомъ халатѣ и курилъ сигару.

— Ты еще не спишь, мой другъ?.. могу я войти? спросила Катерина Михайловна.

Онъ обернулся, съ изумленіемъ взглянулъ на нее.

— Какъ видите — еще не сплю, тамап... войдите... Въ спальнѣ такая духота, а Наташа боится все сквознаго вѣтра, запираетъ окна... Къ тому же у меня, вотъ уже третій день, бессонница — не спится да и только! скука такая, что просто съ ума сойти можно... Вамъ что нибудь угодно, тамап?..

Она подошла къ нему, присѣла рядомъ съ нимъ.

— Ты говоришь: скука! а я къ тебѣ съ новостью, mon cher: будетъ и развлеченіе — дядя прѣѣхалъ!

Она передала свой разговоръ съ горбатовскимъ посланнымъ.

Сергѣй выбросилъ за окно сигару, запахнулъ халатъ на своей широкой, богатырской груди и добро-

душно усмѣхнулся. Когда онъ такъ усмѣхался—его худощавое, съ нѣскольکو выдающимся скулами, тонкимъ носомъ и свѣтлыми, часто моргавшими глазами, лицо дѣлалось удивительно привлекательнымъ. Онъ еще усмѣхнулся и наконецъ проговорилъ:

— Гм... дядя пріѣхалъ!.. вѣдь онъ и долженъ былъ пріѣхать...

— Но ты замѣть, перебила его Катерина Михайловна,—замѣть каковъ! если ужъ заранѣе не могъ написать, то хоть бы ужъ теперь прислалъ два слова,—а то вѣдь это его лакей распорядился извѣстить насъ...

— Ну такъ что же?! все равно! равнодушно произнесъ Сергѣй.—Можетъ онъ насъ совсѣмъ и знать не захочетъ и не пріѣдетъ...

Катерина Михайловна нетерпѣливо передвинулась на креслѣ.

— Нѣтъ, этого нельзя... такъ нельзя, mon cher!.. я тебя очень прошу пораньше утормъ къ нему съѣздить.

Сергѣй поморщился.

— Увольте, тамап! Въ самомъ дѣлѣ—вѣдь онъ можетъ быть не хочетъ — зачѣмъ же мнѣ навязываться... подлизываться!..

— Пустое, пустое, мой другъ! онъ старшій въ семьѣ, ты его крестникъ... ты непременно долженъ поѣхать... у него странности, я не знаю какимъ онъ сталъ теперь... но вѣдь ему многое надо прощать... и повѣрь—никто тебя не осудитъ—напротивъ, всякій пойметъ, оцѣнитъ... c'est un vieillard... un homme malheureux après tout!..

Она стала уговаривать и скоро достигла цѣли.

Сергѣя уговорить было не трудно, особенно ей—она еще не такъ давно сумѣла уговорить его вторично жениться, когда онъ вовсе и не помышлялъ о женитьбѣ. Ему теперь просто надоѣлъ этотъ разговоръ, упрашиванія, объясненія, ему наконецъ захотѣлось спать—и онъ далъ ей слово рано утромъ отправиться въ Горбатовское.

Онъ сдержалъ свое слово, но нельзя сказать чтобы съ особеннымъ удовольствіемъ дожидаясь возвращенія дяди съ прогулки. Ждать ему однако пришлось не долго, да къ тому же Степанъ заинтересовалъ его. Этотъ смѣшной старикъ, этотъ „сибирскій тюлень“, какъ почему-то про себя уже называлъ его Сергѣй, встрѣтилъ его какъ родного, мало того—встрѣтилъ какъ малаго ребенка, заговорилъ съ нимъ какимъ-то ободряющимъ, покровительственнымъ и нѣжнымъ тономъ. И въ то же время этотъ тонъ былъ такъ естественъ и добродушенъ, что Сергѣй никакъ не могъ возмутиться отъ подобной фамиллярности со стороны крѣпостного человѣка.

Но вотъ появился дядя и оказался совсѣмъ не такимъ, какимъ его представлялъ себѣ племянникъ. Между ними, при первомъ объятіи, пробѣжала какъ будто электрическая искра, и Сергѣй, къ изумленію своему, почувствовалъ, что этотъ маленькій, красивый старикъ, всегда такой далекій, такой чужой—ему близокъ, что его влечетъ къ нему, что ему пріятно встрѣчаться съ нимъ глазами и чувствовать въ своей широкой, костлявой рукѣ его маленькую и дрожащую теперь отъ волненія руку.

— Эхъ ма! да чего же я стою! вдругъ спохватился Степанъ.—Батюшка, Борисъ Сергѣичъ, чай

вѣдь отошали! самоваръ давно ужъ на столѣ, да и позавтракать готово... Пожалуйте!..

Онъ немного согнулся и жестаи любезно приглашалъ въ домъ, какъ радушный хозяинъ.

Борисъ Сергѣевичъ взялъ племянника подъ руку и повелъ его въ большую столовую, гдѣ широкія окна стояли настежь, наполняя всю комнату душистой свѣжестью и лучами солнца.

Степанъ исчезъ, но тотчасъ же и вернулся, а вслѣдъ за нимъ появились два человѣка съ завтракомъ.

— Пожалуйте, пожалуйста вотъ сюда! подлигая стулья и приглашая садиться суетился Степанъ.

Дядя и племянникъ сѣли. Тогда Степанъ сталъ хозяйничать около самовара, разлилъ чай. И все это онъ дѣлалъ съ пріемами привычной хозяйки. Онъ ворчалъ сквозь зубы, что самоваръ плохо вычищенъ, что и подать то господамъ не сумѣли какъ слѣдуетъ деревенскіе олухи.

— Ну чего стоите!.. да перемѣните же тарелки! скорѣе, живо! — распоряжался онъ.

Молодой Горбатовъ былъ увѣренъ, что этотъ „хозяинъ“ сейчасъ же сядетъ рядомъ съ ними и примется пить чай и завтракать. Степанъ однако этого не сдѣлалъ. Онъ продолжалъ разливать чай, угощать, суетиться, распоряжаться; но самъ ни къ чему не прикоснулся и на минуту не присѣлъ.

Тѣмъ временемъ Борисъ Сергѣевичъ видимо успокоился. Волненіе его улеглось и онъ началъ разспрашивать племянника.

— Да, чудно, чудно какъ подумаешь, говорилъ онъ со своей тихой улыбкой, — вѣдь я тебя оставилъ

крошечнымъ мальчикомъ и съ тѣхъ поръ, думая о тебѣ, такъ все и представлялъ тебя себѣ барахтающимся и пускающимъ губами пузыри карапузомъ! а вотъ ты какой огромный, не въ дѣда, не въ меня, а въ отца... но, впрочемъ, и онъ былъ гораздо меньше ростомъ... вотъ ты какой, мой мальчикъ!..

— Хорошъ мальчикъ! усмѣхнулся Сергѣй.—Старикомъ я уже становлюсь, дядюшка, по утрамъ то и дѣло сѣдые волосы выщипываю.

— Раненько, другъ мой!..

— Что за раненько, четвертый десятокъ вѣдь уже пошелъ. Вотъ посмотрите моихъ ребятъ, отъ первой жены, совсѣмъ большіе...

— И то правда! качнулъ головою Борисъ Сергѣевичъ.

— Ну, да и пожилъ, не мало было глупостей, теперъ вотъ и сказываются.

Дядя тревожно взглянулъ на него.

— Какъ же такъ: не мало глупостей!—вѣдь ты женился еще почти мальчикомъ, вдовѣлъ не долго—когда же успѣлъ дѣлать эти глупости? Семейная жизнь должна была спасти тебя отъ этого...

— Ахъ Боже мой! одно другому не мѣшаетъ...

И проговоривъ это, Сергѣй улыбнулся такой милой, такой ласкающей улыбкой, что старый дядя замѣтилъ только эту улыбку и за нею не разслышалъ, не понялъ словъ племянника.

— А вотъ, что же это? смотрю я какъ ты одѣтъ: не въ военномъ!..

— Да вѣдь я послѣ войны сейчасъ вышелъ въ отставку...

— Что такъ?

— А надоѣло! Богъ съ ней, съ этой службой! Военное время—другое дѣло. Да теперь новой войны у насъ кажется не предвидится... Повоевали—довольно! дрались—себя не жалѣли... и все же—побиты...

Дрогнувшая, тоскливая нота прозвучала въ голосъ Сергѣя. Но это было только на мгновеніе. Онъ продолжалъ уже совсѣмъ спокойно:

— Нѣтъ, свобода лучше всего. Петербургъ надоѣлъ до тошноты... и здѣсь скучно, да все же не такъ...

— Такъ ты намѣренъ совсѣмъ поселиться въ деревнѣ? Оно дѣйствительно пожалуй лучше, теперь, Богъ дастъ, будетъ и здѣсь много дѣла, и хорошаго дѣла...

— Это вы о чемъ, дядя? о крѣпостныхъ, объ освобожденіи? Я, знаете, этому не вѣрю, это все только разговоры... .

— Ну хорошо, мы объ этомъ поговоримъ послѣ... Что же ты намѣренъ?—въ предводители?

— Да какъ вамъ сказать, если выберутъ—пожалуй; но не надолго, опять вѣдь обуза... И ужъ во всякомъ случаѣ хлопотать я не стану...

Онъ хотѣлъ было сказать дядѣ, что мать хлопочетъ, что она всѣми силами его уговариваетъ и что если онъ до сихъ поръ ей не поддавался, то единственно потому, что имѣетъ въ рукахъ очень вѣское возраженіе: дѣла еще далеко не устроены, не приведены въ ясность, доходовъ мало, а положеніе губернскаго предводителя дворянства потребуетъ большихъ затратъ и такой широкой жизни, какая куда еще немыслима въ Знаменскомъ. Онъ хотѣлъ

сказать это, но воздержался, испугавшись въ разговорѣ съ дядей намека на денежные дѣла. „Боже мой, еще подумаетъ, что я такъ сразу и тянусь къ его деньгамъ!“

Сергѣй даже покраснѣлъ при этой мысли и совсѣмъ замолчалъ.

А Борисъ Сергѣевичъ въ это время очевидно приготавливался задать какой то вопросъ и все не рѣшался. Наконецъ онъ себя пересилилъ и спросилъ какъ то нерѣшительно, опустивъ глаза:

— А что твой братъ?

— Николай! Мы со дня на день ждемъ его въ Знаменское. Онъ все еще въ мундирѣ; но думаю, что тоже не надолго...

— Что онъ — каковъ? Похожи вы другъ на друга?

— Мы?! Сергѣй засмѣялся, — нисколько, то есть, конечно, и между нами находятъ нѣкоторое сходство, но онъ совсѣмъ другой человѣкъ...

— Какой же онъ человѣкъ?

— Хорошій! проговорилъ Сергѣй.

Дядя невольно улыбнулся.

— Ты говоришь это, будто ты то дурной человѣкъ.

— Нѣтъ, это не то... каковъ я, я не знаю, право, никогда объ этомъ не думалъ; но между нами большая, большая разница. Да хотя бы вотъ, скажу его словами: я скучаю, а онъ тоскуетъ. Онъ странный человѣкъ. Съ нимъ трудно сойтись. О немъ почти всегда думаютъ хуже, чѣмъ онъ есть. Ну, да что тутъ говорить, я, знаете, анализировать не умѣю, опредѣлять... Приѣдетъ — увидите, судите... Я скажу

еще только разъ: Николай хорошій человекъ, очень хорошій!..

Дядя и племянникъ еще побесѣдовали съ полчаса и затѣмъ Сергѣй уѣхалъ.

Рѣшено было, что дядя отдохнетъ, осмотрится немного и къ обѣду будетъ въ Знаменскомъ.

Проводивъ племянника и глядя ему вслѣдъ, Борисъ Сергѣевичъ снова, и еще сильнѣе ощутилъ въ себѣ приливъ давно забытаго, живого чувства любви и участія къ родному человеку.

Неизвѣстно откуда взявшійся Степанъ подошелъ и спросилъ радостнымъ голосомъ:

— Ну что, батюшка, какъ нашли племянника?

— Вѣдь я говорилъ, славный вышелъ баринъ нашъ Сереженька?..

— Славный, славный! нѣсколько разъ повторилъ старый дядя возвращаясь въ домъ, который теперь уже не казался ему такимъ мрачнымъ, такимъ пустымъ.

Не все еще умерло, не все еще похоронено, недаромъ онъ рвался сюда. Есть для кого жить!

И со всею силою долготѣней тоски своего одинокаго сердца онъ хватался за эту возможность жить и любить.





VI.

Знаменская хозяйка.

Обширная усадьба села Знаменскаго была теперь уже совсѣмъ не то, чѣмъ была она въ тѣ далекія времена, когда здѣсь безвыѣздно жила послѣдняя княгиня Пересвѣтова со своей единственной дочерью Татьяной Владиміровной. Въ тѣ далекіе годы Знаменскія палаты на всю губернію славилась своей роскошью и затмевали собою сосѣднее Горбатовское.

Но княгиня съ княжной уѣхали и уже не возвращались. Княгиня умерла. Княжна жила въ Гатчинѣ, при дворѣ Павла Петровича. Правда, черезъ нѣсколько лѣтъ въ Знаменскомъ снова было кипѣла жизнь. Княжна Пересвѣтова вышла замужъ за Горбатова, и молодые покинули Петербургъ, съ которымъ не имѣли ничего общаго, переселились въ деревню, стали отдѣлывать и перестраивать за-

ново Горбатовскій домъ, а пова жили въ Знаменскомъ. Но не долго это продолжалось.

Домъ скоро былъ готовъ, на него затратились большія суммы, Горбатовское сдѣлалось по своему богатству чуть не царской резиденціей, а Знаменское стояло въ запустѣніи. Татьяна Владиміровна даже перевезла отсюда всѣ лучшія вещи.

Послѣ смерти старыхъ Горбатовыхъ Знаменское досталось ихъ сыну Владиміру; но онъ кажется ни разу и не заглянулъ сюда. Только теперь, въ самое послѣднее время, владѣльцы стали наѣзжать. Были сдѣланы кой какія необходимыя исправленія, но перестроить заново большой старый домъ, омеблировать и устроить его согласно съ новѣйшими требованіями вкуса и моды, до сихъ поръ не удавалось—ни у Катерины Михайловны, ни у сыновей ея пока не было на это средствъ. Большое приданое второй жены Сергѣя Владиміровича, какъ извѣстно, почти цѣликомъ ушло на уплату старыхъ долговъ и поддержаніе блеска Петербургскаго дома, а ея дяди и тетки, на которыхъ былъ главный расчетъ, умирать до сихъ поръ еще не хотѣли.

Конечно и теперь знаменскій домъ производилъ впечатлѣніе, на немъ лежала печать широкой, богатой старины со всѣми ея тяжелыми и неуклюжими, но все же смѣлыми затѣями. Любитель такой старины пришелъ-бы здѣсь въ восторгъ: XVIII столѣтіе, не подновленное, не поддѣланное глядѣло изъ cadaго угла, изъ убранства каждой комнаты.

Но все же и любитель старины долженъ былъ бы согласиться, что не такъ этотъ старый домъ, какъ теперешняя жизнь въ немъ, уже значительно

указываетъ на упадокъ знаменитой фамилии Горбатовыхъ. Теперешніе представители этой фамилии жили здѣсь уже совсѣмъ не такъ, какъ жило предшествовавшее имъ поколѣніе. Какъ ни великъ былъ домъ, но прежде въ немъ помѣщались только княгиня Пересвѣтова съ княжною, а теперь пришлось въ немъ устроиться двумъ семьямъ, съ дѣтьми, гувернантками и няньками.

Преждѣ княгинѣ и княжнѣ прислуживалъ такой штатъ, что онѣ никакъ не могли всѣхъ запомнить по именамъ,—теперь прислуги было гораздо меньше, хотя, конечно, все же черезчуръ много, больше чѣмъ бы слѣдовало, и прислуга эта была не прежняя — она уже не была такъ вымуштрована, не такъ хорошо содержалась. Однимъ словомъ, прежній, почти царскій, строй жизни мало-по-малу и ни для кого незамѣтно превратился въ строй жизни помѣщичій, все еще широкій, но уже совсѣмъ беспорядочный.

Запутанность денежныхъ дѣлъ семьи была этому не единственной причиной. Главной причиной оказывалось то, что не было настоящей хозяйки, такой хозяйки, какою была княгиня Пересвѣтова, какою была потомъ Татьяна Владиміровна Горбатова. Хозяйкой и руководительницей дома считалась Катерина Михайловна. Поселившись съ сыновьями, она низачто не уступила бы этой роли ихъ женамъ, да онѣ и не добивались спорить съ нею, а между тѣмъ Катерина Михайловна совсѣмъ не была способна хозяйничать.

Выйдя замужъ почти ребенкомъ, она очутилась среди громаднаго горбатовскаго богатства, которымъ

завѣдывали старики, предоставлявшіе ей только право всѣмъ пользоваться. Она даже никогда не задумывалась надъ тѣмъ какъ это все ведется, устраивается и въ Петербургѣ, и въ Горбатовскомъ. Ей представлялось, что все это огромная, сложная машина дѣйствуетъ какъ то сама собою, разъ навсегда заведенная.

И она только наслаждалась жизнью, пока обстоятельства не принудили ее покинуть Петербургъ и уѣхать за границу.

Тамъ, на чужбинѣ, протекла половина ея жизни. Она нигдѣ не могла прочно устроиться. Огромныя суммы, высылаемыя ей изъ Россіи, давали возможность неразсчитывать, и она перекочевывала съ мѣста на мѣсто. То покупала она себѣ палаццо во Флоренціи, проводила въ немъ нѣсколько мѣсяцевъ, потомъ продавала его, конечно съ большимъ для себя убыткомъ. Потомъ поселялась гдѣ нибудь въ хорошенькой виллѣ на *lago di Como* или въ Швейцаріи. Затѣмъ ее влекло въ Парижъ, куда она и спѣшила во слѣдъ за какимъ нибудь новымъ „избранникомъ своего сердца“, нанимала домъ, устраивала себѣ „salon“, заводила блестящіе экипажи, заставляла говорить о себѣ въ продолженіе цѣлой зимы столицу міра—и снова исчезала, на этотъ разъ въ погоню за новыми впечатлѣніями, за новыми удовольствіями и встрѣчами.

Иногда ей приходилось круто—всѣ деньги истрачивались, а экстренныя присылки изъ Россіи почему-то (она никакъ не могла понять: почему) становились затруднительнѣе. Но въ такихъ случаяхъ всегда удавалось въ концѣ концовъ устроиться: кто

нибудь ссужалъ деньги въ долгъ, затѣмъ находилось въ шкатулкахъ не мало очень цѣнныхъ вещей, которыя продавались, а тѣмъ временемъ, послѣ настоятельныхъ писемъ, все же изъ горбатовской конторы высылалась требуемая сумма.

Такъ и прошли долгіе годы. Но вдругъ Катерина Михайловна почувствовала, что устала, что ее уже никуда не тянетъ, что все надоѣло — всѣ эти Севильи, Парижи, lago di Como, Флоренціи... Уже не было интересныхъ встрѣчъ... А тутъ—мужъ убить на войнѣ, сыновья выросли... Можно вернуться въ Россію, въ свой великолѣпный домъ и снова начать прежнюю жизнь, отъ которой она когда-то убѣжала.

Она уже часто вспоминала теперь эту жизнь, давно желала къ ней вернуться, но при мужѣ объ этомъ нечего было и думать. Онъ высылалъ ей огромное содержаніе, но только съ однимъ уговоромъ: чтобы она была какъ можно дальше, чтобы имъ не встрѣчаться.

Она вернулась и на первыхъ порахъ потерпѣла горькое разочарованіе: состояніе разстроено. Но это разочарованіе мало-по-малу сгладилось — Катерина Михайловна, какъ мы видѣли, нашла возможность многое устроить и приготовить посредствомъ вторичной женитьбы старшаго сына. Теперь она зажила новой жизнью: она вдругъ, хоть и по-своему, все же поняла, что она—мать, бабушка, глава семьи.

Это было для нея такъ ново, такъ странно; но это ей нравилось. Кто видѣлъ ее въ послѣдніе годы ея пребыванія за границей—и увидаль бы теперь—

тому трудно было бы узнать ее. Она даже перестала молодиться и покинула всѣ ухватки модной львицы, превратилась въ старуху. Почти совсѣмъ позабывъ въ западной Европѣ русскій языкъ—она теперь вдругъ его вспомнила и, незамѣтно для самой себя, оказалась прирожденной, старой русской „барыней“.

Какъ ни была легкомысленна и безсердечна Катерина Михайловна во всю свою жизнь, но нужно отдать справедливость — въ послѣдніе годы у нея стало изрѣдка являться что-то похожес на упреки совѣсти за эту безпорядочно прожитую жизнь. Конечно эти упреки совѣсти были не особенно мучительны и конечно она находила себѣ всегда оправданіе, обвиняя во всемъ мужа, родныхъ, обстоятельства. Но какъ бы то ни было, по временамъ ей становилось тревожно и тоскливо.

Она очутилась одна, съ недугами и усталостью приближающейся старости, безъ интересовъ, безъ цѣли, безъ значенія. По возвращеніи же къ семейству, наплыли и интересы, и цѣли, и значеніе. Она внезапно выросла въ собственныхъ глазахъ, рѣшила, что она единственная опора и спасительница семьи, что безъ нея всѣ бы пропали.

Она только сожалѣла, что явилась слишкомъ поздно, что уже многого нельзя спасти, что черезчуръ много надѣлано непоправимыхъ глупостей. Прежде всего—ее возмущали сыновья. Не имѣя никогда ни малѣйшаго понятія объ обязанностяхъ матери, оставаясь всю жизнь равнодушной къ дѣтямъ, она, конечно, не была въ состояніи разобрать въ чемъ

виноваты ея дѣти, и въ чемъ виноваты относительно нихъ она и ея покойный мужъ. Она просто была ими недовольна и не разъ называла ихъ про себя дураками.

Оба не сдѣлали никакой карьеры, оба очень рано и глупо женились, безъ всякаго расчета, по прихоти, по глупому мальчишескому капризу.

Жена старшаго сына умерла во-время, не успѣвъ испытать на себѣ всю силу ненависти своей belle-mère. А именно ее то Катерина Михайловна и собиралась особенно ненавидѣть:

„Безприданница! подцѣпила мальчика... и каждый годъ ребенокъ, каждый годъ!..“

Но молодая женщина умерла. Сергѣй Владиміровичъ вторично женился по выбору матери, и съ этой стороны Катерина Михайловна была удовлетворена. Она рѣшила, что спасла сына.

Оставалась другая невѣстка, жена Николая, которая, очевидно, вовсе не желала умирать и очищать дорогу честолюбивымъ планамъ своей свекрови. Положимъ, у жены Николая были передъ Катериной Михайловной оправданія: если она принесла съ собою мало приданого, то все же у нея была надежда въ будущемъ, такъ какъ ея родители были очень стары, а единственный братъ дышалъ на ладанъ, во-вторыхъ, за нѣсколько лѣтъ семейной жизни у нея родился всего одинъ ребенокъ, одинъ сынъ. Эго тоже значило не мало. Но такія оправданія все же оказывались недостаточны, ужъ хоть бы только потому, что не Катерина Михайловна избрала ее для сына, никто даже и не спрашивалъ

тогда ея согласія на этотъ бракъ. И Катерина Михайловна, съ перваго же дня, почувствовала къ невѣсткѣ большую антипатію, не особенно трудилась скрывать эту антипатію и искала всякаго предлога, чтобы такъ или иначе уязвить молодую женщину.

Но и холодное сердце Катерины Михайловны все же запросило подъ старость чего то похожего на привязанность. Еслибы она осталась одинокой, она окружила бы себя какими нибудь собачками, которыхъ бы баловала и закармливала. Теперь собачекъ было не нужно—оказались внучата. Катерина Михайловна выбрала изъ этихъ внучатъ двухъ: единственнаго сына Николая, маленькаго Гришу, и дочь Сергѣя, Соню. Гришу бабушка выбрала потому, что съ перваго же взгляда на него нашла въ немъ съ кѣмъ то сходство, которое, вмѣсто того, чтобы устыдить ее, оказалось ей очень пріятнымъ. Затѣмъ, она начала баловать Гришу, между прочимъ изъ-за того, чтобы удалить его отъ матери, чтобы стать между нимъ и матерью.

Что касается Сони, то бабушка полюбила ее за красоту. Это была дѣйствительно прелестная дѣвочка и, опять-таки, она напоминала старухѣ ея собственное юное, прелестное личико, отъ котораго теперь ничего не осталось, кромѣ, почти забытыхъ въ петербургскомъ свѣтѣ, воспоминаній, да большого портрета, висѣвшаго въ одной изъ гостинныхъ петербургскаго дома. Въ Сонѣ Катерина Михайловна нашла повтореніе себя, она полюбила въ ней себя и принялась баловать дѣвочку самымъ безразсуднымъ, самымъ жестокимъ образомъ.

Къ остальнымъ дѣтямъ бабушка была не только равнодушна, но даже подчасъ и очень несправедлива.

Сознавая свое значеніе для семьи, Катерина Михайловна не ошибалась — значеніе ея уже имѣло самыя разнообразныя послѣдствія.





VII.

Первыя минуты.

Уговоривъ сына сдѣлать первый визитъ пріѣз-
жему, Катерина Михайловна ушла въ свою спаль-
ню, но долго еще не раздѣвалась и не ложилась.
Она то ходила по комнатѣ, то присаживалась къ
столу, подпирая щеку рукой, и долго такъ остава-
лась, неподвижная, будто погруженная въ глубокія
размышленія. Но ощущеній у нея было больше,
чѣмъ размышленій.

Пріѣздъ Бориса Сергѣевича, хотя и ожидаемый
ею, сильно взволновалъ ее. Она не показала своего
волненія передъ сыномъ, но теперь, оставшись одна,
предалась ему.

Дѣло въ томъ, что Борисъ Горбатовъ былъ един-
ственнымъ человѣкомъ, съ которымъ ей не хотѣ-
лось встрѣтиться въ жизни и, въ то же время, онъ
былъ единственнымъ человѣкомъ, который для нея

что нибудь значилъ. Безсознательно, но она уважала этого человѣка, не смотря на то, что не видѣла его многіе годы, что разстались они молодыми, а должны были встрѣтиться уже на свлѣнѣ жизни. Онъ владѣлъ ея тайной, онъ былъ ея врагомъ—чего ожидать отъ этого пріѣзда?

Она представляла себѣ его, съ его взглядами, понятіями... Онъ ни передъ чѣмъ не остановится... А между тѣмъ, нельзя уйти, нельзя избѣжать встрѣчи; напротивъ, надо постараться всѣми силами смягчить его, сдѣлать его безвреднымъ. Но какъ это сдѣлать?

Она не считала Бориса Сергѣевича умнымъ человекомъ. Но вѣдь въ этомъ то вся и бѣда, что онъ не уменъ: съ умнымъ человекомъ она, крайне неумная женщина, могла бы легче справиться, а съ этимъ—нѣтъ!

„Но, Боже мой, вдругъ подумала она,—да вѣдь сколько времени прошло! Все было такъ давно, онъ могъ очень измѣниться, онъ долженъ былъ измѣниться, можетъ быть онъ совсѣмъ другой... Ахъ, что то будетъ завтра?! Что то будетъ?..“

Она понимала только одно, что должна употребить всю свою любезность, всю свою ловкость при этомъ первомъ пріемѣ опаснаго родственника, а въ крайнемъ случаѣ должна разыграть роль глубоко несчастной женщины, искупившей долгими страданіями вину свою.

Мало-по-малу она успокоилась. Какъ благоразумный полководецъ, сознавая всю опасность предстоящей битвы, она себя подбодрила и рассчитала свои силы.

Что касается до Бориса Сергѣевича, то и ему стало очень тяжело, когда онъ въ назначенный часъ поѣхалъ въ Знаменское. Онъ давно уже покончилъ съ прошлымъ, многое забылъ, многое простилъ и объяснилъ себѣ съ тѣмъ спокойствіемъ и безпристрастіемъ, которыя даются человѣку только долгимъ временемъ, годами жизни. Онъ давно примирился съ памятью покойнаго брата. Онъ почти никогда уже не думалъ объ его измѣнѣ, объ его предательствѣ; думая о немъ, онъ старался представлять его себѣ или юношей, съ которымъ онъ былъ такъ близокъ, или героемъ, честно павшимъ въ бою.

Но не смотря на всю тишину, какую ощущалъ теперь въ душѣ своей Борисъ Сергѣевичъ, онъ все же не могъ подавить противнаго чувства, каждый разъ въ немъ поднимавшагося при мысли о Катеринѣ Михайловнѣ. Въ особенности это чувство заговорило въ немъ послѣ встрѣчи съ племянникомъ, когда онъ такъ сильно почувалъ въ себѣ голосъ крови. Онъ готовъ былъ, какъ въ годы юности, негодовать и возмущаться. Онъ многое простилъ этой женщинѣ, простилъ ей свои личныя обиды, простилъ обиды, нанесенныя ею его покойной женѣ; но простить позоръ, нанесенный ихъ старому, честному роду—онъ не могъ.

И вотъ онъ ѣхалъ въ домъ, гдѣ она была хозяйкой, ѣхалъ какъ родной. Онъ сознавалъ, что долженъ подавить свои чувства, долженъ притворяться, играть комедію,—а между тѣмъ, вѣдь онъ никогда не притворялся и никогда не игралъ комедій!..

Полный тоски, съ чувствомъ крайней неловкости

вошелъ онъ въ большую, ярко освѣщенную солнцемъ залу знаменскаго дома. Какая-то сухенькая старушка, съ маленькимъ, блѣднымъ, обвисшимъ личикомъ, съ длинными бѣлками, въ которыхъ ясно обозначалась сѣдина, въ легкомъ, изящномъ лѣтнемъ костюмѣ, задрапированная кружевами, быстро пошла ему навстрѣчу. Онъ остановился и невольно отшатнулся.

Кто же это? Кто эта маленькая старушка?!

— Борисъ, Боже мой, ты ли это?!. проговорила она, пораженная не менѣе его.

Онъ взглянулъ еще разъ, и раздраженіе и непріязнь, съ которыми онъ ожидалъ этой встрѣчи, внезапно исчезли. Это не она, и ничего кромѣ жалости не чувствовалъ онъ къ этой новой, незнакомой ему и все же не чужой старушкѣ.

— Борисъ, намъ трудно узнать другъ друга... тихо прошептала она тоже не прежнимъ голосомъ— и заплакала.

Онъ нагнулся, поцѣловалъ ея маленькую сухую руку.

Первая страшная минута прошла благополучно. Катерина Михайловна почувствовала подъ собою почву.

Она взяла Бориса Сергѣевича подъ руку и повела его дальше.

— Дѣти, дѣти! звала она. Идите скорѣе...

И потомъ, обращаясь къ нему, прибавила:

— Все новое, отъ прежняго только мы съ тобой остались...

Въ это время глаза Бориса Сергѣевича остановились на прелестномъ лицѣ молодой женщины, гля-

дѣвшей на него большими, спокойными черными глазами.

— Nathalie, жена Сергѣя! сказала Катерина Михайловна.

Онъ крѣпко сжалъ руку молодой женщины, отвѣтилъ улыбкой на милую улыбку и оба они невольнымъ движеніемъ приблизились другъ къ другу и крѣпко поцѣловались.

Она указывала на дѣтей:

— Вотъ Соня, вотъ Володя, Маша, Коля.

Дѣдушка цѣловалъ внучатъ и говорилъ:

— Какіе большіе, какіе славные!..

И на душѣ у него становилось хорошо. Онъ видѣлъ, какъ эта милая молодая женщина ласково глядитъ на дѣтей, на дѣтей своего мужа, и какъ дѣти довѣрчиво къ ней жмутся.

Между тѣмъ, Катерина Михайловна, обнявъ хорошенькую Соню, которая, вдругъ отойдя отъ махи, къ ней прильнула и лукаво выглядывала изъ-подъ бабушкиныхъ кружевъ, призывала вниманіе Бориса Сергѣевича:

— Борисъ, вотъ это старшая, моя баловница, бѣдовая дѣвочка, совсѣмъ отъ рукъ отбилась... Да, да, Сонюшка, я говорила тебѣ, что я буду на тебя непременно жаловаться дѣдушкѣ. Да, Борисъ, будь съ ней построже!.. *Est elle gentille, cette mignonne!*? шепнула она ему, но такъ что дѣвочка отлично слышала.

Борисъ Сергѣевичъ погладилъ Соню по розовой щекѣ, но въ то же время ему стало неловко. Чувство жалости, въ первую минуту вызванное въ немъ пе-

ремѣнной, найденной имъ въ Катеринѣ Михайловнѣ, пропадало.

Катерина Михайловна промахнулась и, вдобавокъ, не замѣтила этого.

Вдругъ, возлѣ Бориса Сергѣевича очутился толстенѣйшій, нарядный, завитой мелкимъ барашкомъ мальчикъ. Онъ смѣло, съ откровеннымъ, дѣтскимъ любопытствомъ уставился на него большими черными глазенками и ловко расшаркался.

— А это вотъ другой баловень—Гриша! говорила Катерина Михайловна.

Борисъ Сергѣевичъ поцѣловалъ ребенка. У него защемило сердце. Онъ взглянулъ на Катерину Михайловну вдругъ блеснувшими глазами, но она выдержала его взглядъ. Она спокойна указывала ему на медленно входившую въ комнату молодую женщину:

— C'est Marie!

Онъ пошелъ навстрѣчу этой Marie и невольно подумалъ:

„Какая разница!“

Онъ сравнивалъ ее съ женою Сергѣя. Какъ къ той сразу повлекло его сердце, такъ эта сразу же произвела на него непріятное впечатлѣніе. А между тѣмъ что же можно было сказать противъ нея! Мари, жена Николая Горбатова, была еще очень молода—лѣтъ двадцати шести, не болѣе, высокаго роста, полная блондинка, съ правильными, хотя нѣсколько крупными чертами. Она была къ лицу одѣта и причесана. Она вошла, очевидно, не спѣша, совсѣмъ спокойно; привѣтствовала почтеннаго родственника, котораго видѣла въ первый разъ, любезной фразой.

Она сказала, что давно, давно хотѣла съ нимъ познакомиться и узнать его, крѣпко сжала своей полной бѣлой рукой его руку.

Все это было прилично, хорошо; рѣшительно не къ чему было придрасться. Но Бориса Сергѣевича не потянуло обнять и поцѣловать эту молодую женщину, какъ онъ сдѣлалъ здороваясь съ Натали. Да и еслибъ онъ вздумалъ обнять и поцѣловать ее, то это вышло бы крайне неловко,—это навѣрное изумило бы ее, да пожалуй и всѣхъ.

Скоро появился Сергѣй, огромный, съ длинными ногами, со своими большими, жилистыми руками, и не смотря на это, изящный въ каждомъ движеніи, одѣтый, видимо, съ большой тщательностью и обдуманностью.

Онъ улыбался во всѣ стороны широкой, добродушной улыбкой, щурилъ глаза, обращался съ дядей какъ будто всю жизнь съ нимъ не разставался. Дѣти тотчасъ же обступили его. Одного онъ подхватилъ подмышку, другого—подъ другую, поболталъ ихъ въ воздухъ, съ третьимъ повертѣлся и наконецъ приерикнулъ на нихъ:

— Брысь! довольно! надоѣли!..

Онъ смѣялся, дѣти смѣялись и, глядя на нихъ, слыша этотъ смѣхъ, хорошо становилось Борису Сергѣевичу.

— Какая у тебя жена, улучшивъ удобную минуту, шепнулъ онъ племяннику.

— А что, дядя?

— Хороша! Да не собой только, понимаешь... очень хороша!

Сергѣй прищурился.

— Тѣмъ лучше, если нравится, проговорилъ онъ, —
впрочемъ, она всѣмъ нравится, — Наташа!

— А тебѣ, можетъ, не нравится?

— Нѣтъ, и мнѣ нравится, только... — онъ вдругъ
сдѣлался какъ бы серьезнѣе, — только она, кажется,
слишкомъ хороша для меня...

Въ это время по всему дому послышался звонокъ
и Катерина Михайловна, подойдя къ почетному
гостю, повела его въ столовую.

За большимъ столомъ размѣстилось не мало на-
роду. Тутъ оказался гувернеръ мальчиковъ, блѣдный
молодой французъ, съ выведенными въ струнку уси-
ками и почти совсѣмъ бѣлой эспаньолкой. Двѣ гу-
вернантки, одна изъ нихъ пожилая и степеннаго вида
дама, вдова-англичанка. Она носила историческую
фамилію — называлась мистриссъ Стюартъ, держала
себя какъ театральная королева; но въ сущности
была просто-на-просто очень скучная и молчаливая
дама. Катерина Михайловна выписала ее изъ Англіи
по какой то особой рекомендаціи и была увѣрена,
что только она и въ состояніи дать дѣтямъ „на-
стоящее“ воспитаніе. Мистриссъ Стюартъ пользова-
лась особымъ положеніемъ въ домѣ, имѣла свое от-
дѣльное помѣщеніе, вставала поздно, выходила изъ
своей спальни только къ завтраку, давала дѣтямъ
урокъ англійскаго языка и затѣмъ — считала себя въ
правѣ совсѣмъ не заниматься ими. Другая гувер-
нантка, молоденькая, съ задорнымъ, свѣжимъ личи-
комъ и быстрыми, быстрыми, довольно смѣлыми гла-
зами, была русская, бѣдная дворяночка, Ольга Пе-
тровна Ежова. Она недавно окончила курсъ въ Але-
ксандровскомъ отдѣленіи Смольнаго института и

была взята въ помощь мистриссъ Стюартъ. Вся возня съ дѣвочками лежала на ней. Дѣти ее, очевидно, любили и дружески называли „Лили“.

Затѣмъ было еще два сосѣда, очень незначительнаго и скромнаго вида, которыхъ представили Борису Сергѣевичу, и цѣлыхъ четыре старушки, что то въ родѣ приживалокъ, что то въ родѣ послѣдняго воспоминанія о прежней барской жизни.

Обѣдъ обильный, разнообразный, но нѣсколько безалаберный, проходилъ оживленно. Незамѣтно было никакой чинности, никакого стѣсненія, которыя въ прежнія времена такъ свято соблюдались въ домахъ, подобныхъ дому Горбатовыхъ.

Сергѣй громко смѣялся, подшучивая надъ старушками-приживалками, заигрывая съ дѣтьми и разати въ теченіе обѣда пустилъ хлѣбные шарики по направленію хорошенькой „Лили“. Шарики каждый разъ достигали назначенія. Гувернантка укоризненно поднимала свои блестящіе глазки на Сергѣя, немножко краснѣла, поеживалась, но видимо смущалась очень мало.

Борисъ Сергѣевичъ, сидѣвшій между Катериной Михайловной и Натали, не замѣтилъ этихъ подробностей, онъ съ трудомъ вслушивался въ то, что говорила ему Катерина Михайловна, для того чтобы впопадъ отвѣчать ей, и съ большимъ интересомъ всматривался въ свою другую сосѣдку. Ему все въ ней нравилось: вся ея небольшая стройная фигура, гладко и просто зачесанные густые черные волосы, длинные рѣсницы темныхъ глазъ, тонкій хотя и неправильный профиль, мягкая добрая улыбка, звукъ голоса.

Отъ всего ея граціознаго, милаго существа вѣяло на стараго, уставшаго человѣка чѣмъ то далекимъ, чѣмъ то безконечно милымъ и давно похороненнымъ. Онъ искалъ въ ней сходства съ единственной женщиной, которую страстно любилъ въ жизни, и находилъ въ ней это сходство каждую минуту — не въ чертахъ, не во внѣшности, но въ чемъ то неуловимомъ, въ чемъ то внутреннемъ, что несравненно важнѣе всякой внѣшности. Да, рѣшительно эта милая сосѣдка напоминала ему его Нину...

Обѣдъ былъ конченъ. Дѣти разсыпались съ шумомъ во всѣ стороны. Сергѣй, нѣсколько раскраснѣвшійся отъ достаточнаго количества выпитаго имъ вина, зашагалъ черезъ всю комнату, шепнулъ мимоходомъ что то такое хорошенькой гувернантѣ, вѣрно забавное, потому что она такъ и покатилась со смѣху. Потомъ подошелъ къ своей женѣ, разговаривавшей съ Борисомъ Сергѣевичемъ, нагнулся къ ней и поцѣловалъ ее въ лобъ.

Борисъ Сергѣевичъ не спускалъ съ нея глазъ. Она взглянула на мужа, но ничѣмъ не отвѣтила на поцѣлуй его, не улыбнулась ему, лицо ея оставалось спокойнымъ, глаза ничего не сказали и она продолжала начатый разговоръ.

Борисъ Сергѣевичъ почувствовалъ какъ будто тревогу.

Что это значитъ?! Неужели, неужели она его не любитъ? Но нѣтъ, этого быть не можетъ, это пустое!..

Собирались на прогулку, жаръ давно спалъ, солнце стояло низко, старый знаменскій паркъ манилъ въ свои влажныя, зеленыя объятія.

Старикъ предложилъ руку Наташѣ. Она крѣпко, доверчиво оперлась на эту руку и они, спустившись со ступеней балкона, пошли вдоль широкой прямой аллеи, обсаженной могучими вѣковыми дубами.

— Ma foi, дядя кажется начинаетъ ухаживать за Наташей! весело говорилъ Сергѣй обращаясь къ матери и Мари.

— Ну, это не опасно, замѣтила Мари — беря его подъ руку и улыбаясь ничего не выразившей улыбкой.

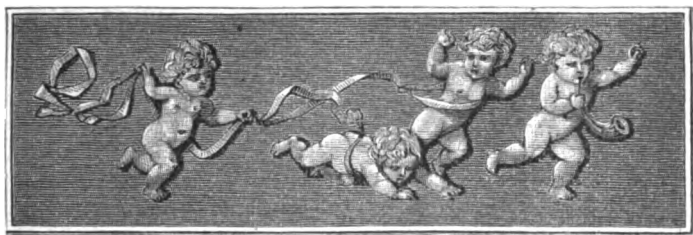
— Помилуй, какъ не опасно! Да посмотри на него—вѣдь онъ совсѣмъ красавецъ со своей серебряной бородой!

А Катерина Михайловна думала:

„Кажется все хорошо, кажется онъ поумнѣлъ, пора бы—совсѣмъ вѣдь старикъ!.. неужели и я такъ постарѣла?!“

Она глубоко вздохнула.





VIII.

„Большіе“ и „маленькіе“.

Борись Сергѣевичъ уже поздно вечеромъ возвращался въ Горбатовское. Старинная тяжелая коляска, запряженная тройкой крѣпкихъ деревенскихъ лошадей, слегка покачивала его по мягкой дорогѣ. Дорога эта шла у опушки лѣса. Съ одной стороны въ тихомъ сумракѣ лѣтней ночи поднималась неподвижная, таинственная чаща вѣковыхъ деревьевъ; съ другой — терялись во мглѣ засѣянные поля. На блѣдномъ небѣ едва видно трепетали звѣзды и далекій край небосклона уже медленно загорался зарей.

Тишина вокругъ стояла такая, что даже странно становилось, казалось все замерло, застыло, окаменѣло, даже дорога не пылила подъ копытами лошадей и колесами коляски. И почти такъ же тихо, какъ въ этой застывшей природѣ, было на душѣ у

Бориса Сергѣевича. Но то не была тишина старческой усталости, которую иногда онъ уже начиналъ чувствовать въ послѣдніе годы. Нѣтъ, то была новая, спокойная тишина — и въ ней все же чувствовалось бѣніе жизни. Одиному старому челоѣку, давно позабывшему всѣ семейныя радости, теперь снова истекшій день посулилъ эти радости.

Борисъ Сергѣевичъ окунулся въ потокъ жизни, такъ или иначе, но все же бывшей ключемъ въ знаменскомъ домѣ и, окунувшись въ него, онъ почувствовалъ, что можетъ приобщиться къ этой жизни и самъ, что найдется въ ней и для него мѣсто.

Онъ уѣхалъ изъ Знаменскаго не только безъ того тягостнаго ощущенія, съ какимъ туда отправился, но этотъ день оказался для него большимъ праздникомъ. Воспоминанія дѣтства и юности, отъ которыхъ челоѣкъ никогда не можетъ совсѣмъ отдѣлаться, наполняли его. Знаменское, — вѣдь это была та жизнь, по которой онъ и сознательно и безсознательно тосковалъ въ Сибири, среди совсѣмъ иной обстановки. И ему теперь было такъ отрадно, что даже не смущала ужъ его мысль о Катеринѣ Михайловнѣ, хотя онъ и признавалъ, что не будь ея въ знаменскомъ домѣ, — тамъ было бы еще лучше.

„Богъ съ ней, Богъ съ ней!“ шепталъ онъ.

Онъ думалъ о Сергѣѣ, онъ полюбилъ его въ одинъ день какъ родного сына; думалъ объ его милой Наташѣ, о славныхъ дѣтяхъ. Но вотъ пришлось подумать и о Мари. Она ему рѣшительно не нравилась, она ему казалась теперь еще болѣе непріятной, чѣмъ даже показалась въ первую минуту.

Но онъ остановилъ себя:

„Быть можетъ я пристрастенъ, нужно отъ этого отдѣлаться, нужно быть справедливымъ! Чѣмъ же, наконецъ, они то виноваты!“

И все же онъ не могъ отдѣлаться отъ невольнаго враждебнаго чувства, которое вызвала въ немъ жена Николая и ея завитой и румяный, черноглазый Гриша. И еще менѣе того онъ могъ отдѣлаться отъ враждебнаго чувства, вызывавшагося въ немъ каждый разъ, когда онъ думалъ о Николаѣ.

„Какъ хорошо, что его нѣтъ, что онъ еще не пріѣхалъ, что, по крайней мѣрѣ, этого перваго дня онъ не испортилъ“.

И бѣдный Борисъ Сергѣевичъ уже даже и ловилъ себя на такихъ дурныхъ, несправедливыхъ мысляхъ.

Мало-по-малу покачиванье коляски и окрестная тишина стали усыплять его. Онъ задремалъ и очнулся только у воротъ горбатовскаго дома.

Въ Знаменскомъ появленіе Бориса Сергѣевича произвело большое впечатлѣніе. Даже дѣти были имъ сильно заинтересованы. Еще во время послѣобѣденной прогулки дѣти оживленно и таинственно толковали о новомъ дѣдушкѣ. Соня, Володя, Маша и Гриша чуть было даже не поссорились изъ-за этого новаго дѣдушки. Машѣ и Гришѣ онъ не понравился, а Соня и Володя были отъ него въ восторгѣ.

— У него такое доброе, красивое лицо, говорила Соня, дѣвочка очень живая, одаренная пылкимъ воображеніемъ. — Я вотъ его точно, точно такимъ

и представляла себѣ, даже во снѣ его такимъ видѣла...

— Вотъ и выдумываешь! замѣтилъ Гриша,—сама ты мнѣ рассказывала, что онъ тебѣ приснился съдой, съ длинной бородой и большой, большой.

— Ну такъ что-жъ такое, онъ точно такой и есть.

— Какъ? большой?!

— Да, съ длинной съдой бородой, такой точно! настойчиво твердила Соня.

Гриша презрительно пожалъ плечами.

— Да, большой, нечего сказать! дядя Сережа вдвое его больше... и вѣдь извѣстно, что ты, Соня, лгунья!

Онъ ей высунулъ языкъ и сдѣлалъ грамасу.

Соня вспыхнула.

— Ты самъ лгунъ и я бабушкѣ пожалуюсь, что ты дразнишься и гримасничаешь! начиная уже всхлипывать, пропищала она.

— Да вѣдь это правда, Соня, вступилась Маша, здоровая дѣвочка, далеко не такъ красивая какъ сестра, но все же съ очень милымъ и задорнымъ личикомъ.—Вѣдь это правда! ты сама намъ всѣмъ рассказывала, говорила: „большой, большой!“ а онъ маленькій...

— Я съ тобой совсѣмъ даже и не говорю! окончательно озлившись крикнула Соня и отвернулась отъ сестренки.

— Да полно же, какъ вамъ не стыдно! вдругъ проговорилъ до того времени молчавшій Володя.

Этотъ Володя не былъ любимцемъ бабушки, не былъ любимцемъ отца, но за то былъ любимцемъ

мачихи, „мамы Наташи“, какъ дѣти часто ее называли. Володя былъ довольно странный мальчикъ, уродившійся вѣрно въ кого нибудь со стороны своей покойной матери, потому что горбатовскихъ чертъ въ немъ, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, не было совсѣмъ видно.

Блѣдный, худенькій, съ разсѣянными, какъ то неопредѣленно глядящими, свѣтлыми глазами, съ прелестнымъ, серьезнымъ ротикомъ, съ широко раскрытыми, по временамъ вздрагивавшими ноздрями— онъ производилъ впечатлѣніе чего то своеобразнаго, загадочнаго.

Въ немъ замѣчалась большая нервность и черезчуръ раннее умственное развитіе. Иногда онъ поражалъ „мamu Наташу“ своими совсѣмъ не дѣтскими мыслями, своими вопросами, на которые ей трудно, почти невозможно было отвѣчать ему, потому что онъ не удовлетворялся такимъ отвѣтомъ, какимъ могъ бы удовлетвориться другой ребенокъ. Онъ заставлялъ ее задумываться надъ ея обязанностями относительно него и начиналъ уже играть большую роль въ ея внутренней жизни...

Онъ держался по большей части особнякомъ, но иногда вдругъ, подъ вліяніемъ неудержимаго порыва, примыкалъ къ сестрамъ и двоюродному брату, оживлялъ ихъ, выдумывалъ всевозможныя забавы, рассказывалъ имъ какія то странныя исторіи, которыя неизвѣстно откуда брались у него, заинтересовывалъ ихъ этими исторіями, запугивалъ ихъ даже, дѣйствовалъ на нихъ какъ то магнетически, такъ что они всѣ находились подъ его вліяніемъ.

Потомъ вдругъ, внезапно остывалъ, отдѣлялся

отъ нихъ и начиналъ снова жить своей, никому невѣдомой, таинственной жизнью.

Онъ былъ добрый мальчикъ, очень чувствительный, чуткій: но вмѣстѣ съ этимъ, иногда, въ припадкѣ внезапнаго гнѣва, былъ способенъ прибить и сестеръ, и двоюроднаго брата, наглубить гувернеру и гувернанткѣ, наглубить даже отцу, даже бабушкѣ. Въ такія минуты только „мама Наташа“ могла его, да и то не всегда, уговорить и привести въ себя.

Дѣти его не любили и даже то магнетическое вліяніе, которое онъ имѣлъ надъ ними, было для нихъ тягостно.

Весь этотъ день онъ былъ очень молчаливъ, ни съ кѣмъ почти не сказалъ ни слова и только все пристально, пристально вглядывался въ новаго дѣдушку.

— Да перестаньте же! — еще разъ своимъ тонкимъ, властнымъ голосомъ крикнулъ онъ. — Какъ будто не все равно большой онъ или маленькій! А знаете ли вы, что дѣдушка былъ сосланъ въ Сибирь?! Что онъ сидѣлъ въ темницѣ долго, долго, что на немъ были цѣпи?!

Гриша, Соня и Маша раскрыли глаза и разинули рты. Этого они не знали.

— Кто тебѣ сказалъ? Откуда ты взялъ это? въ одинъ голосъ, почему то боязливо оглядываясь, прошептали они.

— Знаю, спокойно и увѣренно сказалъ Володя, и такъ и не объяснилъ откуда знаетъ; но они ему повѣрили какъ и всегда.

— Что же онъ такое сдѣлалъ?

Володя пожалъ плечами, раздулъ свой тонкія ноздри и проговорилъ:

— Ничего дурного... онъ былъ невиновать...

— Да кто же, кто тебѣ сказалъ все это?

— Я знаю! опять таинственно произнесъ Володя и дѣти больше ничего отъ него не могли добиться.

— Но вѣдь если онъ не былъ виноватъ, такъ значить... значить его приняди за другого?! вдругъ разсудилъ Гриша.

— Можетъ быть, не знаю! разсѣянно отвѣчалъ Володя и погрузился въ задумчивость.

И не могъ онъ изъ нея выйти во все время прогулки и потомъ, во время чаю, и долго возился въ своей постелькѣ, рѣшая какіе то трудные и важные вопросы.

Онъ то и дѣло приподнимался, широко раскрывалъ глаза и оглядывалъ всю большую комнату, едва озарявшуюся свѣтомъ ночной лампадки. Онъ какъ будто хотѣлъ и ждалъ увидѣть что то особенное.

Но ничего особеннаго не было. Направо, изъ-за полумрака, выдѣлялась всклокоченная голова молодого француза, съ его торчавшей бѣлой эспаньолкой. Французъ то храпѣлъ, то вдругъ начиналъ скрежетать зубами. Это была его особенность во время сна. Володя ненавидѣлъ это скрежетанье, оно доводило его иногда до бѣшенства. Съ другой стороны была кровать Гриши. Гриша какъ легъ, такъ сейчасъ же и заснулъ, и теперь лежалъ разметавшись, съ открытымъ ртомъ, мѣрно дыша, лежалъ во всей красотѣ здороваго и уставшаго за день ребенка...

Дѣвочки тоже давно уже спали въ своей ком-

натѣ. Но прежде чѣмъ заснуть, онѣ передали другъ другу свои послѣднія впечатлѣнія, вызванныя прїѣздомъ дѣдушки.

— А я думала, сказала Маша, — вотъ прїѣдетъ дѣдушка и привезетъ много, много игрушекъ...

— И я тоже думала, тихонько отвѣтила Соня, — я даже представляла себѣ какія это будутъ игрушки, особенно мнѣ хотѣлось маленькую, но понимаешь, настоящую, самую настоящую кухню.

— А можетъ быть, еще будутъ игрушки — какъ думаешь, Соня?

Соня подумала немного.

— Да, будутъ, навѣрно будутъ, бабушка говорила, что у дѣдушки много, очень много денегъ. Подождемъ, онъ опять прїѣдетъ...

Хорошенькая Лили, раздѣвавшаяся въ это время и слышавшая ихъ тихій разговоръ, подумала, что вѣдь нужно бы было внушить имъ, что думать о подаркахъ и ждать ихъ не хорошо; но вдругъ ея мысли ушли въ другую сторону, она чему то тихонько про себя улыбнулась и ничего не сказала своимъ воспитанницамъ...

Старшіе еще оставались вѣскольکو минутъ на балконѣ по отлѣздѣ Бориса Сергѣевича. Они тоже думали о немъ и говорили:

— Ахъ, какъ онъ измѣнился, какой старикъ, и бы его никогда не узнала! произнесла Катерина Михайловна.

— Что же удивительнаго, замѣтила Наташа, — вѣдь годы его не молодые, а жизнь какая была?! Боже мой, на каторгѣ, въ ссылкѣ, всю жизнь изгнанникъ... потерялъ жену... дѣтей... остался одинъ на

свѣтъ... Что же можетъ быть ужаснѣе такой жизни?! и еще надо удивляться, какъ онъ такъ бодръ и свѣжъ...

— Да, удивительно бодръ и свѣжъ! сказалъ Сергѣй. Глядя какимъ гоголемъ онъ выступалъ съ тобой подъ ручку въ паркѣ, никакъ нельзя было сказать что это такой несчастный человѣкъ...

— Tu exagère, Natalie, замѣтила Катерина Михайловна, — вѣдь у каждаго въ жизни потери, каждый переживаетъ трудныя минуты.

— Тутъ не минуты, тамап, а годы...

— Э, другъ мой, люди вездѣ живутъ, и въ Сибири, и на краю свѣта. Вѣдь онъ рассказывалъ, какъ тамъ у нихъ хорошо было... и потомъ — привычка...

— Нѣтъ, это не то, совсѣмъ не то!.. упрямо повторала Наташа. — Совсѣмъ особенная, высшая жизнь и я никогда еще не видала такого интереснаго человѣка...

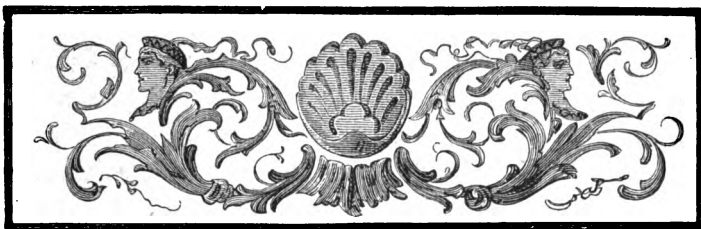
— Ну да, совсѣмъ заобожала, какъ въ Смольномъ у васъ, — смѣясь проговорилъ Сергѣй, кладя руку на плечо жены, — институтка ты моя неисправимая! Вотъ Мари небось не видитъ ничего особеннаго такого въ дядѣ и чрезвычайнаго?

— Конечно! отвѣтила до сихъ поръ молчавшая Мари; — чтó въ немъ особеннаго — красивый старикъ... Насколько онъ уменъ — сразу судить нельзя, въ особенности мнѣ, такъ какъ онъ со мной почти двухъ словъ не сказалъ. Вотъ одно въ немъ развѣ удивительно: какъ это, всю жизнь проживъ въ дикой странѣ, Богъ знаетъ съ какими людьми, онъ все же сохранилъ приличные манеры.

— Да, усмѣхнулась Катерина Михайловна,— и я еще больше могу удивить тебя—представь—онъ теперь сталъ гораздо приличнѣе, онъ теперь гораздо лучше себя держать, чѣмъ въ молодости, когда я его знала.

На этомъ кончился разговоръ о Борисѣ Сергѣевичѣ. Всѣ простились и разошлись по своимъ спальнямъ.





IX.

Магнитъ.

Случилось то, чего никакъ не ожидалъ старый изгнанникъ возвращаясь на родину, но что, между тѣмъ, было очень естественно. Съ перваго же дня его стало тянуть въ Знаменское и не прошло и двухъ недѣль какъ онъ тамъ совсѣмъ освоился. Онъ уже нѣсколько разъ и въ Горбатовскомъ принималъ всѣхъ знаменскихъ жителей, отъ мала до велика.

Въ старомъ, еще такъ недавно заколоченномъ каменномъ домѣ и вокругъ него все очень быстро измѣнялось. Въ цѣлый день открытыя окна врывался свѣжій воздухъ, врывались солнечные лучи и вытѣсняли годами накопившуюся сырость и затхлость. Паркъ расчищался. Появился выписанный изъ Москвы садовникъ. Каждый день выростали новыя куртины и клумбы съ цвѣтами.

Борисъ Сергѣевичъ по привычкѣ вставалъ очень

рано и до полудня работалъ, разбираясь въ своемъ огромномъ, сложномъ и напутанномъ хозяйствѣ, такъ долго остававшемся на рукахъ разныхъ управителей, которые почти безъ исключеній злоупотребляли своимъ положеніемъ и изъ которыхъ многіе, начавшіе ни съ чѣмъ, были теперь богачами.

Борисъ Сергѣевичъ работалъ и приводилъ все въ ясность съ большимъ жаромъ и имѣлъ при этомъ видъ челоуѣка съ затаенною мыслью и планами, которыхъ до поры до времени не хотѣлъ никому повѣрять. Да такъ оно и было.

Но какъ только пробьетъ полдень на старинныхъ огромныхъ часахъ рабочаго кабинета, у дверей уже стучится Степанъ и объявляетъ, что готовъ завтракъ.

Борисъ Сергѣевичъ складываетъ всѣ бумаги и счета, запираетъ ихъ на ключъ въ бюро и идетъ завтракать.

Степанъ радуется глядя на своего барина и думаетъ:

„Ну, слава Богу, все отмѣнно хорошо, другимъ сталъ Борисъ Сергѣевичъ... и кушаетъ больше прежняго... И вѣдь такой добрый, улыбаться сталъ, смѣяться. Послѣ Нины Александровны такимъ еще его никто не видывалъ!.. Отмѣнно хорошо!..“

— Прикажете закладывать? спрашиваетъ онъ барина,—въ Знаменское поѣдете, али къ намъ гости будутъ?

— Поѣду, поѣду,—разсѣянно, но весело говоритъ Борисъ Сергѣевичъ...

— Да, что это вы сударь все туда да туда, во время одного изъ такихъ завтраковъ сказалъ Степанъ,—къ намъ бы почаще дорогихъ гостей звали.

Ишь вѣдь вы какой, обо мнѣ небось не подумаете, вамъ то хорошо, весело, а я тутъ одинъ какъ сычъ!.. Жадный вы нынче стали, сударь, вотъ что! все себѣ одному... А я бы вотъ на нашего Сереженьку порадовался, на супругу ихнюю, малыхъ дѣточекъ... Вѣдь какъ намереніи наѣхали, зазвенѣли дѣточки по всѣмъ комнатамъ, забѣгали—такъ-то радостно стало!..

— Такъ поѣзжай со мной въ Знаменское, Степанъ, что же тутъ.

Но Степанъ нахмурился и покачалъ головою.

— Нѣтъ, батюшка Борисъ Сергѣевичъ, не поѣду! рѣшительно и упрямо сказалъ онъ.

— Что такъ?!

— Сами знаете, не приходится мнѣ къ Катеринѣ Михайловнѣ ѣздить. Я для нея холопъ и дальше прихожей носу не смѣю высунуть... Намедни вотъ я съ Володенькой поговорить вздумалъ да по головкѣ его погладилъ, а она и входитъ: тотчасъ отвела его отъ меня и внушаетъ ему по-французски, будто я не понимаю... А я очень таки разобралъ: „Не свазывайся, молъ, со старымъ лакеемъ, онъ тебя грязными руками запачкаетъ“.

Степанъ невольно взглянулъ на свои старыя, красныя, но очень чистыя руки и вдругъ его доброе и въ тоже время спокойное и серьезное лицо сдѣлалось злымъ и непріятнымъ. Онъ очевидно хотѣлъ что то прибавить, но замолчалъ.

Поморщился и Борисъ Сергѣевичъ.

— Ну погоди, Степанъ, еще недѣлку, другую, сказалъ онъ.—Вотъ приведемъ все въ порядокъ въ домѣ, тогда и гостей чаще звать можно будетъ.

— Да чего тутъ приводить въ порядокъ, батюшка,

все у насъ кажется и такъ въ порядкѣ. Вы сравните-ка только нашъ домъ да знаменскій! Этотъ вотъ двѣсти лѣтъ еще будетъ стоять и ничего съ нимъ не сдѣлается, потому—каменный онъ и не по нынѣшнему строенъ. Стѣны то, стѣны—вѣдь ихъ никакихъ пушеами не прошибешь! А тамошній домъ что — совсѣмъ рухлядю сталъ. Я какъ поглядѣлъ, такъ и обмеръ, не узналъ даже: покосился весь, покривился, штукатурка то валится, черныя бревна изъ всѣхъ дыръ выглядываютъ... Давно бы пора его разобрать совсѣмъ, да новый выстроить... мнѣ вотъ такъ сдается, что даже господамъ нашимъ, внуцатамъ папеньки вашего покойнаго, Сергѣя Борисовича, въ дому такомъ и жить то не приличествуетъ... Аль не на что новыя хоромы вывести... это господамъ-то Горбатовымъ!?... вѣдь не можетъ такое случиться!..

И онъ вопросительно и внимательно взглянулъ на Бориса Сергѣевича

— Ну, однако вели же закладывать! съ нетерпѣніемъ перебилъ Борисъ Сергѣевичъ не отвѣчая на вопросъ его.

Степанъ былъ правъ, вовсе нечего было ждать какихъ нибудь еще новыхъ исправленій, улучшеній въ Горбатовскомъ домѣ для пріема гостей, и со стороны Бориса Сергѣевича это была пустая отговорка. Просто ему пріятнѣе было ѣздить въ Знаменское, чѣмъ принимать родныхъ у себя. Когда они сюда пріѣзжали — его счастливое настроеніе то и дѣло портилось. Ему тяжело было видѣть здѣсь, въ этой обстановкѣ, полной воспоминаній, Катерину Михайловну, а тамъ, въ Знаменскомъ, хотя она и счита-

лась хозяйкой, но онъ какъ то переставалъ замѣчать ее.

Она вовсе ему не навязывалась, иногда по цѣлымъ часамъ ея не было совсѣмъ видно. Она любила теперь проводить почти цѣлые дни, особенно когда было жарко, въ своихъ комнатахъ со спущенными занавѣсками, разбирая и перебирая сундуки, которые наполняли эти комнаты и гдѣ были сложены самые разнородные предметы, начиная со всевозможныхъ заграничныхъ вещицъ, дорогихъ кружевъ, старыхъ нарядовъ, запасовъ тончайшаго бѣлья, изумительно расшитаго и разукрашеннаго крѣпостными мастерицами, — и кончая даже самымъ ненужнымъ тряпьемъ.

Катерина Михайловна по часамъ стояла на колѣняхъ передъ какимъ нибудь сундукомъ, все изъ него выкладывала, разглядывала, свертывала и перевертывала и снова укладывала на старое мѣсто или изъ сундука въ сундукъ. Если ее спрашивали въ это время по какому нибудь дѣлу, она сердито гнала всѣхъ прочь и говорила, что занята и чтобы ей не мѣшали.

Она допускала, при этомъ неустанномъ перебирании сундуковъ, только присутствіе Сони и Гриши. Они конечно бывали очень рады оставаться въ бабушкиныхъ комнатахъ и разглядывать вмѣстѣ съ нею ея вещи. А бабушка вдобавокъ еще иногда имъ что нибудь и дарила изъ своего хлама...

Мари тоже не надоѣдала Борису Сергѣвичу. Нельзя сказать, чтобы антипатія между ними была взаимная, Мари даже очень бы хотѣлось быть поближе къ Борису Сергѣвичу, при другихъ обстоя-

тельствѣхъ она была бы не прочь позаботиться объ этомъ насколько то было въ ея средствахъ. Но теперь въ ней говорили обида и зависть—предпочтеніе оказываемое старикомъ Наташѣ было чересчуръ явно.

Въ первые дни Мари очень этимъ раздражалась, выходила изъ себя, но по своему обычаю молча и не показывая никому вида. Затѣмъ ей скоро надобло раздражаться и выходить изъ себя, такъ какъ она пуще всего дорожила своимъ спокойствіемъ.

Она махнула рукой и утѣшила себя мыслью, что это не надолго. Наташа вѣдь взбалмочная и нетерпѣливая, навѣрное ей скоро надобѣсть возиться со старикомъ и вотъ тогда и она имъ займется.

И не думая больше о присутствіи Бориса Сергѣевича въ домѣ, Мари стала продолжать свой обычный образъ жизни. Она просыпалась очень поздно, пила кофе въ кровати, потомъ еще часъ-другой нѣжилась, дремала и потягивалась. Затѣмъ медленно, съ помощью двухъ горничныхъ, начинала одѣваться и причесываться. Выходила къ завтраку нарядная, пышная, бѣлая, со своими медленными, вялыми движеніями, съ заспанными глазами, съ остатками зѣвоты.

Между завтракомъ и обѣдомъ она обыкновенно сидѣла въ тѣни на террасѣ съ французскимъ романомъ и выходила изъ своего спокойствія только въ томъ случаѣ, если гувернеръ или гувернантка приходили жаловаться на какую нибудь Гришину проказу. Тогда она призывала Гришу и говорила ему строгимъ голосомъ:

— На тебя опять жалуются, ты опять дурно ве-

дешь себя... ты непременно хочешь сдѣлаться совсѣмъ негоднымъ мальчишкой, ни дня нѣтъ спокойнаго у меня съ тобою!.. Иди въ классную и сиди тамъ до обѣда, не смѣй играть съ дѣтьми и знай, что ты сегодня безъ пирожнаго...

Гриша выслушалъ все это довольно равнодушно, во-первыхъ потому, что онъ каждый разъ отъ своей матери слышалъ одни и тѣ же слова, какъ будто разъ навсегда заученныя ею. А во-вторыхъ потому, что онъ ничуть не боялся послѣдствій этихъ словъ. Въмѣсто того чтобы идти по приказу матери въ классную, онъ кидался къ бабушкѣ, начиналъ жаловаться ей на несправедливость гувернера или гувернантки, увѣрялъ, что совсѣмъ невиноватъ, хныкалъ, принималъ самый несчастный видъ.

— Ну, ступай, ступай! говорила Катерина Михайловна. — Я попрошу на этотъ разъ чтобы тебя простили, чтобы тебѣ позволили играть съ дѣтьми. Но знай—это въ послѣдній разъ.

Мальчикъ чмокалъ руку бабушки и выбѣгалъ отъ нея довольный.

А Катерина Михайловна покидала свои сундуки и отправлялась на террасу къ Мари.

— Мари! говорила она,— опять вы мучаете Гришу!!

— Чѣмъ?! Кто его мучаетъ!? отзывалась Мари, неохотно отрываясь отъ своего романа.

— Всѣ вы его мучаете! Я тебѣ давно говорю: нельзя такъ накидываться на ребенка!.. Этотъ Рибо просто его ненавидитъ: его любимецъ Володя, тому всегда все онъ спускаетъ, а Гриша всегда во всемъ виноватъ, ты же только потакаешь этимъ неспра-

ведливостямъ, никогда не разберешь дѣла какъ слѣдуетъ...

— Да вѣдь это моя обязанность, шатап, его наказывать, когда на него жалуется учитель...

Катерина Михайловна съ презрѣніемъ пожимала плечами.

— Обязанность!.. Я думаю твоя обязанность прежде всего не портить его характера, чтобы онъ не чувствовалъ несправедливости... Извини меня, ты совсѣмъ, совсѣмъ не умѣешь воспитывать!..

Мари нѣсколько измѣнилась въ лицѣ, видимо желала сказать что то, но все же обыкновенно воздерживалась отъ всякаго отвѣта. Къ такимъ разговорамъ и объясненіямъ она уже давно привыкла. Сначала она давала понять Катеринѣ Михайловнѣ, что во всякомъ случаѣ не у нея ей брать уроки воспитанія.

Но Катерина Михайловна за подобныя „оскорбленія“ поднимала такую перепалку и потомъ столько времени всячески придиралась къ невѣсткѣ, что Мари наконецъ перестала возражать и язвить, чтобы только ее оставили въ покоѣ, — да и къ тому же вѣдь въ сущности ей было рѣшительно все равно, наказанъ ли Гриша, или нѣтъ.

— Ахъ, Боже мой, да дѣлайте что вамъ угодно! говорила она. — Прощайте его если хотите, если находите что онъ не виноватъ...

Она потягивалась, зѣвала и принималась снова за чтеніе.

Катерина Михайловна уходила съ террасы, звала Гришу, разрѣшала ему играть съ дѣтьми и за обѣдомъ ѣсть пирожное. Если же ей попадался Рибо

и начиналъ объяснять виновность Гриши и необходимость наказать его, она своимъ презрительнымъ, горделивымъ тономъ отвѣчала французу:

— Mon Dieu, il faut être indulgent pour le petit,—il est si nerveux et puis—il m'a promis d'être sage...

Французъ замолкалъ и только позволялъ себѣ, за спиною Катерины Михайловны, пожимать плечами. Онъ зналъ, что идти ему противъ нея нельзя, а въ домѣ ему было хорошо, жалованье пока платили исправно...

Онъ только старался не замѣчать торжествующихъ и довольно нахальныхъ минъ, которыя ему дѣлалъ Гриша, убѣждаясь въ своей окончательной безнаказанности.

Послѣ обѣда, если была хорошая погода, Мари имѣла обычай прогуливаться въ паркѣ, и любила гулять одна. Она шла медленно, все по одной и той же, ею излюбленной аллеѣ, шла какъ то осторожно, будто бережно неся свою пухлую, красивую фигуру. Потомъ, почувствовавъ усталость, она садилась въ бесѣдку, опять всегда на одну и ту же скамейку, и сидѣла такъ съ часъ, глядя прямо передъ собою съ застывшимъ выраженіемъ въ лицѣ.

Затѣмъ она медленно поднималась, возвращалась домой, пила чай и ужинала, отвѣчала когда къ ней обращались съ разговоромъ, но сама ни съ кѣмъ никогда разговоровъ не заводила.

Когда приходило время расходиться, она удалялась въ свою спальню, раздѣвалась, ложилась въ постель и опять читала французскій романъ, пока строчки не начинали сливаться передъ ея глазами.

Тогда она закрывала книжку, тушила свѣчу, переворачивалась на другой бокъ и спокойно засыпала.

И такъ изо дня въ день, и эта жизнь была ей совсѣмъ по сердцу. Она никогда не скучала и никто въ это послѣднее время ни разу не слыхалъ отъ нея нетерпѣливаго замѣчанія, что вотъ мужъ до сихъ поръ не ѣдетъ...

Сергѣя Владиміровича часто не бывало дома, онъ рѣшительно не былъ въ состояніи вести какого нибудь опредѣленнаго образа жизни. Иной разъ онъ спалъ до полудня, такъ что даже опаздывалъ къ завтраку, а то вдругъ поднимется часовъ въ пять утра, одѣнется на скорую руку, велитъ осѣдлать лошадь—и ускачетъ.

Мчится по цѣлымъ часамъ невѣдомо куда и зачѣмъ, не жалѣя лошади.

А то завернетъ на село, учинить переполохъ, подниметъ на ноги всѣхъ ребятишекъ и собакъ, заберется въ какую нибудь избу, болтаетъ со стариками и старухами... Или отправится на работы, смѣется съ парнями и дѣвками...

Крестьяне ничуть его не боялись и даже любили. Безтолково, зря, но онъ все же помогать многимъ, раздавалъ деньги, угощалъ часто водкою...

„Ничего, добрый баринъ! говорили про него,—сальной только, да и дѣвокъ вотъ отъ него подальше прятать надо...“

Но упрятать было трудно...

Любилъ также Сергѣй Владиміровичъ забраться иногда верстъ за двадцать, за тридцать отъ Знаменскаго, къ какому нибудь мелкопомѣстному сосѣду

въ маленькій старосвѣтскій домикъ. И всюду ему рады, встрѣчаютъ съ улыбками, съ поклонами. Онъ знаетъ слабую струну важдаго, знаетъ съ кѣмъ о чемъ говорить надо чтобы доставить удовольствіе... Любятъ его старички и старушки, любятъ его молодые женщины и дѣвушки, не любятъ только молодые мужчины и особенно мужа, у которыхъ недурныя жены.

„Грѣховодникъ, у! какой грѣховодникъ!“ идетъ далеко отъ Знаменскаго молва о молодомъ Горбатовѣ.

Грѣховодникъ—но ничего обиднаго не слышится въ этомъ опредѣленіи, всѣхъ-то онъ околдовываетъ своей милой улыбкой, простотою обращенія и безалаберной добротой. Даже совсѣмъ забываютъ, что у этого грѣховодника молодая жена-красавица...

А онъ возвращается въ Знаменское послѣ своихъ набѣговъ и приключеній все съ тою же скукой. Принимается возиться съ дѣтьми, подзадориваетъ хорошенькую гувернантку и вдругъ присмирѣетъ, уйдетъ къ себѣ, заляжетъ на диванъ, вытянетъ свои длинныя ноги и зѣваетъ—зѣваетъ безъ конца, всей могучей грудью, повторяя свою любимую поговорку:

„Охъ-хо-хо! грѣхи наши тяжкіе!“

Подойдетъ къ нему Наташа, слабо улыбнется, скажетъ:

„Ну чего ты вздыхаешь, что съ тобой?“

Онъ притянетъ ее къ себѣ, обойметъ, да вдругъ и отпустить.

„Знаешь ли ты, Наташа, что я вѣдь ужасная дрянъ... я не стою тебя, совсѣмъ не стою,—право!“

„Знаю!“

Она улыбается ему какъ балованному ребенку и конечно не приходитъ ей въ голову, что онъ говорить искренно и серьезно...

При такихъ привычкахъ знаменскихъ жителей въ распоряженіи Бориса Сергѣевича главнымъ образомъ оставалась Наташа и отчасти дѣти, изъ которыхъ, не безъ вліянія Наташи, онъ особенно интересовался Володей. Первое впечатлѣніе, произведенное на старика молодой женщиной, росло съ каждымъ днемъ и онъ радостно отдался своему новому чувству. Онъ перенесъ на Наташу, внезапно и безповоротно, всю свою нѣжность. Въ ней теперь воплощались для него всѣ дорогія ему существа, отнятыя отъ него судьбою—и мать, и жена, и дочь. Сила этой внезапно вспыхнувшей старческой привязанности была такъ велика, что не могла не подѣйствовать на Наташу. Она ее почувствовала, приняла съ благодарностью и сама привязалась къ одинокому старику съ дочерней нѣжностью.

Она ждала его появленія, сторожила его, встрѣчала первая, съ доброй, ласковой улыбкой на прелестномъ лицѣ. Она почти не отходила отъ него все время когда онъ бывалъ въ Знаменскомъ.

И теперь, черезъ двѣ недѣли знакомства, они уже хорошо знали другъ друга. Онъ передалъ ей почти всѣ обстоятельства своей жизни и она сдѣлала тоже самое. Каждый изъ нихъ думалъ, что у другого нѣтъ отъ него тайны, а между тѣмъ оба они все же обманули другъ друга, потому что каждый хранилъ про себя свою главную тайну.

Какъ бы то ни было, Борисъ Сергѣевичъ изъ

живыхъ разсказовъ Наташи узналъ всю несложную исторію ея дѣтства и первой юности.

Они помнила себя въ большомъ богатомъ петербургскомъ домѣ отца своего, князя Засѣцкаго, помнила себя единственнымъ, балованнымъ ребенкомъ. Она разсказала ему о своемъ первомъ горѣ, о смерти отца, который умеръ вдругъ, во время параднаго обѣда, отъ разрыва сердца. Этотъ неожиданный ударъ такъ поразилъ ея мать, бывшую всегда слабаго здоровья, что молодая вдова вдругъ стала чахнуть и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ умерла отъ скоротечной чахотки.

Наташа вспоминала этотъ годъ какъ тяжелый, ужасный сонъ, который кончился для нея бредомъ и болѣзнью. Когда выздоровѣла — она была все въ томъ же домѣ; но теперь она его очень боялась. Она дрожала, кричала, звала отца и мать. Ея родственники боялись, что болѣзнь повторится и поспѣшили отдать ее въ Смольный институтъ, рассчитывая, что окруженная подругами, среди совсѣмъ другой жизни, она скоро развлечется и забудетъ о своихъ утратахъ.

Конечно, оно такъ и случилось. Дѣтское горе, какъ бы глубоко оно ни было, забывается, смывается временемъ.

Наташа разсказывала Борису Сергѣевичу о своихъ любимыхъ подругахъ, объ учителяхъ, объ институтскихъ проказахъ, посѣщеніяхъ института покойнымъ государемъ, котораго всѣ институтки обожали. Она разсказывала какъ государь обыкновенно уѣзжалъ отъ нихъ безъ платка, съ оборванными пуговицами мундира, и какъ онѣ, по его отъѣздѣ, спорили и даже

чуть не дрались изъ-за его пуговицъ, изъ-за кусочковъ его платка. Рассказывала какъ онъ одинъ разъ угощалъ ихъ персиками и самъ ѣлъ съ ними, и какъ онъ потомъ собрали всѣ косточки отъ его персиковъ и хранили ихъ какъ святыню. Ей хорошо и весело было въ институтѣ, у нея и теперь еще глаза горѣли когда она вспоминала всѣ наивныя приключенія и интересы этой дѣтской жизни...

Ну, а потомъ... дѣтство кончилось, къ дѣтскимъ интересамъ прибавились иныя мечты о будущемъ, ждалась жизнь новая, долгая, волшебная, счастливая...

Институтъ покинуть, княжна у родныхъ, всѣ ее такъ любятъ, всѣ такъ ласковы съ нею, ее наряжаютъ и вывозятъ въ свѣтъ. Она рассказала изгнаннику вѣчную исторію первыхъ балльных ощущений молоденькой дѣвушки...

— Какъ же ты встрѣтилась со своимъ мужемъ? Какъ ты полюбила его, Наташа? спросилъ Борисъ Сергѣевичъ. — Это нескромный вопросъ, я знаю, и ты можешь не отвѣчать на него...

— Но нѣтъ, прибавилъ онъ, — вѣдь ты мнѣ расскажешь... я не смутилъ тебя своимъ вопросомъ?!

Она подняла на него большіе темные глаза и тихо заговорила:

— Какъ я встрѣтилась съ Сергѣемъ!? — на большомъ придворномъ балу... Я не помню кто ко мнѣ подвелъ его, онъ танцевалъ со мной мазурку... Потомъ, на другой день, пріѣхалъ съ визитомъ къ тетѣ Аннѣ. Потомъ сталъ бывать у насъ... все чаще и чаще...

— Ну, и что-же ты?!

— Я всегда бывала рада его видѣть. Онъ былъ

такой веселый, такой милый... только онъ немножко пугалъ меня своимъ пристальнымъ взглядомъ... устается... глядитъ!.. вы знаете этотъ его взглядъ, замѣтили?.. такъ прямо, прямо въ глаза и какъ будто спокойно, и не можешь не глядѣть на него... и вдругъ почему то становится его жалко...

— Да, я знаю этотъ его взглядъ! задумчиво сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.

И теперь онъ понялъ, что было особеннаго въ этомъ взглядѣ Сергѣя: именно, когда онъ такъ глядѣлъ, его почему то становилось жалко.

— Ну, а потомъ, продолжала Наташа,—стала я замѣчать, что тетя Анна подружилась съ Катериной Михайловной. Прошелъ еще мѣсяцъ... Сергѣй написалъ письмо тетѣ Аннѣ. Она мнѣ прочла его, спросила согласна ли я... я заплакала и сказала: согласна...

Во время этого разговора они сидѣли въ паркѣ у пруда, въ полуразрушенной бесѣдкѣ, въ той самой бесѣдкѣ, гдѣ когда то, давно, давно, еще въ прошломъ столѣтїи, прозвучали первыя наивныя слова любви между отцомъ Бориса Сергѣевича и его матерью.

Наташа замолчала.

— А зачѣмъ же, ласково выговорилъ изгнанникъ,—зачѣмъ же ты заплакала когда сказала: согласна?

Она подумала и хотѣла отвѣчать, но въ это время, запыхавшись, весь красный, къ нимъ подбѣжалъ Володя.

— Дѣдушка, мама! крикнулъ онъ едва переводя дыханіе,—дядя Николай прїѣхалъ!

Наташа опустила руки и такъ поблѣднѣла, что будто вся жизнь сбѣжала съ лица ея.

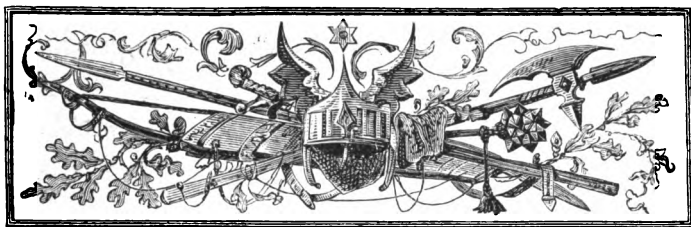
Борисъ Сергѣевичъ испуганно взглянулъ на нее.

— Наташа, что съ тобою?!

Она вдрогнула и очнулась.

— Ничего, сказала она, — ничего... пойдете, дядя... Николай пріѣхалъ...





Х.

Страшный племянникъ.

Борисъ Сергѣевичъ имѣлъ достаточно времени приготовиться къ этой встрѣчѣ, ожидавшейся со дня на день, но все же въ первую минуту у него сильно застучало сердце и онъ готовъ былъ бѣжать отсюда, къ себѣ, домой, въ Горбатовское. И не такъ пріѣзжій страшилъ его, какъ присутствіе Катерины Михайловны.

„Если она тамъ—я не могу!“ съ отвращеніемъ и страданіемъ подумалъ онъ приближаясь къ дому.

Но Катерина Михайловна была настолько предусмотрительна, что скрылась во время. Ея не было видно когда Сергѣй подводилъ брата къ дядѣ.

Борисъ Сергѣевичъ, чего съ нимъ никогда не бывало въ жизни, вдругъ какъ то странно засуетился, зажмурилъ глаза, не глядя поцѣловалъ Николая

Горбатова и прерывающимся голосомъ сказалъ что-то въ родѣ того, что онъ радъ его видѣть, что давно ждалъ...

Когда онъ наконецъ открылъ глаза, то встрѣтился съ прямо и спокойно устремленнымъ на него взглядомъ этого новаго племянника.

Сергѣй былъ правъ, говоря, что они нисколько непохожи съ братомъ. Николай чуть ли не на цѣлую голову былъ ниже его ростомъ, стройный и красивый въ своемъ бѣломъ кителѣ съ аксельбантами. У него были свѣтло-каштановые волосы, вившіеся отъ природы, и большіе черные глаза; выраженіе лица уставшее и въ то же время холодное.

Но Борисъ Сергѣевичъ уже былъ доволенъ тому, что не нашелъ въ немъ сходство, найти которое такъ боялся.

— А гдѣ же Наташа? вдругъ спросилъ Сергѣй. — Она вѣдь была съ вами, дядя?!

Борисъ Сергѣевичъ съ изумленіемъ оглянулся, но въ это время Наташа уже входила.

Николай поспѣшилъ къ ней, поцѣловалъ ея руку, она слегка прикоснулась губами къ его лбу и они въ первую минуту не сказали ни слова другъ другу, — они даже не взглянули другъ на друга.

Борису Сергѣевичу было не до наблюденій; но еслибы онъ сталъ наблюдать, то замѣтилъ бы между ними большую принужденность, замѣтилъ бы, что и Николаю, и Наташѣ не по себѣ, что имъ почему-то непріятно встрѣтиться.

Однако оба они хорошо владѣли собою и черезъ двѣ-три минуты совсѣмъ оправились. Наташа спокойнымъ голосомъ стала задавать пріѣзжему вопросы

о своихъ петербургскихъ знакомыхъ. Онъ отвѣчалъ ей такимъ же спокойнымъ голосомъ.

Вошла Мари обычной своей, медленной и лѣнивой, походкой, съ такимъ же какъ и всегда застывшимъ лицомъ. Она позвала Николая; онъ молча поднялся и послушно послѣдовалъ за нею; но скоро вернулся, подсѣлъ къ дядѣ, и Борисъ Сергѣевичъ, самъ того незамѣчая, вдругъ отошелъ отъ всѣхъ своихъ ощущеній и мыслей и съ большимъ интересомъ сталъ слушать Николая.

Они машинально вышли изъ гостиной, прошли террасу, спустились въ садъ и, тихо бродя по старой аллеѣ, продолжали разговаривать.

Борисъ Сергѣевичъ уже не разъ слыхалъ отъ домашнихъ, что Николай бываетъ часто молчаливъ, что отъ него иной разъ по цѣлымъ днямъ нельзя добиться слова, но что зато когда онъ оживится и начнетъ говорить, то говорить такъ, что всякій его заслушается. Это оказалось справедливымъ. Борисъ Сергѣевичъ, привыкшій къ уединенію, долгіе годы прожившій въ одиночествѣ или съ людьми, менѣе всего обладавшими краснорѣчіемъ, невольно увлекался теперь.

Николай рѣзкими, выпуклыми штрихами обрисовывалъ передъ нимъ картину теперешняго Петербурга. А Петербургъ былъ интересенъ: въ немъ началось большое оживленіе, въ немъ закипѣла новая дѣятельность. Молодой государь начиналъ свое царствованіе цѣлымъ рядомъ блестящихъ плановъ, которые уже не были тайной и захватывали всѣ слои общества. Приготовлялись реформы, изъ которыхъ главной, конечно, было освобожденіе крестьянъ.

Николай говорилъ, что это уже рѣшено безповоротно, что уже приступаютъ къ серьезнымъ работамъ, привлекаются свѣжія силы...

— Слава Богу! давно, давно пора! оживляясь проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ. — Еще отцы, еще дѣды наши думали объ этомъ... Наконецъ-то!..

Но Николай вдругъ перемѣнилъ тонъ, вдругъ какъ будто усталъ и совсѣмъ новымъ голосомъ сказалъ:

— Отцы и дѣды! да вѣдь они не думали, а мечтали только... и теперь многіе мечтаютъ (онъ сдѣлалъ особенное удареніе на этомъ словѣ)...

— Да вѣдь ты же самъ говоришь, что эти мечты превращаются въ дѣйствительность!

— Да, только что изъ этого выйдетъ?!

— Какъ что выйдетъ? неужели ты противъ освобожденія?

Николай пожалъ плечами.

— Вы мнѣ задаете трудный вопросъ: но я постараюсь вамъ искренно на него отвѣтить. Быть противъ освобожденія! — это страшно сказать! — но не могу же все видѣть въ розовомъ цвѣтѣ... я не мечтатель, дядя, и уже не юноша, я не теоретикъ, не ученый, не литераторъ — я много ѣздилъ по Россіи, знаю деревню, имѣю понятіе о нашемъ народѣ — конечно насколько это возможно въ моемъ положеніи... и я боюсь, что эта прекрасная, благородная реформа слишкомъ дорого обойдется и намъ, и народу...

Борисъ Сергѣевичъ съ изумленіемъ взглянулъ на него, но онъ продолжалъ убѣжденнымъ, грустнымъ тономъ:

— Намъ, видите, особенно послѣ войны, очень

стыдно стало передъ Европой, стыдно за то, что мы варвары, рабовладѣльцы, азіаты. Намъ во что бы то ни стало хочется быть европейцами, а они не признають насъ себѣ равными, сажаютъ за отдѣльный столъ!.. Ну вотъ мы и должны доказать имъ, что мы не хуже ихъ...

— Какъ, только это?! уже начиная волноваться и даже сердиться перебилъ Борисъ Сергѣевичъ. — А принципъ... принципъ?!..

— Что же я могу возражать противъ принципа?! Я хорошо знаю, что положеніе ненормальное, что человѣкъ долженъ быть свободенъ и въ концѣ концовъ будетъ непременно свободенъ, хотя, прибавлю: съ ограниченіями, непременно съ ограниченіями и очень, очень большими. Я былъ бы крайне доволенъ, еслибы теперь уже нашъ народъ былъ освобожденъ отъ крѣпостной зависимости. Мнѣ мои крестьяне ненужны, какой же я помѣщикъ... Но я все же настаиваю на томъ, что мы спѣшимъ, ужасно спѣшимъ ради мнѣнія Европы. Освободить крестьянъ! — чего же лучше. Но весь вопросъ: какъ и когда, настало ли теперь время для этого, можемъ ли мы это сдѣлать такъ, вдругъ, сразу? И я говорю: нѣтъ, нѣтъ, не можемъ при томъ экономическомъ положеніи Россіи, которое всѣмъ извѣстно. Я боюсь, что, поспѣшивъ, мы въ концѣ концовъ окажемъ плохую услугу народу, а что ужъ себя то уничтожимъ — это навѣрное; а мы именно спѣшимъ. Мы такъ нетерпѣливы, такъ хотимъ скоро вырости!..

Борисъ Сергѣевичъ задумался.

— Я здѣсь еще вновь, мнѣ многое еще трудно сообразить, наконецъ выговорилъ онъ. — Можетъ

быть ты и правъ отчасти. Я знаю только то, что я долженъ сдѣлать, и знаю, что лично я не ошибаюсь.

— Вы хотите освободить и устроить вашихъ крестьянъ? спросилъ Николай.

Борисъ Сергѣевичъ съ изумленіемъ замѣтилъ, что проговорился, что высказалъ этому человѣку, съ которымъ вовсе не рассчитывалъ быть откровеннымъ, то, чего еще не говорилъ никому.

Но онъ не пошелъ назадъ, не сталъ отказываться.

— Да, я это сдѣлаю...

— Такъ вы—другое дѣло, дядя! это частный примѣръ и, вѣдь вы знаете, далеко не первый, такихъ примѣровъ давно уже не мало. Вѣдь и по моему такъ: это значить готовить почву — про что же я и говорю! А вѣдь мы въ одинъ мигъ устроимъ реформу, на которую нужно годы. Мы, то есть не мы конечно, а государство отдастъ больше чѣмъ у него есть. Что же изъ этого выйдетъ?..

— И вотъ, прибавилъ съ улыбкой Николай,—теперь вы можете смотрѣть на меня какъ на „крѣпостника“, „отсталаго человѣка“—эти слова теперь въ модѣ,—на меня такъ уже многіе смотрять... Я какъ-то не выдержалъ и высказался en haut lieu—и на меня косятся даже тѣ господа, которые не только со мною согласны, но идутъ гораздо дальше, чѣмъ я... Вы думаете, что многіе изъ тѣхъ, кто теперь тамъ суетится, кричитъ, хлопочетъ, готовится работать—проникнуты необходимостью этой работы?!.. Ахъ, Боже мой, Боже мой!—только подлаживаются подъ тонъ, а на сердцѣ кошки скребутъ! все фальшь и фальшь и можетъ быть у насъ

теперь въ Петербургѣ больше фальши, чѣмъ когда либо.. Просто задыхаешься! это не жизнь...

— Ты недоволенъ жизнью? какой же бы жизни ты хотѣлъ? спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

Николай нахмурился и потомъ взглянулъ на него съ печальной улыбкой.

— Вотъ я говорилъ, началъ онъ,—что я не мечтатель, а вѣдь это неправда... да, конечно, я вовсе не мечтатель въ извѣстномъ отношеніи, я не увлекаюсь утопіями и терпѣть не могу предвзятыхъ взглядовъ, но за то въ другомъ — я большой мечтатель, и съ дѣтства!.. Знаете ли, дядя, что я не разъ завидовалъ вашей жизни! Мнѣ кажется, что, несмотря на всѣ печальныя обстоятельства и потери, вы прожили до сихъ поръ гораздо здоровѣе, гораздо полнѣе нашего. Вокругъ васъ не было этой фальши, лжи, условности, вы были ближе къ природѣ...

И снова разгораясь и увлекаясь, Николай сталъ рисовать картину той жизни и тѣхъ отношеній, среди которыхъ, по его предположеніямъ, находился долгіе годы „изгнанникъ“.

Борисъ Сергѣевичъ вслушивался съ изумленіемъ, съ постоянно возрастающимъ интересомъ — и наконецъ не выдержалъ.

— Да откуда ты знаешь все это? воскликнулъ онъ,—вѣдь почти все, что ты мнѣ рассказываешь — вѣрно! такъ и есть, такъ оно и было!.. ты какъ будто самъ прожилъ долго въ Сибири, со мною, какъ будто и ты пережилъ все, что мнѣ пришлось пережить!

— Значить я много думалъ о васъ и вашей жизни, значить я хорошо ее себѣ представилъ...

— Но ты обладаешь большими познаніями...

— Къ моему горю, большими познаніями я не обладаю — я ничего не знаю какъ слѣдуетъ; но я много читалъ, читалъ съ дѣтства — вѣдь вы знаете дѣдушкину петербургскую библіотеку... бывало я записался въ ней и просто глоталъ книги...

Борисъ Сергѣевичъ невольно улыбнулся.

— А со мной не встрѣчался ты въ этой библіотекѣ? спросилъ онъ.

— Я именно сейчасъ и хотѣлъ сказать вамъ, дядя, что познакомился тамъ съ вами — у васъ хорошая манера, которую я перенялъ, отмѣчать на поляхъ книгъ свои впечатлѣнія, мысли... вы даже часто подписывали ихъ вашими буквами... Я то и дѣло натѣкался на эти ваши замѣтки и знакомился съ вами...

— Отчего же ты не написалъ мнѣ никогда объ нашемъ знакомствѣ?

— Отчего?! право — не знаю... признаться — даже вѣдь и собирался не разъ сдѣлать это, да все какъ то не выходило...

— Да, я читалъ много, продолжалъ онъ, — теперь у меня самого составила уже своя собственная порядочная библіотека... но бѣда въ томъ, что у меня никогда не было хорошаго учителя... Вѣдь я одно время мечталъ даже попасть въ университетъ...

— Чтò же помѣшало?

— Покойный отецъ.

— Да вѣдь мы съ нимъ сами были въ московскомъ университетѣ!

— Только въ другое время, дядя... Въ мое время университеты были въ загонѣ, въ пренебреженіи...

въ сущности ихъ все же побаивались... Однимъ словомъ, отецъ рѣшилъ, что Горбатову не слѣдуетъ компрометтировать себя и портить себѣ университетомъ карьеру... Карьеру можно было сдѣлать только на военной службѣ... „А затѣмъ, сказалъ мнѣ отецъ, если ты ужъ такую нѣжность чувствуешь къ университету—тебѣ можетъ быть не трудно будетъ стать попечителемъ какого нибудь учебнаго округа... вотъ ты и будешь во главѣ университета“.

— Что же ты ему на это?

— Я, конечно, возразилъ, что какъ же это я могу управлять учебнымъ округомъ, не получивъ научнаго образованія и зная только военное дѣло?! Онъ и говоритъ: „а такъ, какъ другіе... увидишь—поймешь... если захочешь, для симметріи, поставить въ храмъ науки десятую музу—ставь смѣло... студенты будутъ смѣяться... а ты, чтобъ не смѣли смѣяться, держи ихъ въ ежовыхъ рукавицахъ—и будешь примѣрнымъ ревнителемъ и хранителемъ отечественнаго просвѣщенія!“ Засмѣялся отецъ — и ушелъ... Я хорошо помню этотъ разговоръ... О, онъ отлично все понималъ, онъ былъ уменъ... только...

— Что только? видя что Николай запнулся и улыбается нехорошей усмѣшкой, спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Только онъ совсѣмъ о насъ не думалъ, совсѣмъ насъ не зналъ... мы были ему какъ чужіе... и я много страдалъ отъ этого... Вообще не радостная была юность, дядя!

И будто желая отогнать отъ себя скорѣе грустныя мысли и воспоминанія, Николай вернулся къ сибирской жизни „изгнанника“—и опять увлекся.

Борисъ Сергѣевичъ продолжалъ изумляться передъ этимъ даромъ блестящаго флигель-адъютанта воспроизводить никогда имъ невиданное и только воображаемое, и, вдобавокъ, такое, что, по складу его жизни, должно было ему быть совсѣмъ чуждымъ.

И не замѣтили они, бесѣдуя и взадъ и впередъ ходя по старой аллеѣ, какъ пришло время обѣда и обычный звонъ колокола сталъ сзывать всѣхъ въ столовую. Они повернулись къ дому. Николай поспѣшилъ впередъ, а Борисъ Сергѣевичъ остановился въ раздумѣ. Онъ былъ какъ въ туманѣ, все еще подъ впечатлѣніемъ этого долгаго, нежданнаго разговора. Въ его ушахъ все еще звучали слова Николая, и тонъ этихъ словъ, — горячій, убѣжденный, доходившій иногда почти даже до какого то вдохновенія.

Онъ очнулся услыша возлѣ себя голосъ Наташи. Онъ улыбнулся ей, а она какъ то робко, не то спросила его, не то просто сказала:

— Познакомились съ Николаемъ?!

— Да, отвѣчалъ онъ, — или нѣтъ, вѣрнѣе только началъ знакомство. Онъ такой человѣкъ, съ которымъ познакомишься не скоро и не скоро разглядишь его.

Она насторожилась:

— Почему?

— Почему, что онъ изъ людей, встрѣчающихся рѣдко въ жизни; эти люди не подходятъ подъ привычную и обычную мѣрку...

Что то неудовимое блеснуло въ лицѣ Наташи и тотчасъ же погасло.

— Такъ вы считаете его особеннымъ человекомъ, дядя?

— Да, особеннымъ. Но что скрывается за этимъ огнемъ и блескомъ, за этими дарованіями, которыя прорываются несмотря на печальное воспитаніе, полученное имъ—вотъ этого то я еще не знаю, и хотѣлось бы мнѣ знать, хотѣлось бы знать каково его сердце!

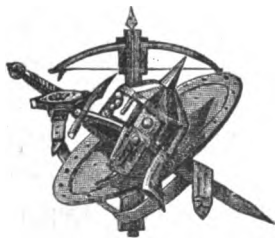
— Придетъ время и это узнаете! почти таинственно выговорила Наташа.

А Борисъ Сергѣевичъ думалъ:

„Боже мой, откуда берется это?!. Несчастные, покинутые мальчики, распущенность, печальные примѣры передъ глазами, пустота свѣтской жизни... и ему съ небольшимъ тридцать лѣтъ!.. Когда же успѣлъ онъ узнать все что знаетъ? Когда успѣлъ читать, думать, учиться?..“

„И отчего это Сергѣй не такой?!“ заключилъ онъ свои мысли и вздохнулъ невольно. •

Сергѣя то онъ уже довольно разглядѣлъ за это время и хотя вспыхнувшее въ немъ къ нему чувство не потухло, но онъ съ грустью начиналъ видѣть то, чего никакъ не желалъ бы видѣть.





XI.

Старая грѣшница.

Укладывая и перекладывая свои сундуки съ тряпьемъ, Катерина Михайловна за послѣдніе дни обдѣлывала положеніе. Пока все обходилось благополучно, все шло даже такъ хорошо, какъ она и не надѣялась.

Она очень боялась, что отношенія ея семьи къ Борису Сергѣевичу останутся натянутыми, что онъ ограничится соблюденіемъ приличій.

А между тѣмъ и въ такое короткое время вотъ уже онъ вошелъ въ семью, привязался къ ней.

Катерина Михайловна очень хорошо видѣла, что главнымъ образомъ привязывали его—Наташа и отчасти Сергѣй, что Борисъ Сергѣевичъ къ Мари относится очень холодно, къ Гришѣ тоже.

„Ну, что же, не разъ говорила она себѣ,—пусть

хоть имъ будетъ счастье, пусть хоть они будутъ богаты“.

А между тѣмъ, она никакъ не могла успокоиться на этихъ мысляхъ. Въ ней вдругъ поднималось нѣжное чувство къ Гришѣ, и не только къ Гришѣ, но даже и къ Николаю. Ей казалось, что это несправедливо относительно ихъ. Ей, наконецъ, начинало неудержимо, капризно хотѣться, чтобы все это прошлое, которое такъ долго ее нисколько не мучило, но теперь, съ появленіемъ Бориса Сергѣевича, начинало мучить, — забылось и не существовало болѣе. Она пуще всего страстно хотѣла теперь возвращенія прежняго богатства, блеска и значенія для всей горбатовской семьи, которой она признавала себя главою.

„Нужно побѣдить изгнанника, нужно забрать его въ руки“.

Она понимала, что не можетъ достигнуть этого сразу, что нужно дѣйствовать осторожно. Такъ она и дѣйствовала, — не выставляясь, ступаясь.

Но если былъ опасенъ день первой ихъ встрѣчи, то еще опаснѣе былъ, конечно, день пріѣзда Николая. Борисъ Сергѣевичъ ни разу съ ней объ немъ не заговаривалъ, а когда при немъ упоминали имя Николая, она хорошо видѣла, что онъ опускаетъ глаза, смущается, что лицо его хмурится — и при этомъ ей самой, никогда не смущавшейся прежде, теперь становилось неловко.

А между тѣмъ вѣдь ихъ встрѣча неизбежна и только тогда, когда на сцену уже явится Николай, можно будетъ приступить къ порабощенію изгнанника.

И вотъ Николай пріѣхалъ. Катерина Михайловна,

поздоровавшись съ нимъ, поспѣшно скрылась въ своихъ комнатахъ и не выходила до самаго обѣда. Она была въ волненіи, даже очень рѣзко прогнала Совю, которая было къ ней прибѣжала.

Она вдругъ, будто по чуду какому то, вернулась къ прежней позабытой жизни. Ей чудилось, что она снова молода, въ Петербургѣ, въ старомъ горбатовскомъ домѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ до рожденія Николая. Она снова будто переживала свою капризную страсть къ графу Щапскому, который потомъ поступилъ съ нею очень неблагородно—покинулъ ее за границей и потомъ ни разу не встрѣтился съ нею въ жизни.

Она какъ будто снова переживала всѣ прежнія сцены: ужасное объясненіе съ Борисомъ, потомъ объясненіе съ мужемъ, во время котораго она такъ хорошо сыграла свою роль. Впрочемъ, она до сихъ поръ не могла рѣшить вопроса — кто тогда игралъ роль—она или ея мужъ: вѣдь онъ, очевидно, только сдѣлалъ видъ, что повѣрилъ всѣмъ ея объясненіямъ...

Но странное дѣло—тогда, когда въ дѣйствительности происходило все это, она чувствовала себя только несчастной и даже обиженной. Она ненавидѣла Бориса, еслибы было возможно, она бы, кажется, убила его съ наслажденіемъ. Теперь ненависть къ изгнаннику въ ней заглушилась чувствомъ невольнаго страха, который все сильнѣе и сильнѣе начинала испытывать къ этому кроткому человѣку, такъ хорошо встрѣтившемуся со всѣми ними. Да, она боялась его, хотя, несмотря на всѣ страхи свои, все же рассчитывала его побѣдить.

Но пуще страха, въ ней говорила тоска, начавшая время отъ времени появляться въ послѣдніе годы и достигавшая теперь иногда мучительныхъ размѣровъ. Она называла это „тоскою“, она не могла найти другого опредѣленія тому, что испытывала въ присутствіи Бориса Сергѣевича и особенно въ тѣ мгновенія, когда произносилось имя Николая.

Это чувство въ этотъ день было такъ сильно, ей сдѣлалось такъ тяжело когда раздался звонокъ, съзывающій къ обѣду, что она почти совсѣмъ рѣшила сказаться больной и не выйти.

„Но, Боже мой, вѣдь если не сегодня, такъ завтра, вѣдь невозможно избѣгнуть этого! Да и зачѣмъ?.. пустое! надо преодолѣть себя!..“ И она преодолѣла.

Она вышла къ обѣду. Она была блѣднѣе обыкновеннаго, ея маленькія, сухія руки по временамъ нервно дрожали; но никто ничего не замѣтилъ. Ей пришлось сидѣть за обѣдомъ противъ Бориса Сергѣевича и какъ она ни подбодряла себя, а первыя минуты были для нея просто пыткой. Она не могла рѣшиться взглянуть на него. Наконецъ, все же взглянула.

Онъ смотрѣлъ въ сторону. Но вотъ ихъ глаза встрѣтились. Онъ глядитъ прямо на нее... Онъ хочетъ истерзать ее своимъ взглядомъ.

„Нѣтъ, она не поддастся!“

Она сдѣлала надъ собою усиліе, не отвела своихъ глазъ, только придала имъ то выраженіе, какое нашла самымъ подходящимъ, и Борисъ Сергѣевичъ прочелъ въ ея взглядѣ тоску, муку, мольбу, къ нему

обращенную. Вотъ слезы показались на ея глазахъ. Она вытерла ихъ тихомолкомъ.

Борисъ Сергѣевичъ отвернулся и ему опять, какъ и въ первую минуту свиданія съ нею, стало невольно жаль эту бывшую Катринъ, эту грѣшницу, эту маленькую, сухенькую старушку, очевидно, искупавшую теперь тяжелыми страданіями вину свою.

Катерина Михайловна справилась со своей тоскою и поняла, что начала игру удачно.

Къ концу обѣда она совсѣмъ успокоилась и рѣшила, что нужно дѣйствовать не откладывая ни минуты. Она успѣла замѣтить, что Борисъ Сергѣевичъ съ интересомъ и безъ всякаго враждебнаго чувства глядитъ на Николая. Она узнала изъ общихъ разговоровъ, что они долго бесѣдовали вдвоемъ въ паркѣ. Все складывалось самымъ лучшимъ образомъ.

„Николай уменъ, интересенъ, — думала она, — но трудно было ожидать, чтобы онъ такъ сразу могъ съ нимъ справиться. Теперь послѣдній, рѣшительный ударъ — и онъ будетъ совсѣмъ побѣжденъ!“

Она припомнила нѣкоторыя минуты своей жизни, когда ей приходилось вывертываться изъ тяжелаго положенія, дурачить людей — ей всегда это удавалось. Должно удаться и на этотъ разъ.

Послѣ обѣда, когда всѣ, по обыкновенію, перешли на террасу, улучивъ удобную минуту, она шепнула Борису Сергѣевичу:

— Будь такъ добръ, Борисъ, пойдемъ ко мнѣ, мнѣ надо поговорить съ тобою...

Онъ даже вздрогнулъ. Но она подняла на него

такой скорбный взглядъ, что не говоря ни слова онъ послѣдовалъ за нею.

Да и какъ бы могъ онъ отказать ей?!

„Но о чемъ это она можетъ говорить со мною? что ей нужно?.. думалъ онъ. — Впрочемъ, можетъ быть, какое нибудь денежное затрудненіе... денегъ попросить... сколько угодно... сколько угодно! только поскорѣе бы!“

Она его провела въ свои комнаты, гдѣ онъ до сихъ поръ не былъ еще ни разу. Онъ съ изумленіемъ увидѣлъ этотъ странный беспорядокъ, эти всюду наставленные сундуки. Онъ помнилъ Катринъ вѣчно окруженной самой изысканной роскошью, вѣчно заботившейся о томъ, чтобы вокругъ нея и у нея было все лучше, чѣмъ у кого либо.

„Но развѣ это Катринъ?!“

Она знакомъ пригласила его сѣсть въ большое старое кресло, сама присѣла въ другое, подняла на него глаза все съ тѣмъ же скорбнымъ выраженіемъ и молчала. Ему стало ужасно неловко.

— Что тебѣ угодно, Катринъ? запинаясь произнесъ онъ.

Она какъ будто хотѣла начать говорить, но вдругъ слезы блеснули на ея глазахъ и съ тихимъ, сдавленнымъ старческимъ рыданіемъ она закрыла лицо руками.

Борису Сергѣевичу стало еще невыносимѣе.

„Къ чему эта комедія?!“

— Катринъ, успокойся! сказалъ онъ. — Еслибы я не зналъ, что все благополучно, я бы подумалъ, что

случилось какое нибудь несчастье—но вѣдь ничего такого нѣтъ?!

— Прости!—наконецъ выговорила она,—конечно это глупо... я не справилась съ собою. Но, Боже мой, вѣдь есть невидимыя несчастья и они тѣмъ тяжелѣе, что ихъ никто понять не можетъ, не можетъ о нихъ догадаться. Мое несчастье можешь понять только ты... ты его знаешь... ты одинъ его знаешь на свѣтѣ. Я долго нерѣшалась, но вижу, что должна говорить съ тобою. Я многое дала бы, еслибы могла избѣгнуть этого; но нѣтъ, нельзя... нужно это... Мы должны разъ навсегда поговорить... Борисъ, вернемся къ старому... къ ужасному времени!..

Онъ поблѣднѣлъ и даже поднялся съ мѣста.

— Зачѣмъ?! съ ужасомъ и все возроставшимъ отвращеніемъ воскликнулъ онъ. — Зачѣмъ... ради Бога, оставьте это... Я надѣялся, что именно между нами не будетъ никакихъ разговоровъ о прошломъ!.. Я надѣялся, что вы поймете, что намъ самое лучшее никогда не касаться этого прошлаго... Вы кажется видѣли: я пріѣхалъ, пришелъ въ вашъ домъ какъ родной, я полюбилъ вашу семью, у меня явилась надежда, что и меня полюбятъ... Что же вы хотите, чтобы я ушелъ... кому вы этимъ принесете пользу?!

Онъ весь даже измѣнился говоря это—глаза его заблестѣли, въ голосѣ звучали тѣ страстныя ноты, которыхъ она не слыхала столько лѣтъ. Еслибы не эти сѣдые волосы и не эта сѣдая борода, она подумала бы, что вернулось прежнее время, что передъ нею прежній Борисъ, такой точно, какимъ онъ вдругъ очутился передъ нею послѣ того, какъ сталъ невольнымъ свидѣтелемъ ея тайны.

Но уже разъ начала, она не хотѣла отступать. Она собрала всѣ свои силы и снова почувствовала въ себѣ приливъ каковаго то театральнаго вдохновенія.

— Ахъ, Боже мой, простонала она заломивъ руки,—да неужели мнѣ то это легко?! да я бы все отдала, чтобы не вспоминать старое, чтобы его не было! Я знаю, Борисъ, я ужасно виновата передъ тобою, ты имѣешь право и презирать, и ненавидѣть меня... Но вѣдь ты добръ, ты благороденъ, ты, именно ты, поймешь многое, чего не понялъ бы другой...

— Что же тутъ понимать?! прошу васъ прекратите это, будетъ самое лучшее... отпустите меня!.. произнесъ онъ.

— Борисъ, Борисъ! повторала она, — да взгляни же на меня, вѣдь я не та, не прежняя... Вся жизнь прошла... пожалѣй же несчастную старуху... пожалѣй, Борисъ, и выслушай...

Еще мигъ—и она кажется стала бы передъ нимъ на колѣни. Онъ почти упалъ въ кресло и опустилъ голову.

Она заговорила горячо и страстно, то и дѣло переходя на французскій языкъ, на которомъ ей легче было объясняться.

— Мнѣ нѣтъ оправданій и я не хочу себя оправдывать! говорила она. — Я грѣшница. Но еслибы зналъ ты, какой цѣной я искупила и искупаю до сихъ поръ грѣхъ свой! И потомъ, вѣдь все же не одна я виновата... Ты знаешь, я вышла замужъ ребенкомъ, избалованнымъ ребенкомъ, незнавшимъ

жизни... изъ меня тогда можно было сдѣлать все, что угодно. Еслибы я попала въ руки другому человеку—и я была бы другая; но твой братъ—онъ не исправить могъ меня, а испортить... и испортилъ...

— Оставимъ мертвыхъ! мрачно произнесъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Да вѣдь я ему давно все простила... Но что правда, то правда... Онъ былъ дурнымъ мужемъ... Онъ никогда не любилъ меня... Онъ измѣнялъ мнѣ съ перваго же года... ты можешь быть не знаешь этого—но я знаю...

Борисъ Сергѣевичъ зналъ это и потому молчалъ. Онъ сознавалъ, что она права, что его покойный братъ былъ дѣйствительно дурнымъ мужемъ и могъ ее только испортить.

— Я не судья вамъ, сказалъ онъ,—и конечно не сталъ бы и тогда даже вмѣшиваться въ ваши дѣла... еслибы не было послѣдствій... Но что вы сдѣлали съ нашимъ именемъ?! Нѣтъ, увольте, оставьте меня!.. зачѣмъ, и именно сегодня, вы заговорили объ этомъ? мнѣ и такъ тяжело...

Передъ нимъ мелькнуло прекрасное, оживленное лицо Николая.

— Оставьте меня, позвольте мнѣ уйти... повторялъ онъ.

Она испуганно встала его удерживая и какимъ то торжественнымъ голосомъ, твердо проговорила:

— Еслибы дѣйствительно были послѣдствія, я бы не рѣшилась возвращаться къ старому... я бы не могла теперь смотрѣть на тебя... Послѣдствій нѣтъ!..

Николай — сынъ моего мужа... онъ твой племянникъ...

И говоря это, она прямо, смѣло глядѣла ему въ глаза и удерживала его своими дрожащими руками.

— Пустите! почти съ бѣшенствомъ въ голосѣ крикнулъ Борисъ Сергѣевичъ и рѣшительно направился въ двери.

— Я не пушу тебя... нѣтъ, не пушу! ты меня долженъ выслушать, а потомъ дѣлай какъ знаешь... Уходи... не вѣрь мнѣ, покинь хоть навсегда этотъ домъ... но ты меня выслушаешь!

Его бѣшенство упало. Онъ съ презрѣніемъ взглянулъ на нее, даже усмѣхнулся.

— Какая жалкая комедія! Что-жь, если вамъ угодно играть ее—играйте, я насильно убѣгать не стану... Я готовъ васъ слушать... играйте...

Она была возбуждена въ высшей степени; все, что въ ней оставалось жизни, силы—все теперь заговорило. Нервное возбужденіе вызвало обильныя слезы, которыя такъ и лились по ея маленькому и блѣдному, морщинистому лицу.

— Я знаю, Борисъ, сквозь эти слезы говорила она, — что иначе вы не можете мнѣ отвѣтить, въ этомъ то и заключается весь ужасъ моего положенія...

— Да что же? теперь, болѣе чѣмъ черезъ тридцать лѣтъ, вы будете увѣрять меня, что я не слышалъ того, что слышалъ своими собственными ушами?!.. Впрочемъ говорите, я молчу, я не стану перебивать васъ.

— Борисъ конечно въ тотъ ужасный день ты слышала то, что я говорила, конечно... Я говорила этому извергу, этому моему убійцѣ Щапскому, что мой будущій ребенокъ—его ребенокъ... я ему лгала, лгала потому, что была безумно влюблена въ него, потому что хотѣла удержать его и видѣла въ этой лжи единственное средство достигнуть цѣли, видѣла связь, которая должна насъ соединить на вѣки... Такъ я мечтала, несчастная, жалкая, обманутая и обманувшая женщина!.. Да, я была преступна, я измѣнила мужу... Но ребенокъ былъ его и онъ хорошо зналъ это и онъ бы теперь подтвердилъ тебѣ это... Да и наконецъ, ты ужъ теперь несправедливъ къ брату — онъ былъ способенъ на многое, у него были большіе, ужасные недостатки, но вѣдь онъ былъ тоже Горбатовъ. Еслибы онъ не былъ увѣренъ, что ребенокъ его — онъ бы не призналъ его своимъ сыномъ — а ты знаешь, онъ призналъ его...

— Много бы я далъ чтобы вамъ повѣрить! прошепталъ Борисъ Сергѣевичъ, — но я не могу... я не вѣрю...

Катерина Михайловна безнадежно опустила голову...

— Тѣмъ хуже для меня... тѣмъ хуже для меня!! повторяла она.—Мнѣ больше ничего не остается; какія же я могу представить доказательства?!.. Я искупаю свою вину... О, еслибы ты зналъ какъ я несчастна, ты бы пожалѣлъ меня!.. Ты не вѣришь, Борисъ... Но, Господи! если ты даже и не вѣришь, чѣмъ же виновать этотъ несчастный ребенокъ?!

— Конечно онъ ничѣмъ не виноватъ и оттого

то это все такъ и ужасно, печально произнесъ Борисъ Сергѣевичъ.

А она между тѣмъ продолжала:

— И вѣдь ты добръ, ты добръ, у тебя высокое, благородное сердце... Ты христiанинъ, Борисъ, по-вѣрь мнѣ—я не солгала тебѣ... Но если не вѣришь... прости... прости, какъ Богъ велитъ, и люби ихъ... моихъ дѣтей... Я тебя измучила этимъ объясненiемъ, я не внушила тебѣ вѣру въ мои слова, но я исполнила мой долгъ... Я не держу тебя...

Она едва договорила это. Она сидѣла передъ нимъ опустивъ руки, видимо измученная и обезсиленная, съ блѣднымъ, увядшимъ лицомъ и жалкимъ видомъ.

— Мы всё нуждаемся въ прощенiи, тихо проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ. — Мнѣ жаль тебя, Катринъ; твоя жизнь дѣйствительно должна быть тяжела и ты вѣрно много страдаешь.

Онъ остановился на мгновенiе, потомъ протянулъ ей руку, пожалъ ея холодные пальцы и уныло вышелъ изъ комнаты.

Она нѣсколько минутъ продолжала сидѣть въ томъ же положенiи, съ тѣмъ же уставшимъ выраженiемъ въ лицѣ. Она горько вздохнула.

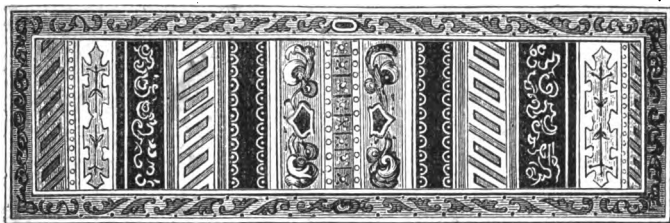
„Не вѣрить!“ подумала она, — „но все же я поселила въ немъ сомнѣнiе, довольно и этого—дѣло сдѣлано...“

На ббльшее она и не рассчитывала, она была довольна, что объясненiе это кончилось такъ, а не иначе... А между тѣмъ тоска давила ей грудь, и жизнь, которую она когда то такъ любила, за ко-

торой она гонялась, представилась ей теперь жалкой и противной. Еслибы можно было вернуть прошлое, она может быть жила бы иначе — но вернуть ничего нельзя.

И она стала жадно хвататься за мысль о будущем, — это будущее могло быть блестящимъ, но только съ помощью Бориса Сергѣевича.





ХІІ.

Ошибна.

Прошло всего два дня съ прїѣзда Николая Горбатова, но отъ оживленія, замѣчавшагося въ немъ въ первыя минуты, ничего не осталось; даже внѣшность его совсѣмъ измѣнилась. Онъ уже не казался красивымъ, франтоватымъ флигель-адъютантомъ, ходилъ сгорбившись, съ потемнѣвшимъ лицомъ и тусклымъ взглядомъ, молчалъ по цѣлымъ часамъ и если кто нибудь обращался къ нему съ какимъ нибудь вопросомъ,—онъ отвѣчалъ односложно и спѣшилъ скорѣе отойти. Его видимо раздражали дѣтскій смѣхъ и крики. Братъ звалъ его на охоту — онъ отказался.

Мать стала было объяснять ему, что онъ непременно долженъ хорошенько поговорить съ управляющимъ и пересмотрѣть счета, которые кажутся ей невѣрными. Но онъ рѣзко объявилъ, что не намѣренъ толковать съ завѣдомымъ мошенникомъ.

— Сергѣй ненамѣренъ, ты ненамѣренъ,—что же это наконецъ будетъ?! сказала Катерина Михайловна. — Отъ этого у насъ такъ хорошо дѣла и идутъ... Я ничего не смыслю, оно и понятно, но вѣдь ты еще въ прошломъ году вникалъ въ хозяйство... Ты все такъ легко соображаешь... Неужели трудно заняться... да и наконецъ — вѣдь въ этомъ твои же интересы, твои выгоды...

Онъ ничего не отвѣтилъ, нахмурился и ушелъ.

Катерина Михайловна отправилась къ Мари.

— Сдѣлай милость, та сѣге, объясни мнѣ, что такое съ Nicolas? — Онъ становится просто невозможенъ, съ нимъ говорить нельзя... Я того и жду—кричать станетъ—ты что ли его такъ раздражила?

Мари подняла на нее свои заспанные глаза и проговорила:

— Ничѣмъ я его не раздражала. Вѣдь вы его знаете—онъ всегда такой...

— Уговори же его — нельзя такъ вести дѣло, пусть онъ хоть немного займется, а то насъ кругомъ обворовываютъ и всѣ эти мошенники видятъ, что нѣтъ хозяина, что можно дѣлать все, что угодно.

— Нѣтъ, тамап, извините, я ни въ чемъ его не стану уговаривать, потому что ничего изъ этого не выйдетъ. Да и наконецъ это не мое дѣло — я прошу только одного, чтобы меня не вмѣшивали въ эти дразги.

Катерина Михайловна махнула рукой, совсѣмъ разсерженная ушла къ себѣ и стала рыться въ своихъ сундукахъ.

Между тѣмъ Николай, не смотря на знойную

полуденную пору, вышелъ въ паркъ и долго бродилъ, не замѣчая дороги.

Его давила тоска, мучительная тоска, которую онъ очень часто испытывалъ и которая въ послѣднее время становилась иногда просто невыносимой.

Въ разговорѣ съ дядей онъ былъ искрененъ; ему дѣйствительно тяжело жилось и дышалось въ Петербургѣ, среди дѣятельности, къ которой онъ не чувствовалъ особеннаго призванія, среди людей, съ которыми имѣлъ мало общаго. Въ эти послѣднія недѣли, оставшись одинъ въ огромномъ горбатовскомъ домѣ, онъ совсѣмъ истомился и ждалъ-недождался возможности уѣхать въ отпускъ. Подъѣзжая къ Знаменскому, онъ испыталъ большую радость. Ему такъ хотѣлось всѣхъ увидѣть, снова очутиться среди своихъ домашнихъ. При этомъ его заинтересовало свиданіе съ незнакомымъ дядей, о которомъ онъ нерѣдко думалъ.

Но уже вечеромъ, когда всѣ разошлись и онъ очутился въ спальнѣ, съ женою, съ нимъ произошла внезапная перемѣна.

Мари была ласкова и предупредительна насколько возможно. Она по-своему радовалась возвращенію мужа. Она выложила сама и приготовила всѣ его любимыя вещи и, въ то время какъ онъ раздѣвался и приготовлялся ложиться спать, задавала ему много хотя не интересныхъ, но понятныхъ въ первый день пріѣзда вопросовъ. Онъ отвѣчалъ ей обстоятельно, но потомъ вдругъ какъ будто пересталъ даже слышать то, о чемъ она спрашивала.

Она разсердилась.

— Что же вы не можете даже мнѣ отвѣчать?! сказала она.

— Ахъ, Боже мой, да вѣдь кажется уже все объяснилъ, рассказалъ... Ну чего, чего ты повторяешь?.. и потомъ, по правдѣ, я ужасно усталъ, я спать хочу... оставимъ до завтра...

Мари сѣла передъ кроватью и пригорюнилась.

— Ну да, вѣчно одно и тоже — усталъ, хочу спать... Что же это, наконецъ, такое!? Почти два мѣсяца не видѣлись и вотъ какая встрѣча!.. Это называется любовь... Да поздоровался ли ты со мною какъ слѣдуетъ, приласкалъ ли ты меня?..

Онъ неопредѣленно посмотрѣлъ на нее.

— Развѣ тебѣ это нужно?!

— И это любовь... и это любовь!.. повторяла она.

Онъ подошелъ къ ней и обнялъ ее рукой за шею.

— Перестань же, Мари, мы не дѣти... право пора спать... прощай...

Онъ поцѣловалъ ее. Поцѣлуй этотъ былъ очень холоденъ.

Она хотѣла было сказать ему, что когда то, и не послѣ двухмѣсячной разлуки, онъ цѣловалъ ее иначе. Но вдругъ сама почувствовала, что самое лучшее теперь — спать. Она поспѣшно раздѣлась, улеглась и тотчасъ же заснула.

А онъ не спалъ. Онъ лежалъ вытянувшись, вдыхая въ себя ерѣпкѣй запахъ духовъ, которыми Мари любила пропитывать все бѣлье. Этотъ запахъ раздражалъ его, онъ его ненавидѣлъ. И ему казалось, что онъ теперь не можетъ заснуть именно отъ этого запаха.

Чего же онъ рвался сюда?! Онъ дома, въ семьѣ, съ женою. Но онъ чувствовалъ себя болѣе чѣмъ когда либо одинокимъ. Эта женщина, съ которой онъ прожилъ болѣе девяти лѣтъ, которая имѣла на него такія неоспоримыя права—была ему совсѣмъ, совсѣмъ чужою.

Какимъ же образомъ случилось это?—вѣдь онъ самъ выбралъ себѣ ее въ подруги всей жизни, его никто не принуждалъ, женись на Мари онъ былъ далекъ отъ всякаго денежнаго расчета...

Да, все это такъ, конечно; но ему всего было тогда двадцать два года.

Онъ встрѣтился съ нею въ свѣтѣ, гдѣ она только что показала, совсѣмъ еще юною, едва оставившею уроки и куклы. Ей только что исполнилось семнадцать лѣтъ, хотя высокая, пышная, съ рано развившимися формами, она казалась старше своего возраста.

Ее признали всѣ очень хорошенькой. И дѣйствительно она была красива въ первомъ расцвѣтѣ юности, когда за свѣжестью, нѣжностью и яркими красками трудно подмѣтить что либо другое, когда о внутреннемъ содержаніи будущей женщины никто еще не можетъ думать. И ужъ тѣмъ менѣе могъ объ этомъ думать такой неопытный юноша, какимъ былъ Николай Горбатовъ.

Выростя внѣ вліянія родителей, служа въ гвардіи, находясь въ самомъ центрѣ петербургской блестящей молодежи, онъ испыталъ уже все, что могъ испытать гвардейскій офицеръ въ его годы.

Но въ противоположность брату Сергѣю, который

наслаждался жизнью, наслаждался кутежами, легкими побѣдами, продажной любовью — Николай не могъ удовлетвориться всѣмъ этимъ. То, что его брать и товарищи называли веселой жизнью, очень скоро ему надоѣло. Дѣтство и отрочество, проведенныя въ большомъ пустомъ домѣ, близкое знакомство съ огромной библіотекой и конечно прежде всего природныя свойства развили въ немъ инныя потребности. Онъ сталъ мечтать о совсѣмъ иной жизни чѣмъ та, какая его окружала, и вдругъ пришелъ къ убѣжденію, что для начала этой новой жизни ему нужна добрая, вѣрная подруга, которая не имѣла бы ничего общаго съ тѣми легкомысленными, такъ скоро надоѣдающими женщинами, какихъ онъ зналъ до сихъ поръ.

Ему нужна была подруга, которая принадлежала бы ему одному всецѣло, жизнь которой началась бы съ минуты ихъ встрѣчи и затѣмъ, до самаго конца, была бы ихъ общей жизнью.

Эта юная и красивая графиня Натасова, съ дѣтской улыбкой, съ манерами дѣвочки, еще чувствовавшей себя неловко въ длинномъ платьѣ, показалась ему именно такой подругой.

Со свойственной ему откровенностью и жаромъ, Николай принялся ухаживать за нею. Онъ сталъ искать всѣхъ способовъ какъ можно чаще видаться съ Мари. Но тутъ онъ встрѣтился съ большимъ затрудненіемъ — бывать у Натасовыхъ не оказалось никакой возможности.

Родители Мари, хотя по имени и родству и принадлежали къ высшему обществу, но давно перестали посѣщать его. Они жили то въ деревнѣ, то

въ Москвѣ. Былъ у нихъ сынъ, лѣтъ на десять старше Мари. Сначала онъ служилъ въ гвардіи, но велъ себя очень дурно, имѣлъ много непріятныхъ исторій и наконецъ кончилъ тѣмъ, что былъ разжалованъ и сосланъ на Кавказъ за то, что во время одного параднаго обѣда пустилъ хлѣбный шарикъ, случайно или нѣтъ, но какъ бы то ни было попавшій прямо въ носъ важнаго генерала.

Были у Натасовыхъ еще дѣти, но всѣ умерли. Осталась младшая, Мари. Ее привезли въ Петербургъ, отдали въ какой то пансіонъ, поручили ее вниманію одной изъ родственницъ, да и забыли объ ней. Вспомнили только тогда, когда она уже выросла и когда тетка, тоже графиня Натасова, старая дѣвица, настоятельно стала требовать, чтобы Мари взяли изъ пансіона и подумала объ ея будущности.

Натасовы пріѣхали въ Петербургъ. Это оказалось имъ встати, такъ какъ у стараго графа было дѣло этой зимою въ Петербургъ. Мари, года четыре не видавшая родителей, была очень поражена тѣмъ, что ее встрѣтило. Ея отецъ нанялъ небольшой домикъ на Васильевскомъ островѣ, домикъ очень бѣдно меблированный, даже грязный. Навезли съ собою изъ деревни совсѣмъ дикую прислугу, трехъ лакеевъ съ небритыми и немытыми лицами, съ вѣчно продранными локтями; нѣсколькихъ горничныхъ, бѣгавшихъ босикомъ въ затрапезныхъ платьяхъ.

Мари, по праздникамъ посѣщавшая тетку, жившую очень хорошо и поддерживавшую связи въ большомъ свѣтѣ, очень возмутилась такой нежданной родительской обстановкой, тѣмъ болѣе, что она считала своего отца богатымъ человѣкомъ. Она знала,

что у нихъ въ Москвѣ большой собственный домъ, въ которомъ они прежде и живали, да и вотчина въ Тульской губерніи доходная.

Болѣе же всего смутилъ ее видъ отца. Онъ оказался совсѣмъ подѣ-стать привезенной прислугѣ. Онъ носилъ какой то длиннополый, потертый по всѣмъ швамъ сюртукъ и имѣлъ видъ стараго приказнаго. Мари вспоминала:

„Да вѣдь этого прежде не было! отецъ былъ чело-вѣкъ какъ и всѣ, даже молодился, даже красилъ сѣдѣющіе свои волосы—что же значить все это?!“

Она рѣшилась спросить отца, что это значить. Онъ отвѣтилъ, что все перемѣнилось, что они разо-рены, что они бѣдные люди. Она повѣсила голову.

Не менѣе ея была изумлена и ея тетка, съ той только разницей, что Мари, услыша родительскій отвѣтъ, повѣрила ему и на этомъ остановилась, тетка же стала добиваться: какъ, что и почему? Ока-залось, что графъ Натасовъ проигрался въ карты.

— Да сколько же ты проигралъ? настаивала сестра.

— И не спрашивай, матушка, не спрашивай, языкъ не повернется сказать.

— Послушай, другъ мой, да вѣдь домъ то мо-сковскій, вѣдь ты его не продалъ—онъ твой?

— Мой! Да все равно, что и не мой—заложень...

— Ну, а Натасовка?!

— Тоже заложена—жить нечѣмъ...

— Да какъ же Машенька то, вѣдь нужно о ней подумать. Вѣдь ее замужъ надо выдать...

— Ну ужъ это какъ Богъ дастъ, для нея вотъ и маешься, нищенствуешь, каждый грошъ считаешь...

Старая дѣвица задумалась и въ концѣ концовъ рѣшила, что тутъ что-то то, да не то. Она обратилась къ графинѣ Вѣрѣ Павловнѣ:

— Что это братъ говорить: вы разорены? Онъ проигрался? Какъ такое могло случиться?!

Вѣра Павловна захлопала глазами и закатилась своимъ рѣзкимъ смѣхомъ, который всегда шокировалъ нѣсколько чопорную и очень сдержанную старушку.

— А ты ему и вѣришь, мать моя? или до сихъ поръ не научилась понимать своего любезнаго братца. Вретъ онъ все, ничуть не разорены. Проигрался онъ — это вѣрно... и вотъ съ тѣхъ поръ дурь на себя напустилъ, представляется разореннымъ, передъ всѣми хнычетъ... Рехнулся онъ совсѣмъ, мать моя, — вотъ что...

Старушка-графиня хотя и знала за своимъ братомъ всякія чудачества, но все же не могла придти въ себя отъ изумленія.

А Вѣра Павловна продолжала:

— Гляди какимъ нищимъ вырядился... Повѣришь ли, вѣдь въ городъ нарочно ѣздилъ придумывать себѣ такую одежду, у старьевщиковъ шубу купилъ...

— Фи!! съ невольнымъ отвращеніемъ воскликнула старушка. — Неужто ему самому не противно?!

— А это ты его самого и спроси... И вѣдь все

почему? мнѣ на смѣхъ! Я вѣдь хотѣла одна сюда прїѣхать, порядочно устроиться, взять Машу, поселить ее... Ему смерть не хотѣлось изъ деревни. А какъ узнать: вѣтъ, говоритъ, я поѣду. Ну, вотъ и прїѣхали, вотъ и устроились, видишь какъ по-барски!

— Да вѣдь онъ и впрямь сумасшедшій?!

— А то вѣтъ!..

— Какъ же ты то, сестрица, допускаешь это?!

Вѣра Павловна опять закатилась смѣхомъ.

— А мнѣ что, пускай себѣ потѣшается. Эхъ, матушка, надоѣло мнѣ все хуже горькой рѣдки, а пуще всего Петербургъ вашъ—терпѣть его не могу, вотъ возьму да и уѣду опять въ деревню, а за мной и онъ потащится, и дѣла всѣ забудеть...

— Какъ же Мари?!

— Маша то — да я ужъ и не знаю... какъ ты разсудишь, сестрица?..

Тетушка задумалась...

— Незачѣмъ вамъ было и прїѣзжать, проговорила она.

— Слова твои вѣрны, мать моя, незачѣмъ — и я говорю: незачѣмъ было прїѣзжать сюда...

Тетушка уѣхала повторяя:

„Да вѣдь это сумасшедшій домъ, сумасшедшій домъ!“

Но тутъ было пожалуй еще хуже, чѣмъ сумасшествіе.

Графъ Натасовъ смолоду ничѣмъ не отличался отъ людей его званія. Служилъ онъ въ гвардіи, кутилъ напропалую. Затѣмъ, рано лишившись роди-

телей, вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ свое наслѣдственное имѣніе. Обѣздивъ сосѣдей, онъ встрѣтился съ Вѣрой Павловной. Она считалась одной изъ самыхъ богатыхъ невѣстъ той мѣстности, собой была не хороша, но за то бойка, за словомъ въ карманъ не лѣзла, хохотала безъ устали, не чинилась съ молодежью. А молодому графу чуть не съ перваго раза объявила, что онъ ей нравится.

Между ними внезапно установились какія то шумныя, школьническія отношенія. Они бѣгали, гонялись другъ за другомъ.

Дѣло было лѣтомъ, онъ наѣзжалъ часто по сосѣдству. И вотъ въ одинъ прекрасный день черезчуръ долго пробѣгали они въ паркѣ, ловя другъ друга, даже къ обѣду опоздали. И, наконецъ, вернулись съ очень странными и смущенными лицами.

Послѣ обѣда графъ просилъ руки Вѣры Павловны и получилъ ее.

Свадьбу устроили очень скоро. Да что то ужъ черезчуръ скоро прошелъ и медовый мѣсяцъ. Всѣмъ было видно, что молодые живутъ не ладно другъ съ другомъ. И дѣйствительно, чуть ли не на другой день послѣ свадьбы они оба поняли, что неизвѣстно зачѣмъ сошлись, зачѣмъ женились, зачѣмъ связали свою судьбу навѣки. Но оба не возвращались къ прошлому. Оба знали, что цѣпи, ихъ связывавшія, нерасторжимы: мужъ и жена—и конецъ, и нечего говорить объ этомъ!

Они возненавидѣли другъ друга самымъ откровеннымъ образомъ, и чѣмъ дольше жили вмѣстѣ, тѣмъ болѣе усиливалась эта ненависть. Однако она все же была какая то странная, она не мѣшала

имъ чуть не ежегодно производить на свѣтъ дѣтей, жить въ одномъ домѣ; наконецъ, она сдѣлалась почти единственнымъ содержаніемъ ихъ жизни, единственнымъ занятіемъ.

Они оба изоцрались всячески дѣлать другъ другу непріятности, воевать. Постороннихъ въ свои отношенія они не вмѣшивали и, насколько возможно, соблюдали приличія. Собиравшіеся у нихъ въ деревнѣ и въ Москвѣ гости могли только замѣтить, что они никогда не глядятъ другъ на друга и не разговариваютъ между собою. И при постороннихъ, и наединѣ, они обращались другъ къ другу не иначе какъ „вы — графъ!“ и „вы — графиня“ — и часто заканчивали какое нибудь неизбежное хозяйственное объясненіе такими комплиментами:

„Позвольте вамъ замѣтить, графъ, что я даже и отъ васъ не ожидала такой глупости!“ обдавая супруга язвительной усмѣшкой говорила графиня.

Онъ поводилъ на нее глазами, щетинилъ усы и бурчалъ ей въ отвѣтъ:

„Извините меня, графиня! вѣдь извѣстно какой у васъ языкъ: если собакамъ его бросить — такъ и тѣ ѣсть не станутъ!“

Они расходились и снова начинали придумывать, чѣмъ бы вывести изъ терпѣнія одинъ другого.

А между тѣмъ въ ихъ взаимной жизни происходили иной разъ большія странности. Какъ то графъ заболѣлъ лихорадкой, да такой лихорадкой, что она не отпускала его два мѣсяца, совсѣмъ истощила и наконецъ доктора стали опасаться за жизнь его. Графиня во все время этой болѣзни не отходила отъ

него ни на минуту, проводила у его постели всё ночи, по нѣскольку дней не раздѣвалась. А когда онъ выздорѣлъ, стала еще съ бѣльшимъ рвеніемъ придумывать ему всякія непріятности.

Одинъ изъ сосѣдей, зная ихъ семейныя нелады, какъ то вздумалъ въ разговорѣ съ графомъ неуважительно отнестись къ Вѣрѣ Павловнѣ. При первомъ же словѣ графъ, сидѣвшій по своему обыкновенію развѣлся и курившій изъ длиннѣйшаго черешневаго чубука, вдругъ вскочилъ какъ будто подъ него подложили нѣсколько пучковъ иголокъ и, не говоря худого слова, изъ всѣхъ силъ принялся колотить сосѣда чубукомъ.

Ихъ розняли, но сосѣдъ вызвалъ графа на дуэль. Тотъ съ нимъ дрался и даже, въдобавокъ къ чубуку, ранилъ его въ руку. Рана была незначительна. Дѣло замяли. Но въ губерніи знали объ этой дуэли и много смѣялись.

Какъ бы ни былъ графъ золъ на жену и какія бы непріятности ни говорилъ ей, но стоило ему только замѣтить, что кто нибудь изъ многочисленной дворни относился къ графинѣ не съ должнымъ, какъ ему казалось, почтеніемъ—онъ немедленно производилъ строжайшую экзекуцію надъ провинившимся. И хотя вообще онъ не былъ жестокъ, но въ такихъ случаяхъ нечего было ждать отъ него пощады.

Ни разу въ теченіе долгихъ лѣтъ самой невозможной семейной жизни, ни графу, ни графинѣ не приходило въ голову мысли о томъ, что вѣдь можно сдѣлать эту жизнь сносной, что если они такъ ужъ не выносятъ другъ друга, то самое лучшее имъ развѣхаться. Это было тѣмъ болѣе возможно, что

средства ихъ и обстоятельства позволяли сдѣлать это безъ всякаго скандала. Графиня могла жить въ Москвѣ или въ Петербургѣ съ дочерью, а графъ остаться въ деревнѣ, къ которой онъ давно уже привыкъ, и гдѣ дичалъ съ каждымъ годомъ.

Да впрочемъ, очень можетъ быть, что еслибы они и рѣшились развѣхаться, то затосковали бы безъ этихъ перепалокъ и вѣчно измышляемыхъ супружескихъ каверзъ.

Такимъ образомъ, графиня Вѣра Павловна имѣла право говорить, что мужъ ей „на-смѣхъ“ вырядился старымъ подьячимъ и завелъ въ Петербургѣ скудную обстановку.

Но все же на этотъ разъ она нѣсколько ошибалась.

Сдѣлавшись въ послѣдніе годы крайне скупымъ и испугавшись своего крупнаго проигрыша, графъ пожелалъ, разыгрывая роль обнищавшаго человѣка, выхлопотать для себя кой какія милости. Въ концѣ концовъ это и удалось ему. Его знали лично, и кончилось тѣмъ, что онъ получилъ превосходныя земли, якобы на льготныхъ условіяхъ, но въ сущности даромъ.

Какъ бы то ни было, положеніе Мари становилось тяжелымъ. О веселостяхъ и пріемахъ въ родительскомъ домѣ, гдѣ бѣгали босоногія дѣвчонки, гдѣ отецъ и мать то и дѣло воевали другъ съ другомъ, нечего было и думать.

Тетушка предложила взять Мари къ себѣ, но отецъ этому воспротивился.

— Кормить еще могу, пусть живетъ дома, ска-

залъ онъ на всѣ объясненія сестры. — А если тебѣ ужъ такъ хочется, чтобы она плясала, такъ и вывози ее сама... Я этому не мѣшаю...

И тетка стала вывозить Мари.

Николаю Горбатову иногда удавалось застать дѣвушку у старушки. Но этого ему было мало. Онъ шелъ прямо къ цѣли. Онъ настаивалъ, чтобы ему позволили звѣться къ графу.

Тетка начала вести войну съ братомъ.

— Помилуй, да вѣдь ты совсѣмъ съ ума сходишь, ты извергъ, а не отецъ... ты хуже всякаго звѣря... Дѣло не шутка—женихъ такой, что лучше и не надо... За что ты хочешь лишить Мари ея счастья?

— Ничего не хочу! бурчалъ графъ. — Если этотъ молокососъ свататься хочетъ—ну что же, пусть сватается... не откажу...

— Да какъ же ты его принимать станешь въ такой грязи, вѣдь срамota! Вѣдь всякій какъ увидитъ — отступится. Вѣдь ему, я думаю, и во снѣ ничего подобнаго не снилось...

— Въ такомъ случаѣ значить онъ подбирается къ Машиному приданому. Если это настоящій женихъ, такъ онъ долженъ знать, что беретъ за себя бѣдную дѣвушку, и я пыль въ глаза пускать не стану... Каковъ есть, каковъ есть... вольному воля!..

Дѣлать было нечего, пришлось наконецъ принять Николая Владиміровича въ маленькомъ грязномъ домикѣ.

Старушка-графиня очень осторожно объяснила молодому человѣку, что съ ея брата взysкивать нечего, что въ немъ большія странности, да и не въ

немъ одномъ, но и въ женѣ его. Мари очень несчастна въ семьѣ. Графиня даже всплакнула при этомъ и произвела должное дѣйствіе.

Николай сдѣлалъ визитъ графу и графинѣ и уѣхалъ отъ нихъ въ негодованіи, съ твердымъ на-мѣреніемъ какъ можно скорѣе „спасти“ Мари, вырвать ее изъ этой невозможной обстановки.





XIII.

Ученица.

Въ это время Владиміра Сергѣевича Горбатова не было въ Петербургѣ. Николай написалъ ему и получилъ въ отвѣтъ краткое и холодное какъ всегда письмо, въ которомъ отецъ говорилъ, что если не имѣлъ ничего противъ женитьбы старшаго сына, то ничего не можетъ имѣть и противъ женитьбы Николая. Вообще глупо жениться въ такіе молодые годы, но если ужъ онъ рѣшился на эту глупость, то пусть беретъ на себя и всѣ послѣдствія.

„Во всякомъ случаѣ, заканчивалъ Владиміръ Сергѣевичъ,—благословляю тебя заочно, такъ какъ ты спишишь, а я въ скоромъ времени въ Петербургѣ быть не могу. Выбѣсѣ съ этимъ письмомъ посылаю приказъ въ контору. Если желаешь оставаться въ домѣ, то сдѣлай нужныя распоряженія.“

Николай не сталъ смущаться и раздумывать надъ этимъ письмомъ, оно казалось ему естественнымъ—

между нимъ и отцомъ не было ничего общаго, они были чужіе другъ другу. Еще слава Богу, что отецъ не противится его счастью, не мѣшаетъ, не стѣсняетъ въ средствахъ.

Николай былъ наверху блаженства.

Братъ Сергѣй и его первая жена, тогда еще совсѣмъ здоровая, молоденькая и веселая женщина, были очень рады этой женитьбѣ, этому новому оживленію, наполнившему ихъ огромный домъ.

Тотчасъ же приступили къ устройству помѣщенія для молодыхъ. Николай торопиль насколько было возможно.

И вотъ онъ женатъ. Съ какимъ блаженствомъ вводилъ онъ свою юную подругу подъ сѣнь стараго горбатовскаго дома. Онъ былъ увѣренъ, что отнынѣ начинается для него совсѣмъ иное, счастливое существованіе, что осуществляются всѣ его мечты. Онъ съ вѣрой и нетерпѣливымъ ожиданіемъ глядѣлъ въ глаза красивой Мари, и эти глаза, на время потерявшіе свое заспанное выраженіе, ему улыбались. Молоденькая дѣвочка, почти ребенокъ, не могла не поддаться обаянію первыхъ дней любви. Все было для нея такъ ново, неожиданно, непонятно. Да и самая, хотя уже значительно обветшавшая, но все же почти царственная обстановка стараго дома производила на нее впечатлѣніе, особенно послѣ пансіона и грязнаго домика, нанятаго ея родителями.

Она была увѣрена, что очень любить своего мужа. Онъ такой нѣжный, такой хорошенькій. Онъ такъ старается отгадать всякое малѣйшее ея желаніе и тотчасъ же его исполняетъ.

Только съ первыхъ же дней онъ показался ей черезчуръ порывистымъ, пылкимъ и не совсѣмъ понятнымъ. Она была съ нимъ ласкова и поддавалась его ласкамъ. На его поцѣлуи отвѣчала поцѣлуями. Когда онъ ее спрашивалъ: любить ли она его? — она отвѣчала: „люблю“.

А между тѣмъ всего этого ему было какъ будто еще мало, какъ будто онъ хотѣлъ еще чего то. Но чего же ему еще? Какой странный?!

А онъ все ждалъ.

Когда туманъ первыхъ дней прошелъ, когда мало по малу началась обычная жизнь, — онъ сталъ торопить это счастье, о которомъ грезилъ. Онъ сталъ вызывать въ женѣ не только женщину, но и друга.

Онъ сталъ рассказывать ей себя, открывалъ передъ нею всѣ завѣтные уголки своей души, своего сердца. Передавалъ ей всѣ свои мысли, грѣзы, планы.

Сначала она слушала его довольно внимательно, но затѣмъ, и именно въ ту минуту когда онъ былъ особенно торжественно и трогательно настроенъ, когда голосъ его звучалъ почти вдохновеніемъ, а на глазахъ блестѣли слезы, она вдругъ засмѣялась.

Онъ остановился пораженный и недоумѣвающий.

— Чего же ты смѣешься?

— Ахъ, Nicolas, отвѣчала она, — помилуй, да какъ же не смѣяться! Я думала — ты совсѣмъ взрослый, серьезный человѣкъ, а ты болтаешь глупости — какъ маленькій ребенокъ.

— Какъ глупости?! Какъ ребенокъ?! запинаясь прошепталъ онъ.

— Да, конечно!.. ну статочно ли дѣло такъ смѣшно фантазировать?.. и потомъ—я думала—ты добрый, а ты совсѣмъ злой. За что ты бранишь всѣхъ людей, считаешь ихъ и глупыми, и безсердечными, и фальшивыми? что они тебѣ сдѣлали?..

Она приняла видъ разсудительной женщины, журила его:

— Все у тебя есть, здѣсь въ домѣ такъ хорошо, всѣ тебя любятъ, всѣ съ нами ласковы... жить можно очень весело, а ты ничѣмъ недоволенъ... и ко всему еще недоволенъ и мною! кажется—не на что пожаловаться!.. Оставь лучше всѣ эти бредни и позвони—мнѣ пора одѣваться, а то мы опоздаемъ въ театръ...

Онъ замолчалъ, дернулъ сонетку и, выйдя отъ жены, сталъ бродить по пустымъ, огромнымъ комнатамъ. Съ каждой минутой ему становилось тяжелѣе.

„Что же это?“ повторялъ онъ про себя и не находилъ отвѣта.

Но вотъ ему пришло въ голову, что онъ самъ виноватъ, что онъ слишкомъ спѣшитъ, что отчаяваться смѣшно и глупо.

Вѣдь Мари такъ молода, вѣдь онъ же знаетъ это и именно рассчитывалъ на ея молодость. Что она можетъ понимать? къ чему подготовлена? въ какихъ рукахъ была?!.. Онъ долженъ терпѣливо „создать“ ее и образовать, научить тому, чему самъ научился... тогда она пойметъ его и они заживутъ общей жизнью, станутъ „едино тѣло и единъ духъ“.

Да, онъ будетъ учить ее, читать вмѣстѣ съ нею и мало по малу передастъ ей все...

Онъ совсѣмъ успокоился, былъ особенно оживленъ въ этотъ вечеръ и Мари ему улыбалась.

На слѣдующій же день онъ повелъ ее въ свою любимую библіотеку, сталъ указывать ей особенно интересовавшія его книги и предложилъ каждый день вмѣстѣ приходить сюда и заниматься чтеніемъ.

— Хорошо! сказала она, — если это доставляетъ тебѣ удовольствіе.

— А я надѣюсь, что и тебѣ это будетъ доставлять удовольствіе! воскликнулъ онъ.

— Увидимъ!.. да, я очень люблю читать интересные романы... намъ не позволяли этого въ пайсіонѣ и мы читали потихоньку... Даже, я признаюсь тебѣ, Nicolas, я немножко знакома... — она запнулась, покраснѣла — знакома съ Поль де Кокомъ...

Онъ задумался.

— Романы! и романы читать можно, даже и Поль де Кока! въ этомъ нѣтъ дурного... Только не одни романы мы будемъ читать съ тобою, Мари.

— А что же еще?

— Увидишь.

Каждый день онъ сталъ водить Мари въ библіотеку и жадно читалъ ей тѣ книги, которыя, по его мнѣнію, всего болѣе могли принести ей пользу и заставить ее понять то, чего она до сихъ поръ не понимала, что въ его словахъ казалось ей „бреднями“.

У Мари хватило терпѣнія на цѣлую недѣлю, но

черезъ недѣлю она рѣшительно объявила ему, что если онъ хочетъ ей читать, то пусть читаетъ романы, а этихъ, можетъ быть очень ученыхъ и умныхъ, но скучныхъ книгъ она слушать ненамѣрена, потому что онѣ ей неинтересны, а главное — совсѣмъ, совсѣмъ ненужны...

— Да ты подумай только—зачѣмъ мнѣ это? повторяла она.

— Какъ зачѣмъ?! да для того чтобы знать какъ можно больше, чтобы жизнь понимать!

Она улыбалась и зѣвала.

— Я въ профессора не готовлюсь! стараясь не сердиться и оставаться вроткой говорила она.

Онъ все еще не падалъ духомъ, все еще боролся.

— Погоди! увѣрялъ онъ ее умоляющимъ голосомъ, — потерпи немного, пересилю свою скуку — и вотъ ты увидишь, Мари, скоро сама заинтересуешься.

Мари покорилась, продолжала слушать его чтенія; но ея терпѣніе стало истощаться. Она иной разъ просто засыпала, блѣднѣла и томилась пересиливая скуку и сонъ.

— Господи! однако какъ ты меня мучаешь! невольно вырвалось у нея наконецъ во время одного изъ такихъ чтеній.

Онъ бросилъ книгу и поднялся блѣдный, съ дрожащими губами. Глаза его зло свернули.

— Извини, я не буду тебя больше мучить! проговорилъ онъ не своимъ голосомъ.

Чтенія и уроки были окончены.

Мари рассказала о проказахъ мужа Сергѣю и его женѣ и при этомъ жаловалась, что Николай не только ее совѣмъ измучилъ своими глупыми чтеніями и уроками, но что теперь, когда она ужъ больше совѣмъ не можетъ и отказалась, — онъ дуется, не говорить съ нею, почти не глядитъ на нее.

Сергѣй и его жена приняли сторону новой родственницы. Сергѣй очень смѣялся.

— Тутъ вовсе нечего смѣяться! плаксивымъ тономъ замѣтила Мари.— Ты лучше поговори съ нимъ, образумь его—а то что же это такое?.. И вотъ уже я никогда... никогда не воображала, что у него такой отвратительный характеръ! Ему право какъ будто доставляетъ удовольствіе терзать меня... и именно теперь, когда...

Она запнулась и покраснѣла.

— Пожалуйста образумь его...

Сергѣй обѣщалъ и поспѣшилъ исполнить обѣщаніе.

Онъ нашелъ Николая, обнялъ его, сдѣлалъ ему самую уморительную гримасу и, засматривая ему въ глаза своими веселыми, ласкающими глазами, заговорилъ:

— Послушай, шутъ ты парадный!—это было его любимое выраженіе, эпитетъ, которымъ онъ награждалъ только самыхъ близкихъ друзей и чаще всего брата. — Шутъ парадный, что ты такое выдумалъ?! За что ты свою Мари засадилъ за ученье?

Николай поморщился и скривилъ губы въ усмѣшку.

— Пожаловалась! выговорилъ онъ.

— Да какъ же на тебя не жаловаться, когда ты какъ малый ребенокъ глупости выдумываешь! Развѣ вы затѣмъ поженились, чтобы ты давалъ ей уроки? Я думаю, что всякое ученье ей давно опротивѣло и что она вовсе не за этимъ выходила за тебя замужъ... И не понимаю чего тебѣ надо... Что ты все мудрить, коверкать по своему хочешь... Посмотри какая она у тебя хорошенькая... Ну и любитеcь, цѣлуйтесь пока не надоѣло. А то вѣдь, братъ, знаешь ли—вѣдь если начать коверкать женщину да сажать ее за указку, надоѣдать ей, такъ вѣдь этакъ можно и опротивѣть... Ты объ этомъ подумай!

Николай опять усмѣхнулся.

— Совершенно вѣрно, сказалъ онъ,—я съ тобою согласенъ; но вѣдь я же объявилъ ей, что наши уроки кончены...

— Такъ зачѣмъ же ты на нее дуешься?

— Я... дуюсь?!—она ошибается...

— Нѣтъ, не ошибается... Ты и теперь дуешься, посмотри какое у тебя лицо, совсѣмъ злое...

— Оставимъ этотъ разговоръ, рѣзко сказалъ Николай.

— Оставимъ, повторилъ за нимъ Сергѣй.

Онъ ушелъ отъ брата и тотчасъ же забылъ и брата, и Мари, и свое семейное положеніе. Онъ вспомнилъ, что его ждетъ нѣкая хорошенькая жена обманутаго имъ мужа.

Но исторія „уроковъ“ не была еще кончена. Въ тотъ же вечеръ жена Сергѣя, улучивъ удобную ми-

нуту, заговорила о томъ же предметѣ, только она взглянула на дѣло съ другой точки зрѣнія. Она явилась защитницей Мари болѣе серьезной.

— Вѣдь ты не понимаешь, Николай, говорила она,—что значить то положеніе, въ которомъ Мари теперь находится. Нужно очень беречь ее, не утомлять, не сердить... Нужно быть какъ можно болѣе ласковымъ и нѣжнымъ съ нею—иначе легко повредить и ей, и ребенку.

Николай вздрогнулъ.

Онъ давно зналъ, что готовится быть отцомъ, но эта мысль какъ то не останавливала на себѣ его вниманія. Теперь же она поразила его, показалась ему дикой.

Онъ—отецъ! Это какъ то не входило въ его мечты, въ его планы.

„Нужно ее беречь, не утомлять, быть съ нею нѣжнымъ, повторилъ онъ про себя.—Конечно, конечно, иначе это можетъ повредить и ей, и ребенку... ей и ребенку... я виноватъ передъ нею... я глупъ!..“

Онъ поспѣшилъ къ Мари, нѣжно ее обнялъ, поцѣловалъ, приласкался къ ней.

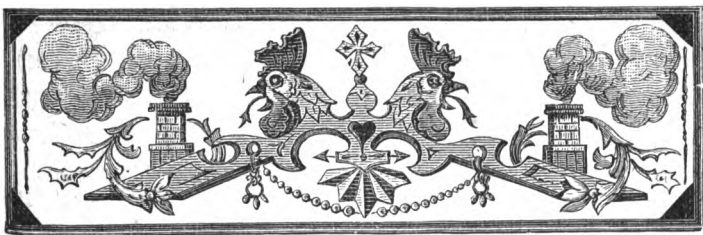
Но въ тоже время онъ съ ужасомъ видѣлъ, что въ этихъ его ласкахъ какъ будто нѣтъ прежней страсти, прежней искренности, что онъ себя къ нимъ принуждаетъ.

Тоска охватила его.

„О, какъ я глупъ! думалъ онъ,—и что я за несчастный человѣкъ! Къ чему я и о чемъ я фан-

тазировавъ, и чѣмъ Мари то виновата?! Жизнь идетъ какъ должна идти... Я мужъ, я скоро отецъ. А та, та жизнь, которая грезилась, которая должна была начаться и уже казалось что начиналась—гдѣ она?.. ея нѣтъ... не можетъ быть... никогда не бываетъ!..“





XIV.

Очагъ потухъ.

У Мари родился сынъ, котораго назвали Григоріемъ, именемъ, часто повторающимся въ теченіе пяти столѣтій въ родѣ Горбатовыхъ.

Молодого отца поздравляли съ этой радостью и онъ принималъ поздравленія, стараясь выказывать радость и удовольствіе. Но въ дѣйствительности онъ не былъ вовсе доволенъ. Все, что творилось теперь въ его семейной жизни, казалось ему почему то страннымъ, неловкимъ. Онъ тщетно искалъ въ себѣ любовь въ этому крошечному, красненькому, несчастному и безпомощному существу—любви не было—была даже безгливость. Онъ боялся до него дотронуться...

„Что же это? тоскливо думалъ онъ, — что же, извергъ я что ли?! Вѣдь это плоть-плоти, кровь-крови моей, какъ же я не люблю его? какъ же онъ мнѣ

кажется такимъ чужимъ и противнымъ?! Нѣтъ,— этого быть не можетъ, все это пройдетъ... Онъ еще совсѣмъ непохожъ на человѣка, но онъ вырастетъ немного и я полюблю его какъ долженъ любить отецъ сына... Вѣдь въ немъ, въ этомъ мальчикѣ, можетъ быть все мое будущее!..“

Онъ сталъ ждать, сталъ приучать себя къ ребенку. По нѣскольку разъ въ день приходилъ въ большую, тихую „дѣтскую“, останавливался у колыбельки, вглядывался въ мальчика и мало-по-малу крошечное существо уже становилось для него менѣе противнымъ, онъ уже начиналъ находить въ немъ даже нѣкоторую прелесть.— Но до любви было еще далеко.

Рожденіе ребенка было конечно для Мари огромнымъ событіемъ, какъ и для всякой женщины. Но и въ ней не замѣчалось той страстности, какая обыкновенно присуща юной матери. Иногда она начинала нѣжно глядѣть на сына; но вдругъ отворачивалась и говорила съ гримаской:

— Противный, стоишь ли ты?! сколько мукъ я изъ-за тебя натерпѣлась!

И нельзя было понять — въ шутку говоритъ она это, или серьезно.

Она быстро поправилась и черезъ два мѣсяца ее трудно было узнать. Она выросла, еще болѣе пополнѣла, превратилась въ роскошную женщину. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней исчезла даже та небольшая доля живости, какая прежде замѣчалась. Она начинала съ каждымъ днемъ становиться лѣнливѣе и лѣнливѣе, все болѣе и болѣе стала любить физическое спокойствіе, тяготилась даже балами и выѣздами, не

находя въ нихъ никакого удовольствія. Объ ней говорили какъ о примѣрной матери:

„Такъ молода и уже сдѣлалась домохозяйкой, не отходить отъ ребенка“.

Но не отъ ребенка она не отходила, а отъ своей уютной и роскошной спальни, гдѣ можно было такъ мягко спать, такъ удобно валяться въ полудремотѣ по цѣлымъ часамъ, въ то время какъ кругомъ всѣ люди были на ногахъ, жили и дѣйствовали. Впрочемъ иногда она дѣлала надъ собою усилія, вспоминала, что она жена и мать, начинала распоряжаться всѣмъ, что нужно было для ребенка и для мужа, заботилась объ ихъ удобствахъ.

Иногда она встрѣчала Николая ласковой улыбкой, ласкала его. Но въ этихъ ласкахъ всегда было болѣе сентиментальности, чѣмъ горячаго чувства.

Теперь стало ясно: Мари была холодна по природѣ и лѣнь все болѣе и болѣе одолевала ее. Ей тяжело было думать, дѣйствовать, ей пріятно было только жить растительной жизнью—начинать и кончать день, по возможности удобнѣе и спокойнѣе.

И никто конечно не видѣлъ и не понималъ этого такъ ясно какъ Николай. Онъ не сразу покинулъ всякую надежду, онъ еще долго боролся. Онъ возмужалъ, сталъ сдержаннѣе и прежнихъ юношескихъ порывовъ уже не было. Онъ не возобновлялъ смѣшныхъ уроковъ и чтеній; но старался при каждомъ удобномъ случаѣ, осторожно и незамѣтно, будить мысль Мари, заинтересовывать ее то тѣмъ, то другимъ, выходившимъ изъ предѣловъ ея спальни. Онъ былъ терпѣливъ, изо всѣхъ силъ сдерживалъ порывы своего пылкаго нрава...

Но его усилія, его терпѣніе пропадали даромъ. Мари была совсѣмъ неспособна проснуться. Она все болѣе и болѣе уходила въ мелочи домашней обстановки, все съ большимъ аппетитомъ пила и ѣла, все слаще спала, полнѣла, розовѣла.

Такъ проходили годы. Дѣтей у нихъ болѣе не было. Наконецъ Николай махнулъ рукой и понялъ что ошибся, что онъ и его жена совсѣмъ разные люди и что между ними ничего нѣтъ общаго, понять они другъ друга не въ силахъ.

И онъ остался одинъ, со всѣми своими неосуществившимися грѣзами. Онъ продолжалъ жить съ недовольствомъ той жизнью, какую зналъ и какую вокругъ себя видѣлъ, со всей тоской по иной жизни. Онъ несъ военную службу по привычкѣ, къ тому же она удовлетворяла его какъ движеніе, какъ занятіе на воздухѣ. Но она не была его призваніемъ. Отъ общества сверстниковъ офицеровъ онъ по возможности отдалялся, хотя это было и трудно, хотя это нужно было дѣлать осторожно и незамѣтно, чтобы не оскорблять ихъ.

Все свое свободное время онъ проводилъ въ библіотекѣ, за чтеніемъ. Онъ интересовался всѣмъ, что появлялось въ литературѣ. Исторія была его любимымъ предметомъ. Страстно любилъ онъ и поэзію.

Иногда ему казалось, что и онъ могъ бы попробовать писать, что можетъ быть изъ этого чтонибудь и вышло бы. Онъ даже начиналъ: приготовилъ большую статью: „Объ отношеніяхъ Россіи къ западно-европейскимъ государствамъ въ XVII столѣтіи“. Потомъ написалъ повѣсть, въ которую вложилъ много страсти и тоски, много чувства. Иногда

у него выливались хорошенькія стихотворенія. Но онъ тщательно скрывалъ ото всѣхъ свое авторство. Почему—изъ недовѣрія ли къ своимъ силамъ, изъ излишняго ли самолюбія—онъ и самъ не зналъ.

Ему все же однако хотѣлось подѣлиться съ обществомъ своими трудами, своимъ вдохновеніемъ. Онъ долго колебался и наконецъ послалъ, самымъ таинственнымъ образомъ, статью „объ отношеніяхъ“ въ одинъ журналъ, повѣсть—въ другой.

Но ни статья, ни повѣсть не появились въ печати. Онѣ какъ то затерялись въ редакторской макулатурѣ, среди тѣхъ безъимянныхъ рукописей, на которыя не обращаютъ вниманія потому, что онѣ безъимянны, и изъ которыхъ только изрѣдка, и по счастливой случайности, чуть опытного литератора извлекаетъ неожиданные перлы. Но такого счастливаго случая не выпало на долю Николая.

А между тѣмъ еслибы его статья и повѣсть были напечатаны, онѣ навѣрное бы произвели впечатлѣніе, успѣхъ заставилъ бы его работать и, кто знаетъ что изъ этого бы вышло. Теперь же онъ только промучился ожидая „свою судьбу“, съ томленіемъ, дрожащими руками хваталъ въ теченіе года каждую новую книжку журнала, потомъ махнулъ рукой и уже не принимался больше ни за какое писаніе.

Его отношенія къ Мари съ теченіемъ времени окончательно выяснились. Онъ старался быть съ нею какъ можно терпѣливѣе, хотя это не всегда ему удавалось. Иной разъ, въ особенности когда послѣ продолжительнаго чтенія какого нибудь романа на нее нападало сентиментальное настроеніе, онъ не

выдерживалъ, доходилъ до рѣзкихъ словъ, до презрительныхъ намековъ на ея глупость. Но скоро онъ приходилъ въ себя, ему становилось стыдно и онъ старался ласковымъ, терпѣливымъ и спокойнымъ обращеніемъ загладить свою вину.

Онъ ни разу не измѣнилъ Мари и даже не думалъ объ этомъ, такъ какъ не обращалъ вниманія на женщинъ — онъ для него не существовали. А между тѣмъ, въ инны минуты, съ прежней силой, если еще не съ большой, поднималась въ немъ жажда любви, страсти. Въ немъ закипала вся кровь и снова въ его разгоряченномъ воображеніи рисовались картины волшебной жизни.

Своего маленькаго Гришу онъ любилъ, любилъ сильно. Онъ съ радостью слѣдилъ за его ростомъ, за тѣмъ, какъ крошечный, бессмысленный ребенокъ превращался въ человѣческое существо съ мыслями, движеніями сердца и воли.

Когда Гриша переживалъ разныя дѣтскія невзгоды, неминуемыя болѣзни дѣтскаго возраста, отецъ страдалъ глубоко, забывалъ себя, проводилъ безсонныя ночи... Ребенокъ выздоравливалъ — это была большая радость... Но все же чувство къ сыну не могло наполнить и скрасить его жизни — оно доставляло ему несравненно больше горечи, чѣмъ радости.

Еслибы онъ и Мари хорошо сжились, еслибы у нихъ были общіе взгляды и понятія — они оба могли бы, конечно, вмѣстѣ трудиться надъ воспитаніемъ ребенка. Теперь же объ этомъ нечего было и думать. Мари заявляла свои исключительныя права и Николай ихъ не оспаривалъ; но онъ въ первое время

не хотѣлъ также отказываться и отъ своихъ правъ. Онъ слѣдилъ, когда могъ, за Гришей, подмѣчалъ въ немъ дурныя склонности, останавливалъ его иногда, даже наказывалъ. И при этомъ никогда не раздражался, былъ спокоенъ.

Это было не по вкусу Мари. Въ ней заговаривалъ какой то духъ противорѣчія: она спорила съ мужемъ при ребенкѣ, находя всегда, что онъ несправедливъ къ мальчику. И—странное дѣло—она горячо принимала къ сердцу дѣла Гриши только тогда, когда въ нихъ вмѣшивался отецъ,—другимъ же она позволяла наказывать ребенка, да и вообще мало обращала на него вниманія.

Наконецъ Николай рѣшилъ, что лучше ужъ кто нибудь одинъ, что эти споры передъ ребенкомъ съ одной стороны вредны для Гриши, а съ другой унижительно для родителей. Онъ почти отстранился и вмѣшивался только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.

Мало-по-малу онъ сталъ замѣчать отчужденіе отъ себя мальчика. Какимъ образомъ произошло это—онъ не зналъ и не хотѣлъ обвинять жену въ сознательномъ вооруженіи противъ него сына. Но что, во всякомъ случаѣ, безсознательно она это дѣлала—было несомнѣнно. Дѣти такъ чутки, дѣти такъ хорошо понимаютъ многое!.. Гриша видѣлъ, что отецъ не хочетъ спускать ему того, что спускаетъ мать, что отъ отца трудно скрыться и что когда отецъ хочетъ наказать — мать защищаетъ. И онъ, естественно, былъ на сторонѣ матери, бѣгалъ къ ней подъ защиту отъ отца, какъ бѣгалъ въ другихъ случаяхъ отъ нея подъ защиту бабушки...

У Николая оставалась еще одна большая, вырос-

шая съ нимъ привязанность, привязанность къ брату. Она не уменьшалась съ годами; симпатичность Сергѣя, дѣйствовавшая на всѣхъ, кто только его зналъ, дѣйствовала и на Николая. Но вѣдь этого было мало, хотѣлось во всемъ сочувствовать человѣку, уважать его, а уважать Сергѣя Николай не могъ.

Наконецъ, послѣ смерти отца, которая по винѣ самого Владиміра Сергѣевича не была особеннымъ несчастіемъ для дѣтей его, пріѣхала мать. Это была новая мука чуткой души Николая. Катерина Михайловна была для него совсѣмъ чужой женщиной и не смотря на то, что ему хотѣлось страстно, чтобы она стала ему близкой и дорогой—это было невозможно. Онъ не зналъ многихъ подробностей ея жизни; но и того что онъ зналъ, было достаточно, чтобы заставить невольно почти стыдиться передъ самимъ собою когда онъ думалъ о матери.

Сергѣю было все равно — онъ какъ-то скользилъ по этому чувству, а Николай отъ него мучился. Но конечно никто не зналъ и не подозрѣвалъ этихъ мученій. Онъ былъ неизмѣнно почтителенъ съ Катериной Михайловной, онъ, молчаливо согласившись съ братомъ, предоставилъ ей первую роль въ домѣ, выносилъ ея причуды, терпѣливо выслушивалъ ея наставленія и только въ крайнемъ случаѣ, чтобы не выказать подступавшаго къ сердцу раздраженія, вдругъ совсѣмъ замолкалъ, уходилъ и потомъ нѣкоторое время избѣгалъ встрѣчъ съ нею.

Въ послѣдніе два года жизнь Николая, совершенно незамѣтно для него самого, мало-по-малу стала измѣняться. Сергѣй женился вторично. Въ

старомъ горбатовскомъ домѣ появилось новое существо, принесшее съ собою новую атмосферу.

Николай рѣдко бывалъ въ обществѣ и не видѣлъ Наташу почти до самой женитьбы брата. Онъ очень боялся за этотъ бракъ, устроенный матерью, и даже отговаривалъ Сергѣя, зная, что такому человеку вовсе не слѣдуетъ жениться.

Но когда онъ увидѣлъ и разглядѣлъ Наташу, то отъ всей души поздравилъ брата и даже подумалъ, что почему знать—можетъ быть эта прелестная дѣвушка наконецъ образумить вѣчнаго кутилу. Однако чѣмъ больше вглядывался онъ въ Наташу, тѣмъ къ чувству первой радости болѣе и болѣе стало примѣшиваться сомнѣніе и жалость.

„А вдругъ и она не измѣнитъ Сергѣя, а если не измѣнитъ—такъ значить погубить себя“.

Но ему приходилось тщательно скрывать эти свои сомнѣнія. Помѣшать свадьбѣ онъ ничѣмъ не могъ даже и не имѣлъ на это никакого права.

Скоро ему пришлось убѣдиться, что опасенія его не безосновательны. Сергѣй, по странному капризу своей природы, въ первое время очевидно не хотѣлъ замѣчать достоинствъ Наташи, а можетъ быть если и видѣлъ ихъ, то не придавалъ имъ значенія. Онъ былъ съ нею нѣженъ; но скоро вернулся къ прежней своей жизни; ея общества было для него недостаточно.

Наташа еще ничего не замѣчала, она еще не разглядѣла мужа, она жила всею силою только что распустившейся молодости. Ей было хорошо, она любила все и всѣхъ. Она привязалась сразу къ дѣ

тамъ мужа, къ Мари, къ Гришѣ, даже къ Катеринѣ Михайловнѣ.

Съ Николаемъ ея обращеніе было самое дружеское и такъ какъ Сергѣя не бывало очень часто дома, а Николай былъ домохозяиномъ, то случаевъ для встрѣчъ и разговоровъ оказывалось у нихъ много. Разговоры эти дѣлались все болѣе и болѣе оживленными. Скоро для нихъ стало ясно, что они отлично понимаютъ другъ друга, что въ ихъ характерахъ и взглядахъ много общаго, что Наташа, несмотря на свою живость, молодость и незнаніе жизни, можетъ быть очень серьезна и уже не разъ задумывалась надъ „большими“ вопросами. А Николай такъ хорошо умѣлъ отвѣчать на эти вопросы, отвѣчать именно въ томъ тонѣ, какой ей былъ по душѣ.

Нерѣдко, читая и работая въ библіотекѣ, Николай слышалъ легкій стукъ въ дверь:

— Можно войти?

Онъ радостно отвѣчалъ:

— Конечно можно!

Дверь неслышно отворялась и на порогѣ показывалась Наташа, милая, граціозная, съ ласковымъ взглядомъ глубокихъ, прекрасныхъ глазъ, съ тихой улыбкой. Проходилъ часъ, другой — и они бесѣдовали не замѣчая времени.

Только этой послѣдней весною, передъ отъѣздомъ въ Знаменское, между ними произошло что то странное — они вдругъ стали иногда избѣгать другъ друга, имъ иногда при встрѣчахъ дѣлалось неловко. Можно было подумать, что они поссорились и не хотѣли помириться, сердились. Наташа какъ будто иногда дѣйствовала раздражительно на Николая, и онъ не

скрывалъ этого раздраженія. Онъ уже нѣсколько разъ рѣзко говорилъ съ нею. Даже домашніе замѣтили, что между ними пробѣжала кошка.

А между тѣмъ видимой причины такого разлада не было — они сами не понимали что это значить. И такъ же бессознательно, какъ сближались и дружились, такъ они стали и расходиться. Но разойтись, живя подъ одной кровлей, было трудно, — какъ ни избѣгай встрѣчъ и разговоровъ — они неизбѣжны.

Съ каждымъ днемъ становилось все хуже и хуже: Николай и Наташа стали мѣшать другъ другу, стали доставлять другъ другу мученія.

Онъ радъ былъ когда остался одинъ въ Петербургѣ и всѣ уѣхали въ деревню. Ему было пріятно въ первый день чувствовать свое одиночество въ огромномъ домѣ; какъ будто легче дышалось. Но на слѣдующій же день онъ затосковалъ, а черезъ мѣсяцъ сталъ рваться въ деревню, въ свою привычную семейную обстановку. И ему казалось, что онъ хочетъ именно къ себѣ, и ему казалось, что Наташа теперь мѣшаетъ ему не будетъ...

Но онъ прожилъ сутки въ Знаменскомъ, и вотъ та же тоска, только еще пуще прежняго, и Наташа еще больше мѣшаетъ.

Онъ не знаетъ куда отъ нея дѣваться...

Вотъ вышелъ онъ теперь изъ дома бродить по парку, чтобы разогнать эту тоску, чтобы забыться въ усталости, въ тѣни этихъ старыхъ деревьевъ, среди этой благоухающей, лѣтней природы.

И онъ сталъ забываться. Онъ отгонялъ отъ себя всѣ беспокоящія мысли, шелъ все впередъ и впе-

редъ, не замѣчая гдѣ онъ, не зная идетъ онъ, стоитъ или лежитъ.

И вдругъ на поворотѣ аллеи онъ столкнулся съ Наташей.

Они оба даже вздрогнули и остановились съ испуганными лицами, будто виноватые. Они взглянули другъ на друга почти какъ враги и разошлись молча, не обмѣнявшись ни однимъ словомъ.

Она поспѣшила домой, скорѣй, скорѣй, какъ будто кто то гнался за нею, а онъ ушелъ въ самую глубь парка. Въ немъ поднималось даже злое чувство, почти бѣшенство — на кого: на себя, на нее, на всѣхъ, на то невидимое, непонятное и страшное, что мѣшало ему жить, дышать...

И оба они совсѣмъ не понимали, что это такое значить, почему имъ такъ тяжело, такъ невыносимо, и чѣмъ они виноваты другъ передъ другомъ...





XV.

Излишнее признаніе.

Наташа вошла въ домъ все съ тѣмъ же испуганнымъ выраженіемъ въ лицѣ, съ болѣзненно-бьющимся сердцемъ, съ ощущеніемъ будто кто нибудь гонится за нею и настигаетъ ее. Она почти пробѣжала парадныя комнаты, радуясь, что никого въ нихъ не встрѣтила, что никто не остановилъ ее.

Очутившись, наконецъ, въ своей спальнѣ, она глубоко вздохнула, почти упала въ кресло и нѣсколько минутъ оставалась неподвижной, съ закрытыми глазами, съ порывисто дышащей грудью. Потомъ она поднялась, провела рукою по горячему лбу, будто отгоняя нахлынувшія мысли, и оглядѣлась.

Все было тихо въ ея просторной и уютной спальнѣ. Окно въ садъ было отворено, широкая, спущенная маркиза мѣшала солнцу проникать въ комнату; но все же ясный лѣтній день выглядывалъ изъ каждой

щелки и наполнял всю спальню свѣжимъ, душистымъ запахомъ скошенной подъ окномъ травы.

Наташа еще прошлымъ лѣтомъ позаботилась устройствомъ своего гнѣздышка; каждая вещь здѣсь была, такъ сказать, проникнута ею. Старинная тяжелая мебель какъ бы терялась и измѣняла свой характеръ среди различныхъ граціозныхъ бездѣлушекъ, привезенныхъ Наташей и разставленныхъ всюду, и съ большимъ вкусомъ.

Но эта любимая молодой хозяйкой комната теперь, въ солнечный день, въ первый разъ еще показалась ей унылой и пустой, почти противной.

И опять Наташа упала въ кресло, и опять сидѣла неподвижно, съ глазами, устремленными куда то впередъ, далеко за предѣлы спальни.

„Да что же это наконецъ со мною?! подумала она. — Какъ будто несчастье, какъ будто горе. Но вѣдь нѣтъ ни несчастья, ни горя! Отчего же, отчего, Боже мой, такъ мнѣ тяжело?! Или я больна?.. Вчера было сыро, можетъ быть я простудилась...“

Она съ радостью даже остановилась было на этой мысли; но нѣтъ, она тутъ же сейчасъ и почувствовала, что не больна, не простудилась...

Въ это время, въ сосѣдней комнатѣ, въ кабинетѣ Сергѣя, отворилась дверь, послышались его шаги. Онъ и въ этотъ день, какъ часто съ нимъ случилось, рано выѣхалъ изъ дому и не возвращался къ завтраку.

Наташа прислушалась: вотъ онъ бросилъ хлыстъ, вотъ онъ двинулъ стуломъ, раздается его протяжная, обычная зѣвота.

Она встрепенулась. „Скорѣй, скорѣй къ нему!..“

Она почувствовала потребность быть къ нему ближе, спрятаться подъ его защиту отъ того, что ее такъ мучило, что преслѣдовало, что по пятамъ гналось за нею. Она сдѣлала нѣсколько быстрыхъ шаговъ, приподняла портьеру и очутилась въ кабинетѣ.

Сергѣй, очевидно утомленный верховой ѣздой и зноемъ, лежалъ на диванѣ вытянувъ свои длинныя ноги, въ пыльных сапогахъ, въ разстегнутомъ жилетѣ. Онъ обмахивался платкомъ и то и дѣло вытиралъ имъ свой бѣлый, влажный лобъ. При видѣ входившей Наташи, онъ ей разсѣянно улыбнулся и откинулъ голову на кожаную подушку дивана.

— Вотъ жара! проговорилъ онъ, — въ полѣ такъ и печетъ... совсѣмъ я замучилъ сегодня бѣднаго Сѣраго...

— Вольно же, неизвѣстно зачѣмъ, мучить и себя и лошадь! сказала Наташа подсаживаясь къ мужу. — Въ полдень по полямъ! съ тобой еще когданибудь солнечный ударъ сдѣлается... Смотри — на что ты похожъ!

Она вынула изъ кармана свой маленькій, надушенный платокъ и вытерла имъ его лицо.

— Но гдѣ ты былъ? что дѣлалъ? — Расскажи мнѣ по крайней мѣрѣ, Сережа. Зачѣмъ это тебѣ такъ нужно было мучить Сѣраго?

Она наклонилась, поцѣловала его и прижалась къ нему плечомъ.

Въ его лицѣ что то дрогнуло, онъ даже немного поморщился, какъ будто ему непріятна была близость хорошенькой, ласкающейся жены. Но это было только мгновенье — онъ взглянулъ на нее, улыб-

нулся ей, хотѣлъ ее обнять — и вдругъ опустилъ руку. Лицо его стало печально.

— Ахъ, Наташа! проговорилъ онъ—да не гляди ты такъ на меня, не гляди... ты меня мучаешь...

— Мучаю?! чѣмъ?! спросила она съ изумленіемъ.

— А тѣмъ, что я не стою, чтобы ты такъ на меня смотрѣла...

— Опять ты за старое!

Она засмѣялась.

— Чтѣ это на тебя находить, въ самомъ дѣлѣ?.. И знаешь ли, вѣдь это униженіе паче гордости!..

— Какое тамъ униженіе паче гордости! досадливо выговорилъ онъ.

Съ нимъ положительно дѣлалось что то странное. Онъ начиналъ волноваться. Наконецъ спустилъ ноги съ дивана, захватилъ обѣими руками свою голову и сидѣлъ уставивъ глаза въ коверъ. Наташа никогда еще не видала его такимъ страннымъ, съ такимъ выраженіемъ. Она почувала, что это что то не просто.

— Сережа, сказала она,—посмотри на меня!

Онъ поднялъ глаза и тотчасъ же опустилъ ихъ.

— Что случилось? Чтѣ ты отъ меня скрываешь?! говори сейчасъ... Зачѣмъ ты хочешь пугать меня?!

— Я и скажу, выговорилъ онъ,—это глупо... я не могу... брани, дѣлай со мной что хочешь... но лучше знай и прости меня...

Онъ путался—она ничего не понимала.

— Что ты такое сдѣлалъ?.. что?!

— Я глупъ... я испорченъ... я дрянной чело-

вѣкъ... Но я не хочу, не могу скрываться передъ тобою... особенно когда ты такъ смотришь... Ты знаешь Катеньку Недольсину?

(Это была молоденькая жена одного изъ ихъ ближайшихъ сосѣдей. Она изрѣдка посѣщала Горбатовыхъ въ Знаменскомъ).

— Ну такъ что же? спросила Наташа, все еще ничего не понимая.

— Я, я... сегодня былъ на свиданьи съ нею... И какъ все это глупо вышло... какъ скучно... она такая дура...

Наташа широко раскрыла глаза.

— Да ты что же это... шутишь?!.. прошептала она.

— Нѣтъ, не шучу...

Онъ печально и покорно глядѣлъ на нее и она видѣла ясно, что онъ не шутитъ. Она отплатнулась отъ него, поднялась. Лицо ея поблѣднѣло, глаза вло блеснули.

— Если вы дошли до такихъ гадостей, то признаваться мнѣ въ нихъ — еще противнѣе, это уже совсѣмъ, совсѣмъ низко!.. почти задыхаясь выговорила она и хотѣла выйти изъ комнаты.

Но онъ силой удержалъ ее, захватилъ своими большими, будто желѣзными руками ея маленькія, слабыя руки.

— Наташа, ради Бога, не сердись, выслушай меня! повторялъ онъ умоляющимъ голосомъ. — Наташа, вѣдь ты умна, ты должна понять... тутъ совсѣмъ не то!.. вѣдь я винюсь передъ тобою... я знаю самъ какъ это глупо и пошло... все что хочешь... Наташа, еслибы я не любилъ тебя — я бы

не сказалъ... и неужели ты думаешь, что я могу промѣнять тебя на когонибудь?!.. Наташа!..

Она вырывалась изъ его рукъ и не могла вырваться.

— Да пустите же меня! наконецъ почти крикнула она.—И знайте—послѣ этого мнѣ все равно на кого бы вы меня ни промѣняли... только оставьте меня, не прикасайтесь...

А онъ, этотъ огромный Сергѣй, превратился совсѣмъ въ жалкаго ребенка, не выпускалъ ея рукъ. Онъ всталъ передъ нею на колѣни, онъ заглядывалъ ей въ глаза своими добрыми, теперь испуганными глазами и молилъ:

— Наташа, ради Бога, да не сердись же, перестань!.. Я даю тебѣ слово... никогда... никогда больше!.. Не будь же злою—прости меня... самому все это такъ противно... Наташа, прости меня... милая, дорогая, прости!..

Голосъ его порвался, на глазахъ показались слезы. Онъ цѣловалъ ея руки. Возмущеніе, негодованіе, охватившія было ее, внезапно почти исчезли. Этотъ большой, сильный человѣкъ, стоявшій передъ нею на колѣняхъ, плакавшій, цѣловавшій ея руки и умолявшій ее о прощеніи такъ по дѣтски, со всѣми приѣмами провинившагося ребенка — показался ей жалкимъ.

Она теперь наконецъ, въ первый разъ послѣ того какъ стала его женой, поняла его. Ей стало яснымъ все и она уже совсѣмъ новымъ голосомъ сказала ему:

— Хорошо, я прощаю тебѣ, только оставь меня теперь, не говори—не надо... оставь меня...

Онъ послушно выпустилъ ея руки.

Она вышла изъ кабинета, прошла въ спальню и заперла за собою дверь...

И къ этому человѣку она стремилась за нѣскольکو минутъ передъ тѣмъ, думая найти въ немъ охрану, спасеніе! Быть можетъ и у нея въ сердцѣ созрѣвала рѣшимость признаться ему въ чемъ то, въ томъ, чего не сознавала сама еще хорошо, рѣшимость рассказать ему о своихъ непонятныхъ мукахъ, о своемъ волненіи и просить у него поддержки, помощи...

Теперь ей хотѣлось быть какъ можно дальше отъ него, а между тѣмъ въ ней не было противъ него злобы, въ ней не было чувства ревности. Она сейчасъ же забыла оскорбленіе, нанесенное ей какъ женѣ, она даже не останавливалась на мысли объ этой сосѣдкѣ, назначившей мужу свиданіе, на которое онъ послѣшилъ. Ей не было теперь никакого дѣла ни до мужа, ни до этой сосѣдки.

Она была поглощена собою. Этотъ неожиданный разговоръ, это дикое признаніе Сергѣя вдругъ открыли ей глаза не только на него, а главнымъ образомъ на себя.

Она вдругъ схватила рукой за сердце, почувствовавъ какъ оно шибко и больно забилося въ груди, ея поблѣднѣвшія губы шептали:

„Боже, теперь все кончено!.. теперь уже нѣтъ спасенія!.. Что же это будетъ?!..“.

„Простила, а вотъ ушла... просить оставить — заперлась!“ жалобно думалъ Сергѣй, прислушиваясь какъ щелкнула дверная ручка въ спальнѣ.

Онъ вернулся на диванъ, улегся на немъ по-

прежнему, закрылъ глаза, хотѣлъ отдохнуть, задремать, забыть свое смущеніе и весь этотъ тяжелый, непріятный разговоръ. Ему всегда было такъ легко забывать непріятное. Но теперь онъ почувствовалъ, что на этотъ разъ не можетъ, напротивъ, съ каждой минутой ему становилось все болѣе неловко, противно и совѣстно.

— Охо-хо! грѣхи наши тяжкіе! прошепталъ онъ.

Но и это любимое выраженіе не помогло. Онъ то и дѣло вертѣлся на диванѣ и никакъ не могъ удобно улечься.

„Заперлась, что она тамъ дѣлаетъ?!“

Онъ всталъ и, стараясь осторожно ступить по ковру, подошелъ къ двери, прислушался.

Но ничего не было слышно.





XVI.

Врагъ силёнъ.

„Можетъ быть плачетъ—я огорчилъ ее...“

Ему стало еще противнѣе, еще скучнѣе, но все же не раскаявался онъ въ томъ, что признался ей. Онъ никогда не раскаявался въ томъ, что дѣлалъ, хотя бы это была самая послѣдняя глупость. И къ тому же вѣдь рано или поздно, а нужно было признаться. Его давно уже тяготилъ обманъ, бывшій всегда между нимъ и Наташей. Онъ давно уже порывался рассказать ей про свои „гадости“, какъ называлъ онъ въ минуты особенной скуки, нападавшей на него, всѣ эти многочисленныя и разнообразныя любовныя похожденія.

Пусть она знаетъ и если можетъ, то простить, и тогда станетъ легче, можно будетъ прямо ей глядѣть въ глаза. А если не простить — все же лучше!..

Притворяться передъ нею онъ больше не могъ. Передъ первой женой своей онъ всегда притворялся и скрывался, обманывалъ ее и смотрѣлъ ей въ глаза, не считая это тяжелымъ и постыднымъ, а передъ Наташей вотъ больше и не можетъ!

„Хоть бы она вылечила меня отъ всего этого! думалъ онъ теперь прислушиваясь у двери. — Хоть бы сдѣлала такъ, чтобы пропала моя скука, чтобы не лѣзло въ голову все такое... Вѣдь все это отъ скуки... Она еще не понимаетъ, ей нужно рассказать это, объяснить — она умная, Наташа, она поможетъ... Давно, давно нужно было ей сказать про эту мою скуку...“

— Наташа! крикнулъ онъ.

Но она не отозвалась, она не слыхала.

Въ смущеніи онъ вернулся къ дивану и ждалъ. Можетъ быть отворится дверь и она придетъ, тогда онъ поговорить съ нею.

И глядя теперь на него, на этого безшабашнаго покорителя женскихъ сердецъ, какъ онъ сидѣлъ опустивъ голову, съ усталымъ взглядомъ добрыхъ глазъ, съ лицомъ печальнымъ и смущеннымъ, на которомъ теперь рѣзче выступали мелкія, уже кой гдѣ тронувшія его, морщинки, можно было почестъ его за очень несчастнаго человѣка.

Да вѣдь онъ и былъ несчастнымъ. Онъ росъ безъ призора, безъ добрыхъ примѣровъ, покинутый отцомъ и матерью. Братъ Николай случайно попалъ въ старую дѣдовскую библіотеку и она спасла его. Но Сергѣй не попалъ. Онъ придумывалъ себѣ инныя забавы. Онъ быстро развивался, такъ какъ былъ одаренъ онъ рожденія могучимъ, почти богатыр-

скимъ организмъ; только развитіе его пошло въ сторону тѣла, въ сторону мускуловъ.

Онъ шумѣлъ на весь домъ, въ отсутствіе отца набиралъ дворовыхъ мальчишекъ, устраивалъ всякія военныя игры съ неминуемыми драками. Потомъ ему дали учителя гимнастики и фехтованія—и все его самолюбіе стало стремиться къ одной цѣли: быть всѣхъ сильнѣе, всѣхъ ловче. Ловкости большой онъ не приобрѣлъ — руки и ноги были слишкомъ длинны, — но за то сила прибывала не по днямъ, а по часамъ.

Онъ игралъ какъ мячиками пудовыми гири, ломалъ желѣзо. Учителя жаловались на его лѣнь, на его неспособность. Товарищи въ немъ души не чаяли. Рано, черезчуръ рано началъ онъ жить и черезчуръ быстро усвоилъ себѣ науку разгула. Его чувственная натура высказалась сразу; въ двадцать лѣтъ онъ уже прошелъ всю школу разврата петербургской богатой молодежи.

Онъ любилъ женщинъ, то есть, не могъ ни на часъ обойтись безъ какого нибудь пошлаго приключенія, безъ какой нибудь легко достаемой удачи. Но онъ никогда не предавался мечтамъ объ идеальной любви. Онъ не считалъ женщинъ способными возбудить къ себѣ уваженіе, серьезную привязанность, глядѣлъ на нихъ какъ на какую то особую породу милыхъ животныхъ, созданную для его удовольствія. При этомъ онъ никогда не думалъ о женщинахъ, а думалъ о женщинахъ, потому что какъ бы красива ни была та, которая остановила на себѣ его вниманіе — она ему скоро надоѣдала и онъ уже искалъ другую, болѣе подходившую къ его вкусу.

А найдя такую, ужь никакъ не могъ успокоиться пока не овладѣть ею.

Такъ, въ одинъ прекрасный день, онъ нашелъ себя по вкусу и свою первую жену. Онъ началъ ухаживать за нею и, владѣя вовсе не сознаваемымъ имъ искусствомъ нравиться почти безъ исключенія всѣмъ молодымъ женщинамъ и дѣвушкамъ, скоро убѣдился въ произведенномъ на нее впечатлѣннѣи.

Но этотъ оказавшійся въ его вкусѣ хорошенькій „звѣрокъ“ былъ совсѣмъ въ иномъ родѣ, чѣмъ его многочисленныя пріятельницы. Это была свѣтская дѣвушка, изъ строгой и почтенной семьи; соблазнить ее, завести съ ней интрижку было нельзя. Онъ, недолго думая, женился. Не прошло и полгода послѣ его свадьбы какъ онъ сталъ измѣнять ей. Но все же она ему не опротивѣла, не надоѣла, ему только было ея недостаточно, а возвращаться къ ней онъ всегда былъ радъ.

Она дѣйствительно оказалась въ его вкусѣ. Она была хороша собою, очень кокетлива, инстинктивно поняла его и всегда умѣла дразнить его развращенное воображеніе. Только все же ея искусства не могло хватить надолго — мѣшали дѣти. Неизвѣстно чѣмъ бы кончились ихъ отношенія, но она, простудившись на балу, схватила горячку и умерла въ нѣсколько дней.

Послѣ ея смерти онъ какъ бы очнулся, почувствовалъ себя несчастнымъ, въ первое время не зналъ куда дѣваться отъ горя, цѣлые дни проводилъ на ея могилѣ, плакалъ.

Прошелъ мѣсяцъ, другой, — онъ ее забылъ и

снова вернулся къ своимъ легкимъ побѣдамъ, къ вѣчной погонѣ за перемѣной.

И такъ проходила вся жизнь. Утромъ служебныя занятія, въ остальное время дня пирушки съ пріятелями, карты, женщины—вѣчная исторія...

Пріятели считали его очень добрымъ и сердечнымъ. Только въ этомъ добромъ сердцѣ было много противорѣчій. Онъ никогда не жалѣлъ обманываемыхъ и покидаемыхъ имъ женщинъ, хотя конечно нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ сдѣлалъ несчастными. А между тѣмъ находившійся въ нуждѣ человекъ никогда не уходилъ отъ него безъ помощи. Онъ готовъ былъ снять съ себя все, чтобы отдать бѣдному, готовъ былъ задолжать, запутаться, лишь бы выручить пріятеля.

Онъ любилъ брата, и когда однажды Николай серьезно заболѣлъ, онъ забылъ все, забылъ даже только что начавшуюся и обѣщавшую быть очень интересной интригу, и дни и ночи не отходилъ отъ больного, не позволялъ никому, даже Мари, къ нему прикасаться.

Онъ любилъ своихъ дѣтей, хотя конечно ни разу не подумалъ объ ихъ воспитаніи и очень часто забывалъ объ нихъ. Его любовь выражалась въ томъ, что въ инныя минуты, когда онъ бывалъ дома, онъ начиналъ съ ними возиться, наслаждался ихъ милыми лицами, ихъ смѣхомъ, привозилъ имъ дорогія игрушки. Когда онъ бралъ въ свои желѣзныя руки когонибудь изъ „ребятишекъ“, какъ онъ всегда называлъ ихъ, онъ чувствовалъ неизъяснимое наслажденіе прижать ихъ къ груди, покрывать поцѣлуями, вслушиваться въ ихъ лепетъ. Глаза его

сіяють, онъ улыбается самой прелестной и почти дѣтской улыбкой. Но проходитъ минута — и всѣ эти наслажденія забыты, забыты дѣти, одолеваетъ скука...

Когда Катерина Михайловна доказала ему, что нужно вторично жениться, и указала на Наташу какъ на самую подходящую невѣсту, онъ рѣшился исполнить желаніе матери. Онъ всматривался въ молодую дѣвушку и не могъ найти въ ней ничего дурного, — она была безспорно прелестна. Но странное дѣло — эта изящная, граціозная Наташа, на которую всѣ засматривались, которая возбуждала страстные мечты во многихъ молодыхъ людяхъ, ничего не говорила его воображенію. Она почему то была не изъ числа женщинъ по его вкусу.

И вотъ онъ сталъ законнымъ обладателемъ этого прелестнаго, юнаго и чистаго существа. Но и это существо не возбѣдило въ немъ той любви, которой онъ никогда не зналъ, которую не понималъ.

А между тѣмъ Наташа съ каждымъ днемъ получала для него все больше и больше значенія, ни къ одной женщинѣ онъ не относился такъ, какъ къ ней, такъ бережно и даже такъ робко. Она не была для него „звѣркомъ“, созданнымъ на его потѣху и удовольствіе. Кто она была — онъ не зналъ.

Наташа вовсе не оказалась холодной, она готова была привязаться къ мужу, лишь бы нашла въ немъ пониманіе своихъ потребностей, своего характера. Но она была такъ чиста отъ природы и онъ, несмотря на всю развращенность, на весь свой цинизмъ, той лучшей стороной своего сердца, которая еще въ немъ сохранилась, понималъ эту ея

чистоту и не смѣлъ грубо прикоснуться къ ней своими загрязненными руками. Первая его попытка была встрѣчена Наташей такимъ изумленіемъ, такимъ испугомъ, что онъ невольно отступилъ и навсегда отказался превратить ее въ женщину по своему вкусу.

Въ концѣ концовъ, чередъ два года супружеской жизни, Наташа была для него не страстно любимой женой, не подругой, но въ то же время она была для него очень близкимъ, очень дорогимъ существомъ. Только это существо стояло какъ то поодаль отъ него, какъ то высоко и онъ продолжалъ непонимать ее.

Она была кротка, онъ никогда не видалъ ее раздраженной, а между тѣмъ бывали минуты, когда онъ ее боялся, ему бывало неловко передъ нею. Онъ испытывалъ какъ бы ощущеніе грязнаго и раздѣлаго человѣка—а она была всегда чиста, всегда была одѣта...

Никогда въ немъ не заговаривало къ ней страстное чувство. Никогда не спрашивалъ онъ себя любить ли ее.

Но онъ любилъ ее, онъ благоговѣлъ передъ нею, только она одна навела его на мысль, что онъ дурной человѣкъ...

Наконецъ теперь онъ не выдержалъ и признался ей въ одномъ изъ своихъ многихъ грѣховъ и ему такъ ужасно нужно ея прощеніе, ея помощь.

А она все сидитъ запершись и не приходитъ, не отъкликается... онъ не смѣетъ настаивать...

Онъ еще разъ прошепталъ:

„Охо-хо! грѣхи наши тяжкіе!“

Потомъ всталъ съ дивана, взялъ шляпу и вышелъ въ садъ.

Онъ видитъ—вдали бѣгаютъ дѣти, невдалекѣ отъ нихъ, на скамьѣ, въ тѣни огромнаго дуба, сидитъ Рибо. Широкополая соломенная шляпа скрываетъ его лицо, но по мѣрному покачиванью этой шляпы можно замѣтить, что французъ дремлетъ.

„Вотъ болванъ! подумалъ Сергѣй, — и вѣдь онъ никогда, никогда не занимается съ дѣтьми какъ слѣдуетъ!.. я давно замѣчаю... Они его въ грошъ не ставятъ, смѣются надъ нимъ...“

Но онъ не вспомнилъ, что самъ не разъ подавалъ имъ примѣръ потѣшаться надъ французомъ. Ему и теперь захотѣлось подрастаться къ нему и пугнуть его на потѣху дѣтямъ. Впрочемъ онъ удержался и прошелъ мимо, въ узенькую, совсѣмъ заросшую акаціями аллею, куда въ самую жаркую полуденную пору почти не проникало солнце.

Его мысли перенеслись внезапно къ утрешнему посѣщенію молоденькой сосѣдки. Онъ вспомнилъ всѣ подробности этого свиданія...

„Пухлая, деревенская дура!“ почти громко проговорилъ онъ, — „и стоило мнѣ только мигнуть—и она уже рада... и клянется въ вѣчной любви... Ахъ и охъ!.. а сама... я думаю... брр! скверно!.. и къ чему это я? зачѣмъ она мнѣ?... Нѣтъ, довольно, все одно и то же... Всѣ онѣ — одна какъ другая... все это пошлость...“

„Нѣтъ, Наташа, я больше не буду!.. докончилъ онъ мысленно обращаясь къ женѣ,—не буду...“

Вдругъ онъ остановился. Въ самой гущинѣ сплетшихся вѣтокъ, на низенькомъ глубокомъ садовомъ

диванъ передъ нимъ сидѣла Лили. На ней было хорошенькое бѣлое батистовое платьице съ голубыми бантиками. Она сидѣла положивъ ногу на ногу и изъ-подъ вышитыхъ оборокъ заманчиво выглядывали ея маленькія, кокетливо обутыя ножки. Въ рукахъ она держала книжку и повидимому внимательно читала.

Среди окружавшей зелени ея свѣжее, хорошенькое лицо съ длинными, опущенными рѣсницами, съ пухлыми, яркими губами, съ черной родинкой, задорно приютившейся около самаго углышка рта—казалось еще милѣе.

Внезапно вспыхнувшая краска залила щеки Сергѣя, глаза его блеснули. Онъ затаилъ дыханіе, подкрался къ Лили...

Она слабо вскрикнула отъ неожиданности и покраснѣла.

Онъ сѣлъ рядомъ съ нею, улыбался ей, засматривалъ ей прямо въ глаза смѣлымъ, дерзкимъ, смѣющимся взглядомъ.

— Что же вы тутъ подѣлываете, кошечка? какую это книжку читаете? Покажите!

Онъ сталъ брать у нея книгу и вмѣстѣ съ книгой, за одно ужъ, взялъ и ея маленькую, бѣленькую, съ голубоватыми жилками руку.

— Сергѣй Владиміровичъ, зачѣмъ вы... пустите! пропущала Лили.

Она сдѣлала было слабое движеніе, чтобы высвободить руку, но онъ не выпускалъ. Она перестала сопротивляться.

Въ этой темной аллеѣ было жарко. Гдѣ то вы-

соко надъ головою жужжали пчелы, гдѣ то чирикнула и вдругъ замолкла птица.

Какъ это произошло — ни Сергѣй, ни Лили не знали, — но ея голова была на его груди и онъ покрывалъ жадными поцѣлуями ея горячія щеки, и шаловливую родинку, и полуоткрытыя влажныя губы.

А она среди этихъ поцѣлуевъ умирающимъ голосомъ шептала:

— Сергѣй Владиміровичъ!.. Ахъ, Сергѣй Владиміровичъ!.. зачѣмъ вы...

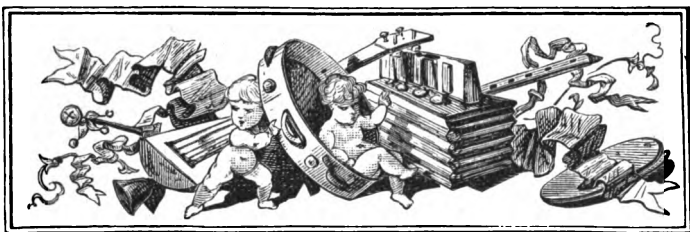
— Лили! недалекоѣ раздался звонкій голосъ Сони.

Сергѣй вскочилъ и, широко шагая, скрылся въ глубинѣ аллеи.

Теперь онъ ни о чемъ не думалъ, его грудь высоко поднималась, въ виски стучало. Онъ шелъ все скорѣе и скорѣе.

Вотъ ему послышалось, что гдѣ то вдали какъ будто кто то плачетъ. Но онъ не обратилъ вниманія и шелъ дальше.





XVII.

Изъ дворовыхъ.

Кто же это плакалъ?

За частыми кустами и деревьями, которыми была обсажена дорожка, выходившая изъ темной аллеи, начинался отлогій спускъ. Внизу этого спуска поднималъ свою широкую вершину столѣтній дубъ, а подъ дубомъ и вплоть до быстрого ручейка зеленѣли, а подъ осень краснѣли своими ягодами кусты бузины. Стволъ гигантскаго дуба и эти кусты образовывали нѣчто въ родѣ низенькаго грота. Въ этотъ гротъ была протоптана тропинка, въ гротѣ лежалъ коврикъ, изъ камней было сдѣлано что то похожее на скамейку.

Все это было дѣломъ рукъ маленькаго Володи, который и называлъ навѣсь подъ дубомъ гротомъ.

Это было очень укромное мѣстечко парка, сюда никто почти никогда не забирался, а дѣти такъ

даже боялись этого дуба, потому что Володя рассказывалъ имъ про него разныя страсти.

Онъ рассказывалъ, между прочимъ, что въ дуплѣ этого стараго дуба живетъ лѣсовикъ, что поздно вечеромъ и ночью „въ гротѣ“ горитъ таинственный огонечекъ.

И рассказывая все это своимъ убѣжденнымъ, серьезнымъ тономъ, онъ самъ вѣрилъ и въ лѣсовика, и въ огонечекъ. Онъ ни за что бы не отправился поздно вечеромъ въ свой гротъ, но днемъ—это другое дѣло—это было его любимое мѣсто, тѣмъ болѣе, что онъ зналъ, что можетъ, забравшись сюда, спокойно пробыть здѣсь сколько ему вздумается; никто не увидитъ, никто не потревожитъ, никто не помѣшаетъ ему мечтать и придумывать разныя волшебныя и интересныя исторіи.

Зимой ему очень доставало грота, и хотя въ старомъ горбатовскомъ домѣ, на Мойкѣ, у него тоже были свои любимыя мѣстечки, но все же гротъ оказывался незамѣнимымъ.

Здѣсь Володя переживалъ лучшія минуты своей странной, дѣтской жизни. Здѣсь онъ яснѣе, чѣмъ гдѣ либо, воображалъ себя героемъ всякихъ невѣроятныхъ приключеній, воплощался въ созданныхъ его же горячимъ дѣтскимъ воображеніемъ чудодѣевъ.

Вотъ и теперь онъ сидѣлъ въ своемъ гротѣ; но не одинъ. Рядомъ съ нимъ была дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, и ея то горькій плачь слышалъ Сергѣй Владиміровичъ, уходя изъ темной аллеи.

Это была „простая“ дѣвочка, хотя и одѣтая гораздо заботливѣе и наряднѣе, чѣмъ вообще одѣва-

лись „дѣвочки“ знаменской дворни. На ней было ситцевое платьице съ открытымъ воротомъ и коротенькими рукавами. Ея голую шею прикрывалъ нѣсколько вылинявшій, но все же шелковый, розовый платочекъ; ноги были обуты въ стоптанные, но все же прюнелевые, башмаки. Черные какъ смоль, густые волосы ея были заплетены въ крѣпкую, длинную косу, перевитую ленточкой.

Дѣвочка эта была поразительно хороша собою. Ея заплаканные черные глаза съ длинными рѣсницами невольно останавливали на себѣ вниманіе. И особенно хорошъ былъ ея ротъ, безукоризненно очерченный и въ то же время имѣвшій въ своемъ выраженіи что то смѣлое, рѣшительное, даже рѣзкое. Но въ выраженіи ея лица вовсе не замѣчалось ничего злого; теперь оно говорило только о большомъ горѣ, хотя время отъ времени ея тонкія брови сдвигались и мрачная тѣнь пробѣгала по всѣмъ чертамъ.

— Да перестань же, не плачь, Груня, повторялъ Володя, серьезно и печально глядя на нее.

Но у него самого видъ былъ встревоженный.

— Перестану, перестану, милый баринъ, только дайте немножко успокоиться, дайте выплакаться! сквозь рыданія отвѣчала дѣвочка и видимо дѣлала надъ собой усилія, чтобы остановить рыданія.

Наконецъ ей это удалось. Она вынула изъ кармашка своего платьица платокъ, свернутый комочкомъ, вытерла глаза и постаралась улыбнуться Володѣ.

Она была чудно хороша въ эту минуту. Онъ на-

клонился къ ней, обнялъ ее и поцѣловалъ, а потомъ погладилъ по головѣ.

И все это онъ сдѣлалъ какъ старый, разсудительный человѣкъ, успокоивающій ребенка.

— Ну, вотъ такъ то лучше! проговорилъ онъ тоже старымъ голосомъ, — зачѣмъ даромъ плакать... И теперь Расскажи ты мнѣ все какъ было, а то я ничего не понимаю. Оболгали! навазали!.. Кто? какъ? за что? и какъ ты сюда попала?.. даже испугала меня... вхожу — знаю — никого здѣсь нѣтъ, а ты вдругъ лежишь будто мертвая!..

— Ахъ, да лучше мнѣ бы и быть мертвой! прошептала дѣвочка, — вся жизнь опротивѣла...

— Что ты?! что ты?! испуганно воскликнулъ Володя и даже замахалъ руками. — Зачѣмъ ты такъ говоришь? зачѣмъ тебѣ умирать?.. не надо...

— Да жить ужъ больно обидно, милый баринъ, никто-то меня не любитъ... прежде ласкали и все такое... Какъ барыня прогнала меня отъ себя, такъ всякій норовитъ какъ бы толкнуть, ущипнуть. Еще вчера съ Анисья, такъ, зря, проходила мимо — да какъ щипнетъ! такъ ажъ покатила!.. Во! глядите... во синякъ какой!..

Она завернула коротенькій рукавъ своего платица и показала Володѣ у самого плеча огромный, темный синякъ.

— А сегодня вотъ такое...

— Да что такое?

— Маланья убирала у старой барыни комнату, да видно разбила флакончикъ... Барыня какъ увидела — спрашиваетъ: кто это сдѣлалъ?.. а она на

меня и сказала. А я, видитъ Богъ, въ барынины комнаты послѣ того и не заглядываю, мнѣ и мимо то ихъ идти боязно... А Маланья говорить: я разбила,—совѣсти у нея нѣту!.. Призналась бы баринѣ, можетъ быть та ее и простила бы, а какъ сказала на меня, сейчасъ это барыня велитъ меня звать... Потащили... а онѣ какъ крикнуть: „Ты это, мерзавка, разбила?“ Я ни жива, ни мертва... Ну, какъ я на себя возьму такое, когда и въ комнатахъ то не была... Я говорю: нѣтъ, ей Богу, нѣтъ, и не входила! А онѣ ко мнѣ: „А, говорятъ, такъ ты еще и запираешься, лжешь... розогъ!“ Маланья злющая и рада, тотчасъ притащила... и ужъ сѣкли меня, сѣкли, у барыни же, сама барыня смотрѣла. Какъ вышла я отсюда—не помню, пустилась бѣжать сама не знаю куда, и вотъ сюда прибѣжала... упала и лежу. А тутъ вы, милый баринъ...

Голосъ Груни оборвался, она опять заплакала, и сквозь слезы проговорила:

— Только вы меня и жалѣете...

Она схватила руку Володи и стала цѣловать ее. Онъ не отнималъ руки, онъ глядѣлъ на нее совсѣмъ растерянно, широко раскрывъ глаза и нервно раздувая свои тонкія ноздри. Его нѣжныя щечки поблѣднѣли и временами онъ слабо вздрагивалъ.

— Высѣкли! не то съ изумленіемъ, не то съ ужасомъ повторялъ онъ,—больно?

Груня перестала плакать, глаза ея сверкнули, она закусила свои хорошенькія губы.

— Больно!.. протянула она,—да что въ томъ, я всякую боль могу вынести и еслибы подѣломъ, а то

вѣдь задаромъ!.. Развѣ я врала когда нибудь?! Разбила бы и сказала бы какъ въ тотъ разъ, а то за что же?.. Ахъ, Володенька, голубчикъ вы мой, горить вотъ у меня сердце... не могу я, не могу!.. все выносила, все, а теперь не могу... Такъ ужъ и знаю, навѣрно знаю, что кончено теперь...

И говоря это какимъ то не своимъ голосомъ, она вдругъ такъ измѣнилась, сдѣлалась такой страшной, что Володя даже съ испугомъ отъ нея отшатнулся.

— Что ты говоришь? что кончено?!

— Кончено... не прощу я этого... не могу... покончу... покончу...

Она вскочила на ноги, потомъ опять упала, стала бить себя въ грудь, рвать на себѣ волосы.

Володя старался привести ее въ себя, успокоить. Но она его не слушала, она его не видѣла. Съ ней сдѣлался припадокъ, она была въ изступленіи.

Въ это время издали раздался звонъ колокола, призывавшій къ обѣду.

— Груня! Груня! проговорилъ Володя, — очнись, слушай меня... Я долженъ идти, а ты останься здѣсь, успокойся, жди меня, я прибѣгу послѣ обѣда и принесу тебѣ ѣсть... Поговоримъ, я подумаю, я попрошу маму Наташу, можетъ быть мы сдѣлаемъ такъ, что тебя перестанутъ обижать... Груня, слышишь—жди меня здѣсь... Слышишь ты меня?!

— Слышу! глухо прошептала она и упала головой на коврикъ.

Онъ выльзъ изъ грота и побѣждалъ что было силъ, чтобы не опоздать къ обѣду, потому что за это съ него строго взыскивали. А главное, еслибы онъ опоз-

далъ, его бы не пустили послѣ обѣда гулять и онъ не могъ бы вернуться къ Грунѣ.

Откуда же взялась эта Груня?

Она съ не очень давняго времени оказалась въ штатѣ знаменской дворни и принадлежала собственно Катеринѣ Михайловнѣ.

Случилось это такимъ образомъ:

По возвращеніи изъ-за границы въ Петербургъ, Катерина Михайловна объѣздила оставшихся въ живыхъ и находившихся въ столицѣ своихъ прежнихъ знакомыхъ; въ томъ числѣ побывала она и у княгини Нещерской, пріятельницы ея молодости, съ которой она когда то начала свои выѣзды въ свѣтъ.

Теперь эта княгиня Нещерская была расплывшаяся старуха, давно выдавшая единственную дочь замужъ, схоронившая мужа и жившая въ собственномъ, полномъ какъ чаша, домѣ.

Старыя подруги встрѣтились хорошо, вспомнили молодость и стали нерѣдко навѣщать другъ друга.

Разъ какъ то, во время визита княгинѣ, Катерина Михайловна замѣтила въ ея домѣ маленькую пре-хорошенькую дѣвочку-служанку.

— Это откуда такая хорошенькая дѣвчонка? спросила она,—и такая расторопная... услужливая!..

— Ахъ, ma chère! отвѣчала княгиня,—это цѣлая исторія и даже прегрустная. Вотъ и ты обратила вниманіе на ея рожицу. N'est ce pas—très jolie!.. и при этомъ rien de commun... хотя и Грунька... Графа Михаила Петровича чай помнишь?..

— Какъ же, какъ же! Ну такъ что же?

— А то, что какимъ былъ, такимъ и по сіе время остался... сѣдой совсѣмъ — а вѣдь Груня ему съ родни приходится. Мать ея, ихъ крѣпостная, тоже красивая была. Я ее видѣла. Она у него въ Волковскомъ лѣтъ семь на особомъ положеніи жила... И вдругъ наѣзжаетъ графиня, а графъ то оплошалъ, остался въ Петербургѣ, да можетъ и забылъ про свою любимицу. Узнаетъ все графиня, ну, натурально, изъ себя вышла... Мнѣ стороной рассказывали, не знаю правда ли, говорятъ дѣвку эту, Грунину мать, засѣкла она до смерти... Ну, этого я тамъ не знаю, только умерла дѣвка, а дѣвчонку графиня привезла въ Петербургъ. Было у нихъ что то съ мужемъ крупное, пріѣзжаетъ ко мнѣ графъ, мы вѣдь старые друзья съ нимъ, и просить: „Возьмите дѣвочку, а то жена убьетъ ее...“ Пренеловкое было мое положеніе, съ графиней тоже ссориться вовсе не хотѣлось... Какъ ужъ тамъ онъ ее уговорилъ—не знаю, только вдругъ и она мнѣ также предложила эту Груню въ подарокъ. Съ тѣхъ поръ и живеть у меня, пятый ужъ годъ. Шустрая дѣвчонка, мигомъ читать и писать выучилась и все понимаетъ, прислужить какъ никто, только дикое въ ней что то, иной разъ даже какъ будто на нее находить. Я и доктору показывала—говорить: „ничего, пройдетъ со временемъ...“

Катерина Михайловна задумалась.

— Мнѣ давно хотѣлось бы имѣть при себѣ такую вотъ дѣвочку, въ нашей дворнѣ есть ихъ не мало, да все такіа уроды, что противно, а я терпѣть не могу чтобы мнѣ некрасивая прислуживала. Вотъ бы такую дѣвчонку найти!

— Другъ мой, ты къ ней и не подбирайся, сказала княгиня,—не отдамъ я ее тебѣ.

— Я и не прошу.

Но разъ какая фантазія пришла въ голову Катерины Михайловны, она ужъ не могла успокоиться ея не исполнивъ. Еслибы княгиня Нещерская сама предложила ей Груню, она можетъ быть даже и отказалась бы; но такъ какъ та объявила, что не намѣрена уступать ее, Катерина Михайловна нѣтъ, нѣтъ, да и вспомнить про Груню.

И каждый разъ, какъ дѣвочка попадалась ей на глаза у княгини, она ей все больше и больше нравилась. Кончила она тѣмъ, что стала подѣзжать къ пріятельницѣ:

— Уступи, да уступи!.. продай!..

Княгиня даже обидѣлась.

— Стану я ее продавать, когда сама даромъ получила. И потомъ вѣдь графъ именно мнѣ ее отдалъ, вѣдь какъ тамъ ни на есть, а все же она не совсѣмъ холопка!..

Но графъ этимъ временемъ взялъ да и умеръ, не помышляя о бѣдной Грунѣ. И вмѣстѣ съ этимъ княгинѣ Нещерской смерть какъ приглянулась хорошенькая обезьянка, привезенная Катериной Михайловной изъ-за границы. Кончилось тѣмъ, что произошелъ обмѣнъ—княгиня получила обезьяну, а Катерина Михайловна—Груню, на правахъ полной, неоспоримой собственности, удостовѣренной формальнымъ образомъ.

Первое время Грунѣ не дурно жилось у новой барыни. Катерина Михайловна къ ней благоволила,

приставила ее къ своей особѣ, рядила ее почти какъ барышню и всѣмъ показывала—какая молъ красавица! И при этомъ рассказывала ея исторію.

Но несмотря на эту исторію, несмотря на происхожденіе Груни, никому изъ домашнихъ не пришло въ голову вывести ее изъ положенія крѣпостной служанки, позаботиться объ ея воспитаніи, подготовить ей болѣе или менѣе сносную будущность. Не Катерина Михайловна конечно,—но вѣдь и Наташа, и Николай, и Сергѣй, и даже Мари навѣрно захотѣли бы объ этомъ позаботиться, еслибы имъ только пришло въ голову подумать о Грунѣ. Но хотя и добрые люди, они объ ней не подумали, не тѣмъ всѣ были заняты — свадьба Сергѣя, положеніе денежныхъ дѣлъ... у каждаго свои заботы, тревоги... Однимъ словомъ, остановиться на Грунѣ никто пока не догадался...

Катеринѣ Михайловнѣ скоро надоѣло возиться съ „дѣвчонкой“ и показывать ее знакомымъ. Прошло два три мѣсяца—и хотя Груня продолжала носить сшитыя ей хорошенькія платья, но ее уже никто не видѣлъ. Она жила въ дѣвичьей, являясь въ комнаты Катерины Михайловны только для исполненія своихъ обязанностей.

Въ дѣвичьей ее не любили и за то что она имѣла видъ барышни, и за то что была бойка и не очень то давала себя въ обиду, а главное за мимолетный фаворъ у старой барыни.

Послѣ первыхъ краткихъ мѣсяцевъ баловства, Груня почувствовала себя очень несчастной. Недружелюбное отношеніе къ ней дѣвичьей, перемѣна

обращенія съ нею Катерины Михайловны ее озлили. Она глядѣла теперь звѣркомъ. Она стала совсѣмъ дикой, ото всѣхъ пряталась, и, главное, пряталась отъ барскихъ дѣтей. А Катерину Михайловну она просто ненавидѣла всею силой своего дѣтскаго, но уже много перенесшаго и понимавшаго сердца.

Когда Катерина Михайловна вспоминала объ ней, призывала ее въ свои комнаты, она шла какъ на пытку.

Изъ всѣхъ домашнихъ она любила только Володю. Они сошлись еще въ прошломъ году, въ томъ же Знаменскомъ, въ глубинѣ парка, куда и Груня и Володя убѣгали думать свои думы. Только думы ихъ были совсѣмъ различныя. Какъ бы то ни было, они встрѣчались часто. Груня отбирала для милаго, добраго барина, какъ и въ глаза и про себя называла Володю, самыя спѣлыя ягоды земляники, самыя лучшіе найденные ею цвѣты. Иногда по пѣлымъ часамъ они бродили между деревьями, или, уставши, сидѣли на сочной травѣ и бесѣдовали. Ихъ разговоры были странные и нисколько не относились къ окружавшей ихъ жизни, къ ихъ собственному, настоящему существованію. Они часто рассказывали другъ другу самыя невѣроятныя, изумительныя исторіи, до которыхъ каждый изъ нихъ додумывался въ своемъ одиночествѣ. Они передавали другъ другу планы относительно будущаго.

Володя говорилъ Грунѣ о томъ, какъ онъ, когда будетъ большой, поѣдетъ путешествовать, какихъ увидитъ людей, звѣрей, какія встрѣтитъ чудеса...

А Груня увѣряла Володю, что когда она выро-

стеть, то пойдет по Святымъ Мѣстамъ, о которыхъ рассказывала въ дѣвичьей старушка Пафнугьева, какъ потомъ она станетъ монашенкой... А то вдругъ и Святыя Мѣста и монастырь забывались; Груня становилась актрисой. Она была одинъ разъ въ балетъ и произведенное имъ впечатлѣніе иногда поднималось снова.

И оба они, несмотря на то, что такъ часто мѣняли свои планы, неизмѣнно вѣрили въ ихъ осуществленіе.

Но вотъ надъ бѣдной Груней страслась бѣда. Это было на второй или на третій день ихъ пріѣзда въ Знаменское. Она, убирая спальню Катерины Михайловны, разбила дорогую статуэтку. Катерина Михайловна вышла изъ себя, собственноручно избила дѣвочку и на два дня велѣла ее запереть въ чуланъ, на хлѣбъ и на воду.

Изъ этого чулана Груня вышла такая худая и блѣдная, какъ будто цѣлый мѣсяцъ пролежала въ сильной болѣзни. Въ эти два дня въ ней окончательно окрѣпла непримиримая ненависть къ Катеринѣ Михайловнѣ. Эта ненависть наполняла ее всю, только объ ней она и думала. Она окончательно стала избѣгать всѣхъ, даже Володю. Напрасно ждалъ онъ ее въ паркѣ, напрасно искалъ онъ ее—ее не было видно.

А сегодня опять съ нею бѣда.

Послѣ обѣда Володя пошелъ въ буфетную, набралъ тамъ сколько могъ съѣстнаго и крадучись пробрался въ паркъ, къ своему гроту. Но Груни тамъ не было. Онъ обѣгалъ всѣ закоулки, гдѣ съ

нею встрѣчался, гдѣ она любила бродить; но нигдѣ ее не нашелъ. Вернулся домой, прошелъ въ двѣвчю, — и тамъ ея нѣтъ. Пропала Груня, да и только.

Онъ даже рѣшился объ ней спрашивать; но всѣ ему отвѣчали, что какъ она убѣжала съ утра, такъ и не возвращалась—никто ее не видѣлъ.





XVIII.

Русалочка.

Хотя Груня утвердительно кивнула головой Володѣ, когда онъ уговаривалъ ее дожидаться его въ гротѣ, но сдѣлала это безсознательно. Туманъ носился передъ нею, она ничего не видѣла, ничего не понимала. Вся грудь ея горѣла, а по тѣлу пробѣгала дрожь; не то тоска, не то злоба страшная и мучительная сосала ей сердце. И послѣ того какъ Володя ушелъ, она долго и ожесточенно каталась по коврику, постланному въ гротѣ, и билась головой объ землю. Ея косы распустились, густые черные волосы беспорядочно разметались по плечамъ, съ которыхъ она, въ порывѣ бѣшенства, сорвала розовую косыночку.

Наконецъ ея мучительный припадокъ сталъ какъ будто стихать. Она поднялась на ноги, вышла изъ грота и остановилась. Съ распущенными, всклоко-

ченными волосами, которые еще больше отгѣняли блѣдность ея будто изъ мрамора выточенного лица, съ горящими глазами, она была просто страшна. Казалось, что это не человѣкъ, не живая дѣвочка, а одно изъ прелестныхъ и въ то же время ужасныхъ созданій народной фантазіи, одно изъ тѣхъ видѣній, которыя сняты на яву потрясенному воображенію духовидца.

Постоявъ неподвижно нѣсколько минутъ, она спустилась къ ручью и пошла по его берегу, очевидно не зная сама куда идетъ. И долго такъ шла она, все болѣе и болѣе углубляясь въ чащу. Ручей, едва струившійся среди травы, вблизи отъ знаменскаго дома, чѣмъ дальше, тѣмъ все расширялся, углублялся, превращался почти въ рѣчку, съ быстрымъ теченіемъ, съ прозрачной водою, сквозь которую было видно какъ на ладони чистое песчаное дно. Да и мѣстность тутъ совсѣмъ измѣнялась. Сюда рѣдко кто заходилъ — такъ было далеко отъ дома. Здѣсь паркъ никогда не расчищался.

По временамъ попадались болотца. Громадные дубы и клены, окруженные непроходимымъ кустарникомъ, застилали небо и порою наклонялись надъ ручьемъ.

Груня все шла по берегу, не разъ попадая въ болота и съ трудомъ высвобождая изъ вязкой, съ выступающей водой, трясины свои ноги.

Наконецъ она остановилась и какъ бы очнулась. Она поглядѣла кругомъ, увидѣла старое, давно когда то упавшее и теперь почти сгнившее дерево, перекинутое какъ хрупкій, ненадежный мостъ черезъ ручей. Она присѣла на это дерево почти надъ

самой водою, охватила рукой ободранный, совсѣмъ почти мягкій и пахнувшій грибами сукъ, и стала глядѣть въ воду.

Вода бѣжала, бѣжала все куда то. И начало казаться Грунѣ, что она вмѣстѣ съ водой этой стремится все дальше, впередъ и впередъ, въ непонятную даль. Володя говорилъ ей, что ручей этотъ бѣжитъ въ рѣку, а рѣка катится въ море, сливается съ океаномъ и со всѣхъ сторонъ оmyваетъ землю...

Вотъ и она теперь мчится, мчится вмѣстѣ съ ручьемъ въ рѣку, вмѣстѣ съ рѣкой въ море, въ океанъ, кругомъ всей земли... А тамъ дальше что же? — опять назадъ? опять сюда?..

И она совсѣмъ очнулась. Она чувствовала теперь большую слабость во всемъ тѣлѣ, ей казалось, что она вся сломана на мелкіе кусочки. Все то болитъ, все ноетъ... и къ тому же такъ стало жарко...

Она быстро раздѣлась и ловкимъ, граціознымъ движеніемъ спрыгнула со стараго дерева въ воду. Теперь она уже совсѣмъ, совсѣмъ стала похожа на хорошенькую и страшную русалку.

Ручей былъ глубокъ въ этомъ мѣстѣ, но она еще въ первые дѣтскіе годы въ деревнѣ, при матери, научившись хорошо плавать, ныряла какъ рыба, то совсѣмъ пронадавая подъ водою, то вдругъ показываясь вся. Стройная, нѣжная, съ эластичными и сильными членами, — она была прелестна. Но на тонкой и прозрачной кожѣ ея теперь ярко обрисовывались слѣды вынесенныхъ ею побоевъ и щипковъ...

Ея слабость, боль во всемъ тѣлѣ, какъ будто вдругъ прошли. Вода освѣжила, возбудила силы.

Ей было хорошо. И выбравъ мѣсто, гдѣ вода была ей всего по поясъ, она стала на ноги въ мягкомъ пескѣ и опять смотрѣла на воду, которая неслась къ ней навстрѣчу и разступалась въ обѣ стороны отъ прикосновенія къ ея тѣлу, и уносилась дальше. Она чувствовала какъ быстрое теченіе ее нѣжно подталкиваетъ, будто тихо, незамѣтно хочетъ увлечь за собою.

Она опять легла на воду и не шевелилась. Теченіе мало-по-малу стало уносить ее. Вотъ уже сгнившее дерево осталось сзади. Хорошо такъ лежать и плыть почти не шевелясь, только время отъ времени дѣлая легкія движенія то рукой, то ногой. Хорошо!..

Она опрокинула голову такъ, что ея длинныя волосы во всѣ стороны развились въ водѣ и плыли за нею. Она сложила на груди руки и глядѣла наверхъ, туда, гдѣ изъ-за высокихъ вѣтвей проглядывало безоблачное небо. Тишина кругомъ стояла торжественная, только время отъ времени комары жужжали надъ водою, да двѣ бѣленькія бабочки, неслышно трепеща въ тепломъ воздухѣ, мчались то внизъ, то вверхъ, то разлетаясь, то слетаясь.

Хорошо!.. Ну что же... и плыть, плыть долго, долго, до самаго вечера, пока хватитъ силъ... А тамъ... тамъ уйти въ воду, захлебнуться, умереть!.. Умереть лучше чѣмъ жить...

И ей такъ ясно представилось: солнце давно зашло, настала ночь, такая темная, свѣжая. Она далеко, далеко, ручей теперь уже рѣка, широкая, черная рѣка, берега далеко—до нихъ не доплывешь, крикнуть — никто не услышитъ... Дно ушло — его

недостать, да и что тамъ, на этомъ днѣ: тина и грязь, переплетшіеся, скользкіе стебли длинныхъ, странныхъ растений, среди которыхъ копошатся разные водяные гады. И вода стала такая холодная; небо такъ далеко — и холодно, непривѣтно мигаютъ на немъ звѣзды.

Вотъ она чувствуетъ — что то присасывается къ ея ногѣ, а съ другой стороны кто то щиплетъ — то пиявица, то черный ракъ... Она содрогается отъ омерзения и ужаса. Она отрываетъ противныхъ животныхъ отъ своего тѣла. Но на ихъ мѣсто приплываютъ другія...

Она спѣшитъ, плыветъ; но силы покидаютъ ее. Черная холодная вода вливается ей въ ротъ, въ уши... Мракъ, холодъ, страшный, отвратительный холодъ...

Груня испуганно вскрикнула, быстро повернулась на грудь и изъ всѣхъ силъ поплыла къ старому дереву. И эта прозрачная вода, и это чистое, песчаное дно показались теперь ей страшными. Она не выдержала, вышла на берегъ и побѣжала къ тому мѣсту, гдѣ оставила свое платье. Она поспѣшно одѣлась, прошла дальше отъ ручья, черезъ древесную чащу и почти упала на траву по срединѣ большой полянки, озаряемой косыми лучами склонявшагося къ закату солнца. Теперь она снова почувствовала прежнюю слабость и ей было холодно отъ долгаго купанья, такъ что даже стучали зубы. И опять прежній туманъ сталъ наплывать на нее. Опять жгло ей сердце и загоралась въ груди злоба, душила ее, искажала ея черты...

„Нѣтъ, нѣтъ, не прощу ей, погублю ее!.. твердила она какъ въ бреду.

„Погублю... погублю!.. повторяла она съ дикимъ наслажденіемъ.—За что она меня?.. что я ей сдѣлала?.. зачѣмъ она взяла меня отъ княгини?.. Тамъ никто не мучилъ, не билъ задаромъ... хотя и тамъ нелюбили. Никто, никогда то не любилъ меня... Только мама... мама!..“

Она вся задрожала и подняла вверхъ свои огромные глаза, изъ которыхъ вдругъ брызнули слезы.

„Мама!“ простонала она еще разъ.

И ей вспомнилось вдругъ, такъ живо и ясно, какъ будто все это сейчасъ было,—ея первые годы, ея дѣтская жизнь въ другой, далекой деревнѣ, въ маленькомъ домикѣ среди большого стараго сада, гдѣ росли яблони, груши и вишни, гдѣ рядами стояли ульи и жужжали пчелы.

Она какъ живую увидѣла свою маму, такую полную, бѣлую, красивую, въ шелковомъ сарафанѣ съ позументами. Мама была добрая, ласкала маленькую Груню, кормила ее сладостями и пряниками, вкусными сахарными пѣтушками. Ее никогда не наказывали, ей позволяли жить какъ она хотѣла.

Она вспомнила какъ въ лѣтнюю пору рано, рано вставала со своей маленькой постельки и выбѣгала въ курятникъ. Это было ея любимое мѣсто и всѣ эти пѣтухи и куры были ея дорогими друзьями. Завидя ее издали съ веселымъ хлоптаньемъ они спѣшили къ ней, зная, что она несетъ имъ кормъ. Она кормила ихъ изъ своихъ рукъ, возилась съ ними по цѣлымъ часамъ, пока мать не приходила за нею и не звала ее пить чай. Тогда она бросала

куръ и бѣжала въ горницу. А въ горницѣ уже кипѣлъ самоваръ; на столѣ, покрытомъ чистой цвѣтной скатертью, стояли густыя сливки и вкусные врендели и баранки. А вечеромъ пригоняли коровъ и овецъ—опять было веселье и радость. Она вспомнила своего любимаго теленочка, такого смѣшного, пушистаго, съ мягкой и влажной мордочкой, которую она часто цѣловала.

И такъ шли день за днемъ...

Но вдругъ Груня съ ужасомъ, съ замираніемъ сердца вспомнила: Она была во дворѣ и играла съ курами, вдругъ изъ домика ихъ раздался крикъ, провзительный крикъ. Она узнала голосъ матери. Ничего не понимая, въ страхѣ она вскочила и побѣжала, ворвалась въ горницу и видитъ: мать на полу, на колѣняхъ, а передъ нею какая то барыня... Потомъ барыня ударила маму. Груня такъ испугалась, что будто окаменѣла и стояла нешевелиясь у двери, глядя во всѣ глаза. Барыня, съ краснымъ, злымъ лицомъ, что-то кричала и бранилась.

И вотъ Груня слышитъ, слышитъ какъ будто теперь, непонятныя слова мамы:

„Матушка барыня, да вѣдь неволею, развѣ я могла противиться, что же бы я подѣлала?.. руки на себя наложить хотѣла, такъ и то не дали, съ глазъ не спушали!..“

Такъ и звучатъ передъ Груней эти слова мамы, послѣднія слова, которыя она отъ нея слышала. Потомъ уже у нея путаются воспоминанія. Пришли какіе то люди, схватили ее, потащили въ большой

домъ. Она рвалась къ матери, плакала, но ее не пускали и прибили, чтобы она не шумѣла.

Такъ прошло нѣсколько дней. Потомъ вдругъ явилась старушка Анна, которую и прежде Груня знала, и повела ее въ ихъ домикъ. Груня такъ обрадовалась, вошла съ Анной въ горницу — и что же: въ горницѣ стоитъ гробъ и лежитъ въ немъ ея мама. Кинулась къ ней Груня, дрожала вся, ничего не понимала.

„Мама, да вставай же! да открой глазки!..“

Но мама не вставала, мама была холодная. И потомъ унесли маму...

Опять злая барыня съ краснымъ лицомъ... потому дорога, долгая дорога... Петербургъ... чужіе люди, злые, сердитые, а барыня всѣхъ злѣе и сердитѣе...

Потомъ перевезли ее къ княгинѣ. Ей было тяжело и тоскливо, она часто по ночамъ просыпалась и все думала о своей мамѣ... Но ей хотѣлось быть доброй, хотѣлось любить этихъ чужихъ людей и угождать имъ, и она имъ угождала, говорила съ ними ласково. Но ее не любили, отгоняли. Только бывало позовутъ къ княгинѣ, тамъ разные господа... смотреть на нее, иной разъ ктонибудь и по голове погладить. Говорятъ что-то, про нее говорить, но что — она понять не можетъ...

Нѣтъ, какъ ни хотѣла, а не могла она любить людей, потому что они ее не любили, потому что никто ни одного раза не вспомнилъ про ея маму, потому что отняли у нея и маму, и домикъ, и куръ, и коровъ, и овецъ, и любимого теленочка...

А барыня Катерина Михайловна! зачѣмъ же она

ласкала ее, радилась ей въ первое время? Зачѣмъ она ее теперь такъ измучила и велѣла другимъ мучить?

Груня была увѣрена, что Катерина Михайловна именно велѣла ее мучить и преслѣдовать.

„Погублю, погублю!“ опять прошептала она сверкнувъ глазами и, нахмутивъ брови, съ дикимъ и злымъ выраженіемъ въ лицѣ, стала что-то обдумывать.





XIX.

Добились.

Груня вернулась въ домъ только поздно вечеромъ. Маланья, старшая горничная Катерины Михайловны, которой бѣдная дѣвочка давно уже отдана была въ полное распоряженіе, сейчасъ же на нее накинулась.

Маланья эта была очень злая старая дѣва, лѣтъ пятидесяти, высокая, худая, съ правильными чертами лица, съ большими и холодными сѣрыми глазами. Она чванилась своей добродѣтельной жизнью, то есть тѣмъ, что никогда и никто ничего „этакаго“ не могъ сказать про нее, что она съ юности отличалась недоступностью и отгоняла отъ себя всѣхъ безъ исключенія ухаживателей. Она называла всѣхъ мужчинъ „мерзостью“ и чувствовала къ нимъ истинное отвращеніе—такова уже была ея природа.

Но если ничего „этакаго“ за нею и не водилось, за то водилось многое другое. Она ненавидѣла не

„изгнанникъ“.

однихъ мужчинъ, а и весь родъ человѣческій. И подвести кого нибудь подъ барскій гнѣвъ, выслѣдить чью нибудь провинность, оклеветать кого нибудь, однимъ словомъ, нанести зло ближнему—было ей высшимъ наслажденіемъ.

Хитрая и ловкая, она всегда добивалась того, что господа были ею довольны.

Она съ дѣтства была взята въ барскія хоромы, прислуживала еще у покойной Татьяны Владиміровны Горбатовой, затѣмъ перешла къ Катеринѣ Михайловнѣ.

По отѣздѣ барыни за границу, Маланья осталась въ петербургскомъ домѣ безъ всякихъ обязанностей, потомъ выпросила у Владиміра Сергѣевича разрѣшеніе, конечно за извѣстный годовой оброкъ, служить на сторонѣ. Перебывала она во многихъ петербургскихъ богатыхъ домахъ, скопила, какъ говорили, порядочную сумму денегъ, просилась на волю; но ее почему то не отпустили, несмотря на большой предлагаемый ею выкупъ.

Теперь, по возвращеніи изъ-за границы, Катерина Михайловна вдругъ ее вспомнила и потребовала. Маланья не смѣла ослушаться, вернулась. Она рассыпалась мелкимъ бѣсомъ передъ Катериной Михайловной, цѣловала ей руки, увѣряла, что для нея „небесное блаженство“ служить матушкѣ-барынѣ. Но въ то же время конечно всей душой она возненавидѣла эту матушку-барыню за то, что та лишила ее заработка и снова, на старости лѣтъ, заставляла служить даромъ.

„Ужь насолю же я, насолю!“ шептала про себя Маланья.

Она втерлась въ милость къ Катеринѣ Михайловнѣ, скоро изучила всѣ ея привычки, всѣ ея капризы, знала наизусть гдѣ и что у нея хранится, и еслибы Катерина Михайловна сама также хорошо знала счетъ всѣмъ своимъ вещамъ, то давно могла бы уже убѣдиться, что у нея время отъ времени пропадаетъ то то, то другое, и даже деньги. Но Маланья не попадалась, она отлично знала что и когда можно стянуть...

Прислугѣ отъ нея просто житья не было. А мучить бѣдную Груню сдѣлалось для нея потребностью...

— А, таки явилась! крикнула она, когда дѣвочка, дико озираясь, прокралась въ дѣвичью. — Гдѣ шлялась? Гдѣ пропадала?!

Груня задрожала и хотѣла было выскользнуть изъ дѣвичьей; но Маланья ее схватила за руку и стала трясти, повторяя:

— Да говори же, негодница, гдѣ шлялась?

— Нигдѣ, наконецъ отвѣтила Груня, — въ лѣсу заснула...

— Въ лѣсу! Кто же тебѣ позволилъ въ лѣсъ бѣгать, ты работать должна!

Но вдругъ она какъ будто усмирилась и болѣе спокойнымъ голосомъ спросила:

— Что же, ты такъ цѣлый день и неѣвши?

— Да, проговорила Груня.

— Голодна, чай?

— Голодна...

— Ну такъ вотъ... пойдемъ!

Она потащила Груню изъ дѣвичьей черезъ длинный коридоръ и, прежде чѣмъ бѣдная дѣвочка мо-

гла придти въ себя и очнуться, толкнула ее въ совсѣмъ темный чуланъ и заперла за нею дверь на ключъ.

Это былъ маленькій грязный чуланъ, въ который истопники складывали дрова и уголь, гдѣ никогда не мели и никогда не провѣтривали. Теперь дровъ въ немъ не было, но зато было столько пыли, что при движеніи воздуха, произведенномъ быстро растворенной и захлопнутой дверью, Груня въ первую же минуту стала чихать. Она стояла долго неподвижно въ вромѣшной темнотѣ, окружавшей ее, среди этой поднявшейся пыли, проникавшей ей и въ носъ, и въ глаза. Потомъ она ощупью нашла дверную ручку, попробовала, стала трясти дверь изо всѣхъ силъ, но дверь, конечно, не подавалась.

Она упала на грязный полъ и осталась неподвижной. Маланья нѣсколько разъ проходила мимо этого чулана, останавливалась и даже прислушивалась; но ничего не могла слышать.

— Дрыхнетъ! рѣшила злая старуха.

Но Груня не „дрыхла“, она не заснула ни на минуту всю ночь и ни одна слеза не выкатилась изъ глазъ ея. Рѣшимость, бывшая до сихъ поръ только еще въ ея озлобленномъ и измученномъ сердцѣ, перешла теперь въ сознаніе. За эту ночь Груня обдумала планъ дѣйствій.

Когда утромъ ее выпустили изъ чулана, она была похожа на мертвеца — нѣ кровинки не было въ лицѣ ея, глаза казались стеклянными. Она упорно молчала и ходила какъ будто во снѣ. Едва проглотила кусокъ хлѣба, едва омочила губы въ ковшѣ съ водою.

Ее усадили за работу. Она примостилась къ открытому окну и стала прилежно шить, только время от времени выглядывая въ окошко. Она все поджидала—не пройдетъ ли Володя, и вотъ онъ, дѣйствительно, показался. Онъ подбѣжалъ къ окну, заглянулъ. Въ дѣвичьей было много народу, онъ не хотѣлъ говорить съ Груней при постороннихъ и только объяснилъ ей:

— Уѣзжаю до завтра!

И быстрымъ шопотомъ добавилъ:

— Скажу все дѣдушкѣ... онъ добрый...

А затѣмъ прыгнулъ съ низенькаго каменнаго фундамента подъ окошкомъ и убѣжалъ.

Щеки Груни вспыхнули. Она уже слышала въ дѣвичьей, что Володя съ Гришей и съ французомъ должны ѣхать въ Горбатовское, что они тамъ будутъ ночевать и на зарѣ удить рыбу въ горбатовскомъ озерѣ. Это было рѣшено еще нѣсколько дней тому назадъ; но она не знала навѣрно, состоится ли поѣздка на сегодня и все утро только и думала объ этомъ.

„Такъ это вѣрно, они уѣзжаютъ нынче, онъ самъ сказалъ!..“ Глаза ея вспыхнули, она еще прилежнѣе принялась за работу и даже не отрывалась отъ нея чтобы глядѣть въ окно. Однако она все же чутко прислушивалась и слѣдила за тѣмъ, что происходило въ домѣ.

Вотъ господа позавтракали и приказано закладывать лошадей. Скоро изъ сарая во дворъ къ барскому подъѣзду выѣхала коляска, потомъ другая и наконецъ запряженная четверкой длинная, крытая линейка. Вывели двухъ осѣдланыхъ лошадей. От-

сюда, изъ окна дѣвичьей, все видно. Господа стали выходить на крыльцо.

Теперь Груня дѣлала только видъ, что работаетъ, а сама изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ своихъ то и дѣло поглядывала по направленію къ господскому крыльцу. Она видѣла какъ Катерина Михайловна усѣлась въ коляску съ Наташей, въ другую помѣстилась Мари съ англичанкой и Соней. Всѣ дѣти, Лили и французъ заняли по обѣ стороны линейку. Николай и Сергѣй уже были въ это время верхами и скоро вся эта процессія тронулась и выѣхала въ ворота.

Минуть съ пять въ домѣ царило глубокое молчаніе, а затѣмъ, будто по данному сигналу, всѣ оставшіеся люди, несмотря на свою многочисленность если и видные при господахъ, то почти неслышные, теперь вдругъ шумно заявили о своемъ существованіи. Большая дѣвичья мгновенно преобразилась: ее наполнили молодые лакеи, конюхи, поварята. Раздались звуки гармоники, начался веселый смѣхъ, визгъ. Затѣмъ часть веселаго общества осталась въ дѣвичьей, а другая направилась въ садъ, къ качелямъ и уже оттуда теперь доносились смѣхъ и визги.

— Ну, началось бѣсовское торжество! пробурчала Маланья. Вотъ господа какъ вернутся съ дороги, да накроютъ васъ, то-то будетъ потѣха!

— Небось, не вернутся, матушка Маланья Егоровна, отвѣтили ей, — а когда же и повеселиться, если не на свободѣ?! Вѣдь такихъ праздничковъ не много бываетъ, въ кои то вѣки такой денекъ выдастся!..

— Ужъ вы не серчайте, голубушка Маланья Егоровна, ластились къ ней дѣвушки.

— Эхъ, да что мнѣ, плевать мнѣ на васъ, да на ваше веселье поганое! объявила Маланья, дѣйствительно плюнула и ушла изъ дѣвичьей.

— Провалилось воронье пугало! напутствовали ее, но конечно только тогда, когда она не могла уже слышать. — Вѣдь вотъ женщина — уйдетъ такъ ровно камень съ плечъ свалится!.. И какъ это; прости Господи, такихъ викиморъ земля носить?!

Теперь каждый и каждая были заняты своимъ дѣломъ, то есть своимъ весельемъ, на Груню никто не обращалъ вниманія. Она сложила свою работу и выбралась изъ дѣвичьей.

Но она не побѣжала въ садъ, она прокралась сначала въ свою коморку, гдѣ была устроена ея бѣдная постель. Каждое ея движеніе теперь показывало не то страхъ, не то большую осторожность. Она внимательно оглядѣлась, прислушалась, притворила дверь и нѣсколько времени все копошилась въ коморкѣ. Затѣмъ вышла, что то пряча за пазухой, и стала красться по направленію къ комнатамъ Катерины Михайловны.

Подобравшись къ первой двери, она прислушалась, тихонько повернула дверную ручку, потянула дверь къ себѣ. Дверь тихо скрипнула и пріотворилась.

— Кто тутъ? раздался изъ комнатъ сердитый голосъ Маланьи.

Груня такъ и замерла на мѣстѣ. Потомъ отскочила отъ двери и притаилась въ темномъ углу коридора, за разными юбками и платьями, развѣшан-

ными на крючкахъ и прикрытыми ситцевой занавѣской, доходившей до полу. Она не шевелилась и сдерживала дыханіе.

Маланья вышла въ коридоръ, еще разъ повторила:
— Кто тутъ?

Но такъ какъ и на этотъ разъ никто ей не отозвался, она оглядѣлась направо и налево, а затѣмъ снова вернулась въ комнаты.

Груня ждала. Она не знала сколько прошло времени, только ей казалось, что очень много. Наконецъ, Маланья вышла изъ комнатъ, прошла мимо и отперла маленькую дверь въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Груни. Это была ея собственная, Маланьина комната. Она помѣщалась здѣсь, невдалекѣ отъ покоевъ Екатерины Михайловны, чтобы быть ближе къ госпожѣ, изъ спальни которой была проведена къ ней сонетка.

Груня все не шевелилась. Прошло еще не мало времени — и вотъ Маланья вышла опять въ коридоръ. Скоро ея шаги замерли въ отдаленіи. Груня пождала, робко выглянула изъ-за занавѣсокъ и, неслышно ступая по разостланному черезъ весь коридоръ половику, направилась къ комнатамъ Екатерины Михайловны.

Но какъ ни осторожно, какъ ни легко ступала она, а все же время отъ времени старый, разохшійся полъ скрипѣлъ подъ ея ногами. И она останавливалась, выдрагивала всѣмъ тѣломъ, снова прислушивалась и съ каждымъ разомъ старалась ступать осторожнѣе. Наконецъ, она у двери. Она отворила ее теперь сразу, такъ что та не успѣла и скрипнуть.

Вотъ она и въ комнатахъ старой барыни. Она пробѣжала въ спальню и на минуту остановилась. Ей была хорошо знакома эта комната, которую она не разъ убирала и гдѣ, въ злополучный часъ, разбилъ фарфоровую статуэтку. Вотъ широкая, старинная кровать подъ штофнымъ выцвѣтшимъ балдахиномъ. Груня легла на полъ у кровати, заглянула подъ нее, потомъ проползла. Она пуще всего боялась, что ножки кровати слишкомъ коротки, а что она слишкомъ велика и не будетъ въ состояніи пролѣзти; но теперь убѣдилась, что это легко.

Она вынула у себя изъ-за пазухи маленькій узелокъ, оставила его подъ кроватью, а сама тотчасъ же выползла. Потомъ выбѣжала въ коридоръ, изъ коридора въ людскую столовую, гдѣ въ это время собирались обѣдать.

Теперь она была очень возбуждена, краска выступила на ея щекахъ. При видѣ ѣды она почувствовала сильный голодъ и съ жадностью стала обѣдать. Она даже, что съ ней рѣдко бывало, приняла участіе въ общемъ разговорѣ, даже смѣялась, сама впрочемъ не сознавая почему смѣется, просто смѣялась вслѣдъ за другими, когда кругомъ нея раздавался смѣхъ на забористыя шутки и остроты молодого конюха Максима, всеобщаго потѣшника.





XX.

Спичка загорѣлась.

Погода уже давно стояла сухая и жаркая. Но несмотря на полуденный зной, часть переѣзда изъ Знаменскаго въ Горбатовское никому не показался утомительнымъ, такъ какъ въ старомъ лѣсу, черезъ который шла дорога, было хорошо и прохладно.

Сергѣй и Николай, сначала ѣхавшіе мелкой рысцей съ экипажами, наконецъ убѣдились, что только обдають всѣхъ пылью, да и сами ее глотаютъ, а потому пропустили экипажи впередъ, а сами, взявъ просѣлкой, поѣхали шагомъ, по временамъ перекидываясь другъ съ другомъ односложными замѣчаніями.

Въ линейкѣ раздавался дѣтскій смѣхъ, въ коляскѣ, гдѣ сидѣла Мари съ англичанкой и Соней, царствовала тишина, такъ какъ Мари дремала, англичанка жевала губами и размышляла о чемъ то, а

Соня сидѣла надувшись. Она просилась въ линейку, но ее почему то не пустили и заставили ѣхать въ самой скучной компаніи.

Катерина Михайловна почти всю дорогу мучила Наташу, допытывалась, что съ нею такое, отчего она вотъ уже второй день такая блѣдная и на себя непохожа.

Наташа отвѣчала, что сама не знаетъ, быть можетъ это просто маленькое нездоровье, простуда, или нервы можетъ быть немного разстроились, и что вообще это пустяки и не стоитъ совсѣмъ обращать вниманія.

Но Катерина Михайловна не унималась. Она все предлагала Наташѣ попробовать какія то особенныя средства, которыя ей очень помогли заграницей. И несмотря на то, что Наташа наконецъ прямо сказала ей что готова, если ей это доставляетъ удовольствіе, принять все что угодно. она все же продолжала убѣждать ее и на всѣ лады повторять тотъ же самый рассказъ. Ей просто хотѣлось говорить, а говорить было не о чемъ — и вотъ она заладила одно и то же.

Наконецъ, Наташа не выдержала, она и такъ еле владѣла собою. Чтобы отвязаться отъ этой несносной болтовни, она закрыла глаза и притворилась, что дремлетъ.

Катерина Михайловна стала теребить ее за рукавъ.

— Наташа, да очнись же, mon ange, нашла время спать!.. ты слышишь, что я говорю?

Наташа дѣлала видъ, что не слышитъ.

Катерина Михайловна передернула плечами, съ досадой наконецъ отвернулась, сочла себя обиженной и наконецъ замолчала...

Горбатовское встрѣтило гостей во всемъ своемъ великолѣпіи. Всѣ работы теперь были кончены, домъ сіялъ чистотою. Цвѣтники разливали благоуханіе. Казалось, что прежнее время вернулось.

Борисъ Сергѣевичъ имѣлъ самый оживленный видъ. Онъ радостно привѣтствовалъ пріѣзжихъ; но тотчасъ же замѣтилъ утомленный, страдающій видъ Наташи и съ тревогой въ голосъ спросилъ ее, что это значить.

— Дядя, милый, отвѣтила она печально ему улыбувшись,—да хоть вы то не спрашивайте! Ну, нездоровится... слабость .. ну и пройдетъ... особенно здѣсь, у васъ такъ хорошо, даже воздухъ какъ будто какой то особенный!..

Катерина Михайловна была тутъ какъ тутъ.

— Вотъ видишь, всѣ замѣчаютъ, что ты нездорова, сказала она и затѣмъ обратилась къ Борису Сергѣевичу.—Хоть ты уговори ее заняться собой какъ слѣдуетъ и полечиться... Я уже давно замѣчаю, что она поблѣднѣла и похудѣла. Предлагаю вотъ ей отличныя средства, которыя мнѣ очень, очень помогли...

— Да отъ чего помогли, татам?! улыбувшись проговорила Наташа,—вамъ эти средства могли помочь, а мнѣ отъ нихъ пожалуй только хуже станетъ.

Борисъ Сергѣевичъ на минуту задумался, а затѣмъ обратился къ Наташѣ:

— Позволь мнѣ тебя полечить. Я тебѣ дамъ такое средство, отъ котораго во всякомъ случаѣ не станетъ хуже. Ты, говоришь, чувствуешь слабость, утомленіе—вѣдь да?

— Да.

— Вѣришь, что я не отравлю тебя? согласна принять мои средства?

— Если это доставляетъ вамъ удовольствіе, согласилась Наташа, пожимая плечами.

„И онъ тоже! подумала она, — Господи, тоска какая!..“

Онъ взялъ ее подъ руку и повелъ. Они прошли въ его большой кабинетъ. Затѣмъ онъ вынулъ изъ кармана ключи, отперъ незамѣтную, скрытую между книжными шкафами дверцу и предложилъ Наташѣ войти. Она не знала о существованіи этой дверцы, съ изумленіемъ прошла въ нее и очутилась въ небольшой комнатѣ, наполненной сильнымъ прянымъ запахомъ.

По стѣнамъ, почти до самого потолка, шли открытые шкафы, полки которыхъ были уставлены большими стѣлянками, наполненными различными кореньями и зернами самыхъ причудливыхъ формъ. Между этими стѣлянками были развѣшаны пучки всякихъ душистыхъ травъ. На большомъ столѣ, занимавшемъ средину комнаты, стояло нѣсколько ступовъ и лежали толстыя книги.

— Что же все это значитъ? съ изумленіемъ спросила Наташа.

Борисъ Сергѣевичъ улыбнулся.

— А это моя аптека, сказалъ онъ, — вѣдь я не даромъ всю жизнь прожилъ въ Азіи, мой другъ. Я познакомился съ тибетской наукой и въ нѣкоторомъ родѣ сталъ азіатскимъ медикомъ. Къ несчастью, слишкомъ поздно! прибавилъ онъ вздохнувъ. — Но все же вотъ эти травы нѣсколько лѣтъ поддерживали угасавшую жизнь моей бѣдной жены и имъ я обязанъ, что еще бодръ и свѣжъ несмотря на свои годы! Эти травы на моихъ глазахъ производили такія излеченія, которыя вашимъ докторамъ и во снѣ не снились. Я долго и много работалъ, не легко было. Вотъ посмотри...

Онъ развернулъ передъ Наташей странныя книги, наполненные непонятными для нея каракулями.

— Это все лечебники... я изучилъ нѣсколько азіатскихъ языковъ...

— Боже мой, какъ все это интересно! оживленно проговорила Наташа.

— Да, конечно интересно, а чтобы заинтересовать тебя еще больше, я и попрошу тебя попробовать моего лекарства — увидишь какое оно произведетъ дѣйствіе.

— Дядя, у васъ и отъ тоски есть лекарство? прошептала она.

Онъ пристально взглянулъ на нее.

— Отъ тоски лекарства нѣтъ, но душа и тѣло тѣсно связаны между собою и помогая тѣлу можно все же косвенно облегчить и душу, хоть временно, хоть на минуту. Иной разъ и за это можно сказать спасибо...

— Да, конечно! согласилась она.

А онъ въ это время уже снялъ съ полки три стелѣнки, наполненныя порошками, взялъ изъ каждой маленькую щепотку, всыпалъ ихъ въ рюмку съ водою, размѣшалъ хорошенько и предложилъ Наташѣ ихъ выпить.

Она понюхала—пахнетъ недурно.

— Проглоти сразу, а потомъ еще запей водой.

Она исполнила.

— Немного какъ будто жжетъ въ горлѣ, сказала она.

— Ничего, это сейчасъ пройдетъ. Ну, теперь пойдемъ и если ты не почувствуешь себя лучше, то можешь сколько угодно смѣяться надъ моей аптекой и надъ моей азіатской медициной.

Не болѣе какъ черезъ часъ Наташа съ изумленіемъ замѣтила, что чувствуетъ себя совсѣмъ иначе. Въ ней явилась бодрость, силы, пріятная теплота пробѣгала по ея членамъ и даже мучительная тоска, недававшая ей покоя, какъ будто забылась. Она стала оживленнѣе, говорила и смѣялась и безъ страха глядѣла на Николая.

Передъ обѣдомъ она сказала Борису Сергѣевичу:

— Вы чудодѣй, дядя, вѣдь и правда, я чувствую себя гораздо лучше.

— Вотъ видишь!

Всѣ заинтересовались азіатской аптекой, а пуще всѣхъ Николай.

Борисъ Сергѣевичъ долженъ былъ всѣмъ показать свою таинственную комнату и рассказалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ случаевъ исцѣленія, которыхъ онъ былъ очевидцемъ.

— Да какъ же вы до сихъ поръ намъ ничего объ этомъ не говорили?

— Не пришлось. Да и теперь я вовсе недоволенъ собою, что рассказываю. Чтѣ можетъ быть хуже положенія человѣка, вернушагося изъ-за тридцати земель и рассказывающаго необыкновенныя исторіи!.. Говоришь, а самъ такъ вотъ и чувствуешь, что тебя непременно за лгуна считаютъ... Впрочемъ, считайте, друзья мои, меня за кого угодно, а вотъ я далъ Наташѣ лекарство и ей стало лучше — пока только это и было нужно...

— Нѣтъ, это такъ интересно, сказалъ Николай, — что я теперь отъ васъ не отстану, дядя, и ужъ какъ тамъ хотите, а я стану забираться въ вашу азіатскую комнату. Возьмите меня въ ученики.

— Что-жъ, если хватитъ терпѣнья — пожалуй.

— О, у него то терпѣнья хватитъ, замѣтилъ Сергѣй, — а вотъ какъ вы вдвоемъ станете тутъ народъ лечить, такъ васъ за колдуновъ сочтутъ и все это кончится, пожалуй, большимъ переполохомъ, въ особенности по теперешнимъ временамъ. Наши мужички насчетъ всякаго колдовства охъ какъ строги!..

Часовъ около десяти вечера гости уѣхали, оставивъ въ Горбатовскомъ двухъ мальчиковъ и француза.

До самаго солнечнаго заката веселилась и ликовала знаменская дворня. Только Груня опять пропала. Улучивъ удобную минуту, она снова прокрадлась въ спальню Катерины Михайловны, залѣзла подъ кровать и тамъ притаилась. Болѣе трехъ ча-

совъ пролежала она нешелохнувшись, прислушиваясь къ звуку маятника, считая минуты.

Наконецъ до ея слуха стали доноситься голоса, въ домѣ поднялось новое движеніе. Господа вернулись.

Хлопнула дверь, вошла Катерина Михайловна. У Груни шибко застучало сердце, такъ шибко, что она даже почти испугалась—а ну какъ будетъ слышно это біеніе? а ну какъ оно ее выдастъ?..

Къ тому же она стала страшно бояться чихнуть, тѣмъ болѣе что подъ кроватью было пыльно. И какъ нарочно, только что она подумала про чиханье, какъ ей и захотѣлось чихнуть; но она все же удержалась.

Она напрягала всю свою волю и всѣ свои силы, чтобы не подать признака своего существованія. Лицо ея горѣло, въ виски стучало, руки и ноги холодѣли. Но какая то дикая радость наполняла ее теперь. Она уже ни о чемъ не думала, она только слушала.

Вотъ Маланья раздѣваетъ Катерину Михайловну, причесываетъ ей на ночь голову.

А маятникъ отбиваетъ секунды и кажутся эти секунды безконечными Грунѣ. Время идетъ такъ медленно, едва движется, кажется—конца не будетъ этому ожиданію.

Наконецъ Катерина Михайловна отослала Маланью, нѣсколько разъ прошла по комнатѣ, потомъ присѣла въ кресло передъ большимъ туалетнымъ зеркаломъ. Груня осторожно выглянула изъ-подъ кровати. И еслибы Катерина Михайловна могла уви-

дать ей взглядъ, то навѣрно бы испугалась, такая выражалась въ немъ дикая, почти нечеловѣческая ненависть. Да и точно, не человѣческое существо, а звѣрь, загнанный, измученный и наконецъ доведенный до остервенѣнія, до послѣднихъ предѣловъ безумной злобы, скрывался теперь подъ кроватью.

Катерина Михайловна поднялась съ кресла, потушила свѣчи. Комната освѣщается теперь только лампадой. Груня слышитъ какъ старуха ворочается на кровати. А секунды тянутся. Маятникъ ходитъ то въ одну, то въ другую сторону, тихо такъ, и вмѣстѣ съ нимъ, обгоняя его, бьется, бьется и замираетъ сердце Груни. Она уже вся ооченѣла, застыла, холодные пальцы ея не сгибаются.

„Да заснешь ли ты, заснешь ли ты?!“ тоскливо, беззвучно шепчетъ она и чутко прислушивается.

Долго, долго ворочалась то на одинъ бокъ, то на другой старуха. Наконецъ неслышно уже никакого движенія, вотъ все совсѣмъ тихо въ комнатѣ. И вдругъ, среди этой тишины раздается храпъ.

„Заснула? думаетъ Груня,—или только дремлетъ?.. нужно ждать...“

И она все ждетъ. Храпъ прекратился, дыханіе спящей теперь такое мѣрное и спокойное.

Еще нѣсколько минутъ—и, среди тишины спальни, подъ кроватью чиркнула спичка. Груня осторожно выползла, поднялась на ноги, взглянула на спящую торжествующимъ, злобнымъ взглядомъ: провралась въ сосѣдную комнату, затѣмъ отперла дверь уже не заботясь о томъ скрипнетъ она или нѣтъ. Шатаясь побрела она по темному коридору.

Но вдругъ у нея все помутилось передъ глазами, ей показалось, что подъ ногами очутился провалъ, что она быстро, быстро летитъ въ бездонную, черную пропасть.

Она слабо вскрикнула, упала на полъ безъ чувствъ, и осталась неподвижной.





XXI.

У дѣдушки.

Мальчики были внѣ себя отъ восторга, что почувствуютъ въ Горбатовскомъ у дѣдушки.

По отъѣздѣ старшихъ они съ Рибо отправились въ назначенную для нихъ комнату, гдѣ застали Степана, который показалъ имъ отличныя удочки и всѣ приспособленія для завтрашняго ужения рыбы. Онъ сказалъ имъ, что отправится съ ними самъ и покажетъ лучшія мѣста.

Но какъ ни интересовали Володю и удочки и Степанъ, котораго онъ очень полюбилъ за его интересные рассказы про Сибирь, онъ сказалъ Рибо, что ему нужно еще увидѣть дѣдушку передъ спаньемъ и побѣжалъ въ дѣдушкинъ кабинетъ, гдѣ надѣялся его застать.

Дорогой онъ побранилъ себя за то, что чуть было не забылъ, среди оживленія и веселости этого дня,

обѣщанья, даннаго имъ Грунѣ. Конечно онъ могъ бы и завтра поговорить съ дѣдушкой, но теперь, разъ онъ вспомнилъ, ему хотѣлось какъ можно скорѣе узнать, что скажетъ дѣдушка, захочетъ ли онъ помочь Грунѣ.

Онъ засталъ Бориса Сергѣевича въ кабинетѣ. При входѣ его, тотъ пошелъ къ нему на встрѣчу и ласково положилъ руку ему на голову.

— Что ты, Володя, мы вѣдь уже простились... или забылъ здѣсь у меня что нибудь?

Володя покраснѣлъ, немного смутился, но тотчасъ же оправился.

— Нѣтъ, дѣдушка, я ничего не забылъ здѣсь, а только очень мнѣ нужно поговорить съ вами... я вамъ не мѣшаю?

Онъ заглянулъ ему въ глаза.

— Поговорить? о чемъ же это, дружокъ?! сказалъ изумленно Борисъ Сергѣевичъ. — Ну, пойдѣ сюда, садись, говори—въ чемъ дѣло?

Володя, сначала запинаясь, но затѣмъ разгораясь все болѣе и болѣе, разсказалъ дѣдушкѣ все, что зналъ про Груню, а зналъ онъ про нее столько же, сколько и она сама знала, потому что зналъ по ея разсказамъ.

Борисъ Сергѣевичъ слушалъ внимательно, съ большимъ интересомъ. Его заняла и таинственная исторія Груни, которую онъ хорошо понималъ несмотря на наивность разсказа ребенка. Ему нравилась горячность Володи и доброта его сердца. А главное—невольнo вспоминалось ему его собственное дѣтство, нашествіе французовъ, пожаръ Москвы и его включенія среди разграбленнаго, сожженнаго города,

встрѣча съ маленькой дѣвочкой, которую онъ спасъ и которая впослѣдствіи, черезъ многіе годы, стала его женою. Онъ будто видѣлъ повтореніе себя въ этомъ маленькомъ рассказчикѣ, и глядѣлъ на него съ большой любовью и нѣжностью. Наконецъ его захватило за живое положеніе бѣдной дѣвочки, несправедливость и жестокость Катерины Михайловны.

„Боже мой, думалъ онъ, — какой примѣръ она по-
даетъ дѣтлмъ!..“

Но въ тоже время ему стало неловко и тяжело слышать это обвиненіе бабушки въ устахъ маленькаго внука.

— А ты развѣ не просилъ за нее бабушку? ска-
залъ онъ.

— Нѣтъ.

— Отчего же?!

Володя пожалъ плечами.

— Бабушка меня не любитъ, убѣжденно отвѣ-
тилъ онъ, — и еслибы я сталъ просить ее за Груню,
такъ ей стало бы еще хуже, а мнѣ не позволила бы
больше съ Груней видаться.

— А Наташѣ... мамѣ ты ничего не говорилъ?

— Я хотѣлъ ей сказать еще вчера вечеромъ, но
она весь вечеръ была больна, лежала... сегодня
утромъ тоже мнѣ никакъ не удалось. И потомъ... я
такъ уже и рѣшилъ, и даже Грунѣ сказалъ, что
самое лучшее рассказать все вамъ, дѣдушка!

— Почему же мнѣ?

— Да оттого что... оттого что васъ ужъ не-
премѣнно послушаютъ и вамъ повѣрятъ. Возьмите
Груню къ себѣ, ей будетъ здѣсь хорошо у васъ! Я

и Степана попрошу чтобы онъ не позволялъ никому обижать ее — онъ добрый...

— Хорошо, дружокъ, сказалъ подумавши Борисъ Сергѣевичъ, — будь спокоенъ, я сдѣлаю все что можно и думаю, что эта бѣдная дѣвочка не будетъ больше наказана понапрасну. Успокойся, я не забуду.

Володя кинулся на шею дѣдушкѣ и горячо поцѣловалъ его. А затѣмъ простился и побѣжалъ въ свою спальню.

Ему было теперь совсѣмъ хорошо и онъ спѣшилъ, боясь какъ бы не упустить Степана. Можетъ быть онъ тамъ уже что нибудь интересное рассказываетъ.

Онъ не ошибся. Степанъ рассказывалъ Гришѣ про медвѣжью охоту въ Сибири. Володя заставилъ начать сначала и такъ прошелъ еще часъ въ интересныхъ разсказахъ.

Наконецъ Степанъ остановился.

— А теперь, дѣточки, будетъ! сказалъ онъ, — сразу всего не перескажемъ — давно спать пора, не то васъ и не добудисься... А рыбку удить надо пораньше, на самой зарѣ, а солнышко нынче рано, рано восходитъ... Много ли спать то осталось!.. Я старый человекъ — мнѣ что, поспать часика три — и будетъ... а вашъ дѣтскій сонъ другой, вашъ сонъ вамъ росту да силушки придавать долженъ, такъ спать нужно побольше... Христосъ съ вами, дѣточки!..

Онъ перекрестилъ ихъ, поцѣловалъ, особенно нѣжно взглянулъ на Володю и вышелъ.

Мальчики раздѣлись, улеглись. Но Володя никакъ не могъ заснуть. Наконецъ задремалъ. Тогда стали

ему сниться такіе яркіе сны, и всего было понемногу въ этихъ снахъ, и все въ нихъ было перепутано—и Груня, и Горбатовское, и Сибирь, и медвѣжья охота, и завтрашняя рыбная ловля...

Вотъ ему снится будто онъ съ большимъ, большимъ ружьемъ идетъ около горбатовскаго озера и вдругъ изъ-за куста ему навстрѣчу медвѣдь. Онъ не испугался. Онъ прицѣлился изъ своего ружья—выстрѣлилъ и видитъ что у него въ рукахъ не ружье, а удочка. А медвѣдь идетъ прямо на него. Онъ хочетъ бѣжать, но не можетъ—ноги не слушаются, будто приросли къ мѣсту... А медвѣдь идетъ и рычитъ. Вотъ онъ уже около него... хватилъ его лапой... повалилъ... налѣгъ на него и душилъ...

Володя вскрикнулъ и проснулся.

„Что это? Никакъ пора, никакъ уже свѣтаетъ? Пожалуй уже опоздали?“

Вся комната освѣщена блѣднымъ, красноватымъ свѣтомъ. Они нарочно не спустили занавѣсокъ на окнахъ. И видитъ Володя изъ окна—небо красное.

Но солнце не такъ восходитъ! Что же это такое? Что то странное!

Володя вскочилъ, подбѣжалъ къ окну.

„Да, небо красное, а на дворѣ еще совсѣмъ темно—ночь. И солнце восходитъ съ другой стороны... Это зарево!.. Это пожаръ!... но гдѣ же горить?“

— Мг. Рибо! крикнулъ Володя и сталъ будить француза, а потомъ Гришу.

Тѣ долго не могли понять въ чемъ дѣло. Наконецъ стали одѣваться. Володя былъ уже готовъ. Онъ

выбѣжалъ изъ комнаты—въ домѣ все тихо. Но вотъ издали раздаются чьи-то шаги. Онъ винулся на эти шаги, они направлялись къ спальнѣ Бориса Сергѣевича.

И онъ побѣжалъ туда же.

Въ это время Степанъ будилъ барина.

— Вставайте, сударь! Дѣлать нечего, не хотѣлъ было васъ тревожить, да думаю—какъ бы неладно что не вышло...

— Что такое? испуганно спрашивалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Горить, большущій пожаръ...

— Гдѣ горить?! Горбатовское?!

— Нѣтъ, Господь милостивъ. А надо такъ полагать— Знаменская усадьба. Я ужъ послалъ верхового на развѣдки.

Борисъ Сергѣевичъ мигомъ вскочилъ съ кровати.

— Эхъ, да что же ты, Степанъ! Давно горить?

— Да кто его знаетъ!! Самъ минутъ съ десять какъ замѣтилъ. Ставни-то закрыты—ну и не видно было сначала... Жарко горить! Коли усадьба—не дай Богъ, время то сухое, а домъ старый, престарый. Охъ, ужъ и говорилъ я—бѣда этотъ домъ—чистая гнилушка!..

— Такъ вели же ты скорѣй закладывать коляску, да бочки чтобы мигомъ...

— Все уже распоряджено, батюшка, извольте вотъ одѣваться.

Борисъ Сергѣевичъ мигомъ былъ готовъ.

Въ это время вбѣжалъ Володя.

— Гдѣ пожаръ? тревожно спрашивалъ онъ.

Ему не отвѣтили.

— Дѣдушка, я съ вами!

— Зачѣмъ, оставайся, выговорилъ. Борисъ Сергѣевичъ спѣшно выходитъ изъ спальни. — Степанъ, удержи его!

Но Володю удержать было трудно. Онъ выскочилъ вслѣдъ за дѣдушкой, пробрался на крыльцо. А тамъ уже столпился народъ. Онъ прислушался. „Знаменское“.

„Боже мой, горитъ Знаменское!!“

Въ это время къ крыльцу была подана коляска.

— Дѣдушка, я съ вами! Слышите — вѣдь это у насъ горитъ! у насъ!..

Степанъ схватилъ его за руку.

— Да куда ты, Володичка, голубчикъ, останься, ну чего поможешь... Можетъ быть и не Знаменское. Дѣдушка съѣздитъ, увидитъ—вернется...

Борисъ Сергѣевичъ уже садился въ коляску.

— Пошелъ скорѣе! крикнулъ онъ кучеру.

Володя рванулся изъ рукъ Степана и въ одно мгновеніе былъ въ коляскѣ возлѣ дѣдушки.

Коляска помчалась. И только теперь замѣтилъ Борисъ Сергѣевичъ, что Володя рядомъ съ нимъ.

— Стой! закричалъ онъ кучеру. — Слѣзай, Володя, слышишь, я тебѣ приказываю!

— Дѣдушка, дорогой, милый! молилъ Володя сквозь слезы, — возьмите меня, ради Бога, я не могу, не могу здѣсь остаться!.. все равно... я пѣшкомъ... я побѣгу за коляской... я не могу...

— Ну, Господь съ тобой, ѣдемъ!

Онъ попялъ Володю и сообразилъ, что дѣйствительно самое лучшее ему теперь не перечить.

Коляска мчалась. Въ лицо имъ неслась дупистая

ночная прохлада. Зарево все краснѣло. Когда они выѣхали изъ лѣса, имъ представилось ужасное зрѣлище — весь знаменскій домъ былъ въ пламени. Огромныя головни такъ и летали во всѣ стороны. Володя весь дрожалъ и то и дѣло кричалъ кучеру:

— Пошелъ... пошелъ... Господи, что же мы такъ тихо ѣдемъ!

Но коляска продолжала мчаться во весь духъ.

Вотъ уже слышенъ гулъ голосовъ, уже можно различать движеніе вокругъ пожарища. На встрѣчу мчится верховой.

— Поворачивай за коляской! кричитъ Борисъ Сергѣевичъ. — Ну, что тамъ? тревожно спрашиваетъ онъ.

— Жарко горитъ — ничего не подѣлаешь...

— Да живы ли всѣ?!

— Кажись — живы, слава Богу, ничего такого неслышно...

И у Бориса Сергѣевича и у Володи немного отлегло отъ сердца.

„Живы! Нѣтъ, онъ сказалъ: кажись живы... а вдругъ?! Господи — когда же они наконецъ придутъ!?!“

Доѣхали. Они высочили изъ коляски, и старикъ и мальчикъ побѣжали рядомъ...

Но куда бѣжать?! Гдѣ всѣ?!

Народъ галдѣлъ, бѣгала прислуга съ обезумѣвшими отъ ужаса лицами. И ни отъ кого нельзя было добиться гдѣ господи. Борисъ Сергѣевичъ, а за нимъ Володя, стали бѣгать вокругъ дома. Раз-

давался оглушительный трескъ, валились балки, цѣлыми снопами сыпались искры...

— Папа! вотъ онъ, вотъ!

Борисъ Сергѣевичъ остановился и увидалъ Сергѣя, который что то кричалъ, распоряжался. Они пробрались къ нему.

— Папочка! папа! кричалъ Володя.

— Ты какъ здѣсь? Зачѣмъ?! Ахъ, дядя, это вы?! Вотъ несчастье то! и ничего не сдѣлаешь... хоть бы отстоять только амбары... весь домъ пропалъ!..

— Сейчасъ будутъ мои бочки и люди, сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.— Да гдѣ же всѣ?

— Ахъ, тамъ, тамъ въ саду, въ павильонѣ! Ради Бога сведите его туда... онъ указалъ на Володю.— Тамъ папа... не знаю что съ нею... началось у ней въ спальнѣ... Мы чуть не задохлись...

— А гдѣ же Николай? спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Онъ вѣрно тамъ, съ той стороны...

Борисъ Сергѣевичъ убѣдился, что дѣлать ему здѣсь нечего. Онъ взялъ за руку Володю и поспѣшилъ въ садъ, къ павильону.

Въ это время заря уже занялась, съ каждой минутой становилось свѣтлѣе и свѣтлѣе. Они побѣжали по знакомымъ дорожкамъ... и вотъ уже у большого павильона. Они замѣтили множество наваленныхъ узловъ, замѣтили нѣсколькихъ реющихъ благимъ матомъ горничныхъ. Они вбѣжали въ павильонъ.

Большая круглая зала, гдѣ въ прежнія времена давались иногда лѣтомъ балы, была въ страшномъ беспорядкѣ. Тутъ собралось все семейство. На ди-

ванѣ лежала Катерина Михайловна и стонала. Рядомъ съ нею сидѣла Наташа. Потомъ Мари, дѣти, обѣ гувернантки. Дѣти плакали. Всѣ очевидно совсѣмъ потеряли голову. Одна только Наташа болѣе всѣхъ сохранила присутствіе духа.

Она объяснила Борису Сергѣевичу, что Катерина Михайловна почти чудомъ спаслась отъ вѣрной смерти, такъ какъ проснулась она минутой позже — и все было бы кончено.

— Да какъ же, какъ же загорѣлось?! спрашивалъ Борисъ Сергѣевичъ.

Катерина Михайловна открыла глаза.

— Ахъ, это ты, Борисъ... вотъ... вотъ... Она хотѣла сказать что то, но истерически зарыдала.

— Все пропало, все!.. безумнымъ голосомъ прошептала она.

— Матап, милая, успокойтесь! проговорила Наташа. Что пропало?! Ничего не пропало... вы только очень испугались...

И она давала нюхать ей спиртъ, примачивала ей голову.

Въ это время дверь залы отворилась, показалась мужская фигура спиной.

„Что это? несутъ кого то?!" мелькнуло въ головѣ Бориса Сергѣевича.

Всѣ взгляды устремились къ двери.

„Что это? что?!"

— Куда бы положить то лучше? раздался мужской голосъ. — Баринъ оступился, упалъ, да головой видно стукнулся... безъ памяти...

Никто еще не успѣлъ помевельнуться. Но Наташа уже кинулась впередъ.

— Николай! безумно крикнула она.

Поднялась и Мари. Подбѣжалъ Борисъ Сергѣевичъ. Дрожащими руками освободилъ онъ отъ узловъ и пододвинулъ диванъ. Николая положили—онъ не шевелился.

Наташа и Мари такъ и прильнули къ нему.

— Господи, да что же съ нимъ?! говорили онѣ обѣ вмѣстѣ.

И руки ихъ встрѣчались, встрѣчались ихъ головы, и обѣ онѣ старались прислушаться къ его дыханію...

— Господи, живъ ли?!!

Прошло нѣсколько невыносимыхъ, мучительныхъ секундъ. Наконецъ Николай шевельнулся, открылъ глаза, хотѣлъ приподняться, но тихо простоналъ и голова его снова опустилась на руки Наташи и Мари.





XXII.

Пожаръ.

И такъ, Груня отомстила. Безсильная, маленькая дѣвочка, которою всякій помыкалъ, всякій могъ безнаказанно обидѣть, на которую важная и злая барыня Катерина Михайловна обращала не больше вниманья, какъ на какое нибудь насѣкомое—вдругъ оказалась сильнѣе и могущественнѣе всѣхъ. Захотѣла—и перепугала почти до смерти весь домъ, подняла всѣхъ на ноги. Налетѣла на всѣхъ какъ гроза, какъ буря.

Спрятавшись подъ кроватью заснувшей старухи, разложила она на коврѣ щепочки точно такъ, какъ раскладывала ихъ, когда ее заставляли растапливать печку. Потомъ осторожно чиркнула спичкой—и — кончено! весь домъ въ пламени, этотъ огромный старый домъ, въ которомъ такъ давно жили, росли, старились и умирали люди. Въ пла-

мени — эти богатые барские хоромы, наполненные шелкомъ и бархатомъ, дорогими вещами, барскими игрушками, привозными еуками и вазами, изъ которыхъ каждая, какъ сказала сама Катерина Михайловна, стоитъ дороже Груни!..

Когда Груня разбила такую игрушку и старая барыня, выходя изъ себя, прибила ее, такъ она кричала:

„Негодная, да знаешь ли ты, что эта вещь тысячу рублей стоитъ, а тебя и за пятьдесятъ купить можно, да и то никто не захочетъ дать такіа деньги!“

И вотъ Груня, стоящая менѣ пятидесяти рублей, захотѣла — и горить все!

Всѣ эти послѣдніе дни, когда въ ней назрѣвала злоба и жажда мести, она такъ и представляла себѣ эту картину всеобщаго разрушенія, причиненнаго ею — и торжествовала и заранѣе наслаждалась. А теперь что же?! все исполнилось какъ она предполагала, а она ничего не видитъ и не слышитъ — лежитъ безчувственная на пыльномъ половицѣхъ коридора...

А огонь между тѣмъ дѣлалъ свое дѣло. Сначала запахло горѣлымъ въ спальнѣ Катерины Михайловны, потомъ изъ-подъ кровати показался дымъ. Онъ все гуще и гуще. Катерина Михайловна проснулась, втянула въ себя воздухъ, поперхнулась отъ дыму, вскочила съ изумленіемъ и страхомъ съ кровати. И въ тоже самое мгновеніе вырвавшееся сразу пламя лизнуло простыни, ухватилось за одѣяло, только что сброшенное съ себя Катериной Михайловной.

Она нѣсколько мгновений стояла неподвижно, широко раскрывъ глаза, еще ничего не понимая.

Огонь поднимался выше и выше, охватилъ всю кровать. Вотъ онъ добрался до спущенной штофной занавѣски балдахина и поползъ дальше и выше.

Катерина Михайловна крикнула не своимъ голосомъ и кинулась изъ комнаты. Выбѣжала она въ коридоръ какъ была, босая, въ ночной кофть и кричала изо всѣхъ силъ:

— Люди, люди! горимъ! пожаръ!!

Но все было тихо, никто ее не слышалъ, всѣ спали. Она хотѣла бѣжать дальше и не могла — ноги подкашивались, голова кружилась, мутилось въ глазахъ. Она невольно присѣла на полъ, но потомъ собрала всѣ силы, приподнялась и, хватаясь за стѣну коридора, добралась наконецъ до двери въ комнату Маланьи. Попробовала — дверь на запорѣ изнутри. Она стала стучать и въ тоже время видѣла какъ изъ двери въ ея комнаты, которую она забыла запереть, валилъ густой дымъ.

— Маланья!! Маланья!! умирающимъ голосомъ уже не кричала, а стонала Катерина Михайловна стуча въ дверь.

Наконецъ дверь отворилась, выглянула Маланья.

— Матушки! Создатели! что такое? барыня!

— Горимъ!.. у меня въ спальнѣ! выговорила Катерина Михайловна.

Маланья хотѣла было бѣжать туда, но отшатнулась отъ густого дыма, наполнявшего теперь уже весь коридоръ и заметалась, бессмысленно повторяя:

— Создатели! батюшки! что же теперь?!

Она вернулась въ свою комнату, зачѣмъ то ста-

шила съ кровати одѣяло, потомъ бросила его и изъ всѣхъ силъ ухватила за небольшой сундучекъ, стоявшій подъ кроватью. Въ этомъ сундучкѣ заключались всѣ ея сокровища. Сундучекъ былъ тяжелый, руки ея дрожали; она силилась его вытащить и не могла, и стонала, и причитала.

Между тѣмъ Катерина Михайловна очнулась.

— Да что ты, мерзавка! крикнула она, — чего ты возпыхься! вѣдь мы сгоримъ живыя! Помоги мнѣ, подыми меня, веди...

Но Маланья не могла оторваться отъ сундука. Она не видѣла барыню, не слышала ея словъ...

Въ горѣвшей спальнѣ что то съ грохотомъ рухнуло — должно быть тяжелый балдахинъ. И въ тоже время, среди густого дыма, показался зловѣщій свѣтъ разгоравшагося и все захватывавшаго огня.

Прошло еще нѣсколько минутъ пока стали просыпаться въ домѣ, да и то благодаря Грунѣ, которая наконецъ пришла въ себя, вскочила съ пола, увидала дымъ, свѣтъ огня, различила какъ то странно и жалко прижавшуюся фигурку старой барыни у двери въ Маланьину комнату.

„Жива!“ мелькнуло въ головѣ Груни.

Но эта мысль не раздражила ее, напротивъ — обрадовала и въ ту же минуту страхъ, ужасъ и тоска наполнили ее.

— Боже мой! простонала она, — что же я такое надѣлала!..

Она. кинулась со всѣхъ ногъ изъ коридора, кинулась по всему дому, крича:

— Вставайте! вставайте! пожаръ! горимъ!..

Начался страшный переполохъ: всѣ вскакивали

съ постелей, въ первую минуту ничего не соображая. Затѣмъ начинали кой какъ одѣваться, а то и позабывали объ одеждѣ, схватывали ненужныя вещи, тащили ихъ куда то, бросали, возвращались.

Однимъ изъ первыхъ проснулся Сергѣй. Онъ понималъ въ чемъ дѣло, разбудилъ Наташу.

— Вставай скорѣе, кажется у насъ въ домѣ пожаръ—слышишь?!..

Она очнулась, дрожащей рукой нашла туфли, накинула пенюаръ.

Сергѣй въ это время уже отворилъ окно, выглянулъ въ него и увидѣлъ яркое пламя, выбивавшееся изъ нѣсколькихъ оконъ. Но онъ не потерялся.

— Наташа, надѣнь на себя поскорѣе еще чтонибудь: свѣжо... и вотъ чтó, слушай: я сейчасъ выпрыгну въ окно и потомъ спущу тебя, тутъ не высоко... Дѣло плохо, домъ старый, сгорить... сгорить!.. Слушай, что у насъ тутъ самое цѣнное?.. Гдѣ твои вещи?!

— Здѣсь, въ шкатулкѣ... въ бюро... отвѣтила она вся дрожа.—Да гдѣ же всѣ—проснулись ли? слышатъ ли?!

— Надо надѣяться, что проснулись, сказалъ онъ отпирая бюро.

Онъ вынулъ шкатулку съ драгоценностями и выбросилъ ее за окно въ мягкую траву, затѣмъ спрыгнулъ самъ.

— Наташа, скорѣе!.. вотъ сюда... становись сюда... станови ногу мнѣ на плечо... крѣпче!..

Онъ подхватилъ ее и спустилъ на землю.

— Теперь бери шкатулку и бѣги въ садъ... куда? да въ павильонъ... А я сейчасъ все узнаю... не безпокойся... Я всѣхъ пришлю къ тебѣ...

Но Наташа не могла бѣжать и спастись когда не знала что со всѣми. Она осталась неподвижна подъ окномъ. Она видѣла какъ Сергѣй снова ловко взобрался въ окно.

Между тѣмъ въ домѣ уже раздавались голоса, крики, и пламя дѣлало свое дѣло. Она не могла ждать въ этой невыносимой неизвѣстности, побѣжала кругомъ къ крыльцу и наконецъ убѣдилась, что всѣ живы и невредимы. Всѣ были почти раздѣты. Мари, дѣти, Лили, одна только англичанка, несмотря на страхъ, все же одѣлась какъ на прогулку, прежде чѣмъ вышла изъ своей комнаты.

Катерину Михайловну, закутанную во все, что только попало подъ руки, понесли въ павильонъ.

Сергѣй и Николай распоряжались, видя, что женщины только дрожать и не трогаются съ мѣста. Они сами провели ихъ всѣхъ въ павильонъ и затѣмъ бѣгомъ вернулись къ дому.

Набатный звонъ гудѣлъ съ церковной колокольни, изъ села набѣгали крестьяне. Не прошло и четверти часа какъ весь домъ былъ окруженъ густой толпой народа, которая галдѣла и ровно ничего не дѣлала. А торжествующее пламя быстро охватывало все огромное, старое зданіе. Наконецъ дворовые и крестьяне, по приказу Сергѣя и Николая, стали выносить изъ дома все, что можно было вынести. Николай распоряжался со стороны сада, Сергѣй со стороны двора. Теперь хотя и появились бочки съ водой, но онѣ не могли принести много пользы. Скоро ока-

залось яснымъ, что домъ отстоятъ нѣтъ никакой возможности и что только надо стараться не дать пламени перекинуться на надворныя строенія и на амбары.

Вотъ уже рухнула часть крыши. Николай убѣдился, что входить въ домъ теперѣ опасно и поэтому приказалъ всѣмъ выбираться и оставить вещи.

Вдругъ онъ разслышалъ изъ открытаго окна, къ которому уже подбиралось пламя, крикъ, какъ будто дѣтскій голосъ.

Онъ вздрогнулъ.

— Господи, да вѣдь кажется всѣ дѣти были тамъ!.. кто же?.. кто нибудь изъ дворовыхъ?!..

Онъ пробрался къ окошку. Пламя обступило его, сквозь густой дымъ ничего не было видно. Но вотъ крикъ раздался снова въ самомъ окнѣ:

„Спасите! спасите!“

Недолго думая, онъ рванулся, вскочилъ на фундаментъ.

— Кто тутъ? сюда!..

Это была Груня.

Въ полномъ отчаяніи отъ того, что она надѣлала, она продолжала метаться по дому и ни за что не хотѣла выходить изъ него, хоть нѣсколько разъ пробѣгала мимо наружной двери. Потомъ вдругъ она какъ будто рѣшилась на что то. Да, она рѣшилась.

„Господи, Господи! шептала она, — да какъ же это такъ? что я надѣлала?!.. Ну что же, ничего, я виновата... теперь я виновата, пусть и будетъ наказаніе... сгорю!.. сгорю!..“

Остановившись на этой мысли, она только въ ней и почерпнула нѣкоторое успокоеніе отъ мучительной

тоски, всю ее наполнявшей. Она была теперь въ комнатѣ Володи и Гриши. Она сѣла на стулъ у окна, потомъ встала, подошла къ двери, заперла ее изнутри, потомъ отворила окошко, вышвырнула ключъ за окно, и опять усѣлась на стулъ, закрыла глаза и ждала.

„Ну вотъ теперь... думала она, — ну вотъ пусть огонь, пусть муки... виновата... наказана...“

Но когда дымъ сталъ наполнять комнату, когда показался огонь изъ дверной щели, она не выдержала, чувство самосохраненія заговорило въ ней и она закричала:

„Спасите!! спасите!!“

Ее никто не слышалъ, она какъ звѣрокъ замечалась по комнатѣ. Кругомъ слышался трескъ, становилось жарко. И вдругъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея рухнула дверь. Огонь ворвался въ комнату. Она подбѣжала къ окну и опять закричала:

„Спасите! спасите!!“

Тогда среди дыму разглядѣла она протянутыя къ ней руки. Она ухватила за нихъ. Кто то потащилъ ее изъ окна—это былъ Николай.

Но въ то время какъ она всею тяжестью повисла на него, густой клубъ дыма ударилъ ему прямо въ лицо. Онъ захлебнулся этимъ дымомъ, у него помутилось въ глазахъ, онъ почти потерялъ сознание и со всего размаху, но не выпуская Груни, соскользнувъ съ довольно высокаго фундамента, ударился головою объ лежавшую подъ окномъ балку. Груня упала тоже, но совсѣмъ не ушиблась. И ее и барина оттащили отъ окна.

Вокругъ Николая столпились.

— Батюшки, да что же это? никакъ Богу душу... да нѣтъ, не можетъ быть!..

— Вѣдь объ балку головой!.. испуганно переговаривались вокругъ.

— Да нѣтъ, Богъ милостивъ... такъ только, обезпамятовалъ... шибко стукнулся... очнется... Понесемте, братцы, въ садъ, тамъ господа...

Его подняли и понесли.





XXIII.

Послѣ бѣды.

Къ полудню отъ стараго знаменскаго дома остались только развалины. Закопченный каменный фундаментъ, черные остовы печей, обуглившаяся мебель, куча дубовыхъ балокъ... И все это дымилось на жаркомъ солнцѣ и мѣстами, время отъ времени, вспыхивало и потухало пламя.

Народъ не расходился, заливалъ головни, вытаскивалъ изъ подъ пепла предметы, которые еще годны были на какое нибудь употребленіе.

Горбатовы все еще не выходили изъ павильона. На зарѣ былъ отправленъ гонецъ въ городъ за докторомъ. Докторъ пріѣхалъ, осмотрѣлъ Николая, давно уже пришедшаго въ себя, но чувствовавшаго страшную боль въ головѣ. При этомъ у него была такая слабость во всемъ тѣлѣ, что онъ съ трудомъ могъ шевелиться.

Докторъ объявилъ, что произошло сотрясеніе мозга, но незначительное, и что черезъ нѣсколько дней спокойствія и хорошаго ухода больной совсѣмъ оправится. На рукѣ оказался сильный ушибъ, на головѣ, на затылкѣ, небольшая рана, которую даже сначала не замѣтили подъ густыми волосами. Однимъ словомъ опасности не было и всѣ легко вздохнули.

Теперь, когда положеніе Николая выяснилось, мысли всѣхъ обратились къ пожару. Катерина Михайловна приходила въ отчаяніе, даже плакала, твердила, что все пропало, что они разорены и что главнымъ образомъ разорена она.

— Вѣдь всѣ мои сундуки, все что было — пропало... пропало!.. твердила она.

Ее стали успокоивать, доказывали, что это еще не разореніе. Конечно, потери и убытки велики; но вѣдь это не петербургскій домъ. Вотъ еслибы, не дай Богъ, онъ сгорѣлъ—тогда другое дѣло.

Она мало-по-малу утихла. Она уже успѣла послѣ своего дѣйствительно сильнаго испуга придти въ себя. Лежа съ закрытыми глазами и изображая на своемъ лицѣ послѣднюю степень отчаянія, она уже отлично высчитала всѣ убытки и нашла ихъ незначительными. Конечно, ей жаль было, и даже очень, своихъ сундуковъ и тряпья, въ нихъ заключавшагося; но дѣло въ томъ, что оставшіяся непроданными ея фамильныя драгоценныя вещи были въ Петербургѣ на сохраненіи въ ломбардѣ. Тоже сдѣлала со своими брилліантами и Мари. А Наташина шкатулка была спасена.

Катерина Михайловна даже дошла до мысли, что

такъ какъ всѣ живы и невредимы, и Николай черезъ нѣсколько дней, по словамъ доктора, поправится, то пожалуй и хорошо, что сгорѣлъ этотъ старый домъ. Онъ уже давно начиналъ ей мозолить глаза, особенно при сравненіи съ горбатовскимъ домомъ.

Теперь всѣ они переѣдутъ въ Горбатовское.

Борисъ Сергѣевичъ уже говорилъ объ этомъ, да иначе развѣ и могло быть!.. Тамъ, въ Горбатовскомъ, жизнь ничего не будетъ стоить и въ тоже время можно будетъ пустить пыль въ глаза всему уѣзду, всей губерніи.

Вѣдь все равно, для того чтобы достигнуть предположенной ею цѣли, чтобы видѣть Сергѣя губернскимъ предводителемъ дворянства, нужно было затратить очень крупную сумму на перестройку и отдѣлку дома. А суммы этой не было и дѣло затыкалось. Теперь все пойдетъ гораздо легче. Всякій пойметъ, что выстроить новый домъ въ Знаменскомъ нельзя въ какой нибудь годъ.

Она будетъ показывать всѣмъ грандіозные планы этого будущаго царственнаго жилища. А между тѣмъ пройдетъ два, три года, Сергѣй будетъ предводителемъ. Горбатовское снова, если еще и не по закону, то въ дѣйствительности превратится въ ихъ собственность... Да и чье же оно, какъ не ихъ?! Не возьметъ же его съ собой старикъ въ могилу?!

Она въ своихъ мысляхъ уже не въ первый разъ торопилась хоронить Бориса Сергѣевича. А о своей смерти никогда не помышляла.

„Однимъ словомъ, закончила она свои мысли,—сгорѣлъ домъ—туда ему и дорога, и вышло лучше!..“

Но тѣмъ не менѣе она продолжала нить и толковать о разореніи, и при этомъ жалобно, жалобно поглядывала на Бориса Сергѣевича.

— Какъ же это однако могло случиться? наконецъ спросилъ онъ,—забыла ты, что ли, потушить свѣчку, Катринъ?

Катерина Михайловна прекратила свои причитанія и съ изумленіемъ всѣхъ оглянула.

„Какъ же, въ самомъ дѣлѣ, это случилось?“

Эта мысль до сихъ поръ не пришла ей въ голову, да и никому не пришла.

— Непостижимо! Я сама потушила свѣчи на туалетѣ и когда ложилась спать, то въ комнатѣ горѣла только лампадка передъ образами. Я долго не могла заснуть и часто открывала глаза и видѣла—горить лампадка... Какъ же это могла загорѣться кровать?

— Одно можно предположить, сказалъ Сергѣй,—вѣрно какъ нибудь или вы сами, тата, или горничная, которая оправляла вамъ постель, нечаянно уронили спичку въ простыню и потомъ вы во снѣ какъ нибудь прижали ее къ дереву кровати—и она вспыхнула.

— Этого не можетъ быть, замѣтилъ Борисъ Сергѣевичъ,—еслибы было такъ, то твоя мать навѣрно бы сгорѣла и уже во всякомъ бы случаѣ проснулась отъ обжоговъ...

— Да, конечно, проговорила Катерина Михай-

ловна. Нѣтъ, загорѣлось подъ кроватью, сразу, изъ-подъ кровати шель дымъ и оттуда показалось пламя, это я отлично видѣла.

— Но вѣдь это не можетъ быть!

Останавливались на всякихъ предположеніяхъ и никакъ не могли рѣшить вопроса.

Вдругъ въ павильонъ вбѣжалъ Володя, съ разстроеннымъ лицомъ.

— Что такое?! Что еще случилось? обратились къ нему всѣ.

— Мнѣ кажется, Груня сошла съ ума! проговорилъ онъ.

— Какая Груня?

— Какъ какая Груня?! бабушкина Груня, которую дядя Николай изъ окна вытащилъ... Я шель сюда отъ дома, вдругъ она бѣжитъ... Я просто даже не узналъ ее—такая она страшная. Говорить: „Я знаю отчего домъ сгорѣлъ и хочу всѣмъ господамъ сказать это. А меня, говорить, къ господамъ не пускають“. И стала просить меня чтобы ее впустить.

Вотъ она тутъ за дверью—можно ей войти?

Но Груня уже не дожидалась, она распахнула дверь и остановилась у порога. Она дѣйствительно была неузнаваема. Вся растерзанная, съ всклокоченными волосами, блѣдная, почти зеленая какая то, съ горящими глазами.

— Что же ты стала, Грунька? строго обратилась къ ней Катерина Михайловна.— Чего стоишь, дрянъ? благодари вотъ барина Николая Владиміро-

вѣтъ... Спасая тебя самъ чуть не умеръ... стоишь ли ты этого, негодница?!

Груня, казалось, не слышала ея словъ. Она сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ, остановилась и глухимъ голосомъ прошептала:

— Я сожгла домъ...

— Что?! Какъ?! послышалось со всѣхъ сторонъ.

Всѣ обступили ее. Катерина Михайловна хотѣла что то сказать, раскрыла ротъ, да такъ и осталась.

— Я сожгла домъ!.. уже громче повторила Груня.

— Да она, бѣдняжка, и то сошла съ ума? замѣтилъ Борисъ Сергѣевичъ.

Груня между тѣмъ продолжала:

— Видитъ Богъ, я говорю правду — я сожгла домъ... сожгла... Теперь убейте меня... убейте!..

Она задрожала всѣмъ тѣломъ и упала на колѣни.

Володя кинулся къ ней, глядѣлъ на нее испуганными глазами.

Нѣсколько секундъ продолжалось общее молчаніе, всѣ были поражены.

Борисъ Сергѣевичъ пришелъ въ себя первый. Онъ подошелъ къ Грунѣ, поднялъ ее съ колѣнъ и, держа ее за дрожащую, холодную руку, спросилъ:

— Если ты сожгла домъ, такъ скажи, — какъ это сдѣлала?..

И она, стуча зубами и останавливаясь, чтобы перевести дыханіе, все подробно рассказала.

— Затѣмъ же ты подожгла? спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Для того чтобы сжечь барыню Катерину Михайловну.

Володя громко рыдалъ закрывъ лицо руками. Невольный ужасъ изображался на всѣхъ лицахъ. Катерина Михайловна рванулась впередъ, взвизгнула, — еще одинъ мигъ и, кажется, она задушила бы своими руками Груню. Но Борисъ Сергѣевичъ заслонилъ собою дѣвочку.

— Успокойся, Катринъ, успокойся! проговорилъ онъ, —сядь...

Онъ почти силою взялъ ее за руки, подвелъ къ креслу и усадилъ.

— Что же это такое?! металась она. — Да вѣдь это дьяволъ! Каково! это она лежала подъ кроватью! Я заснула... она меня сонную подожгла!.. Что же это, дьяволъ... да ее казнить... сейчасъ же на висѣлицу!.. свяжите ее скорѣе... посадите на цѣпь... Она взбѣсилась, сейчасъ начнетъ на всѣхъ кидаться... вотъ змѣеныша пригрѣла!..

И Катерина Михайловна, представивъ себѣ снова уже совсѣмъ ясно опасность, которой подвергалась, истерически зарыдала.

Дѣти подняли громкій плачъ.

— Боже мой! проговорила Наташа и закрыла лицо руками.

Мари съ изумленіемъ разглядывала Груню. Она теперь только въ первый разъ обратила на нее вниманіе; до этого дня она ее не замѣчала.

Борисъ Сергѣевичъ и Сергѣй взяли дѣвочку и увели ее изъ павильона. Она послушно шла за ними, продолжая дрожать всѣмъ тѣломъ. *Они отвели ее

подальше, сѣли на скамью и, продолжая держать ее за руки, стали разспрашивать.

Но теперь она говорила съ трудомъ, на нѣкоторые вопросы ихъ она просто молчала. Однако все же изъ немногихъ словъ ея они поняли въ чемъ дѣло.

— Ахъ, татап! невольно вырвалось у Сергѣя.

И весь красный, смущенный, онъ печально отвернулся въ сторону, будто стыдно ему было взглянуть на дядю.

— Но что же намъ теперь съ нею дѣлать? наконецъ проговорилъ онъ.

— Я ее возьму, сказалъ Борисъ Сергѣевичъ и прибавилъ по-французски. — Конечно на нее нельзя смотрѣть только какъ на преступницу. Ты видишь — она уже наказана... Это измученная, больная дѣвочка и прежде всего надо постараться ее вылечить... Я берусь за нее.

— Хорошо, дядя. Конечно... Но татап, вѣдь она будетъ требовать...

— Я и это устрою...

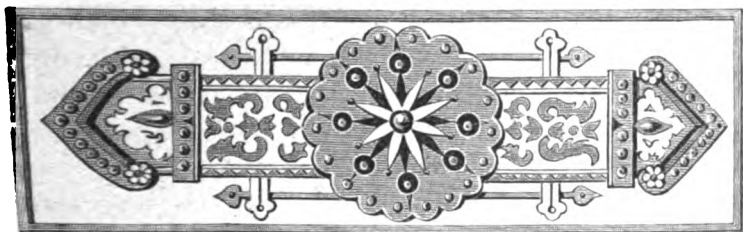
Черезъ часъ всѣ уже уѣхали въ Горбатовское. Николай перевозили всю дорогу шагомъ въ покойномъ дормезѣ. За господами потянулось нѣсколько возовъ съ вещами, нѣсколько человѣкъ необходимой прислуги.

Знаменское опустѣло. Народъ мало-по-малу сталъ расходиться съ пожарища. Но до самой ночи шли стоны и плачъ въ службахъ, которыхъ, по счастью, не коснулось пламя, куда теперь перебралась вся дворня, обитавшая въ большомъ домѣ.

Тутъ же находилась и Маланья. Она лежала, стонала и бредила. Несмотря на всѣ усилія, она такъ-таки и не вытащила своего сундучка изъ коморки, и сгорѣло все ея добро, всѣ деньги, скопленные правдами и неправдами за цѣлую жизнь.

На нее жалко было смотрѣть. Но никто ее не жалѣлъ и въ тому же у всякаго была своя потеря.





XXIV.

На новосельѣ.

Прошла недѣля и промелькнула она какъ сонъ, такъ что никто ея не замѣтилъ.

А между тѣмъ, въ эту недѣлю уже совсѣмъ установился новый образъ жизни, оказавшійся по душѣ всѣмъ, а главнымъ образомъ хозяину Горбатовскаго. Теперь уже его не поражала пустынная и печальная тишина огромнаго дома, ему некуда рваться изъ этой тишины, вдобавокъ еще наполненной порою мучительными воспоминаніями. Теперь эти воспоминанія отходили, забывались, уступали мѣсто шумной дѣйствительности.

Всѣ новые обитатели Горбатовскаго удобно устроились, гораздо удобнѣе чѣмъ въ Знаменскомъ.

Лѣто было изъ рѣдкихъ. Погода все время стояла прекрасная и дѣти наслаждались въ цвѣтникахъ и паркѣ.

Катерина Михайловна помѣстилась въ своихъ прежнихъ комнатахъ и ей казалось даже, что вернулось прежнее время, а о прежнихъ, давно сгороненныхъ людяхъ она не думала и не горевала, она думала только о будущемъ.

Николай совсѣмъ почти поправился. Онъ уже выходилъ къ обѣду и завтраку, гулялъ въ паркѣ. Почти каждый день прѣзжалъ кто нибудь изъ сосѣдей выразить свое сочувствіе и въ то же время удовлетворить своему любопытству.

Но стоило пристально взглянуть во всѣхъ — и мало-по-малу начинало оказываться, что далеко не всѣ довольны и счастливы, что подъ этимъ правильнымъ и почти даже гармоничнымъ строемъ жизни, среди этой широкой семейной обстановки закипаютъ какія то темныя силы, идетъ какая то глухая борьба.

Довольныхъ дѣйствительно оказывалось немного: только Катерина Михайловна, да французъ Рибо, очень любившій всякую церемѣну, да дѣти, за исключеніемъ однако Володи. Володю сильно потрясла исторія съ Груней. Онъ по цѣлымъ днямъ думалъ о „преступницѣ“. Сначала онъ пришелъ было въ негодованіе, почувствовалъ къ ней ужасъ и отвращеніе. Но затѣмъ, мало-по-малу, все понялъ и простилъ ее, и сталъ жалѣть.

Борису Сергѣевичу по поводу Груни пришлось выдержать непріятное объясненіе съ Катериной Михайловной, которая настаивала на томъ, чтобы этого „дьявола“ наказать примѣрнымъ образомъ и затѣмъ отправить въ тюрьму. Борисъ Сергѣевичъ требовалъ чтобы дѣло это было оставлено и просилъ Кате-

рину Михайловну продать или подарить ему Груню. Она выходила изъ себя.

— Какъ?! оставить безнаказаннымъ этого змѣныша? да что же это такое будетъ? Вѣдь всѣ эти хамы (она—бывшая изящная парижанка, еще такъ недавно думавшая, что совсѣмъ разучилась говорить по-русски, — теперь какъ будто даже съ особенною любовью употребляла это слово) — всѣ эти хамы насъ рѣзать станутъ... Да, что мудренаго! и ужь особенно если ихъ освобождать... тогда намъ всѣмъ останется только ложиться и умирать... И ты же, Борисъ, потакаешь! опомнись, мой другъ... какой примѣръ!.. вѣдь у тебя у самого тысячи крестьянъ... Нельзя, нельзя, лучше и не проси меня!..

Но онъ сталъ на своемъ и такъ какъ она находила, что раздражать его опасно, что, напротивъ, теперь надо всячески потакать ему и съ нимъ ладить, то, въ концѣ концовъ, не смотря на все свое бѣшенство и кипѣвшую въ ней досаду, подарила ему Груню.

— Что же ты хочешь съ нею дѣлать? спросила только она. — Неужто оставишь на свободѣ, здѣсь въ домѣ?

— Нѣтъ, этого я не сдѣлаю, ее здѣсь никто не увидитъ.

И Груня будто пропала. Даже Володя, несмотря на всѣ свои просьбы, не могъ добиться отъ дѣдушки гдѣ она, что случилось съ нею? Дѣдушка сказалъ ему только, чтобы онъ былъ спокоенъ, что она жива и что онъ будетъ о ней всегда заботиться.

Между тѣмъ Груня была въ Горбатовскомъ. Въ глубинѣ парка давно уже былъ построенъ малень-

кій охотничій домикъ и вотъ тамъ то теперь жила Груня подъ присмотромъ доброй старушки, изъ старыхъ горбатовскихъ дворовыхъ.

Борисъ Сергѣевичъ почти ежедневно навѣщалъ дѣвочку, подолгу бесѣдовалъ съ нею и каждый разъ убѣждался, что она вовсе не испорчена, а просто измученное и очень больное созданіе. Навѣщалъ ее и Степанъ, который хотя на словахъ и ужасался ея звѣрскому поступку, но въ глубинѣ души видѣлъ въ немъ перстъ Божій.

„И по дѣломъ тебѣ, думалъ онъ про Катерину Михайловну, — вотъ только Господь Богъ черезчуръ уже долготерпѣливъ, однимъ страхомъ ты отдѣлялась.“

Когда ему приходилось встрѣчаться съ Катериной Михайловной, онъ пристально и многозначительно на нее взглядывалъ, какъ бы желая прочесть въ душѣ ея.

„Неужьто ты не опаматовалась, сударыня, неужьто не увидала перста Божьяго, среди огня, въ предсмертномъ дыханіи?!.. Кто былъ въ огнѣ? Кто былъ на волосѣхъ отъ смерти? — Ты, сударыня, и сыночекъ твой!..“ мысленно говорилъ ей старикъ.

Этого сына, Николая Владиміровича, Степанъ недолюбливалъ, несмотря даже на то, что Николай былъ съ нимъ гораздо болѣе внимателенъ и ласковъ чѣмъ Сергѣй. Но если Борисъ Сергѣевичъ легко освободился отъ своего предубѣжденія, то его вѣрный слуга и спутникъ былъ на этотъ счетъ крѣпче, упрямѣе. Да и наконецъ не могъ вѣдь онъ видѣть въ Николаѣ то, что, съ перваго же разговора, ясно въ немъ стало Борису Сергѣевичу.

Азіатскія лекарства, такъ хорошо подѣйствовавшія на Наташу, давно уже потеряли свою силу и Борисъ Сергѣевичъ замѣчалъ, что его прелестный другъ, какъ ни храбрится, какъ ни старается казаться веселой, а въ сущности страдаетъ.

„Что же съ нею? Нужно узнать, нужно узнать во что бы то ни стало!..“ думалъ онъ.

Но это оказывалось трудно. Наташа рѣшительно не посвящала его въ свои тайны и увѣряла, что нѣтъ у нея никакого горя, ничего особеннаго.

Наконецъ Борисъ Сергѣевичъ увидѣлъ, что самое лучшее не добиваться, не приставать къ ней, оставить ее въ покоѣ и только слѣдить. И онъ слѣдилъ, и онъ мало-по-малу нападалъ на причину ея болѣзни и замѣчалъ признаки той же болѣзни и въ Николаѣ.

„Неужели?! Нѣтъ, нѣтъ—этого быть не можетъ!..“ повторялъ онъ и старался отогнать отъ себя смущавшія мысли.

Но каждый новый день наводилъ его на нихъ снова. Онъ хорошо помнилъ ужасъ, охватившій Наташу когда Володя пробѣжалъ въ паркъ и объявилъ о пріѣздѣ Николая. Онъ съ перваго же дня замѣтилъ, что они стараются избѣгать другъ друга, относятся другъ къ другу какъ враги. Да, легко можно было подумать, что они ненавидятъ другъ друга. А между тѣмъ Наташѣ нѣсколько разъ пришлось говорить съ дядей о Николаѣ и каждый разъ она относилась къ нему съ горячей похвалою. То же самое дѣлалъ и Николай въ разговорахъ о ней.

Наконецъ Борисъ Сергѣевичъ видѣлъ, что стало съ Наташей когда принесли въ павильонъ Ни-

колая, какъ она ухаживала за нимъ въ первый день до прїѣзда доктора. Она ухаживала внимательно, нѣжное, горячѣе чѣмъ Мари — и это бросалось въ глаза. А теперь опять они избѣгаютъ встрѣчъ, опять не глядятъ, не говорятъ между собою.

Старикъ, еще такъ недавно одинокій, непричастный ничьей радости, ничьему горю, теперь всей душой ушелъ въ чужую жизнь. Эта жизнь сулила ему радости, а между тѣмъ на первыхъ же порахъ стала доставлять горе. Но и горе это оживляло его, разогрѣвало его сердце.

Думая теперь исключительно почти о Наташѣ и Николаѣ, Борисъ Сергѣевичъ не могъ слѣдить за Сергѣемъ и за Мари. Они тоже какъ будто нѣсколько измѣнились; Сергѣй рѣже исчезалъ изъ дому, почти совсѣмъ прекратилъ свои визиты къ сосѣдямъ. Какъ то особенно бережно и осторожно относился онъ къ Наташѣ. И, странное дѣло, — просто почти смущался и уходилъ когда заставлялъ жену въ разговорѣ съ Лили. Но вмѣстѣ съ этимъ онъ не прекращалъ своихъ заигрываній съ хорошенькой гувернанткой и иногда по нѣскольку разъ въ день ухитрялся съ нею встрѣтиться наединѣ, или въ паркѣ, или въ какой нибудь изъ дальнихъ комнатъ дома.

Мари какъ будто вышла изъ своей апатіи, въ ней замѣчались признаки волненія и раздраженія. Она была очевидно не въ ладахъ въ мужемъ. Она ради новоселья почти каждый день теперь дѣлала ему сцены, даже несмотря на то, что состояніе его здоровья требовало спокойствія.

Но дѣло въ томъ, что она вовсе не сознавала,

что лишаетъ его спокойствія и раздражаетъ. Она просто вздумала теперь особенно сантиментальничать, приставать къ нему съ нѣжностями и, встрѣчая съ его стороны холодность, начинала плакать, упрекать его. Затѣмъ въ теченіе цѣлаго дня на него сердилась.

Наконецъ онъ не выдержалъ, рѣшительно объявилъ ей, чтобы она оставила его въ покоѣ, что онъ боленъ, очень раздраженъ и что съ ея стороны безсовѣстно мучить его, когда оцъ еще не оправился отъ своего несчастнаго паденія.

— Господи! это я то тебя мучаю! воскликнула Мари поднимая глаза кверху и всплеснувъ руками.—Это называется мученіемъ!..

— Конечно, а то что же?!.. Я прошу тебя объ одномъ: оставить меня въ покоѣ.

— Да я тебя не трогаю... Нѣтъ, ты скажи лучше всю правду, признайся мнѣ, что ты меня разлюбилъ совсѣмъ, совсѣмъ, что я тебѣ ненужна...

„Ненужна! мучительно подумалъ онъ,—вѣдь все это такъ давно правда, такъ давно она должна знать это, что же она только теперь спохватилась!“

— Да я то, я то зачѣмъ тебѣ нуженъ?! печально усмѣхнувшись проговорилъ онъ.—Тебѣ нуженъ хорошій обѣдъ, спокойный сонъ, французскій романъ... Все это у тебя есть — чего же тебѣ еще?! Я уже давно примирился съ мыслью, что между нами нѣтъ ничего общаго. Что же теперь съ тобою дѣлается? зачѣмъ ты поднимаешь старую пыль?!..

— Пыль! повторила она. — Какія у тебя все слова!.. Я знаю, ты меня считаешь глупой, но вѣдь люди бываютъ разные и я не виновата, что не со-

здана по твоей мѣрѣ. Ты неблагодаренъ, Николай, ты никогда не умѣлъ понять меня, никогда не могъ оцѣнить моей любви... Я люблю тебя какъ умѣю... Я всегда тебѣ была хорошей женою... Можетъ быть я и была передъ тобою въ чемъ нибудь виновата, раздражала, любила тебя не такъ какъ ты хотѣлъ... Но вѣдь и ты никогда не умѣлъ за меня взяться... Ну что жъ, научи меня какъ тебя любить, чтобы ты былъ доволенъ!..

— Этому не научишь! мрачно проговорилъ онъ, — и главное, зачѣмъ же теперь? вѣдь мы были спокойны, вѣдь каждый жилъ по своему—что же это на тебя нашло?!

— Нашло!!

Она печально взглянула на него, вынула платокъ и вытерла глаза, на которые набѣгали слезы. Онъ вышелъ отъ нея полный тоски и раздраженія.

„Что же наконецъ съ нею?! думалъ онъ.—И именно теперь, теперь!! Что жъ, можетъ быть она и права, можетъ быть она искренно говорить, что меня любить... только по своему... и я ничего не понимаю въ этой любви... и она не нужна мнѣ, такая любовь!..

„А было вѣдь время, вспоминалось ему, когда я Богъ знаетъ что бы далъ, чтобъ только услышать отъ нея тѣ слова, которыя она теперь говорила... Но она тогда молчала, она тогда не требовала, чтобы я училъ ее любить меня... Я тогда самъ пробовалъ учить ее и она отказалась отъ этого ученья...“

Онъ думалъ такъ и въ то же время какой то другой внутренній голосъ поднимался въ немъ и

говорилъ ему: „Но вѣдь она твоя жена, она имѣетъ на тебя права—вернись къ ней, успокой ее, приласкай, взгляди въ ея сердце, можетъ быть и найдешь тамъ что нибудь для себя... вернись!“

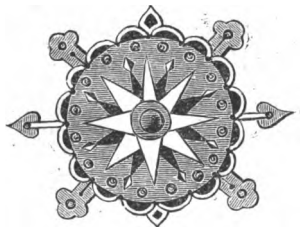
И онъ почти безсознательно къ ней вернулся. Онъ отворилъ дверь и увидѣлъ Мари на томъ же мѣстѣ, гдѣ ее и оставилъ, на широкой низенькой кушеткѣ. Но онъ оставилъ ее взволнованной и плачущей. А теперь, чрезъ нѣсколько минутъ, она спокойно лежала съ закрытыми глазами.

Онъ подошелъ, прошепталъ:

— Мари!

Она ничего не отвѣтила. Онъ прислушался—она мѣрно, спокойно дышала—она сладко спала.

Онъ улыбнулся, взглянулъ на нее холоднымъ, почти злымъ взглядомъ и снова вышелъ изъ комнаты.





XXV.

Кодратъ Кузьмичъ.

Кромѣ заботъ и тревогъ, вызванныхъ новою жизнью, въ которую погрузился Борисъ Сергѣевичъ, у него были и инныя заботы. Теперь онъ уже разобрался въ своихъ дѣлахъ, выяснилъ себѣ свое огромное и сложное хозяйство, убѣдился въ томъ, что въ теченіе долгихъ лѣтъ его изгнанія его буквально грабили со всѣхъ сторонъ. Но несмотря на это, состояніе его, увеличенное состояніемъ его жены, которое она наслѣдовала отъ княгини Маратовой — было громадно. Въ его рукахъ, кромѣ обширныхъ помѣстій въ различныхъ мѣстахъ Россіи, находились и большія деньги. Эти деньги были помѣщены въ ломбардъ, проценты никогда не трогались и теперь капиталы удвоились.

Борисъ Сергѣевичъ наконецъ видѣлъ возможность немедленнаго осуществленія своей давнишней мечты —

отпустить на волю нѣсколько тысячъ крестьянскихъ душъ, щедро надѣлить ихъ землею, устроить ихъ быть. Это была задача, которой онъ рѣшился посвятить остатокъ своей жизни. Теперь все было готово, ему нужно было только съѣздить въ Москву, въ крайнемъ случаѣ въ Петербургъ.

Кромѣ того у него была еще и иная цѣль поѣздки въ Москву.

Дѣло въ томъ, что его покойный братъ Владиміръ, отправляясь въ кампанію, гдѣ и былъ убитъ, и предчувствуя свою смерть, которой онъ желалъ, за которою шелъ, послѣ долгихъ лѣтъ молчанія написалъ брату въ Сибирь письмо.

Это письмо снова соединило братьевъ, разъединенныхъ, казалось, на вѣки. Въ немъ Владиміръ, такимъ тономъ какого никогда отъ него не слыхалъ Борисъ, просилъ прощенія у брата.

Онъ писалъ:

„Мою вину передъ тобою искупить невозможно, но насколько человѣкъ могъ искупить ее, — я ее искупилъ. Я знаю, что мы никогда не встрѣтимся съ тобою, я увѣренъ, что меня скоро не будетъ, это мои послѣднія слова къ тебѣ и ты долженъ имъ вѣрить. Знай, Борисъ, что всю жизнь, съ тѣхъ поръ какъ мы разстались, я почти ни на минуту не могъ забыть, всегда было передо мною твое лицо и въ немъ я читалъ упрекъ, молчаливый и страшный. Я всю жизнь боролся съ тобою и не могъ побороть тебя. И вотъ наконецъ ты меня совсѣмъ осилилъ.

„У меня не было послѣ нашей разлуки ни минуты счастья, да ужъ что говорить о счастьѣ, не было спокойствія, вся жизнь прошла тягостью. Еслибы

ты зналъ, какъ я ненавижу себя, какъ я презираю себя, какъ мнѣ тошно жить... и я не могу больше, и я иду въ походъ для того, чтобы умереть; послѣ такой жизни нужно хоть умереть честно. Прости меня, братъ! Ты не могъ измѣниться, ты все тотъ же, и я знаю, что ты простишь меня.

„Но я обращаюсь къ тебѣ еще и съ другою, предсмертною просьбой. Давно, еще тогда, когда ты былъ за границей, почти одновременно съ моимъ Сергѣемъ, у меня родился другой сынъ. Теперь, послѣ долгихъ лѣтъ, вспоминая всю жизнь, я могу сказать, что если любилъ какую нибудь женщину, то единственно мать этого ребенка, хотя она и не отличалась ни особенной красотой, ни умомъ, ни блескомъ. Она не была изъ нашего общества, она была простая дѣвушка, ее звали Александрой Николаевной Степановой, сынъ мой былъ названъ Петромъ...

„Узнавъ истину, то есть, что я женился и скрылъ отъ нея это, наконецъ, вѣроятно, понявъ меня и убѣдись, что я не стою ея любви (видишь, какъ я могу говорить теперь) — Саша исчезла изъ Петербурга. Я долгіе годы искалъ ее и не могъ найти — не знаю жива ли она, живъ ли ребенокъ. Не сомнѣваюсь, что ты рано или поздно, быть можетъ даже очень скоро вернешься въ Россію; прошу тебя, братъ, постарайся отыскать ее и постарайся быть полезнымъ этому мальчику. Можетъ быть ты будешь счастливѣе меня въ твоихъ поискахъ — вотъ моя просьба...”

И Борисъ Сергѣевичъ конечно исполнилъ обѣ просьбы брата. Онъ простилъ его, примирился съ

его памятью и первымъ же дѣломъ, по прїѣздѣ своемъ въ Россію, началъ поиски.

Онъ еще въ Сибири зналъ объ одномъ дѣльцѣ, жившемъ въ Москвѣ. И остановясь въ Москвѣ, проѣздомъ въ Горбатовское, отыскалъ его.

Дѣлецъ этотъ былъ нѣкто Кодратъ Кузьмичъ Прыгуновъ. Онъ происходилъ изъ когда то богатаго, но затѣмъ обѣднѣвшаго купеческаго рода, учился сначала дома, на мѣдныя деньги, затѣмъ почувствовалъ, какъ самъ говорилъ всегда, „омерзение къ комерціи и влеченіе къ наукамъ“. Онъ сталъ прилежно заниматься этими науками съ помощью знакомаго букиниста. Затѣмъ черезъ того же букиниста онъ познакомился съ однимъ изъ профессоровъ московскаго университета и понравился ему. Профессоръ обласкалъ мрачно глядѣвшаго, неказистаго, но очевидно способнаго мальчика, занялся имъ, и кончилось тѣмъ, что Кодратъ Прыгуновъ поступилъ въ число студентовъ университета и кончилъ курсъ.

Впрочемъ ожиданія профессора не сбылись—онъ воображалъ, что изъ Кодрата выйдетъ ученый, который впослѣдствіи и самъ займетъ университетскую кафедру—ничего такого не случилось. Несмотря на любовь къ наукамъ и большое прилежаніе, Кодратъ не былъ рожденъ ученымъ. Сдавъ свои выпускные экзамены, онъ пришелъ къ тому убѣжденію, что учился довольно и что пора начать жить съ помощью полученнаго образованія.

Онъ поступилъ на службу въ сенатъ и сдѣлался тамъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ чиновниковъ. Но протекціи у него никакой не было, изъ себя онъ не былъ, какъ уже сказано, казистъ, видъ имѣлъ

угрюмый, къ начальству подлаживаться не умѣлъ — а потому по службѣ далеко не пошелъ. Его знали какъ работника, наваливали на него всегда множество дѣла. Онъ исполнялъ возложенныя на него порученія аккуратно, работалъ цѣлый день. До тонкости изучилъ онъ весь служебный механизмъ, все производство дѣлъ, почти наизусть зналъ каждую статью закона.

Онъ видѣлъ какъ его младшіе товарищи, несравненно менѣе его знавшіе, хуже подготовленные, смотрѣвшіе на службу не какъ на цѣль, а какъ на средство, пользовавшіеся каждымъ случаемъ чтобы полѣзвиться, — все же отлично устроивались. Они получали награды, повышенія, шли далеко по службѣ, а онъ оставался все на одномъ и томъ же мѣстѣ.

Когда онъ заикался о томъ, что пора бы и его повысить — начальство каждый разъ начинало съ нимъ любезничать, давало ему или маленькую прибавочку къ жалованью, или маленькую денежную награду, прося потерпѣть. И онъ успокоивался, продолжалъ ждать и ничего не могъ дожидаться.

Дѣло въ томъ, что онъ нуженъ былъ на мѣстѣ, которое занималъ. Начальство отлично знало, что останется безъ него какъ безъ рукъ.

— Да и чего вамъ, почтеннѣйшій Кодратъ Кузьмичъ, говорили ему, — отъ добра добра не ищутъ... Вамъ тепло, хорошо, а вы все недовольны!

Тепло!

Вотъ въ этомъ то и была трагическая сторона жизни Кодрата Кузьмича Прыгунова. Мѣсто, занимаемое имъ, было незначительно и содержаніе получалъ онъ небольшое, но это мѣсто считалось „теп-

лымъ“. Предмѣстникъ Пригунова всю жизнь не сходилъ съ этого мѣста и, выйдя съ него въ отставку, купилъ въ Москвѣ нѣсколько домовъ, купилъ изрядную подмосковную и зажилъ большимъ бариномъ.

И начальство, и товарищи Кодрата Кузьмича были убѣждены, что и онъ слѣдуетъ по стопамъ своего предмѣстника, что у него уже сколочены большія деньги. И если онъ въ нихъ не признается, если онъ имѣетъ видъ бѣдняка и расчитываетъ гроши, то это одно съ его стороны притворство и скряжничество. Черезъ его руки проходятъ большія дѣла и много, много кой чего пристаётъ къ рукамъ—иначе быть не можетъ...

Репутація человѣка, сидящаго на „тепломъ“ мѣстѣ и хорошо грѣющагося, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе упрочивалась за Кодратомъ Кузьмичемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ упрочивалось и всеобщее убѣжденіе въ томъ, что онъ скрага, что онъ хитрецъ и комедіантъ.

Въ первые же годы своей службы Кодратъ Кузьмичъ женился, взялъ за женою маленькія деньги, построилъ на нихъ домикъ возлѣ Зачатѣвскаго монастыря и сталъ ежегодно приживать дѣтей. Случалось, онъ приходилъ на службу озабоченный и то у одного, то у другого товарища просилъ займы деньги. Просилъ онъ небольшія суммы и всегда, въ день полученія жалованья, аккуратно расплачивался. Ему давали, но давали со смѣхомъ, съ шутками, и на этомъ то обстоятельствѣ главнымъ образомъ зиждилась его репутація хитреца и комедіанта.

— А Кодратъ то нашъ опять очки втираетъ! говорили сенатскіе чиновники,—опять двадцатью пятью

рублями побирается!.. Вотъ чудакъ! и кого это онъ провести думаетъ, будто неизвѣстно, что на прошлой недѣлѣ у него Ивановское дѣло въ рукахъ было... такъ тутъ не двадцатью пятью [рублями пахнетъ, тутъ онъ не одну тысячу небось въ ломбардъ свезъ... И ужъ скряга же, прости Господи! хотъ бы разъ послѣ хорошаго дѣльца позвалъ товарищей, да угостилъ какъ слѣдуетъ... Жила-человѣкъ, кремень!..

И Кодратъ Кузьмичъ долженъ былъ нести свою установившуюся репутацію, долженъ былъ выслушивать намеки отъ товарищей и начальства, да не только намѣки, а просто самыя откровенныя увѣренія въ томъ, что онъ беретъ большія взятки, что у него денегъ куры не клюютъ.

И онъ выслушивалъ, онъ даже не пробовалъ разувѣрять, потому что зналъ, что это бесполезно. Онъ ни разу не запачкалъ руки своей взяткой! Если онъ хлопоталъ о какомъ нибудь дѣлѣ, то единственно по убѣжденію въ томъ, что дѣло это чистое. Если ошибался въ этомъ, то ошибался искренно—его самого подводили.

Когда ему предлагали взятку — онъ усовѣщевалъ предлагавшаго ее. Но случалось и такъ: предлагавшій взятку рѣшительно не могъ повѣрить чистотѣ чиновничьей совѣсти и приходилъ къ убѣжденію, что вѣрно предложилъ мало, что чиновникъ хотѣлъ большаго. И вотъ, обдумавъ все, онъ возвращался и предлагалъ это большее.

Тогда Кодратъ Кузьмичъ выходилъ изъ себя.

— Да что же это, въ самомъ дѣлѣ, такое! кричалъ онъ.

Ему хотѣлось доказать этому невѣрящему въ

его совѣсть человѣку, что стыдно такъ обижать. Онъ принимался горячо за его дѣло, сидѣлъ надъ нимъ, хлопоталъ, иной разъ ночей не спалъ. Дѣло устроивалось, истецъ оставался въ изумленіи; но никогда не приходило ему въ голову разсказать, о томъ, что вотъ де онъ на какого честнаго чиновника напалъ.

Напротивъ, когда знакомые говорили ему:

„А небось много вы потратили на ваше дѣло, небось „крупивное сѣмя“ (т. е. чиновники) повысосали у васъ изъ кармана?“

Онъ обыкновенно отвѣчалъ:

„Да, таки повысосали!“

Если же, несмотря на все желаніе, Кодратъ Кузьмичъ не могъ „провести“ дѣла, или если не рѣшался на это убѣдясь въ неправотѣ его, — тогда истецъ объявлялъ, что вотъ, дескать, провалилось дѣло—и все по винѣ этого ненасытнаго Прыгунова.

„Давалъ, молъ, я ему, много давалъ, да все ему мало, аспиду,—большаго захотѣлось!..“

Или:

„Противная сторона упредила: всыпала этому Прыгунову—онъ ихъ и вытянулъ...“

Такъ и жилъ Кодратъ Кузьмичъ взяточникомъ по всей Москвѣ.

„Что жъ, такова видно моя судьба, думалъ онъ,—крестъ это, посланный мнѣ Богомъ, и долженъ я нести его.“

И Кодратъ Кузьмичъ несъ этотъ крестъ на широкой своей спинѣ, и смирялся духомъ подъ этой тяжестью. Съ каждымъ годомъ становился онъ все набожнѣе и набожнѣе, въ свободное отъ служебныхъ

занятій время читаль душеспасительныя книги, не пропускаль почти ни одной службы въ своей приходской церкви, раньше всѣхъ приходилъ, позже всѣхъ уходилъ. Его можно было видѣть всегда на одномъ и томъ же мѣстѣ, возлѣ клироса, гдѣ онъ подпѣваль дьячку и пѣвчимъ. Наконецъ онъ сдѣлался какъ бы неизбѣжной принадлежностью церкви, получилъ въ ней значеніе, избранъ былъ, по всеобщему желанію прихожанъ, церковнымъ старостой. И эта обязанность стала его главнымъ удовольствіемъ.

Прослужилъ Кодратъ Кузьмичъ въ сенатѣ болѣе двадцати пяти лѣтъ и такъ-таки не добился повышения. Впрочемъ онъ достигъ чина коллежскаго совѣтника, имѣлъ Анну на шеѣ и, „за двадцатипятилѣтнюю безпорочную службу“, начальство, убѣжденное, что онъ великій взяточникъ, украсило его Владиміромъ четвертой степени.

Къ этому времени открывалась служебная ваканція, которую, по всѣмъ правамъ, долженъ былъ наконецъ занять Кодратъ Кузьмичъ. Въ послѣдній разъ рѣшился онъ о себѣ напомнить и снова, какъ и всегда, его просьба осталась безъ послѣдствій. На открывшееся мѣсто назначили молодого, ничѣмъ не зарекомендовавшаго себя человѣка. Но за этого молодого человѣка просило вліятельное лицо, которому отказать было невозможно.

Кодрата Кузьмича стали опять обнадеживать тѣмъ, что вотъ скоро еще будетъ ваканція — и ужъ онъ навѣрное тогда ее получитъ.

Но какъ ни велико было его терпѣніе—все же этому терпѣнію пришелъ конецъ. Онъ подалъ въ отставку. Начальство изумилось и даже нѣсколько струхнуло.

Какъ оно будетъ обходиться безъ Прыгунова?! кѣмъ замѣстить его? нельзя его выпустить!

Но онъ уперся на своемъ: въ отставку, да въ отставку!

„Чтожь, видно разжились, любезнѣйшій?!“ въ сердцахъ сказали ему.

„Разжился, такъ точно!“ мрачно отвѣтилъ онъ.

Дѣлать было нечего—его выпустили съ грошевой пенсіей.

Въ первое время сильно тосковалъ Кодратъ Кузьмичъ по своей службѣ, съ которою свылся. Но очень то тосковать было некогда — нужно было содержать семью, нужно было работать.

Работа нашлась: хотя и взяточникъ, и такой-сякой, но Прыгуновъ былъ извѣстенъ какъ хорошій дѣлецъ, знатокъ законовъ — и къ нему стали обращаться со всякими дѣлами, самыми разнообразными по содержанію. Онъ отлично обдѣлывалъ эти дѣла, отлично для тѣхъ, кто поручалъ ихъ ему; но не для себя, такъ какъ совѣмъ не умѣлъ запрашивать, торговаться, несправимо вѣрилъ въ людскую честность и очень часто не могъ даже добиться и тѣхъ небольшихъ денегъ, какія себѣ выговаривалъ. По окончаніи дѣла очень многіе оставляли его должниками и не платили ему даже процентовъ...

Борисъ Сергѣевичъ, получивъ адресъ Прыгунова, отправился къ нему самъ; безъ труда нашелъ онъ маленький деревянный домикъ въ четыре окошка, сѣренькій, съ зелеными ставнями, съ покосившимися воротами, стоявшими на запорѣ. Борисъ Сергѣевичъ вышелъ изъ экипажа, попробовалъ отворить калитку—но и калитка заперта.

Тогда онъ разглядѣлъ желѣзное кольцо, дернулъ его,—раздался звонокъ. Никто не показывался. Прошло нѣсколько минутъ; Борисъ Сергѣевичъ опять дернулъ. Наконецъ, за воротами послышался сильнѣйшій собачій лай, затѣмъ чьи то шаги, кто то подошелъ изнутри къ калиткѣ. Женскій голосъ крикнулъ:

— Кто тутъ?

— Господинъ Прыгуновъ здѣсь живетъ?

— Да вамъ кого?

— Да его же, господина Прыгунова... онъ дома?

— Да вы кто же будете?

„Вотъ наказаніе!“ подумалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Господинъ Прыгнулъ дома или нѣтъ? не безъ раздраженія спросилъ онъ.

— Дома то, дома...

— Таеъ отворите...

Наконецъ калитка отворилась и въ ней появилась довольно грязнаго и придурковатаго вида служанка. Увидя господскій экипажъ и сѣдого барина она нѣсколько перемѣнила тонъ и проговорила:

— Пожалуйста! Я вотъ сбѣгаю, скажу Кодрату Кузьмичу, они въ садикѣ.

Она пропустила Бориса Сергѣевича и заперла за нимъ калитку, а сама, подобравъ подолъ, побѣжала.

Мигомъ на Бориса Сергѣевича съ лаемъ накинулось нѣсколько собакъ, изъ которыхъ одна не особенно ласково глядѣла. Но онъ не смутился—и не съ такими собачками ему приходилось встрѣчаться въ Сибири! Онъ пристально, пристально

поглядѣлъ въ глаза собакамъ и онѣ мигомъ притихли. Двѣ стали сейчасъ же къ нему ласкаться, а третья поджала хвостъ и съ тихимъ рычаньемъ спряталась въ конуру, находившуюся тутъ же, у воротъ.

Борисъ Сергѣевичъ оглядѣлся. Онъ былъ среди маленькаго дворика, почти заросшаго травкою. Слева отъ него было крылечко, ведущее въ домъ, справа сарай, изъ котораго вдругъ донеслось мычанье коровы. Между сараемъ и домомъ шелъ заборчикъ садика. На дворѣ бродили куры.

Скоро вернулась служанка и сказала:

— Пожалуйте въ гостиную, Кодратъ Кузьмичъ сейчасъ будутъ.

Борисъ Сергѣевичъ поднялся по скрипящимъ ступенькамъ крылечка. Служанка отперла дверь—онъ очутился въ маленькой и низенькой передней, все украшеніе которой состояло изъ большаго ларя. Затѣмъ передъ нимъ отворилась дверь и онъ вступилъ въ залъ. На него пахнуло спертымъ воздухомъ. Не смотря на май мѣсяцъ, окна были заперты. По стѣнамъ стояли старые плетеные стулья, на окнахъ горшки съ цвѣтами. Низенькое фортепьяно краснаго дерева, этажерка съ нотами. Въ правомъ углу висѣла огромная икона подъ стекломъ, въ серебряной ризѣ, съ зажженной лампадой.

— Въ гостиную пожалуйста! повторила служанка.

Борисъ Сергѣевичъ прошелъ въ слѣдующую комнату. Та же незатѣйливая, бѣдная обстановка. Маленькая комнатка въ два окошка, на окнахъ кисейныя занавѣски, старое зеркало съ вычурнымъ подзеркальникомъ; на немъ дешевенькіе часы, два

букетика искусственныхъ цвѣтовъ въ вазочкахъ. Посреди комнаты, на крашеномъ выложенномъ полу, руководѣльный коврикъ. Диванъ съ жесткимъ сидѣньемъ, нѣсколько креселъ, стеклянный шкафчикъ съ чашечками, серебрянымъ молочникомъ и фарфоровыми куколками. На темныхъ дешевыхъ обояхъ двѣ, три старыхъ гравюры—вотъ и все.

Изъ сосѣдней комнаты выглянула худенькая, съ острымъ носомъ, блѣднымъ морщинистымъ лицомъ и умильно сжатыми губами, женщина. Борисъ Сергѣевичъ хотѣлъ было поклониться ей, но она уже исчезла.

Онъ сѣлъ въ кресло и ждалъ.

Ждать пришлось недолго; въ гостиную вошелъ хозяинъ. Теперь Кодратъ Кузьмичъ былъ уже совсѣмъ старикъ за шестьдесятъ лѣтъ, маленькаго роста, коренастый, съ коротко обстриженной сѣдой головою, съ упрямымъ выпуклымъ лбомъ, густыми бровями надъ маленькими, неопредѣленнаго цвѣта глазами. У него былъ широкій, какой то четырехугольный носъ, выдающійся подбородокъ. На гладко выбритомъ, лоснящемся лицѣ двѣ-три бородавки. Однимъ словомъ, онъ былъ некрасивъ и если въ юности казался букой, то теперь уже совсѣмъ имѣлъ видъ непривѣтливаго и злого старика.

На немъ былъ надѣтъ длиннополый потертый сюртукъ, его толстыя щеки подпиралъ высочайшій тугонакрахмаленный воротничекъ съ острыми, выступающими чуть ли не до половины щекъ углами, однимъ словомъ такъ называемый „фатермердеръ“. Шея была обмотана длиннымъ чернымъ фуляромъ,

въ петличкѣ сюртука красовалась Владимірская ленточка.

Кодратъ Кузьмичъ вошелъ въ гостиную спокойнымъ шагомъ, крѣпко ступая своими короткими ногами, съ изумленіемъ взглянулъ на незнакомаго гостя, вставшаго ему на встрѣчу, и проговорилъ нѣсколько глухимъ голосомъ:

— По какому дѣлу пожаловали, сударь? Чѣмъ могу служить? Прошу—присядьте...

Онъ указалъ на кресло, самъ сѣлъ въ другое, вынулъ изъ кармана большую круглую табакерку, открылъ ее, привычнымъ движеніемъ всадилъ въ обѣ ноздри щепотку табаку. Затѣмъ вытерся клѣтчатымъ фуляровымъ платкомъ и склонилъ голову выставивъ впередъ правое ухо,—на лѣвое онъ плохо слышалъ.

Борисъ Сергѣевичъ называлъ себя. Прыгуновъ поднималъ голову, зорко взглянулъ на гостя своими маленькими глазками и сказалъ:

— Радуюсь чести видѣть васъ, сударь; довольно слышанъ... и еще батюшку вашего покойнаго и матушку въ молодости видать приходилось... Только не зналъ я, что вы въ Москвѣ жительствоуете, не зналъ я этого...

И онъ запнулся.

— Я изъ Сибири, сказалъ Борисъ Сергѣевичъ,—только что пріѣхалъ...

— Такъ-съ, такъ-съ! проговорилъ Прыгуновъ.— Чѣмъ могу служить?

— Мнѣ о васъ много говорили... Мнѣ бы хотѣлось попросить вашего совѣта и указаній по поводу одного, какъ вамъ сказать, одного очень деликатнаго дѣла...

Кодратъ Кузьмичъ опять выставилъ впередъ правое ухо.

— Рекомендоваться и восхвалять себя не стану, сказалъ онъ, — всякія дѣла перебивали у меня въ рукахъ. Изложите мнѣ ваше дѣло, государь мой, если я могу что—возьмусь,—ежели нѣтъ, такъ прямо и заявлю вамъ... И во всякомъ разѣ, что бы вы ни изволили мнѣ сообщить, смѣю васъ увѣрить — это останется между нами.

Онъ поднялся съ кресла, заперъ обѣ двери въ гостиную, снова набилъ себѣ носъ табаккомъ, усѣлся и проговорилъ:

— Извольте излагать дѣло—я слушаю...

Борисъ Сергѣевичъ изложилъ ему дѣло.

Выслушавъ все, Пригуновъ задумался.

— Да-съ, государь мой, съ перваго то раза трудненько кажется, никакихъ нитей, не за что уцѣпиться... Надо будетъ подумать.

— Да вы свободны, Кодратъ Кузьмичъ? спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Свободенъ, свободенъ...

— Я оттого спрашиваю, что полагаю — прежде всего, если вы только возьметесь за это дѣло, вамъ придется съѣздить въ Петербургъ...

— Не знаю, быть можетъ, подумаю, подумаю и отвѣтъ вамъ дамъ.

— Когда же? я долженъ спѣшить въ деревню...

— Да и потѣжайте съ Богомъ. Вотъ я запишу адресъ и затѣмъ письменно буду сноситься съ вами. Столько лѣтъ лежало дѣло, такъ спѣшить то куда?!

— Значитъ вы беретесь?

— Еще не знаю, соображу, подумаю... Отчего

не попробовать! Попробовать можно, только выйдетъ ли толкъ...

— Расходами не стѣсняйтесь, сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Лишняго не истрачу.

— Сколько же вамъ на первый случай оставить? Кодратъ Кузьмичъ усмѣхнулся.

— А я почему знаю, государь мой! такое дѣло— можетъ и копейки не придется истратить, а можетъ и тысячку, и другую, и третью...

— Ну такъ вотъ возьмите и тысячку, и другую, и третью, сказалъ Борисъ Сергѣевичъ, вынулъ портфель, отсчиталъ три тысячи и положилъ ихъ передъ Прыгуновымъ.

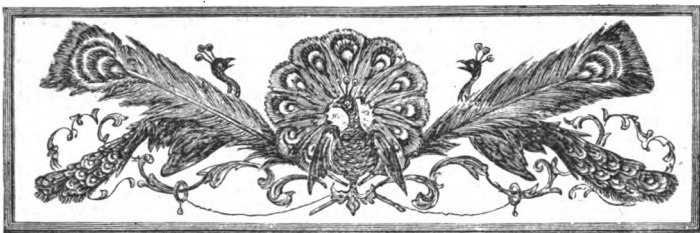
Кодратъ Кузьмичъ всталъ съ кресла, вышелъ въ сосѣдную комнату, затѣмъ вернулся съ чернильницей, гусинымъ перомъ и листомъ бумаги. Онъ аккуратно пересчиталъ деньги, написалъ росписку въ ихъ полученіи и подалъ ее Борису Сергѣевичу.

— Зачѣмъ это? сказалъ тотъ.

— А какъ же-съ иначе: получаю деньги—выдаю росписку.

Они обо всемъ условились и Борисъ Сергѣевичъ уѣхалъ.





XXVI.

С у п р у г и.

Прыгуновъ, проводивъ гостя до калитки, возвратился въ гостиную и передъ столикомъ, на которомъ оставилъ три тысячи, засталъ маленькую и сухенькую, съ длиннымъ острымъ носомъ старушку, ту самую, которая выглянула изъ двери, когда въ гостиной сидѣлъ Борисъ Сергѣевичъ. Это была жена Прыгунова, Олимпіада Петровна.

Она съ изумленіемъ и въ тоже время съ видимымъ удовольствіемъ глядѣла на деньги, осторожно перебирая ихъ своими блѣдными пальцами.

- Три тысячи?! проговорила она.
- Такъ точно, Олимпіада Петровна, три тысячи!
- Что же, это твои деньги?
- Нѣтъ, не мои...
- Такъ чего ты ихъ по столамъ валяешь!..
- А вотъ сейчасъ спрячу.

— Что это за старикъ былъ у тебя, Кодратъ Кузьмичъ?

— Ну, матушка, тебѣ это знать совсѣмъ лишнее. Былъ человѣкъ по дѣлу—и больше ничего.

Она присѣла въ кресло, взглянула на мужа и покачала головою.

— Да вѣдь мнѣ что, Кодратъ Кузьмичъ! очень мнѣ нужно знать это у тебя былъ!.. Кто бы ни былъ—мнѣ все едино... А вотъ ты мнѣ скажи: дѣло то это, ты взялся за него? Много ли зарабатываешь?

— Не знаю, матушка, много ли, мало ли; ничего еще не знаю... Я не купецъ, не торговался...

Она опять покачала головою:

— То-то вотъ, не торговался! А работы небось навалилъ на себя кучу и будешь ты теперь мыкаться туда-сюда, какъ гончая какая... Эхъ, Кодратъ Кузьмичъ, всю то жизнь свою мыкался ты, мыкался, и ни до чего то ты на старости лѣтъ не домыкался!

— Ну, пошла! проворчалъ махнувъ рукою Пригуновъ.

И опять вынулъ онъ свою круглую табакерку, хлопалъ ее пальцемъ и сталъ набивать себѣ носъ.

А Олимпіада Петровна мѣрнымъ и грустнымъ голосомъ продолжала:

— То-то, небось не нравится когда правду въ глаза говорятъ! Ну скажи — неправда развѣ? Ну, отвѣчай! — до чего ты домыкался?.. вѣдь смотри—совсѣмъ старикъ сталъ, ужъ глохнуть начинаешь...

Кодратъ Кузьмичъ привскочилъ съ кресла. Жена воснула самаго его больного мѣста. Онъ тщательно скрывалъ свою глухоту.

— Ну вотъ и лжешь! Какъ глохнуть начинаю?!

и не думаю... Это ты, матушка, глухая тетеря, зовешь иногда, зовешь—не дозовешься... А я слышу, все слышу!..

Она тихонько усмѣхнулась.

— Положимъ даже что и слышишь, а все же вонъ у тебя изъ ушей цѣлые сѣдые кусты выросли, какъ грибъ старый мхомъ обростаешь... А домъ то вотъ совсѣмъ покосился. Рамы нигуда негодны, отъ оконъ дуетъ... Вѣдь всю то зиму я зубами мучилась... Давно перестроить надо—анъ нечѣмъ... Теперь опять вотъ Сонюшка изъ института пріѣдетъ на лѣто, эвипировать ее надобно, что тутъ подѣлаю?! Увидала я эти деньги, ну, думаю, слава Богу — разжились... А онъ: не мои деньги! Да когда же у тебя твои то будутъ?! Гляди ты на людей, на своихъ же пріятелей, сенатскихъ, — у всѣхъ то палаты, у всѣхъ то жены да дочери нарядныя, въ своихъ каретахъ разъѣзжаютъ... А мы почитай какъ нищіе... Дѣтей на-родилъ кучу...

— Матушка, помилосердуй! Да и гдѣ же куча—старшихъ то всѣхъ схоронили, четверо осталось...

— Четверо!.. протянула она,—то-то и горе, мелюзга все! Я вотъ еле ползаю, ты грибомъ сталъ—помремъ мы съ тобой ихъ не пристроивши — что тогда будетъ?!

— А что Богъ дастъ! Я вотъ тоже сиротой по четырнадцатому году остался, а не пропалъ, не померъ съ голоду, вышелъ въ люди...

— Нечего сказать—хорошо вышелъ?!

— Да, матушка, вышелъ, вышелъ! начиная сердиться и стуча пальцами по столу заговорилъ Ко-

драть Кузьмичъ.—А на сенатскихъ ты мнѣ не ува-
живай. Откуда у нихъ палаты, и наряды, и кареты?!

— Извѣстно откуда—со службы.

— Со службы! презрительно протянулъ Пригу-
новъ.—Отъ взятокъ, сударыня, Олимпиада Петровна,
вотъ откуда!..

Она подняла на него свои выпѣтшіе, слезящіеся
глазки и опять стала качать головою.

— А много ты взялъ со своей честностью? кого
въ ней увѣришь? Да про тебя то небось больше
гораздо, чѣмъ про нихъ говорятъ... И что такое:
взятки!—вѣдь это не грабежъ, не вымогательство...
Люди отъ души предлагаютъ, за дѣло!

Кодратъ Кузьмичъ вскочилъ и засеменилъ на
мѣстѣ ногами, затопалъ. Лицо его съ четырехугольнымъ
носомъ, съ бородавками и нависшими бровями все
покраснѣло и стало страшнымъ.

— Не говори ты такъ, не гнѣви Бога, постыдись,
одумайся!

Но она не испугалась мужнинаго гнѣва.

— Да обидно! вздохнула она.—Пальцемъ на тебя
показываютъ: взяточникъ, взяточникъ—а тутъ ника-
кимъ манеромъ концовъ съ концами свести нельзя...
А коли ужъ взяточникъ, такъ хоть бы позить
всласть, а то задаромъ—обидно! И вѣдь всѣ то такъ
прямо и говорятъ: Богачи вы, говорятъ. Иной разъ
плачешь, плачешь...

— А ты не плачь, умная голова, не плачь — а
смѣйся!.. Богачи такъ богачи, тѣмъ лучше. Вотъ
Соня подрастетъ, черезъ годъ, другой, замужъ ее
пора, такъ хорошій женихъ скорѣе найдется.

— Жди, какъ же, такъ ты кого нибудь и на-

дуешь! Нѣтъ, батюшка, теперь не то что прежде, теперь каждый на чистоту—сначала, молъ, покажи денежки, дай ихъ пощупать...

— Эхъ, да что мнѣ толковать съ тобою! пробурчалъ Кодратъ Кузьмичъ совсѣмъ разстроенный, и ушелъ въ свою комнату, въ такъ называемый „кабинетъ“.

Комнатка эта была крошечная, съ маленькимъ письменнымъ столомъ у единственнаго окошка, выходившаго въ садъ, съ жесткимъ диваномъ, двумя креслами и шкафикомъ, въ которомъ лежали старыя книги въ кожаныхъ переплетахъ. Верхнія полки были заняты Четви-Минеями, твореніями Святыхъ отцовъ; на нижнихъ помѣщался „Сводъ законовъ“ Россійской Имперіи.

Кодратъ Кузьмичъ сѣлъ передъ письменнымъ столомъ, развернулъ записку, оставленную ему Горбатовымъ, въ которой заключались немногія свѣдѣнія относительно предложеннаго ему теперь дѣла. Онъ прочелъ записку и задумался. Мало-по-малу въ его головѣ началъ складываться планъ дѣйствій. Дѣло было не новое, въ теченіе жизни ему пришлось уже нѣсколько разъ розыскивать пропавшихъ людей и всегда онъ успѣшно достигалъ цѣли.

„Богъ дастъ и тутъ удастся. Дѣло хорошее, доброе дѣло! А въ Петербургъ придется съѣздить! Ну что же, и прокатимся! Шутка сказать: годовъ двадцать не былъ въ Петроградѣ! Чай много переѣхалъ! Оно даже и полезно для здоровья, а то ужъ совсѣмъ засидѣлся въ Бѣлокаменной, двадцать лѣтъ ни съ мѣста!“

„Въ землю вросъ, мхомъ обростаю... грибъ!“
вспомнилъ онъ слова супруги.

„Ну какой же я грибъ!?“

Онъ обернулся къ стѣнкѣ, на которой висѣло маленькое зеркальце. Въ этомъ зеркальцѣ отразилась его круглая, подпираемая фатермердерами голова, вся обросшая сѣдыми, щетиной стоящими волосами, красное лицо, четырехугольный носъ, огромныя бородавки, нѣсколько торчащія уши съ пучками росшихъ изъ нихъ сѣдыхъ волосъ. Онъ самъ увидѣлъ, что точно, онъ очень похожъ на грибъ, и съ досадой отвернулся отъ зеркальца.

Онъ отворилъ маленькое окошко, при чемъ убѣдился, что рамы дѣйствительно очень плохи. Въ комнату ворвался свѣжій весенній запахъ.

Въ садикѣ солнце заливало распутившіеся кусты сирени. Дѣвочка лѣтъ десяти и два маленькихъ мальчика бѣгали и возились въ густой травѣ. Со двора доносилось влоктанье куръ... вотъ замычала корова...

И вдругъ всѣ эти звуки, и ясный весенній день, и кусты сирени, и дѣтскія фигуры въ травѣ—показались ему такими отрадными, такими хорошими и веселыми. Онъ забылъ о томъ, что онъ „грибъ“, забылъ, что всю жизнь „мыкался“ и сгибался подъ тяжестью ниспосланнаго ему креста, что онъ, честный человѣкъ, несъ незаслуженное клеймо... Забылъ все, изъ глубины его просвѣтленнаго духа поднялось радостное чувство и онъ прошепталъ:

„Господи, Создатель мой! благодарю тебя за всѣ твои милости!..“

Онъ снова сталъ думать о предложенномъ ему дѣлѣ. „Богъ поможетъ!“ рѣшилъ онъ.

Въ это время раздался благовѣстъ. Кодратъ Кузьмичъ перекрестился, надѣлъ широкополую мягкую шляпу, взялъ въ руки толстую камышевую палку съ костянымъ набадашникомъ, и отправился въ церковь.

Въ церкви было еще пусто. Только двѣ старушки клали земные поклоны. Кодратъ Кузьмичъ, поставивъ палку и положивъ шляпу на опредѣленное мѣсто, тихимъ, почти неслышнымъ шагомъ прошелъ къ свѣчному ларю, вынулъ изъ кармана ключъ, отперъ ларь, разложилъ свѣчи, затѣмъ отобралъ изъ нихъ нѣсколько и, еще съ большей осторожностью и благоговѣніемъ, прошелъ съ ними къ иконостасу.

Привычно вставилъ онъ свѣчи въ паникадила, зажегъ ихъ одну за другою, шепталъ молитвы, крестился передъ каждою иконой, низко кланялся, касаясь правой рукой пола. Обойдя такимъ образомъ всѣ иконы, Кодратъ Кузьмичъ прошелъ въ алтарь, гдѣ уже находился священникъ.

Онъ подошелъ къ батюшкѣ подь благословеніе и затѣмъ вступилъ съ нимъ въ бесѣду полупшепотомъ, объявилъ ему, что, по неотложному дѣлу, выѣдетъ не то завтра, не то послѣзавтра въ Петербургъ.

Священникъ до крайности изумился. Какъ такъ, статочное ли это дѣло? Кодратъ Кузьмичъ—и вдругъ въ Петербургъ! Батюшку разбирало любопытство и ужасно хотѣлось узнать, по какому такому дѣлу церковный староста, двадцать лѣтъ не выѣзжавшій изъ Москвы, вдругъ пускается въ такое дальнее путешествіе.

Но Кодратъ Кузьмичъ молчалъ и батюшка, съ глубокимъ вздохомъ, отошелъ отъ него и сталъ приготовляться къ служенію.

Послѣ вечерни Прыгуновъ вернулся домой, пообедалъ, а затѣмъ опять вышелъ изъ дому, взялъ извозчика и поѣхалъ въ Басманную, въ извѣстный всей Москвѣ, старинный и громаднѣйшій, всегда стоявшій съ запертыми воротами и заколоченными ставнями, домъ Горбатовыхъ.

Заставъ Бориса Сергѣевича, онъ объявилъ ему, что все обдумалъ и готовъ взяться за дѣло и что прежде всего ему дѣйствительно слѣдуетъ съѣздить въ Петербургъ.

— Такъ вы и поѣзжайте! сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Когда же прикажете?

— Когда угодно — по моему: чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— А коли такъ, то завтра же я и тронусь.

— И будете писать мнѣ въ Горбатовское?

— Безпремѣнно и аккуратнымъ образомъ.

Борисъ Сергѣевичъ предложилъ Прыгунову провести съ нимъ вечеръ и они пробесѣдовали довольно долго, вспомнили старые годы въ Москвѣ, университетъ, гдѣ Прыгуновъ кончилъ курсъ нѣсколько ранѣе Горбатова, но подъ руководствомъ тѣхъ же самыхъ профессоровъ. Затѣмъ Борисъ Сергѣевичъ, которому старый дѣлецъ мало-по-малу начиналъ нравиться, совсѣмъ разговорился, рассказалъ кое что изъ своей сибирской жизни.

Наконецъ былъ призванъ Степанъ. Ему была небезизвѣстна исторія покойнаго Владиміра Сер-

гѣевича и его Александры Николаевны. Оказалось, что вся тогдашняя горбатовская прислуга въ Петербургѣ доподлинно знала эту исторію. Прыгуновъ заставилъ Степана вспомнить все, назвать ему имена всѣхъ служившихъ въ петербургскомъ домѣ Горбатовыхъ. Онъ попросилъ листъ бумаги и карандашъ, и записывалъ за Степаномъ.

— Времени то вотъ только больно много прошло! замѣтилъ Степанъ, — а мы нешто знаемъ, сибириаки то, кто изъ тѣхъ людей въ живыхъ остался, а кто нѣтъ...

Кодратъ Кузьмичъ кивалъ головою:

— Да ужъ это понятно — не многихъ найду, а все же кто нибудь пожалуй и съищется... дѣло такое, что ничѣмъ пренебрегать нельзя... Иной разъ самое что ни на есть махонькое обстоятельство, по всѣмъ видимостямъ ничего не стоящее, а смотришь — оно то и оказывается самымъ важнымъ!..

— Такъ, батюшка, такъ, подтверждалъ Степанъ, — это точно! какъ знать гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь?!

Совсѣмъ уже поздно вернулся домой Кодратъ Кузьмичъ. Это съ нимъ случилось очень рѣдко. Олимпиада Петровна была въ большомъ безповойствѣ, такъ какъ пришла къ полной увѣренности, что ея „грибъ“ вернется „безъ заднихъ ногъ“, какъ она выражалась, то есть пьяный. Онъ вообще почти никогда не пилъ; но если случилось ему, раза два, три въ годъ, воздержаться, то хмель разбиралъ его быстро, и во хмелю онъ дѣлался буйнымъ.

Однако на этотъ разъ, къ изумленію Олимпиады Петровны, супруга не привезли, а пріѣхалъ онъ самъ, вошелъ твердой походкой, даже извинился,

что не предупредилъ о своемъ позднемъ возвращеніи.

— Случай такой вышелъ! сказалъ онъ, — а теперь спать, пора спать!..

Онъ быстро раздѣлся и тотчасъ же захрапѣлъ.

На слѣдующее утро Олимпиаду Петровну ожидало совсѣмъ невѣроятное событіе: проснувшись, Кодратъ Кузьмичъ объявилъ ей, что нынче же уѣзжаетъ въ Петербургъ.

— Эка спохватился! сказала она — нешто нынче первое апрѣля? давно ужъ май мѣсяцъ небось!..

— Ну! ну! строго выговорилъ Кодратъ Кузьмичъ. — Какія тутъ путевы! нечего время то терять; прикажи, матушка, Анисѣ съ чердака чемоданъ притащить, да отбери мнѣ бѣлья и я вотъ, какъ напьюсь чаю, такъ самъ и уложу чемоданъ.

Олимпиада Петровна всплеснула руками.

— Матушки-свѣты! да никакъ ты и взаправду?!

— А то какъ же?!

— Въ Пе... въ Петербургъ?

— Ну да!

— Кодратъ Кузьмичъ, опомнись, голубчикъ! какъ же это ты... въ Петербургъ? подумай только!.. да на долго ли?

— А и самъ не знаю...

— И одинъ, одинъ ѣдешь?

— Что жъ, меня волки съѣдятъ, что ли?!.

Олимпиада Петровна совсѣмъ растерялась. Она стала выкладывать мужнино бѣлье и платье, ея блѣдныя руки дрожали, а изъ выпѣвшихъ глазъ капали слезы. — и она ихъ тихонько утирала, чтобы никто, а пуще всего „онъ“, не замѣтилъ.

Когда все было готово, Кодратъ Кузьмичъ передалъ женѣ необходимыя распоряженія, оставилъ ей небольшую сумму денегъ, троекратно поцѣловался съ нею, потомъ благословилъ дѣтей и велѣлъ кликнуть извозчика.

Онъ облекся въ коричневую камлотовую шинель съ нѣсколькими малъ-мала-меньше, нашитыми одинъ на другой, воротниками, нахлобучилъ свою пуховую шляпу, превратился совсѣмъ уже въ настоящій „грибъ“ — и уѣхалъ.





XXVII.

Прыгуновъ дѣйствуетъ.

Довольно долгое время не получалъ Борисъ Сергѣевичъ извѣстій отъ Прыгунова. Но вотъ наконецъ въ Горбатовское пришло письмо изъ Петербурга. Кодратъ Кузьмичъ писалъ:

„Милостивѣйшій Государь мой, Борисъ Сергѣевичъ! Не извѣщалъ Васъ по сіе время ибо не о чемъ было. Первые мои справки и поиски въ Петербургѣ оказались тщетными и я уже намѣревался было покинуть сію столицу, когда случайно попалъ на человѣка, освѣтившаго мнѣ предстоящій дальнѣйшій путь. Дѣло наше, съ Божьею помощію, быть можетъ и будетъ доведено до благополучнаго окончанія. Завтрашняго числа отъѣзжаю изъ Петербурга, такъ какъ, по всѣмъ примѣтамъ, искомыя нами субъекты должны находиться въ Москвѣ. О дальнѣйшемъ не замедлю извѣстить Васъ.

А за симъ честь имѣю пребыть, Милостивѣйшій Государь мой, Вашимъ низайшимъ и покорнѣйшимъ слугою.

Кодратъ Пригуновъ.“

Письмо это доставило Борису Сергѣевичу не мало удовольствія и онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ извѣщенія о послѣдующемъ. Оно не замедлило получиться, но не заключало въ себѣ никакихъ объясненій.

Кодратъ Кузьмичъ писалъ, что ему необходимо лично переговорить со своимъ довѣрителемъ и поэтому онъ просилъ позволенія пріѣхать въ Горбатовское.

Борисъ Сергѣевичъ даже немного подсадоваль. Что за церемоніи, могъ бы ѣхать прямо, а то напрасная только проволочка времени!

Онъ написалъ Пригунову прося его не откладывать своей поѣздки. Разсчитали они со Степаномъ день и выслали лошадей.

И вотъ Кодратъ Кузьмичъ въ Горбатовскомъ.

Пріѣздъ этого таинственнаго человѣка, о которомъ хозяинъ ничего опредѣленнаго не сказалъ домашнимъ, произвелъ нѣкоторое впечатлѣніе. Сергѣй Владиміровичъ даже обрадовался какъ ребенокъ, увидя выѣзжавшаго изъ коляски Пригунова въ широкополой шляпѣ почти такого же фасона, какъ у факельщиковъ, въ камлотовой шинели съ безчисленными воротниками. А когда изъ-подъ шляпы показались фатермердеры, четырехугольный носъ и бородавки—Сергѣй пришелъ въ чистый восторгъ.

— Ну ужъ дядя, говорилъ онъ и Мари, и Наташѣ, и Николаю—нѣтъ, да вы подите сюда, взгляните!.. и откуда онъ только выкопалъ такое сокровище?! вѣдь это всю жизнь искать — такъ не найдешь! вѣрно изъ Сибири, быть можетъ какойнибудь Лама...

— Ну, на Ламу то онъ не похожъ, замѣтилъ Николай, — и не сибирякъ — это тоже навѣрное... это Москвою пахнетъ.

— Однимъ словомъ, таинственности у насъ заводятся! сказалъ Сергѣй и при этомъ зѣвнулъ.

Восторга его какъ не бывало: изумительный незнакомецъ прошелъ въ домъ и вотъ опять стало скучно.

Борисъ Сергѣевичъ ожидалъ Прыгунова въ своемъ кабинетѣ. Кодратъ Кузьмичъ вошелъ, быстрымъ взглядомъ оглядѣлъ комнату, съ видимымъ удовольствіемъ замѣтилъ въ правомъ углу ея образъ, набожно перекрестился, а затѣмъ сталъ раскланываться передъ хозяиномъ.

— Садитесь, садитесь, любезнѣйшій Кодратъ Кузьмичъ, говорилъ Горбатовъ пододвигая ему покойное кресло.—Я думаю, утомились, жарко сегодня?

— Тепленько, государь мой, тепленько! Да я, знаете, люблю такую погоду,—паръ костей не ломить, особенно въ деревенскомъ чистомъ воздухѣ... Ъхаль: наслажденіе просто! Мѣста у васъ чудесныя... Ну да и палаты! Хорошъ вашъ московскій домъ, сколько лѣтъ проѣзжалъ мимо—все на него заглядывался, а ужъ тутъ совсѣмъ царская резиденція!

— Да, широко! сказалъ Борисъ Сергѣевичъ, — отецъ, какъ женился, такъ домъ этотъ заново перестроилъ и всю жизнь, до кончины своей, почти безвыѣздно здѣсь прожилъ съ матушкой. Мы родились здѣсь и выросли. И вотъ мнѣ Господь привелъ сюда же вернуться на старость.

— Такъ-съ, такъ-съ! повторялъ Прыгуновъ.

Ему даже какъ то неловко становилось среди этой непривычной, подавляющей своимъ величіемъ роскоши. Но онъ быстро справился съ неловкостью, вынулъ табакерку, нюхнулъ разъ-другой табачку всласть и заговорилъ:

— По первоначалу обратимся къ дѣлу, сударь...

— Что же, есть успѣхъ?! узнали вы что нибудь вѣрное?!

— Да какъ вамъ сказать — и да, и нѣтъ. И много узналъ, а коли съ другой стороны посмотреть — такъ и ничего.

— Какъ такъ?

— А изволите ли видѣть, я въ Петербургѣ всю старую пыль встряхнулъ, столбомъ поднялъ! Какъ столбъ то этотъ разсѣялся, такъ и очутился передо мною одинъ человѣчекъ, старичекъ такой, сосѣдомъ онъ былъ этой самой особы, которую мы ищемъ, жилъ съ нею по одной лѣстницѣ, дверь обѣ двери. Ну и зналъ все по сосѣдству. И брата вашего покойнаго видалъ, даже не разъ съ нимъ бесѣдовалъ, такъ какъ, по тому же опять сосѣдству, захаживалъ къ этой самой Александрѣ Николаевнѣ... И ребеночка нянчилъ; говорить: такой шустрый,

славный былъ мальчишка, Петрушей звали... Все это вѣрно, какъ по писаному, изложилъ мнѣ... Что же, спрашиваю, сталося и съ Александрой Николаевной и съ Петрушей? — „А пріѣхала, говорить, изъ Москвы дама, раза три всего навѣстила Александру Николаевну, а затѣмъ забрала и ее и Петрушу, и увезла съ собою“.

— Какая дама?!

— Вотъ и я тоже спрашиваю его—какая дама? „Не молода, говорить, она была, да и не стара... Теперь то, значить, старуха, коли жива“. Что же, сродственница она была Александрѣ Николаевнѣ что-ли? спрашиваю я. „Нѣтъ, не сродственница, только та ужъ очень ее уважала“. А какъ звали даму то? „Дай Богъ памяти!“ задумался мой старичекъ, задумался. Я просто ни живъ, ни мертвъ... „Вспомнилъ! говорить,—звали ее Капитолиной Ивановной Мироновой“. То есть какъ сказалъ онъ мнѣ это, батюшка Борисъ Сергѣевичъ, какъ сказалъ — такъ вотъ, кажется, взялъ бы я его да и зацѣловалъ отъ радости!

— А что? развѣ вы ее знаете?

— Да помиуйте, какъ не знать! Капитолины то Ивановны?! она наша прихожанка, почитай наша сосѣдка... И изволите видѣть дѣло то какое: въ Петербургъ махнулъ, пыль столбомъ поднялъ, болѣе двухъ недѣль попустому возился, а разгада то у меня подъ бокомъ!.. И многіе годы каждое воскресенье просвирку послѣ обѣдни подношу я этой разгадѣ!

— Ну такъ что же, что же ваша Капитолина

Ивановна? въ нетерпѣннѣи спрашивалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Само собою я сейчасъ въ Москву и прямо къ ней... Только вотъ тутъ то и осѣлся. Завелъ разговоръ обинякомъ про Петербургъ. Рассказываю, говорю, молъ, двадцать лѣтъ изъ своего прихода не выѣзжалъ, а тутъ, по неожиданному дѣлу, въ Петербургъ попалъ... А вы, молъ, Капитолина Ивановна, въ Петербургѣ то бывали? „Бывала, говоритъ, да давно, давнѣе вашего, лѣтъ болѣе тридцати тому назадъ ѣздила.“ И пустилась въ розсказни. Я слушаю да мимо ушей пускаю, а перебить то ее не смѣю: старуха она строгая и обидчивая, иной разъ не знаешь какъ ей и пографить. Наконецъ остановилась. А по какому случаю, спрашиваю, вы въ Петербургъ ѣздили? „По своимъ дѣламъ“, говоритъ. А вотъ что я хотѣлъ спросить у васъ, матушка Капитолина Ивановна, не знавали ли вы въ Петербургѣ Александры Николаевны Степановой? Спрашиваю, а самъ гляжу, гляжу на нее. Вздогнула моя старуха, покраснѣла даже. Ну, однимъ словомъ, себя кругомъ мнѣ выдала. „Нѣтъ, говоритъ, Кодратъ Кузьмичъ, не знавала я такую“. Не знали?! А съ кѣмъ это вы, сударыня, изъ Петербурга въ Москву тогда поѣхали, еще мальчикъ маленькій, Петрушей звали, съ вами былъ? Доконалъ я ее совсѣмъ — сидить, молчить, слова прибрать не можетъ, да вдругъ какъ разсердится моя старуха! „Что же это ты, сударь, меня допрашивать пришелъ, что ли?!“ И стала она мнѣ отчитывать: „Знала не знала, а говорить съ вами я объ этомъ не буду,—хотите гостемъ быть—сидите, чайку вотъ

напьемся, а допросовъ чтобы не было... да и напрасно... слова вѣдь не скажу, не ваше это совсѣмъ дѣло!..“

Ну, я ее, само собою, всячески сталъ урезонивать. Вы, говорю, не обижайтесь, Капитолина Ивановна, я не за худымъ чѣмъ пришелъ къ вамъ, можетъ я съ собою счастье несу этому мальчику, Петрушѣ-то. „Не нужно, говорить, ему вашего счастья... да и нѣтъ его ужъ на свѣтѣ, Петруши, умеръ онъ, всѣ умерли!..“

— Умерли! тоскливо произнесъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Да-съ! какъ она сказала мнѣ, что всѣ умерли, такъ я ужъ и зналъ, что если кто и умеръ, такъ ужъ Петруша то живъ навѣрное... только видите ли—по ея разсужденію ему не надо счастья, которое я съ собой принесъ... Провести тоже меня вздумала Капитолина Ивановна! такъ вѣдь я ее не первый годъ знаю... одно слово: ручаюсь вамъ головой, государь мой,—живъ этотъ самый Петруша, только я промахнулся, не такъ къ ней подѣхалъ и испортилъ дѣло. Мнѣ она теперь низачто въ мірѣ правды не скажетъ—такой ужъ у нея характеръ... Вотъ я затѣмъ къ вамъ и предъявляюсь: коли желаете добыть Петрушу, такъ надо вамъ со мною въ Москву ѣхать. Чего я не добился—вы, можетъ, добьетесь.

— Хорошо! сказалъ Борисъ Сергѣевичъ, — я и такъ въ Москву собирался... написали бы прямо, что надо мнѣ самому ѣхать — я бы теперь уже тамъ былъ... а такъ мы съ вами, Кодратъ Кузьмичъ, только время потеряли!..

— Въ такомъ дѣлѣ, я вамъ докладывалъ, недѣля, другая — невелика потеря... ужь извините, да и не зналъ вѣдь я, что вы въ Москву собираетесь...

— Во всякомъ случаѣ вы хорошо сдѣлали, что пріѣхали, поспѣшно сказалъ Борисъ Сергѣевичъ, замѣтивъ, что нѣсколько смутилъ Прыгунова, — вмѣстѣ отправимся, веселѣй въ дорогѣ будетъ... И такъ—рѣшено: сегодня вы отдохнете здѣсь у меня, погуляете, а завтра и въ путь! Такъ что ли? ладно?

— Да ужь на что же ладнѣе! отозвался Прыгуновъ.

Хозяинъ провелъ его въ назначенную ему комнату, гдѣ онъ умылся и пообчистился, и затѣмъ за завтракомъ представилъ его домашнимъ.

Сергѣй не прочь былъ для общаго удовольствія немножко потѣшиться надъ этимъ страннымъ гостемъ; но Кодратъ Кузьмичъ сразу осадилъ его своей серьезностью и чувствомъ собственного достоинства. Онъ нисколько не потерялся въ этомъ обществѣ и оставался самымъ собою, то и дѣло прибѣгалъ къ своей круглой табакеркѣ, очень спокойно и съ тактомъ поддерживалъ бесѣду.

Послѣ завтрака Борисъ Сергѣевичъ пошелъ показывать ему паркъ и къ вечеру Прыгуновъ, очень довольный и Горбатовскимъ, и оказаннымъ ему пріемомъ, говорилъ, что давно не проводилъ такого веселаго дня.

говоришь правду. Раздѣваясь и ложась спать

въ царской, какъ онъ выражался про себя, ком-
натъ, онъ думалъ:

„Какая благодать то бываетъ на свѣтѣ! Вотъ такъ
живутъ люди—рай земной, да и только! Да и люди
то хорошіе!..“

Ему нравился и хозяинъ, и молодые люди, и кра-
сивыя дамы, и дѣти милыя; нравилась даже и Ка-
терина Михайловна, хотя она во весь день удосто-
ила его всего двумя-тремя фразами.

„Важная и почтенная дама!“ думалъ онъ про
нее.—„Счастливые люди—сто лѣтъ имъ жить, такъ
и то умирать не надо—счастливые люди!..“

И очень бы изумился Кодратъ Кузьмичъ, еслибы
ему сказали, что во всемъ этомъ домѣ самый счаст-
ливый человекъ пожалуй онъ, даже несмотря на
тяжелую ношу постыднаго и несправедливаго обви-
ненія, тяготѣвшаго надъ нимъ. У него было спо-
койно на сердцѣ, въ прошедшемъ онъ не видѣлъ
ни мучительныхъ упрековъ совѣсти, ни признанія не-
исправимыхъ ошибокъ. А будущее являлось тихимъ,
блѣднымъ закатомъ будничнаго, трудового дня...

На слѣдующее утро, во всеобщему изумленію, Бо-
рисъ Сергѣевичъ уѣхалъ съ Прыгуновымъ. Онъ обѣ-
щаль вернуться недѣли черезъ двѣ, самое позднее
черезъ три. Онъ уѣзжалъ съ большою тяжестью на
сердцѣ и прощаясь съ Наташей шепнулъ ей:

— Я былъ бы счастливъ, еслибы зналъ, что вер-
нувшись найду тебя иною, чѣмъ оставляю, такой,
какою увидѣлъ тебя въ первый разъ въ Знамен-
скомъ.

Она ничего ему не отвѣтила, только крѣпко, крѣпко поцѣловала.

Въ городѣ они застали Груню, привезенную еще наканунѣ изъ Горбатовскаго, и взяли ее съ собою. Отнынѣ и она поручена была заботамъ того же Кodrата Кузьмича.





XXVIII.

Надъ бездной.

По отъѣздѣ Бориса Сергѣевича почти всѣ въ домѣ замѣтили большую пустоту и даже испытали тоскливое чувство. Бываютъ такіе люди—они не шумятъ, не распоряжаются, не вмѣшиваются во все и во вся, не навязываются своими совѣтами и предложеніями; напротивъ, ихъ почти не видно и не слышно, а между тѣмъ они наполняютъ весь домъ своимъ присутствіемъ. Такіе люди приносятъ съ собою что то тихое, успокоивающее, примиряющее, и особенно если въ домѣ неладно—они являются благодѣтелями, въ нихъ всѣ безсознательно ищутъ поддержку и находятъ ее. И все это дѣлается такъ, само собою, никто даже не замѣчаетъ этого, не вдумывается откуда происходитъ такое цѣлящее и устрояющее жизненный порядокъ свойство человѣка. И когда этотъ человѣкъ далекъ, когда въ немъ нѣтъ нужды,

когда и безъ него идетъ все гладко—объ немъ конечно забываютъ, а вспоминая случайно, не цѣнить того невидимаго, но великаго добра, которое приносило его присутствіе.

Къ числу подобныхъ людей принадлежалъ и Борисъ Сергѣевичъ. Пока онъ былъ тутъ, гроза, собиравшаяся въ семьѣ Горбатовыхъ, все еще медлила разразиться—присутствіе его отстраняло ее.

Но вотъ онъ уѣхалъ и особенно Наташа почувствовала себя одинокой, безъ поддержки, предоставленной своимъ собственнымъ силамъ, которыя, она чувствовала, были слабы. Съ каждой минутой отсутствіе дяди тяготило ее больше и больше.

Остальные на слѣдующій же день уже стали незамѣчать образовавшейся по отъѣздѣ хозяина пустоты. Катерина Михайловна даже почувствовала себя гораздо лучше. Теперь она дѣлалась полной хозяйкой и ей казалось, что уже настало время исполненія ея завѣтныхъ мечтаній...

Прошло нѣсколько дней. Отъ Бориса Сергѣевича уже было получено письмо, заключавшее въ себѣ нѣкоторыя распоряженія по дому и извѣщавшее, что его пріѣздъ нѣсколько откладывается, такъ какъ ему придется съѣздить въ Петербургъ. Письмо это было адресовано Сергѣю, пришло во время завтрака, его читали громко.

— Въ такомъ случаѣ вѣрно я увижусь съ дядей въ Петербургѣ, сказалъ Николай.

— Это какимъ образомъ? спросила Катерина Михайловна.

— Я думаю на-дняхъ ѣхать.

— Какъ! Въ Петербургъ? зачѣмъ?! изумились всѣ. Только Наташа опустила глаза и ничего не сказала.

— Вотъ фантазія! даже обиженнымъ тономъ произнесла Мари.— Вѣчно выдумаетъ что нибудь ни съ тѣмъ несообразное.

Николай пожалъ плечами.

— Отчего же несообразное? еслибы не было нужно, еслибы не было дѣла—такъ не поѣхалъ бы.

— Да какія дѣла, я навѣрно знаю, что нѣтъ никакихъ и не можетъ быть!.. Приѣхалъ на все лѣто и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, уѣзжаетъ, и главное когда же — жара ужасная... Еще вчера я отъ тетушки получила письмо, пишетъ, что въ Петербургѣ просто задыхаются.

— А тѣмъ не менѣе я все же поѣду, сказалъ Николай такимъ тономъ, послѣ котораго, какъ Мари давно уже и хорошо знала, возражать ему и спорить было бесполезно.

Вдругъ Мари какъ будто сообразила что то, на апатичномъ лицѣ ея промелькнуло даже волненіе, ея губы нервно дрогнули.

— Впрочемъ хорошо, пожалуй и лучше, что ты ѣдешь... уѣзжай! сказала она.

Николай съ изумленіемъ взглянулъ на нее.

— Да, уѣзжай, повторила она уже почти шепотомъ, наклоняясь къ нему,—только вѣдь куда ты отъ себя не уѣдешь... куда!..

Онъ даже вздрогнулъ.

— Что это значитъ? спросилъ онъ.

— Ничего, отвѣтила она и погрузилась въ свою обычную неподвижность...

Николай весь день не могъ забыть странной фразы жены и невольно смущался ею. Обмануться было нельзя. Это вовсе не была случайная фраза. Мари очевидно знала, что такое говорить и зачѣмъ говорить—иначе она не сказала бы шепотомъ... да и лицо у нея было, когда она говорила, совсѣмъ особенное—прежде у нея никогда не бывало такого лица! Только въ это самое послѣднее время Николай сталъ замѣчать иногда у нея новое и каждый разъ смущавшее его выраженіе. Теперь онъ невольно сопоставлялъ и обдумывалъ поведеніе Мари съ нимъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ пріѣхалъ въ Знаменское.

„Она другая, совсѣмъ другая!“ рѣшалъ онъ.

Онъ думалъ, что уже давно изучилъ ее. Да и изучать то особенно было нечего. Она уже нѣсколько лѣтъ какъ бы для него не существовала, являлась обычнымъ, неизбѣжнымъ обстоятельствомъ, противъ котораго возмущаться нельзя, котораго отстранить невозможно, какъ какой нибудь физическій недостатокъ—сломанную руку или ногу, или потерянный глазъ, или горбъ.

Съ нѣкотораго времени однако ея существованіе, тутъ рядомъ, возлѣ, съ ея правами не только на внѣшнюю сторону его жизни, но и на частицу внутренней—вдругъ стало тяготить его, раздражать. Привычка и равнодушное, спокойное отношеніе къ этому неизбѣжному злу вдругъ какимъ то образомъ порвались. И хотя онъ продолжалъ хорошо понимать, что эта „сломанная рука“, что этотъ „горбъ“ неизбѣжны, но не могъ побѣдить въ себѣ тоски, негодованья, все чаще и чаще возбуждаемыхъ ими.

Было нѣсколько дней въ Знаменскомъ, когда, не-

смотря на обуревавшія его чувства, ему тоскливо хотѣлось вернуться къ Мари, найти въ ней что нибудь ему нужное, милое и завѣтное. Онъ искалъ, искалъ въ ней всего этого—конечно не находилъ, и возмущался еще больше, и тосковалъ еще сильнѣе, задыхался въ ея присутствіи.

Въ самые послѣдніе дни, со времени знаменскаго пожара, въ немъ появилось относительно Мари еще новое чувство. Онъ не могъ опредѣлить его, не зналъ какъ оно называется, зналъ только одно, что оно растетъ въ немъ съ каждымъ днемъ и начинаетъ его окончательно замучивать. Это чувство—былъ страхъ.

Да, онъ теперь боялся Мари, боялся ея правъ, о которыхъ она почему-то, что прежде съ нею случалось очень рѣдко, стала напоминать ему. Боялся онъ и еще чего то и вотъ наконецъ, послѣ ея фразы, сказанной за завтракомъ, онъ понялъ „чего“ боялся...

Наступилъ вечеръ; всѣ отпили чай въ большой столовой. Дѣти уже ушли спать. Выплывшая изъ-за деревьевъ луна озарила широкіе цвѣтники передъ домомъ своимъ матовымъ свѣтомъ, положила длинныя тѣни отъ всѣхъ предметовъ. Вечеръ былъ тихій и теплый, Николай хотѣлъ было пройти въ свою спальню, но вспомнилъ, что тамъ вѣдь столкнется съ Мари, что тамъ она царить и можетъ быть снова встрѣтитъ его какой нибудь фразой, какимъ нибудь словомъ, о смыслѣ которыхъ онъ не посмѣетъ даже и спросить ее...

„Нѣтъ, ни за что, ни за что!“

Ему хотѣлось уйти какъ можно дальше отъ этого дома, отъ этой спальни, отъ Мари. Ему захотѣлось

всю ночь пробродить въ этомъ тепломъ полусумракѣ...

Онъ вышелъ въ садъ и направился къ озеру, не замѣчая тихой нѣги, окружавшей его, которая, казалось, такъ и ластилась, такъ и нашептывала что то сладкое и завѣтное... Нѣтъ, въ немъ не было теперь мѣста сладкимъ грѣзамъ, какимъ онъ, бывало, любилъ предаваться въ такія тихія, лѣтнія ночи. Въ немъ влокотала буря, кипѣло сердце. Онъ страдалъ глубоко и не смѣлъ даже назвать себя своего страданья. И опять надъ нимъ звучали слова Мари:

„Никуда не уйдешь отъ себя, никуда“.

„Да, это правда! правда! никуда не уйдешь!..“

„Но какъ же она поняла это, и что она поняла? что? какъ? откуда могла она понять?.. и развѣ она понять можетъ... и развѣ ей нужно понимать это!.. Какое ей дѣло, что я для нея значу?!“

Въ немъ поднималась злоба.

„Да и нечего совсѣмъ понимать ей, нечего! нѣтъ... нѣтъ!..“ повторялъ онъ въ тоскѣ и отчаяніи.

Но въ то же время передъ нимъ мелькнула недавняя картина: онъ открываетъ глаза, въ первую минуту не понимая гдѣ онъ и что съ нимъ такое, только голова какъ бы налита свинцомъ и страшная слабость во всемъ тѣлѣ, а кругомъ мракъ. И вотъ изъ этого мрака все яснѣетъ и яснѣетъ чудное, милое лицо Наташи. Такъ близко... тутъ, сейчасъ!.. въ ея глазахъ онъ видитъ, ясно видитъ испугъ, мученье... любовь!.. А рядомъ съ этимъ лицомъ другое... лицо жены... Но она только какъ будто про-

мелькнула и онъ ея не видитъ. Онъ продолжаетъ глядѣть на Наташу, одна она передъ нимъ, одна въ цѣломъ мірѣ!..

Да, любовь, любовь! она не уйдетъ, не скроется теперь... Онъ все прочелъ въ ея взглядѣ, все понималъ!..

Этотъ мигъ прошелъ—онъ совсѣмъ очнулся, пріѣхалъ докторъ и Наташа опять далека, и попрежнему вѣетъ отъ нея холодомъ, и попрежнему она избѣгаетъ глядѣть на него, а если глядитъ, то уже ничего не говорятъ ему ея глаза, ея взгляды скользятъ мимо...

Но вѣдь это былъ не сонъ, не бредъ—это была она въ ту минуту, это она глядѣла!.. и онъ зналъ теперь, зналъ навѣрно то, что приводило его въ такой ужасъ, то, что поднимало вмѣстѣ съ тѣмъ въ груди его неизъяснимое, невыносимое блаженство...

„Скорѣе отсюда, скорѣе! повторялъ онъ,—завтра же уѣхать, уѣхать!.. А потомъ что?.. какъ жить? какъ жить?..“

И онъ только чувствовалъ одно, что нельзя, нельзя жить послѣ этого мига, послѣ этого взгляда.

Онъ провелъ холодной, дрожащей рукой по своему разгоряченному лбу и оглядѣлся. Онъ снова былъ теперь по дорожкѣ въ цвѣтникамъ и въ двухъ шагахъ отъ него, изъ-за кустовъ, сквозили посеребренные луннымъ свѣтомъ бѣлыя колонки бесѣдки.

Это была сквозная красивая бесѣдка въ греческомъ стилѣ. По срединѣ ея, на высокомъ мраморномъ пьедесталѣ, бѣлѣлась статуя. Давно, давно была построена эта бесѣдка. И многое она видѣла.

Въ ней часто, рука объ руку, сиживали въ такіе же свѣтлые лѣтніе вечера любимецъ императора Павла—Сергѣй Борисовичъ Горбатовъ со своей дорогой Татьяной Владиміровной. Сиживалъ въ ней и старый карликъ Моська, рассказывая маленькимъ мальчикамъ, Борису и Владиміру, удивительныя исторіи про житье-бытье въ Петербургѣ въ царствованіе императрицы Елисаветы, про ужасы французской революціи въ Парижѣ, про тихую жизнь гатчинскаго двора...

И въ этой же самой бесѣдѣ, когда Николая не было еще на свѣтѣ, раздавались страстные слова и поцѣлуи его матери, въ то время какъ уже нѣсколько прискучившій ея возлюбленный, графъ Шапскій, осторожно отстранялъ ее, боясь, что кто нибудь ихъ увидитъ...

Но ничего этого не зналъ Николай, врадѣ ли онъ когда нибудь и былъ въ этой бесѣдѣ, развѣ въ первые годы дѣтства, въ то время, о которомъ въ немъ не сохранилось даже и туманныхъ воспоминаній.

Безсознательно повернулъ онъ къ бесѣдѣ, поднялся по ея ступенямъ — и остановился. Передъ нимъ, на мраморной скамьѣ, озаренной луною, блѣдная, почти прозрачная какъ привидѣніе, въ своемъ бѣломъ прозрачномъ платьѣ, склонивъ голову сидѣла Наташа.

Онъ отшатнулся, онъ хотѣлъ было идти назадъ, но ноги его не послушались, будто какая то сила приковала его къ мѣсту... и тихо прошепталъ онъ:

— Наташа!!!

Она подняла голову, едва слышный стонъ вы-

рвался изъ груди ея. Но и она не шевельнулась. У него туманилась голова, онъ ничего не понималъ, ничего не соображалъ, онъ кинулся къ ней, схватилъ ея руки и упалъ передъ нею на колѣни.

— Наташа!! шепталъ онъ — и всѣ его муки, и весь ужасъ, вся тоска долгихъ, невыносимыхъ дней слышались въ его голосѣ. — Наташа, что же ты не бѣжишь отъ меня?!.. зачѣмъ не бѣжишь?.. вѣдь ты меня боишься... я тебѣ страшень... Наташа, бѣги же, бѣги!..

Онъ все крѣпче сжималъ ея руки и глядѣлъ на нее съ выраженіемъ ужаса и обожанія. И она не отнимала отъ него рукъ своихъ. Крупныя слезы одна за другою скатывались по ея блѣднымъ щекамъ.

— Мнѣ некуда бѣжать отъ тебя!.. наконецъ прошептали ея помертвѣлыя губы.

Еще одинъ мигъ — и все закружилось у нихъ передъ глазами, и сами не зная какъ, они очутились въ объятіяхъ другъ у друга. Ихъ слезы смѣшались, смѣшались ихъ безумные, жаркіе поцѣлуи...

Но это былъ только мигъ.

— Боже мой! крикнула Наташа отрываясь отъ него и закрывая лицо руками.

Онъ поднялся блѣдный и страшный, глаза его такъ и горѣли въ полумракѣ. И превыше всѣхъ мукъ и ужаса, превыше внезапнаго сознанія, что и этотъ мигъ прошелъ и никогда уже не вернется больше, — въ немъ горѣло и всего его наполняло, потрясая своей могучею силою, то великое, никогда еще неизвѣданное имъ блаженство, о которомъ гре-

зилъ онъ всю жизнь, котораго тщетно искалъ, которое стало наконецъ представляться ему несуществующимъ въ земной жизни.

— Прости! прошепталъ онъ найдя въ себѣ внезапную рѣшимость уйти. — Прости... завтра же я уйду...

Какъ безумный, выбѣжалъ онъ изъ бесѣды.





XXIX.

Отецъ.

— Загорѣлось! вотъ вѣдь характеръ! Выдумаетъ что нибудь—такъ вынь да положи! съ большой досадой говорилъ Сергѣй, узнавъ отъ Мари, что братъ уѣзжаетъ.

— И вѣдь онъ самъ вчера сказалъ: черезъ нѣсколько дней поѣду—а тутъ вдругъ: сегодня! И гдѣ онъ теперь?.. этакъ нельзя, я пойду, поговорю, онъ долженъ остаться, что за вздоръ такой въ самомъ дѣлѣ!!... Гдѣ онъ??..

— Съ утра еще заперся въ своемъ кабинетѣ, отвѣтила Мари,— да оставь ты его, не трогай, вѣдь ты знаешь: на него иногда находить такое... вотъ и теперь нашло... Говоришь съ нимъ, а онъ даже и не отвѣчаетъ... Нѣтъ; право, пусть ужъ лучше ѣдетъ...

— Когда же?

— Великъ уложить вещи и приготовить лошадей сейчасъ послѣ обѣда. Ночевать хочеть въ городѣ, а завтра чуть свѣтъ въ дорогу...

Сергѣй пожалъ плечами и ушелъ. Онъ самъ былъ въ дурномъ настроеніи духа. Наташа его напугала. Она почти не спала всю ночь и онъ, нѣсколько разъ просыпаясь, слышалъ, что она плачетъ. Утромъ она объявила, что больна, и не вышла изъ спальни. Онъ сказалъ ей, что сейчасъ же самъ поѣдетъ въ городъ за докторомъ, но она просила его не дѣлать этого и просила такъ рѣшительно, что онъ не смѣлъ ослушаться. Онъ хотѣлъ было остаться съ нею—она сказала ему:

— Уходи, уходи, мнѣ ничего не надо, я прошу только оставить меня одну!.. все пройдетъ... пожалуйста оставь меня... и никому, слышишь ли, не говори, что я нездорова, я выйду къ завтраку...

Онъ невольно задумался. Какъ ни былъ онъ безпеченъ и легкомысленъ, все же переменѣна, происшедшая въ Наташѣ въ послѣднее время, не могла ускользнуть отъ него.

— Неужели это я надѣлалъ своимъ дурацкимъ признаніемъ?!

И можетъ быть въ первый разъ въ жизни онъ раскаявался въ томъ что сдѣлалъ.

Ему хотѣлось забыться и онъ рѣшился совершить большую прогулку пѣшкомъ, до усталости, что часто помогало ему въ затруднительныя минуты. Онъ крикнулъ Гектора, своего любимого сетера, и выпелъ съ нимъ изъ дома.

„Кстати навѣдаюсь въ Знаменское! думалъ онъ, — посмотрю что тамъ дѣлается“.

Онъ пошелъ лѣсной опушкой, избѣгая пыльной дороги. У поворота изъ лѣса къ Знаменскому онъ издали замѣтилъ пыльный городской тарантасъ, запряженный парюу уставшихъ, потныхъ лошадей.

„Чудеса! подумалъ онъ остановясь, — кому это ѣхать по знаменской дорогѣ въ Горбатовское?!“

Онъ взглядѣлся, но за пылью ничего не могъ разглядѣть.

„Э, да чортъ его возьми! какое мнѣ дѣло!“ рѣшилъ онъ, свиснулъ Гектора и пошелъ дальше...

Между тѣмъ тарантасъ приближался къ Горбатовскому и уже былъ въ виду самой усадьбы, когда сидѣвшій въ немъ человекъ крикнулъ извозчику:

— Стой!

Лошади остановились. Изъ тарантаса не безъ труда вышелъ щегольски одѣтый, но какъ то по иностранному, старикъ, и на ломанномъ русскомъ языкѣ объяснилъ извозчику, чтобы онъ подождалъ его тутъ въ тѣни у ручья, что самое большее черезъ часъ онъ вернется и поѣдетъ обратно.

Извозикъ почесалъ въ головѣ и покачалъ головою.

— Эхъ, баринъ, баринъ! сказалъ онъ, — ужъ какъ это мы будемъ вертаться — я и не знаю! лошадей больно запарили... Часъ времени — много ли, не отдохнуть въ часъ времени!..

Баринъ вслушался и сердитымъ голосомъ сказалъ:

— А да я жъ тебя и нанималъ такъ, чтобы назадъ до города.

— Да нанимать вы извоили въ Знаменское, а не въ Горбатовское.

— А ты бы мнѣ сказалъ, что Знаменское сгорѣло.

→ Чего мнѣ говорить; подражаютъ въ Знаменское—я и везу.

Старикъ совсѣмъ разсердился.

— Коцапъ, глупый коцапъ, крикнулъ онъ,—два карбованца прибавлю тебѣ и ты молчать, жди меня здѣсь...

Онъ направился къ дому, сильно опираясь на щегольскую трость и нѣсколько волоча правую ногу. Теперь, при яркомъ солнечномъ освѣщеніи, видно было, что жизнь, да вдобавокъ еще и не спокойная, а бурная, положила свой отпечатокъ на лицо этого человѣка. Онъ не только былъ старъ, но и дряблъ; все лицо его было въ морщинахъ, подъ глазами образовались мѣшки.

Но все же на этомъ старомъ и дрябломъ лицѣ сохранились еще кой какіе слѣды прежней красоты. Черные какъ уголья глаза еще вспыхивали. Вся его фигура, его обдуманый костюмъ, изобличали въ немъ человѣка хорошаго общества, и при томъ видно онъ до сихъ поръ занимался собою. Онъ и теперь вдругъ остановился, вынулъ изъ кармана складной гребешокъ и бережно расчесалъ имъ свои длинные сѣдые усы, потомъ тонкимъ батистовымъ платкомъ обмахнулъ пыль со своего пальто и пошелъ дальше.

Подойдя почти къ самому дому, онъ сталъ пристально его оглядывать, потомъ обошелъ нѣсколько, видимо поджидая, не выйдетъ ли ктонибудь. Замѣтивъ выпедшаго и остановившагося у воротъ чело-

вѣка, онъ направился къ нему и еще издали зама-халь ему рукою.

Отъ этого человѣка онъ узналъ, что Борисъ Сергѣевичъ „уѣхамши“ (впрочемъ онъ уже и зналъ это), что барыня Катерина Михайловна дома и сейчасъ были въ саду, а теперь прошли и находятся, надо полагать, на террасѣ.

— А ты, любезный, обойди да взгляни—если на террасѣ госпожа... вернись и мнѣ скажи.

И говоря это онъ сунулъ въ руку человѣка цѣлковый. Тотъ даже не поблагодарилъ, быстро кинулся исполнять приказаніе. Вернувшись черезъ минуту, онъ объявилъ:

— Такъ точно, барыня на террасѣ.

— Одна?

— Одиѣ. Прикажете доложить?

— Нѣтъ, не надо. Вѣдь это такъ, сюда? я дорогу знаю!..

Онъ дѣйствительно зналъ дорогу и, насколько позволяла не совсѣмъ послушная правая нога, быстро направился къ террасѣ черезъ маленькую калитку. Онъ взомель по ея ступенямъ, увидѣлъ сидѣвшую старушку, которая съ изумленіемъ на него взглянула. И на его лицѣ тоже промелькнуло нѣчто въ родѣ изумленія. Но онъ тотчасъ же овладѣлъ собою, снялъ шляпу, причемъ показался еще болѣе старымъ, такъ какъ на головѣ было очень мало волосъ, и почтительно поклонился.

Катерина Михайловна, продолжая смотрѣть на него съ изумленіемъ, кивнула головою въ отвѣтъ на его поклонъ и спросила:

— Что вамъ угодно?

Въ ея голосѣ прозвучала даже робость, почти страхъ. „Что это такое?! Откуда взялся этотъ старикъ. И каковы это люди то! пускаютъ такъ прямо, безъ доклада!..“

— *Madame ne reconnait plus un vieil ami?* сказалъ старикъ и, продолжая говорить по французски, добавилъ:

— Впрочемъ немудрено, столько лѣтъ!.. отъ меня ничего не осталось...

Звукъ этого голоса заставилъ ее вздрогнуть.

Она взглянула, поблѣднѣла, встала было, на ея лицѣ изобразился ужасъ. Она сдѣлала движеніе, какъ будто хотѣла уйти; но пошатнулась и сѣла опять въ кресло.

— Вы? вы? здѣсь! — шептали ея дрожащія губы. — Зачѣмъ?!

— А все же узнали! улыбнулся и сверкнулъ глазами старикъ. — Я очень счастливъ, а то былъ уверенъ, что ужъ никто меня не узнаетъ!.. Позвольте сѣсть? — я усталъ...

Не дожидаясь отвѣта, онъ придвинулъ себѣ стулъ и спокойно усѣлся.

Катерина Михайловна все еще не могла прійти въ себя. Въ появленіи этого старика, друга, о которомъ она не думала, и уже въ особенности теперь, было для нея столько ужаснаго. Въ ней поднялась тоска, заговорилъ страхъ...

„Какое счастье что нѣтъ Бориса! подумала она. — Но откуда онъ явился, откуда взялся? какъ смѣлъ явиться?..“

И тоска и страхъ, вызванные неожиданностью этого появленія, уступили мѣсто негодованію. Теперь

блѣдность смѣнилась на ея лицѣ яркой краской. Мало-по-малу она овладѣла собою и взглянула ему въ глаза со всею ненавистью, на какую была способна.

— Графъ! сказала она—и пренебреженіе прозвучало въ ея голосѣ, — вы просто испугали меня, я никого не ждала и не привыкла, что ко мнѣ входить безъ доклада... но я должна вамъ сказать, что и теперь.. вашъ пріѣздъ меня изумляетъ... Я, кажется, не подала вамъ никакого повода... я считала васъ все же благовоспитаннымъ человѣкомъ. и думала, что мы съ вами давно незнакомы и не встрѣтимся больше, а ужъ особенно—у меня!..

Онъ нисколько не смутился.

— Ахъ, какъ вы недюбезны! сказалъ онъ.

И снова ей стало тяжело и неловко, и снова ей захотѣлось уйти, исчезнуть, спрятаться отъ этого человѣка съ его холодной, злой усмѣшкой на дрябломъ лицѣ, съ его горящими, страшными глазами.

— Намъ нечего объясняться! произнесла она на-конецъ. — Скажите мнѣ только, что привело васъ сюда, что вамъ надо отъ меня? — наши счета. такъ давно кончены...

Онъ медленно покачалъ головою.

— Да, мы давно разстались съ вами, заговорилъ онъ,—давно... вѣдь ужъ около тридцати лѣтъ—цѣлая вѣчность!.. Мы разстались послѣ ссоры... вы обвиняли меня, мнѣ казалось, что главнымъ образомъ виновать не я, а вы; но вѣдь... это было такъ давно!.. много ли отъ насъ теперь осталось?!—и вы, и я уже не тѣ... Теперь мы можемъ глядѣть на прошлое спокойно, должны забыть все неприятное,

что было между нами... Я давно это сдѣлалъ... Я помню только хорошія минуты и вотъ, на склонѣ моей печальной жизни, какъ говорятъ поэты, мнѣ хотѣлось еще повидать васъ — и я передъ вами, а вы такъ дурно меня встрѣчаете... Да протяните же руку, старый другъ! неужели я ѣхалъ столько верстъ, трясясь въ этихъ ужасныхъ русскихъ тарантасахъ, чтобы вы меня отъ себя прогнали...

Но она не давала ему руки. Она презрительно усмѣхнулась.

— Неужели вы думаете, сказала она, — что я повѣрю этому вздору? развѣ я васъ не знаю... видите — я очень терпѣлива; но не злоупотребляйте же моимъ терпѣніемъ... объясните мнѣ дерзость вашего прѣзда!

— А!.. если такъ! прошепталъ онъ — и на мгновеніе остановился. Лицо его передернуло, онъ устремилъ на Катерину Михайловну пристальный, пронизывающій взглядъ и добавилъ:

— Если такъ, я скажу вамъ истинную причину — я желаю видѣть моего сына...

У Катерины Михайловны все закружилось передъ глазами. Она едва удержалась отъ крика, который готовъ былъ вырваться изъ груди ея. Она хотѣла кинуться на этого старика и задушить его собственными руками.

А онъ говорилъ:

— Да, я слишкомъ долго маялся въ жизни и вотъ теперь, на старость лѣтъ остался одинъ, безъ родныхъ, безъ друзей... Я испыталъ всякія превратности, меня бросало и внизъ и вверхъ... и наконецъ я потерялъ не только близкихъ людей, но и

состояніе... И вотъ я вспомнилъ, что далеко, въ Россіи, у меня есть близкое существо—мой сынъ... И хотя слишкомъ поздно, быть можетъ, но я почувствовалъ, что онъ мнѣ дорогъ, что я люблю его... я пустился въ путь, пріѣхалъ сюда, хочу его видѣть, и увижу... Я знаю, что онъ здѣсь...

Она снова была блѣдна какъ полотно. Она поняла, что поймана и что не вырвется изъ накинутыхъ на нее сѣтей, что этого человѣка не образумишь, не разжалобишь, не уговоришь. Она слишкомъ хорошо его знала.

Едва ворочая своимъ сухимъ языкомъ и стараясь придать спокойствіе голосу, она произнесла:

— Вы понимаете, что это вздоръ! какой сынъ? у васъ нѣтъ сына! вы очевидно хотите мнѣ мстить, вы желаете непріятности, скандала въ моей семьѣ... Но подумайте: я не беззащитна... нельзя безнаказанно врываться въ домъ для того, чтобы дѣлать дерзости хозяйкѣ...

— Вы говорите необдуманно! спокойнымъ тономъ отвѣтилъ старикъ.—Я именно и не хочу скандала, а вы, кажется, его сами желаете.

— Но онъ не повѣритъ вамъ!.. онъ какъ слѣдуетъ отвѣтитъ на обиду, которую вы наносите его матери!..

— Вы намѣреваетесь возстановить сына противъ отца...

Она вся дрожала какъ въ лихорадкѣ и будто сквозь туманъ и мракъ слышала страшный голосъ, говорившій:

— ... но я обдумалъ все... у меня съ собой до-
"изгнанника".

казательства того, что онъ мой сынъ... ваши письма... онъ долженъ будетъ имъ повѣрить!..

„Все кончено!“ съ отчаяніемъ подумала она, и новая страшная мысль пришла ей въ голову:

„А вдругъ кто нибудь ихъ слышитъ?!“

— Ради Бога, — тише! прошептала она.

— Не безпокойтесь!

Онъ всталъ, заглянулъ въ дверь, ведущую изъ террасы въ залу, и вернулся на свое мѣсто.

— Никого нѣтъ — и къ тому же я говорю тихо... вотъ вы... почти кричите!

— Продайте мнѣ эти проклятыя письма! сказала она, — вы говорите, что потеряли состояніе, вамъ нужны деньги... Продайте мои письма и уѣзжайте, оставьте меня въ покоѣ... Что все это стоитъ?

И въ тоже время она думала:

„А что если я только этимъ доведу его до крайности... оскорблю его?!.. но нѣтъ, нѣтъ... онъ такъ...“

Все же она испугалась словъ своихъ, а между тѣмъ эти слова очевидно не произвели на него особеннаго дѣйствія, онъ оставался спокоенъ и, не опуская глазъ, тихо выговорилъ:

— Дорого все это стоитъ... да я полагаю: вы и не думаете, что я могу дешево продать эти письма и мое молчаніе... Вы сами поставили этотъ вопросъ... хорошо — поговоримъ... Мнѣ надо пятьсотъ тысячъ... Конечно это не маленькая сумма, но для госпожи Горбатовой она не представитъ особеннаго затрудненія...

— Пятьсотъ тысячъ! Боже мой, да откуда я

возьму эти деньги? Я совсѣмъ разорена! я и подумать не могу о такой суммѣ!

— Вы разорены?... я не зналъ этого... тѣмъ хуже!.. впрочемъ — во всякомъ случаѣ мы можемъ условиться... Я разсрочу... на первое время вы мнѣ дадите всего пятьдесятъ тысячъ, а затѣмъ будете платить проценты.

Она мучительно задумалась. Она соображала.

— Я и пятидесяти тысячъ не могу! все что у меня есть теперь, это двадцать тысячъ... я готова, я дамъ вамъ ихъ сейчасъ... а вы отдайте мнѣ мои письма!..

Онъ покачалъ головою.

— Какъ это ни странно... такая бѣдность ваша; но я готовъ повѣрить вамъ, что больше двадцати тысячъ у васъ нѣтъ... хорошо, я возьму ихъ; но писемъ вамъ, конечно, не отдамъ... Я возьму деньги и уѣду, а затѣмъ, когда вы вернетесь въ Петербургъ, мы съ вами сговоримся и тогда увидимъ... согласны?..

Она съ отвращеніемъ, какъ на страшнаго и противнаго гада, на него взглянула, хотѣла что то отвѣтить; но въ это мгновеніе въ залѣ послышались шаги и на террасу вышелъ Николай.

Онъ направился было къ матери, но замѣтилъ незнакомаго человѣка и остановился въ изумленіи.

Старикъ всталъ, окинулъ Николая быстрымъ взглядомъ, поклонился ему и, обращаясь къ Катеринѣ Михайловнѣ, сказалъ:

— Познакомьте насъ!

Ея губы зашевелились; но она не произнесла ни звука. Она чувствовала, что вотъ, вотъ сейчасъ не

выдержать и упадетъ. Вся терраса такъ и ходила, такъ и вертѣлась передъ ея глазами, въ виски стучало, захватывало дыханіе.

Она собрала всѣ силы и не своимъ голосомъ произнесла:

— Графъ Щапскій...

А затѣмъ, обратясь въ нему, прибавила:

— Я вернусь, принесу бумаги, о которыхъ мы говорили...

И она вышла въ залу, тихо, едва передвигая ноги, держась за мебель, не зная какъ дойдетъ до своихъ комнатъ.



ИЗГНАННИКЪ.

(ХРОНИКА ЧЕТЫРЕХЪ ПОКОЛѢНІЙ).

Всеволода Соловьева.

Продолженіе романовъ „СЕРГѢЙ ГОРБАТОВЪ“,
„ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦЪ“ и „СТАРЫЙ ДОМЪ“.

ИЗГНАННИКЪ.

(ХРОНИКА ЧЕТЫРЕХЪ ПОКОЛѢНІИ).

Продолженіе романовъ
„СЕРГѢЙ ГОРБАТОВЪ“, „ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦЪ“ и „СТАРЫЙ ДОМЪ“.

Всеволода Соловьева.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Изданіе А. Ф. МАРКСА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. Ф. Маркса, Сред. Подъячская, д. № 1.

1885.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Старый кремень.

Снова коляска Бориса Сергѣевича спускается отъ Пречистенскихъ воротъ; но теперь она не заворачиваетъ къ Зачатѣвскому монастырю. Добрые кони мчатъ прямо по Остоженкѣ, затѣмъ сворачиваютъ въ одинъ изъ узкихъ, кривыхъ переулковъ и останавливаются у досчатого, выкрашеннаго въ дикую краску забора, который сверху весь утыканъ, отъ воровъ и кошекъ, длинными острыми гвоздями. За заборомъ густо разрослись кусты акации и сирени, далѣе поднимаются вершины старыхъ тѣнистыхъ деревьевъ. Вотъ и ворота, вотъ и домикъ, небольшой домикъ съ мезониномъ.

Но и домикъ и ворота совсѣмъ не таковы, какъ у Кодрата Кузьмича. Все это старо, но видно заботливый хозяйскій глазъ слѣдилъ за тѣмъ, чтобы

скрыть слѣды этой старости. Ворота носить на себѣ признаки недавней починки. Домъ выкрашенъ, какъ и заборъ сада, въ дикенскій, пріятный для глаза цвѣтъ. Стекла оконъ такъ и блестятъ на солнцѣ; ставни ярко-зеленаго цвѣта, также какъ и крыша. На воротахъ съ каждой стороны надъ двумя калитками, изъ которыхъ, впрочемъ, только одна — настоящая калитка, а другая фальшивая, для симетріи, — прибиты двѣ желтыхъ доски. На одной рука „живописныхъ дѣлъ мастера“ изобразила:

„Сѣй домъ пренадлѣжить дворянки Капитолинѣ Ивановнѣ Мионовой Пречистенской части 3-ва кв.“

На другой: „Свободенъ отъ постоя“.

Борисъ Сергѣевичъ вышелъ изъ коляски и позвонилъ у калитки. На его звонокъ тотчасъ отозвался собачій лай.

„Ну, подумалъ онъ, вспомнивъ свой визитъ Прыгунову,—и тутъ будетъ та же исторія!“

Но онъ ошибся, ему не пришлось долго дожидаться. Калитка отворилась и выглянувшая изъ-за нея служанка вовсе не была похожа на придурковатую и грязную прислужницу Прыгуновыхъ,—напротивъ, это была степенная, почти даже важнаго вида женщина и весьма опрятная.

Она съ изумленіемъ взглянула на Горбатова, но когда онъ спросилъ дома ли Капитолина Ивановна,—очень любезно объяснила ему, что Капитолина Ивановна дома, что она въ саду, въ бесѣдкѣ.

— Пожалуйте, сударь, сказала она,—вотъ сюда...

Дворъ былъ маленькій, но чисто выметенный, на немъ не расхаживали куры, собакъ была всего одна, да и та на цѣпи.

— Вотъ-съ, въ калитку, въ калитку пожалуйста! говорила служанка.—Капитолина Иваповна такъ и наказали: коли кто въ нимъ, такъ въ садъ проводить, въ бесѣдку... Вотъ тутъ... все прямо, прямо по этой дорожкѣ. Да позвольте, я впередъ пройду—упредить ихъ...

— Пожалуйста! сказалъ Борисъ Сергѣевичъ и пропустилъ служанку, которая быстрымъ шагомъ направилась прямо по дорожкѣ.

Онъ медленно послѣдовалъ за нею.

„Какъ здѣсь хорошо!“ невольно подумалъ онъ.

Онъ только что пріѣхалъ изъ Горбатовскаго, изъ своего громаднаго роскошнаго дома, изъ чуднаго парка, наполненнаго всѣми затѣями стараго барства; но не смотря на все это, маленькій садикъ казался ему привлекательнымъ: въ немъ вѣяло какой то особенной тишиною.

Узенькая, усыпанная желтымъ пескомъ дорожка была чисто, чисто выметена. По обѣимъ сторонамъ ея шли грядки съ цвѣтами, старые кусты акаціи были тщательно подстрижены. За двумя развѣсистыми кленами, которыми оканчивалась эта дорожка, виднѣлся небольшой огородъ...

Вдругъ, гдѣ то близко, Борисъ Сергѣевичъ услышалъ старческий голосъ, ворчливо говорившій:

— Такъ что же это ты, мать моя, совсѣмъ что ли одурѣла?! невѣдомо какого человѣка прямо сюда тащишь!..

Онъ остановился, хотѣлъ было повернуть назадъ; но это оказалось поздно. Онъ былъ передъ маленькой деревянной бесѣдкой. Въ бесѣдкѣ стоялъ бѣлый

некрашенный столъ, на немъ блюда съ вычищенной малиной, банки. Возлѣ бесѣдки помѣщалась жаровня и на ней, въ ярко вычищенномъ мѣдномъ тазу, варилося, покрываясь бурливо поднимающейся пѣной, варенье.

У жаровни стояла дѣвочка лѣтъ двѣнадцати въ опрятномъ ситцевомъ платьѣ, съ прилизанными желтоватыми волосами, съ очень скромнымъ и нѣсколько запуганнымъ видомъ. Она вѣткой отгоняла ося, со всѣхъ сторонъ налетающихъ на варенье.

Переведя глаза во внутренность бесѣдки, Борисъ Сергѣевичъ увидѣлъ озадаченную фигуру уже знакомой ему служанки, а за нею и Капитолину Ивановну.

Онъ не могъ ошибиться—это была она, по описанію Прыгунова. Маленькая толстая старушка, съ короткой шеей, съ круглой спиной. Она была совсѣмъ некрасива: большой, неопредѣленной формы, обвисшія и теперь горѣвшія отъ жару и раздраженія щеки, нѣсколько ввалившійся, почти беззубый ротъ, маленькіе сѣрые, сохранившіе ясность и живость глаза, сѣдоватая брови, выведенныя въ видѣ вопросительныхъ знаковъ, рѣдкіе сѣдые волосы, гладко причесанные и напوماженные. На головѣ чепчикъ съ кружевцами и лиловыми ленточками, коричневое полубатистовое платье съ бѣлыми мушками...

Все это мелькнуло передъ Борисомъ Сергѣевичемъ; но онъ пока главнымъ образомъ замѣтилъ только, что въ этой простенькой и некрасивой толстой старушкѣ есть нѣчто особенное, чего ему не часто приходилось встрѣчать въ людяхъ. Она взгля-

нула на него и подъ ея взглядомъ онъ какъ то невольно смутился, будто спросилъ себя:

„То ли онъ дѣлаетъ, что нужно?“

А она между тѣмъ уже къ нему обратилась:

— Прощу извинить, сказала она, видимо однако ничуть не смущаясь, — незнакомыхъ людей у меня не бываетъ... Эта женщина не догадалась просить васъ въ домъ... Съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить?

Борисъ Сергѣевичъ себя назвалъ.

Старушка изъ красной сдѣлалась багровой, сердитый огонекъ блеснулъ въ ея глазахъ. Но это было только мгновеніе. Она тотчасъ же оправилась и, горделиво поклонившись гостю, проговорила:

— Здѣсь вамъ будетъ совсѣмъ неудобно, прошу за мною въ домъ.

— Машка! прибавила она обращаясь къ дѣвочкѣ, — смотри ты у меня, не упусти варенье! Да и ты тутъ оставайся, Лузерья...

— Слушаю-съ! не безъ робости отвѣтила провинившаяся женщина.

Капитолина Ивановна важно, хотя и съ маленькой перевалкой, пошла впередъ, указывая гостю дорогу. Вотъ они поднялись по ступенькамъ маленькаго балкончика и вошли въ залу. Это была свѣтлая просторная комната, вся бѣлая — и обои бѣлыя, и полъ бѣлый некрашенный, гладкій, блестящій какъ слоновая кость, и старая мебель въ бѣлыхъ чохлахъ, даже зеркало занавѣшено отъ мухъ бѣлой кисеей. Только и было цвѣтного во всей комнатѣ, что у каждаго окошка деревянныя, покрашенныя въ зеленый цвѣтъ горки съ горшками цвѣтовъ.

Капитолина Ивановна нѣсколько мрачно указала гостю на диванъ:

— Сядьте сюда, здѣс. вамъ будетъ удобнѣе.

А сама придвинула себѣ кресло, усѣлась и смотрѣла на Бориса Сергѣевича пристальнымъ взглядомъ. Ему рѣшительно становилось неловко подъ этимъ взглядомъ.

„Пренепріятная старуха“, невольно подумалъ онъ. Но опять таки было въ ней что то такое, что его заинтересовало.

— Теперь прошу васъ объяснить мнѣ, какое дѣло могло привести васъ ко мнѣ? Зачѣмъ я вамъ понадобилась?

Ея взглядъ сдѣлался совсѣмъ строгимъ и вопросительные знаки, т. е. брови сдвинулись образуя на лбу безчисленныя морщины.

— Если вы вспомните вашъ послѣдній разговоръ съ Кодратомъ Кузьмичемъ Прыгуновымъ, то поймете по какому случаю я рѣшился беспокоить васъ, Капитолина Ивановна.

Капитолина Ивановна изъ багровой сдѣлалась совсѣмъ синей, такъ что становилось за нее почти страшно. Она пожевала губами и кинула теперь уже откровенно сердитый взглядъ на гостя.

— Такъ-съ, произнесла она,—понимаю, понимаю теперь все. Но если это вы послали ко мнѣ Прыгунова, то, полагаю я, вамъ извѣстно и то, что я ему отвѣтила?

— Извѣстно...

— Такъ чего же вамъ еще отъ меня угодно?

— Вы сказали, что всѣ умерли.

— Да-съ!

— Въ такомъ случаѣ не будете ли такъ добры подробно объяснить мнѣ, какъ они умерли.

— А зачѣмъ бы это знать вамъ, сударь? Только буду просить я васъ, батюшка, — не ведите вы со мною политику... я, признаться сказать, терпѣть этого не могу!..

— И я тоже этого терпѣть не могу, сказалъ вслѣдъ за нею Борисъ Сергѣевичъ, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

Она какъ то поежилась и кашлянула. Дѣло въ томъ, что этотъ неожиданный гость, помимо ея воли, начиналъ производить на нее хорошее впечатлѣніе.

„Какое у него прекрасное и благородное лицо!“ подумала она про себя, но тотчасъ же и постаралась снова стать сердитой.

А Борисъ Сергѣевичъ продолжалъ:

— Я прямо и откровенно скажу вамъ все, такъ будетъ гораздо лучше, или вотъ что—прочту я вамъ нѣсколько строкъ одного письма.

Онъ вынулъ находившееся при немъ письмо покойнаго брата и прочелъ все, что касалось до Петруши и его матери.

— Т-а-къ! протянула Капитолина Ивановна,—но только все это напрасно...

— Какъ напрасно?! изумленно воскликнулъ Борисъ Сергѣевичъ. Мнѣ тяжело осуждать умершаго брата да и бесполезно это; онъ былъ конечно очень виноватъ, но видите — и самъ страдалъ за свою вину, какъ это почти всегда бываетъ въ жизни...

Онъ поручилъ мнѣ, насколько возможно, исправить сдѣланное имъ зло... Это предсмертная его просьба и конечно я не могу оставить ее безъ вниманія—вы вѣдь понимаете это!..

— Такъ-съ! протянула опять Капитолина Ивановна,—все это прекрасно и конечно ваши дѣйствія достойны всякой похвалы—но видите ли, батюшка, поздно ужъ очень!.. какъ сказала я Прыгунову, Кократу Кузьмичу, такъ и вамъ повторяю:—нѣтъ ихъ на свѣтѣ — умерли! что же съ этимъ подѣлаешь! Кому же вы благодѣтельствовать то будете?! и что я еще могу сказать вамъ?! Вы узнали, не понимаю какимъ способомъ, что мнѣ это дѣло извѣстно, спрашиваете меня—я не отпираюсь. Да, батюшка, знала я, хорошо знала несчастную соблазненную вашимъ покойнымъ братомъ дѣвушку. Была она дочерью воспитанницы моей матушки. Матушка воспитанницу свою выдала замужъ, пристроила за человѣка хорошаго, непьющаго, ну само собою, не за дворянина—купцомъ онъ былъ... Сашеньку я помню совсемъ маленькой... Жили они сначала въ Москвѣ, а затѣмъ отецъ ея получилъ въ наслѣдство лавку въ Петербургѣ — вотъ и переѣхали они тогда. Да ужъ видно такова воля Божья—умеръ онъ тамъ, а за нимъ и жена скоро. Осталась Сашенька сироткой, на рукахъ у отцовой родни, да непутные то люди оказались, не уберегли ее... Подвернулся вашъ братецъ, важный баринъ, собою красавецъ... Ну, какъ они тамъ все это... вспоминать не хочу!.. Писала мнѣ Сашенька, да долго скрывалась отъ меня, а потомъ и не выдержала. А у меня къ тому же времени дѣло въ Петербургѣ оказалось, я и собралась,

и поѣхала. Приѣхала и вижу: срамъ и позоръ! Она конечно, что же... дѣвушка простая... (голосъ Капитолины Ивановны дрогнулъ).— Обидѣть ее и не церемониться съ нею не грѣхъ важному барину! Можетъ у него и не одна она такая была... за честь должна была считать. Ну, а я то вотъ, извините вы меня, за безчестіе почла. Объяснила ей все, послушалась она меня... да и несчастна больно была... Увезла я ее. Съ тѣхъ поръ вѣдь болѣе тридцати годовъ прошло! Увезла я ее ужъ больную, и года не протянула моя Сашенька—скончалась... а за нею и мальчикъ... Вотъ вамъ и весь мой сказъ!..

Борисъ Сергѣевичъ покачалъ головою и пристально, будто магнетизируя Капитолину Ивановну, сталъ смотрѣть ей въ глаза. И чудное дѣло — не выдержала она его взгляда, неловко ей такъ подымъ стало.

„Да что же онъ въ меня уставился?! сердито думала она,—чего это въ душу то заглядываетъ?“

— Не хорошо! спокойно проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ, — не хорошо это — затѣмъ вы меня обманываете? Вѣдь я знаю что они живы, а если мать и умерла, такъ ужъ ребенокъ то живъ навѣрно!

— Знаете?.. какъ знаете?.. откуда? снова вся вспыхивая прошептала Капитолина Ивановна,—кто могъ вамъ выдумать это, когда они умерли...

— Я не знаю вашей цѣли, сказалъ онъ,—если вы рѣшились скрывать отъ меня и молчать—что же я могу съ этимъ сдѣлать! Одно только знайте,—я этого дѣла не оставляю. Люди такъ не пропадаютъ. Если они дѣйствительно умерли, то потрудитесь мнѣ представить тому доказательства.

— Не нахожу нужнымъ даже и этого, батюшка, не нахожу нужнымъ...—нѣсколько разъ упорно повторила Капитолина Ивановна, глядя на гостя вызывающимъ взглядомъ.

— А впрочемъ, прибавила она,—потрудитесь обратиться на Ваганьковское кладбище — тамъ я ихъ схоронила...

„Ну, что же ты... Ну чего еще ждать... Ну и уходи...“ думала она.

Онъ взялъ шляпу и поднялся съ дивана.

— Извините, сказалъ онъ,—я пришелъ къ вамъ не со зломъ и не знаю, зачѣмъ вамъ нужно лишать человѣка того, что, можетъ быть, составитъ его счастье.

— То же вотъ самое и дѣлецъ вашъ, Кодратъ Кузьмичъ, мнѣ говорилъ,—уже совсѣмъ насмѣшливо воскликнула Капитолина Ивановна.—Только мнѣ все невдомѣкъ: какое такое счастье вы бы принесли этому незаконнорожденному сыну вашего брата, если бы онъ и въ живыхъ былъ? Вѣдь признать его законнымъ, дать ему вашу знаменитую фамилію вы не можете... Что-жь! обогатить его—это вы что ли подразумеваете? Такъ развѣ въ богатствѣ—счастье? Да сами то вы, будучи богаты и знатны, испытали вы счастье отъ богатства и знатности? Если было у васъ счастье въ жизни, такъ откуда пришло оно—деньги его дали, что ли? — такъ то, государь мой, ужъ коли на то пошло!..

И она глядѣла все съ той же насмѣшливой улыбкой.

— Да, вы правы, откровенно признался онъ;—

но я долженъ исполнить волю покойнаго брата и этотъ сынъ его—мнѣ не чужой. Еслибы я нашелъ его, я далъ бы ему не однѣ деньги, я былъ бы ему роднымъ и близкимъ человекомъ, и можетъ быть это на что нибудь ему бы и пригодилось.

— У васъ есть другіе родные... есть племянники законные...

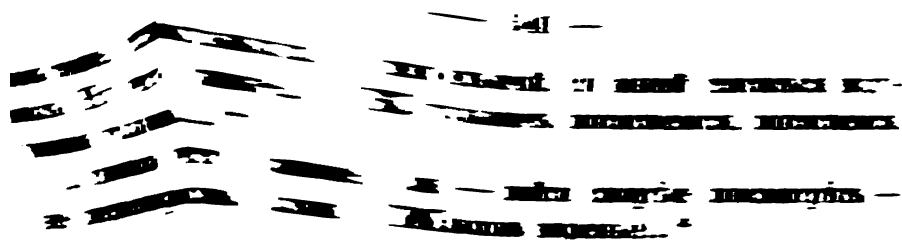
Невольно заняло его сердце при этомъ словѣ.

— Любите ихъ, этихъ вашихъ наслѣдниковъ, любите ихъ—и они пусть васъ любятъ. А ужъ Петрушу бѣднаго оставьте въ его могилѣ...

„Что же это? думалъ Борисъ Сергѣевичъ, — ошибся что ли Прыгуновъ? Правду она говоритъ или нѣтъ? Есть что то, есть!.. Крѣпкая старуха... И вѣдь справедливо рассуждаетъ... и нечего ей отвѣтить...“

Онъ раскланялся и вышелъ. Капитолина Ивановна любезно проводила его и затѣмъ, подойдя къ окошку, смотрѣла какъ онъ садился въ коляску.

„Что, небось смутила я тебя? думала она. — Правда вѣдь, батюшка, правда! — нечего сказать, важны очень! Эхъ, благодѣтели... благодѣтели!.. Надсмѣяться надъ человекомъ, изуродовать его, жизнь всю его загубить... уложить въ могилу раннюю—а потомъ, черезъ тридцать то лѣтъ, съ благодареніями! Нечего, батюшка, нечего... возвращайся ты въ твои золотыя хоромы несолоно похлебавши, а ужъ мы тутъ въ бѣднотѣ своей останемся, не про насъ ваши золотыя хоромы... Петруша! на поди, ищи—нѣтъ его, умеръ Петруша!.. Доказательства—добьюсь говорить — какъ же, добьется!.. И Прыгу-





II.

На Остоженкѣ.

Капитолина Ивановна съ давнихъ лѣтъ была неотъемлемой принадлежностью Остоженки, гдѣ ее знали всѣ безъ исключенія, отъ мала до велика. Когда она выходила изъ своего домика, лѣтомъ— въ коричневомъ платьѣ съ бѣлыми мушками, черной шелковой мантильѣ и удивительной шляпѣ, похожей на будку, а зимою—въ широчайшемъ лисьемъ салопѣ и капорѣ, превращавшихъ ея фигуру въ шаръ, — ей приходилось останавливаться почти на каждомъ шагу.

— Здравствуйте, Капитолина Ивановна!

— Какъ здоровьице, почтеннѣйшая Капитолина Ивановна?

— А, Капитолина Ивановна! только что я подумалъ: что это васъ давно не видно, матушка, — а вы и тутъ какъ тутъ!

Капитолина Ивановна отвѣчала на всѣ эти привѣтствія соблюдая притомъ различные отвѣнки. Иногда она улыбалась, останавливалась и вступала съ встрѣчнымъ или съ встрѣчной въ бесѣду. Иному или иной просто кивала головою и важно проходила дальше. А то случалось и такъ, что вмѣсто всякаго отвѣта на привѣтствіе она грозилась пальцемъ и строго говорила:

— Ну... ну... ну! нечего лебезить то, да спину гнуть, я тебѣ не начальство... что сиротой казанскимъ прикидываешься... Знаемъ мы всѣ ваши продѣлки!..

Такой строгій репримандъ относился обыкновенно къ толстому и лоснящемуся отъ жира хозяину большого магазина, на вывѣскѣ котораго значилось:

„Торговля чаемъ, сахаромъ, колоніальными товарами и прочими иностранными винами!“

Въ отвѣтъ на такую строгость почтенный купчина только усмѣхался, облизывался и ничуть не смущаясь продолжалъ:

— Не зайдете ли, матушка Капитолина Ивановна, медку я вамъ могу предложить новаго получения... ароматъ, я вамъ скажу, деликатесь! однимъ словомъ амбрэ!.. Чай тоже китайскіе получены, самые что ни на есть лучшіе, особливо могу рекомендовать вамъ, матушка, „чухунны затхленькій“... букетецъ!..

Онъ складывалъ свои красные, жирные пальцы вмѣстѣ, подносилъ ихъ ко рту и чмокалъ.

— Ну тебя совсѣмъ съ твоимъ затхленькимъ букетцемъ! сердито произносила Капитолина Ивановна,—

то то вотъ и есть, что ты, братъ, затхленькаго много держишь у себя!.. въ прошлый разъ такую икру подсунулъ, что тошно глядѣть было, осрамилъ совѣтъ...

Купчина таращилъ глаза и разводилъ руками.

— Что вы, матушка, обижаете! какъ такое могло статься? — вамъ, да чтобы я дурного товара отпустилъ!.. кажись столько лѣтъ угождать стараюсь...

— Что же я тебѣ врать — что ли буду?..

— Зачѣмъ врать, сударыня... А ужъ и ума не приложу какъ такое могло статься... развѣ вотъ Прошка какъ нибудь невзначай сбился... такъ я ему тутъ же, при васъ, сударыня, уши надеру!..

— Ахъ, ты, иродова твоя совѣсть! Сбился... уши надеру... то то вотъ... одному вотъ получше товаръ, другому похуже за ту же цѣну... Мальчишку надувать учить... уши надеру! . За что же ты, брюхо, уши драь ему будешь? тебя вотъ самого выпоротъ хорошенько!.. Бога позабылъ... одумайся.. Вѣдь ты что же, не сегодня завтра лопнешь, взгляни на себя... лопнешь, такъ съ собою въ могилу что ли возьмешь деньжищи? вѣдь тутъ оставишь... А мальчишки твои протрутъ имъ глаза — не путемъ добытыя деньги прахомъ и пойдутъ. Такъ то, Прохоръ Петровъ, подумай-ка на досугѣ объ этомъ, подумай, не на вѣтеръ я говорю же. А, да ну тебя! что мнѣ тутъ съ тобою... некогда...

И она, важная и строгая, плыла дальше.

Прохоръ Петровъ, давно уже выстроившій себѣ каменные палаты и развѣзжавшій на рысакахъ по Петровскому парку съ супружницей и дочерью, во-

все не привыкъ къ подобнымъ репримандамъ. Напротивъ, даже нѣкоторые большіе господа къ нему относились съ любезностью, такъ какъ онъ давалъ деньги подъ вѣрное обезпеченіе и за солидные проценты. Другого онъ, хорошо знавшій себѣ цѣну, сумѣлъ бы и обрѣзать, а вотъ Капитолина Ивановна могла говорить что ей угодно и онъ выслушивалъ. А когда она уходила, то даже задумывался на мгновеніе:

„Строгая старуха, строгая!“ повторялъ онъ про себя.

Но при этомъ онъ не задавалъ себѣ вопроса почему же онъ такъ смиряется передъ этой строгой старухой, которая не знатна, не богата и не стоитъ въ числѣ его очень выгодныхъ покупателей. „Что ужъ съ ней подѣлаешь, извѣстно она такая... вѣдь это никто другой сказалъ, это Капитолина Ивановна“... — и больше ничего.

Дѣти побаивались Капитолины Ивановны и не въ каждую минуту рѣшались къ ней обращаться съ привѣтствіемъ. Иной разъ какойнибудь мальчуганъ въ длиннополомъ, чуть ли не до пятокъ сюртучищъ, передѣланномъ изъ стараго отцовскаго, или дѣвчонка въ накинутаго на голову платкѣ — пропищать ей при встрѣчѣ:

— Мое почтеніе, Капитолина Ивановна!

А она поведетъ однимъ глазомъ и только промолвитъ:

-- Брысь... Кыш-шъ!..

И мальчишка и дѣвчонка тотчасъ же сокращаются.

А другой разъ случится и такъ — улыбнется она даже остановится.

— Ну здравствуй, здравствуй! скажетъ, — ишь вѣдь ты растешь, словно гонить кто тебя вверху! гляди, меня переросъ, а ума то чай ни на волосъ не прибавилось, шелопающаешься, по улицѣ таскаешься... Ну чего ты тутъ торчишь, ступай за буквонникъ, долби, лѣнтая... На вотъ... на!..

Порывшись въ своемъ карманѣ, она вытаскиваетъ гривенникъ, а то такъ даже и двугривенный, и даетъ его лѣнтая.

— Купи леденцовъ, грызи, востри зубы!.. Ну, прочь съ дороги...

— А! и ты тутъ, булка! прибавляетъ она замѣчая умильно улыбающуюся ей бѣлолицую сдобную дочку булочника, вѣчно сидящую на заваленкѣ возлѣ булочной.

— Въ добромъ ли здоровьѣ, Капитолина Ивановна? тоненькимъ сладкимъ голоскомъ заговариваетъ сдобная булочница медленно поднимаясь съ заваленки.

— Видишь, чай. — здорова! А ты то вотъ, мать моя, все ни съ мѣста! распустилась совсѣмъ... гуща ты, гуща! промнись, матушка, допозни до меня вечеромъ, ленточки у меня тебѣ приготовлены — хорошія...

— Покорно благодаримъ, Капитолина Ивановна!

Круглые, на выкатѣ, глаза дѣвушки начинаютъ сіять.

— Такъ вечеромъ — вы говорите?

— Да, вечеромъ, то то... гуща!..

Капитолина Ивановна дѣлаетъ строгое лицо и идетъ дальше...

Въ субботу послѣ всенощной и въ воскресенье послѣ обѣдни къ Капитолинѣ Ивановнѣ обыкновенно подходили всѣ важные прихожане, мужчины и дамы, освѣдомляясь о здоровьѣ. Церковный староста, Пригуновъ, спѣшилъ къ ней съ просфиркой; батюшка изъ алтаря высылалъ другую.

Капитолина Ивановна принимала всѣ эти знаки вниманія спокойно и съ достоинствомъ, какъ должную и привычную дань. Иногда она удостоивала кой кого приглашеніемъ къ себѣ на пирогъ и отъ такой чести никто не отказывался. А если какойнибудь легкомысленный прихожанинъ или дама, уже заранѣе намѣтившіе иное, болѣе интересное времяпровожденіе, вздумаютъ извиняться выставляя болѣе или менѣе серьезные предлоги — Капитолина Ивановна поджимала губы и цѣдила:

— Очень жаль, очень жаль!..

И она долго не забывала такой провинности.

Если какойнибудь новый человѣкъ, случайно попавшій въ Остоженскій районъ, заинтересовывался Капитолиной Ивановной и желалъ знать какъ она, и что, и откуда происходитъ ея исключительное положеніе и всеобщее къ ней почтеніе, — онъ никакъ не могъ получить удовлетворительнаго отвѣта. Вопросъ его всѣхъ озадачивалъ.

— Капитолина то Ивановна?! отвѣчали ему, — да ее всѣ знаютъ, она испоконъ вѣковъ тутъ живетъ... Строгая старуха, не дай Богъ ей на языкъ попасться!..

— Да кто же она такая--незамужняя... вдова?

— Вдова она, вдова.

— Кто же ея мужъ былъ?

Но никто не зналъ кто былъ ея мужъ, потому что она никогда никому о немъ не говорила. Онъ очевидно въ ея жизни не сыгралъ особенной роли, да и умеръ очень давно, не въ Москвѣ, а гдѣ то далеко, на какой то изъ окраинъ Россіи, гдѣ онъ служилъ. Капитолина Ивановна получала за его службу пенсію—двадцать восемь рублей съ копейками въ мѣсяцъ и аккуратно въ назначенный срокъ отправлялась за этой пенсіей.

Отъ матери своей, про которую было извѣстно, что звали ее Аграфеной Николаевной, Капитолина Ивановна получила въ наслѣдство небольшой капиталъ, на который въ незапамятныя времена купила домъ, а остальное положила на проценты и жила этимъ.

Сколько она имѣла—она тщательно скрывала отъ всѣхъ, на недостатокъ никогда не жаловалась, а достатка особеннаго не было видно. Жила она расчетливо и жизнь ея стоила немного въ тѣ блаженныя времена, когда на Остоженкѣ все было очень дешево и когда даже Прохоръ Петровъ продавалъ лучшую паюсную икру по сорока копеекъ за фунтъ.

Домикъ у Капитолины Ивановны былъ небольшой. Изъ залы шла гостиная, потомъ столовая и спальня, черезъ коридоръ помѣщалась просторная кухня и изъ того же коридора вела узенькая лѣстница въ мезонинъ, гдѣ находились двѣ комнаты. Одна изъ нихъ носила названіе „дѣвичьей“ и въ ней помѣщалась прислуга: дѣвочка Машка да Лукерья-кухарка, она же старшая горничная. Другая

комната предназначалась для гостей и испоконъ вѣковъ стояла пустая. Убранство домика было крайне незатѣйливое; но за то все поражало у Капитолины Ивановны своей чистотой и опрятностью.

Бѣдная Машка должна была разъ по десяти въ день обходить всѣ комнаты навьюченная тряпками, вѣнниками и метелками, и сметать со всего пыль. Но даже и этимъ не ограничивалась Капитолина Ивановна. Она сама въ свободныя минуты, „ради моціона“, какъ она говорила, тоже вооружалась тряпкой и метелкой.

Хозяйка Капитолина Ивановна была отличная и гордилась своимъ искусствомъ. Дѣйствительно, когда она въ праздничные дни угощала гостей, то угощала ихъ на славу. Ни у кого нельзя было наѣсться такой кулебяки, отвѣдать такихъ наливокъ, такого варенья.

Жизнью своей Капитолина Ивановна очевидно была довольна, по крайней мѣрѣ никогда не скучала и не грустила. Просыпалась она рано зимой и лѣтомъ — часовъ въ шесть. Проснувшись любила съ четверть часика полежать на мягкихъ пуховыхъ перинахъ своей широкой старинной кровати, — „передохнуть“, какъ она говорила. Затѣмъ она вставала, усердно молилась передъ кіотомъ, наполненнымъ старыми почернѣлыми образами и образками, разными ладонками, шнурочками, свѣчками и „маслицами“, сохранявшимися отъ многочисленныхъ богомольныхъ поѣздокъ, совершенныхъ ею въ жизни.

Помолившись она приступала къ своему туалету, то есть къ умыванію. Умываніе это длилось почти

часть времени и воды Капитолина Ивановна изводила столько, что Луверья и Машка, таскавшія кувшинъ за кувшиномъ, иной разъ просто доходили до отчаянія.

Однако высказать своего отчаянія онѣ не смѣли строгой барынѣ, и хотя обѣ были наемныя и вольныя, и ничѣмъ не связаны съ Капитолиной Ивановной, но боялись ее до того, что даже и мысль никогда не могла придти имъ въ голову повинуть ее и найти себѣ другое мѣсто, гдѣ барыня менѣе заботилась бы о чистотѣ и была бы не такъ взыскательна.

Умывшись и одѣвшись, Капитолина Ивановна выходила въ столовую, небольшую комнату съ круглымъ столомъ по срединѣ, дюжиной соломенныхъ стульевъ да двумя шкафами съ посудой. Она усаживалась къ столу, на которомъ уже кипѣлъ самоваръ и стояла корзинка съ мягкими сдобными булками.

Капитолина Ивановна, какъ истая москвичка, очень любила чай, горячій съ густыми сметаноподобными сливками, и пила его иногда чашекъ по восьми, десяти. Въ это время къ ней подсаживалось два сѣрыхъ толстыхъ кота, давно уже составлявшихъ принадлежность ея дома. Нельзя сказать чтобы она ихъ особенно любила, но все же чувствовала къ нимъ нѣкоторую симпатію. Они были такіе же чистоплотные какъ и она, ходили неслышно, не надоѣдали ей и, при первомъ же ея нетерпѣливомъ движеніи, пропадали безслѣдно. Иногда, во время этого утренняго чаепитія, она останавливала на нихъ свое вниманіе и молча глядѣла то

на одного, то на другого. И они въ свою очередь пристально и не мигая глядѣли ей въ глаза своими круглыми, желтыми глазами.

— Ну вы, дураки! вдругъ заговаривала Капитолина Ивановна и звала Машку. — Пойди, принеси кошачьи блюдечки!

Машка возвращалась съ двумя блюдечками. Капитолина Ивановна наливала въ нихъ сливокъ, разбавляла кипяткомъ и приказывала Машкѣ поставить въ уголъ. Коты мягко спрыгивали со стульевъ и, поднявъ хвосты и мурлыча, подбирались къ молоку. Но оно было еще горяче—они отскакивали, потомъ опять приближались, вытягивали морды, нюхали и осторожно пробовали языкомъ.

Капитолина Ивановна внимательно слѣдила за ихъ граціозными движеніями, наливала себѣ новую чашку чая, на этотъ разъ уже безъ сливокъ и „въ прикуску“...

Отпивъ чай Капитолина Ивановна принималась за хозяйскія хлопоты—навѣщала кладовую, потомъ проводила немало времени на кухнѣ, внимательно разглядывала принесенную Лукерьей съ рынка провизію и внушала ей что и какъ нужно приготовить. Обѣдала Капитолина Ивановна обыкновенно въ два часа и только по праздникамъ, когда у нея бывали гости, послѣ обѣдни подавался завтракъ, а обѣдъ готовился въ четыремъ часамъ.

Въ дурную погоду Капитолина Ивановна никогда не выходила изъ дома и если не было посѣтителей, очень любила заниматься чтеніемъ. Чулокъ она вязала и вышивала обыкновенно только на людяхъ, во время разговора. Былъ у нея старый-престарый

знакомый, Порфирій Яковлевичъ, который являлся къ ней аккуратно почти каждую недѣлю и поставлялъ ей книги. Иностранныхъ языковъ она не знала, но все, что появлялось въ русской литературѣ, ее интересовало и было ей знакомо. Гоголя она прочла нѣсколько разъ съ особеннымъ удовольствіемъ и ставила его несравненно выше Пушкина.

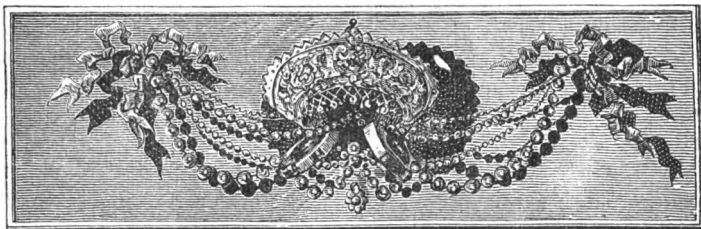
— Это вотъ настоящій сочинитель, говаривала она, — умрешь съ нимъ со смѣху, да и призадуматься то же! въ самую суть попадаетъ, насквозь видить... Нѣтъ, Пушкинъ что! высоко заносится, далеко задетаешь!.. Хорошо, что и говорить—хорошо, да не для насъ, грѣшныхъ... А этотъ вотъ взялъ, да цѣликомъ тебя какъ есть и выставилъ... и никуда ты отъ него не уйдешь. Нѣтъ, не было еще у насъ такого сочинителя, да врядъ ли и будетъ!..

Впрочемъ не безъ удовольствія читала Капитолина Ивановна и новыя книжки журналовъ: „Современникъ“ и „Отечественныя записки“. Доставляли ей удовольствіе и баронъ Бромбеусъ, и Булгаринъ. Только не любила она тѣхъ исторій, гдѣ много про любовь говорится.

— И все это вздоръ! разсуждала она, — такъ, блажь на себя люди напускаютъ... и никакой такой любви нѣту: одна срамота, одна мерзость! Только пусть вотъ господа сочинители надъ дураками да надъ подлецами смѣются — ихъ продѣлки пусть выставляютъ, всякую вещь своимъ именемъ называютъ, глаза простачкамъ открываютъ,—тогда это точно настоящая будетъ словесность, и цѣна

ей будетъ большая, потому пользу не малую принести можетъ. А „охи“ да „ахи“, да разные выкрутасы—это не словесность. Расписываетъ онъ какую нибудь верглавую дѣвчонку и не вѣсть она что у него—ангелъ во плоти, неземное созданіе!... Да гдѣ же это онъ такихъ неземныхъ созданій нашелъ?... вретъ, вретъ!.. еще какія земныя то всѣ эти Людмилы!.. Тьфу!.. срамота—и ничего больше!..





III.

Колдунья.

Посѣщавшіе домъ Капитолины Ивановны дѣлились на два разряда: на „гостей“ и на „своихъ людей“. Гостями считались всѣ свѣтскіе знакомые, люди съ весьма виднымъ положеніемъ въ московскомъ обществѣ, богатые и почтенные. По большей части знакомство съ такими людьми Капитолина Ивановна завела очень давно и оно передавалось изъ поколѣнія въ поколѣніе.

Каждому *гостю* вмѣнялось въ первую обязанность помнить день именинъ и рожденія Капитолины Ивановны и въ эти дни являться къ ней съ поздравленіями. Затѣмъ время отъ времени „гости“ получали приглашеніе въ праздничные дни на кулебяку или на обѣдъ и тогда въ маленькомъ простенькомъ домикѣ встрѣчалось избранное московское общество.

Расфранченныя дамы и дѣвицы разсаживались на жесткой старой мебели, украшенные служебными знаками отличія кавалеры вели чинные разговоры, и каждый и каждая зорко слѣдили за собою, чтобы не сдѣлать и не сказать чего нибудь неугоднаго хозяйкѣ. Пуще всего всѣ остерегались своего роднаго языка, то есть французскаго, который Капитолина Ивановна понимала съ грѣхомъ пополамъ и на которомъ никогда не отваживалась произнести ни одного слова.

Но у иныхъ изъ „гостей“ привычка болтать по французски была такъ сильна, что время отъ времени они, забывшись, проговаривались. Въ такомъ случаѣ строгій видъ Капитолины Ивановны мгновенно ихъ „осаживалъ“, по ея любимому выраженію. Однако было уже поздно. Капитолина Ивановна обращалась къ провинившейся (провинившимися по большей части бывали дамы).

— А позвольте спросить, говорила она съ легкой усмѣшкой, — секретъ это отъ меня или нѣтъ — о чемъ вы рассказываете? Если не секретъ, такъ прошу ужъ я васъ, матушка, переведите! интересно бы послушать...

Барыня конфузилась и старалась вывернуться.

— Да что вамъ за охота притворяться, почтеннѣйшая Капитолина Ивановна! вѣдь вы отлично понимаете по-французски...

— Нѣтъ, матушка, какъ есть ничего непонимаю... ни слова... хоть убейте! что дѣлать — не учена!.. въ мое время каждый на своемъ родномъ языкѣ говорилъ и стыдомъ того не почиталъ...

Сконфуженная барыня поспѣшно переводила свои слова и еще больше начинала слѣдить за собою.

Но такія стѣсненія и строгости Капитолины Ивановны ничуть не отваживали отъ нея гостей. Всѣмъ почему то было уютно и хорошо въ этой необычной обстановкѣ, да и сама Капитолина Ивановна дѣйствовала какъ нѣчто новое, свѣжее, оригинальное.

Иной разъ она умѣла, сохраняя самый серьезный видъ, рассказать что нибудь смѣшное, отпустить острую шпильку насчетъ какой нибудь важной барыни или еще болѣе важнаго господина. Наконецъ— вѣдь это была Капитолина Ивановна, та самая Капитолина Ивановна, реприманды и строгости которой выслушивали еще отцы, да пожалуй и дѣды этого собравшагося элегантнаго общества!

И разтѣзаясь отъ Капитолины Ивановны всѣ были въ хорошемъ настроеніи, на всѣхъ лицахъ была улыбка.

— Пресмѣшная и преумная старуха!

— Да, только бы ей на языкъ не попасться—по косточкамъ разберетъ, такъ на смѣхъ подниметъ, что никуда и не дѣнешься...

— А какъ она графа то нынче отдѣлала! и вѣдь вѣрно, тамъ что ни говорите... И откуда она только все знаетъ... такія подробности интимныя... Сидитъ въ своемъ переулочкѣ, а ничего то отъ нея не скроется...

— Mon Dieu, mais elle est une sorcière, la Капитолина Ивановна! C'est connu depuis longtemps!.. Она взглянетъ на васъ—и всѣ мысли ваши знаетъ—развѣ вы этого не замѣтили?!. И потомъ... ворожить на кофе... гадаетъ... Да развѣ вы не помните какъ

три года тому назадъ, когда у Игнатскихъ брилліанты пропали, она имъ вора открыла и указала гдѣ вещи?..

— Да, да, слышалъ я что то такое... да вѣдь это вздоръ конечно, пустяки...

— Mais non, du tout! помилуйте, мнѣ это дѣло отлично извѣстно... Приѣзжаетъ она къ Игнатскимъ... они въ отчаяніи! Подумайте: брилліантовъ то тысячь на сто, одинъ фермуаръ Натальи Николаевны что стоитъ, вѣдь заглядѣніе...

— Да, да... я знаю...

— Ну, такъ вотъ и спрашиваетъ Капитолина Ивановна: что такое?—ей подробно рассказали. Выслушала, помолчала, подумала, пожевала губами, да и говоритъ: „Дайте-ка мнѣ кофейной гущи—я вамъ погадаю, можетъ и вора открою“. Подали гущу... Даже разсердилась Наталья Николаевна, сама мнѣ рассказывала: „такая говоритъ досада, такое горе, а старуха насмѣшивается, на гущу гадать хочетъ...“

— Ну, и что же?

— А то, что посмотрѣла наша Капитолина Ивановна въ гущу, что тамъ увидѣла—это ужъ ея дѣло, а говоритъ: „знаю я вора“. И смотритъ такъ строго и серьезно, что Наталья Николаевна пришло на мысль: „А что какъ она и впрямь знаетъ?..“ „Кто же воръ? спрашиваетъ,—всѣхъ людишекъ обыскали, ничего не нашли. Да и кромѣ старухи Анфисы...“ знаете вѣдь чай Игнатовскую старуху Анфису?

— Ну да, какъ же не знать! такая почтенная...

— Вотъ и говоритъ Наталья Николаевна, никто, говоритъ, кромѣ Анфисы и не входилъ ко мнѣ въ спальню и не зналъ гдѣ спрятаны были мои вещи,

не могу же я на нее подумать?! „Боже спаси васъ и помилуй!“—это Капитолина Ивановна отвѣчаетъ, „грѣхъ великій такую хорошую женщину къ мерзости этой приплетать!—ищите вора дальше... Полно, такъ ли, что никто въ вашу спальню хода не зналъ да брилліантовъ вашихъ не видывалъ—а Оетисовъ то на что?..“ Наталья Николаевна даже растерялась совсѣмъ. „Матушка, говоритъ,—да неужьто онъ это сдѣлалъ? Какъ на такого человѣка подумать, вѣдь двоюродной племянницы мужъ, дворянинъ, въ гвардіи въ Петербургѣ служить, молодой человѣкъ такой скромный и почтительный... и родство у него хорошее“. „Такъ оно, все такъ, говоритъ Капитолина Ивановна, — а вора я вамъ назвала и гдѣ ваши вещи тоже знаю“.

Наталья Николаевна ни жива, ни мертва: „А вдругъ не такъ оно, и Оетисовъ ни въ чемъ повиненъ... да и срамъ вѣдь: родственникъ!.. и племянницу тоже жалко, а оставить такое дѣло никакъ невозможно—шутка сказать: фамиліные брилліанты!“

Капитолина Ивановна и говоритъ: „Срамъ оно, точно—срамъ, да что тутъ дѣлать! неужьто негодяя, вора покрывать?! А про племянницу тоже не говорите: несчастная она женщина, ее отъ такого мужа спасти надо, дурно онъ къ ней относится, да и къ тому же ее обманываетъ: давно ужъ мерзавку завелъ, не то цыганку, не то польку—Богъ ее тамъ знаетъ... На Таганѣ живетъ въ домѣ купца Парамонова, у нея и брилліанты всѣ ваши, если чего не спустила...“

И такъ это она убѣдила Наталью Николаевну,

что та тутъ же велѣла закладывать и прямо къ оберъ-полицѣймейстеру. „Велите, говоритъ, произвести обыскъ на Таганкѣ у такой то женщины“. Ну — и нашли всѣ брилліанты. Польку эту въ Сибирь сослали. Племянница, какъ вы знаете, и теперь съ сыномъ своимъ у Игнатскихъ живетъ. А Ѳетисова пожалѣли, ради родныхъ пожалѣли, притушили дѣло, только велѣли ему сгинуть. Онъ сгинулъ... слышно гдѣ то на Кавказѣ, что то тамъ такое, мѣсто какое то получилъ, вѣрнаго не знаю — не у Игнатскихъ же спрашивать — они имени его не могутъ слышать!..

И не одну такую исторію рассказывали про Капитолину Ивановну. Она не только указывала воровъ и находила пропавшія вещи, но и предугадывала будущее, то есть: чѣмъ кончится такое то дѣло, выйдетъ ли такая то за такого то замужь... Къ ея совѣту не разъ прибѣгали въ семейныхъ неурядицахъ и раздорахъ и всегда она разумно разбирала чужое дѣло и, слѣдуя ея совѣтамъ, люди выходили изъ большихъ затрудненій.

Однако, надо полагать, что засаленныя карты, которыя она раскладывала, и гуща, въ которую она глядѣла, были тутъ не причеиъ. Природа надѣлила старуху яснымъ, холоднымъ, неспособнымъ ни на какія увлеченія, разсудкомъ; долгая жизнь и наблюденія надъ людьми научили ее хорошо понимать людей.

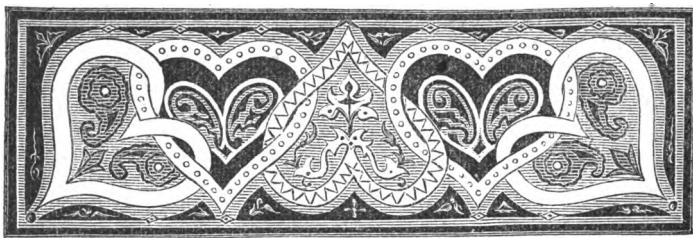
Очень часто, среди болѣе или менѣе многолюднаго общества, Капитолина Ивановна вдругъ замолкала, начинала жевать губами, а маленькіе сѣрые глазки ея такъ и бѣгали отъ одного къ другому, внимательно вглядываясь въ выраженіе лицъ, въ

звукъ голосовъ. Большія отвисшія ея уши изъ-подъ кружевныхъ оборочекъ чепчика съ лиловыми ленточками чутко слушали. И скоро Капитолинѣ Ивановѣ становилась ясной вся подноготная окружающихъ ее, ихъ взаимныя отношенія, ихъ мысли, чувства и планы.

Раскладывая засаленныя карты, она мысленно провѣряла свои наблюденія, подводила имъ итоги. У нея выходила цѣлая система, безсознательно, сама собою сложившаяся подъ вліяніемъ житейскаго опыта. И очень рѣдко она ошибалась. Въ такихъ же дѣлахъ, какъ на примѣръ пропaja брилліантовъ у Игнатскихъ, на помощь къ ея собственнымъ наблюденіямъ являлись и свѣдѣнія, получаемыя ею одной ей вѣдомыми путями.

Вѣдь только благодаря этимъ свѣдѣніямъ могла она прямо указать — такой то, молъ, воръ и вещи тамъ то находятся... Подобнаго рѣшенія она никогда бы себѣ не позволила не зная навѣрно, что не ошибается. А гуца была ей нужна потому, что она любила позабавиться надъ людьми, „ошарашить“ ихъ, „огорошить“.





IV.

Свой человѣкъ.

„Своихъ людей“ у Капитолины Ивановны было немного и изъ нихъ прежде всего слѣдуетъ упомянуть о Порфиріѣ Яковлевичѣ Стружкинѣ.

Порфирій Яковлевичъ былъ тотъ самый „свой человѣкъ“, который приносилъ Капитолинѣ Ивановнѣ книги, — старикъ лѣтъ семидесяти пяти по меньшей мѣрѣ, огромный, широкоплечій, страшно сухой, съ костистымъ бритымъ лицомъ и большой, покрытой шапкой бѣлыхъ какъ лунь, но густыхъ и выющихся волосъ, головою. Глаза у него были маленькіе, темные и очень зоркіе. Губы тонкіе, такъ, что иной разъ ихъ и совсѣмъ не было замѣтно. Носъ крючковатый, подбородокъ острый, выдающійся.

Вообще видъ Порфирій Яковлевичъ имѣлъ злой и страшноватый, такъ что дѣти его всегда боялись. Одѣвался онъ очень бѣдно и старомодно.

Носилъ вытертый по швамъ длиннополый сюртукъ, на которомъ зачастую недоставало пуговицъ, не Богъ знаетъ какой чистоты манишку съ плохо накрахмаленными и отвисающими по обѣимъ сторонамъ его сухихъ скулистыхъ щекъ воротничками. Грубые, часто заплатанные сапоги, вытертые и блестящія на колѣняхъ брюки довершали его костюмъ. На головѣ у него и зимой и лѣтомъ былъ одинъ и тотъ же засаленный картузь, а на плечахъ—зимою до нельзя вытертая енотовая шуба, а лѣтомъ коротенькій плащъ на красной подкладкѣ, которая отъ времени превратилась въ бурую.

Единственное чѣмъ любилъ щегольнуть Порфирій Яковлевичъ — были разноцвѣтные, затканые всякими узорами, атласные и бархатные жилеты, которыхъ въ его гардеробѣ насчитывалась цѣлая дюжина. Жилеты эти были привезены лѣтъ тридцать тому назадъ изъ-за границы и выиграны имъ въ карты, о чемъ онъ даже любилъ рассказывать. Конечно теперь эти удивительные жилеты уже не блестяли свѣжестью, но все же составляли яркую противоположность съ остальными статьями туалета.

Поверхъ жилета Порфирій Яковлевичъ всегда развѣшивалъ толстый бисерный, небеснаго цвѣта шнурокъ отъ часовъ. Часы у него были большіе, серебряные, толстые, въ видѣ луковицы.

Происхожденіе свое Порфирій Яковлевичъ объяснялъ такъ:

„Дѣдъ былъ крѣпостнымъ, отецъ приказнымъ, а мы вотъ: братъ Семенъ Яковлевичъ въ Саратовѣ изъ себя барина разыгрываетъ, а я живу себѣ да

хлѣбъ жую маленькимъ человѣкомъ, никому не мѣшаю, да и не люблю чтобы мнѣ мѣшали...”

Ему впрочемъ никто и не могъ мѣшать. Былъ онъ старый холостякъ и жилъ въ крошечномъ домикѣ, гдѣ то у Андроньевскаго монастыря. Была у него въ услуженіи кривая и глухая старуха, она готовила ему обѣдъ и охраняла домикъ во время его отсутствія. Кажется никому еще не случилось заглянуть къ Порфирію Яковлевичу, хотя не разъ находились смѣльчаки, которые порывались это сдѣлать.

Звонка при домикѣ не полагалось, а стучать можно было хоть цѣлый день безъ всякаго результата. Заслыша стукъ, Порфирій Яковлевичъ выглядывалъ изъ за занавѣсокъ маленькаго окошка, убѣждался, что это стучитъ „татаринъ“, то есть незваный гость, отходилъ отъ окошка и не подавалъ никакихъ признаковъ жизни.

Если же кому нибудь случалось явиться во время отсутствія хозяина изъ дома, то послѣдствія были тѣ же—глухая старуха какъ есть ничего не слышала и не двигалась изъ своей крошечной, закопѣлой кухни. Вслѣдствіе глухоты этой старухи, уже много лѣтъ тому назадъ Порфирій Яковлевичъ завелъ двойной ключъ отъ наружной двери и только благодаря этому ключу могъ проникать въ свое жилище.

Одна Капитолина Ивановна разъ какъ то, тоже ужъ очень давно, забралась къ своему старому пріятелю и была имъ впущена. Она очутилась въ двухъ маленькихъ и низенькихъ комнатахъ, гдѣ никогда, даже въ самую жаркую лѣтнюю пору,

не выставлялись зимнія рамы и гдѣ издавна образовалась такая спертая атмосфера, что Капитолина Ивановна, привыкшая къ чистому воздуху и до крайности брезгливая, тотчасъ же почувствовала, что у нея начинается „першить“ въ горлѣ.

Она съ нескрываемымъ отвращеніемъ оглядывала убранство жилья своего пріятеля. Все было пыльно, грязно. Въ первой комнатѣ стоялъ дырявый кожаный диванъ, шатающійся столъ, когда то красного дерева, но теперь весь облупленный, испещренный глубокими бороздами отъ неизвѣстно съ какой цѣлью пробовавшихъ его крѣпость ножей и покрытый блѣсоватыми слѣдами горячихъ чайниковъ и стакановъ.

На стѣнахъ съ обвисшими ключьями старыхъ обоевъ красовались двѣ-три гравюры, содержаніе которыхъ нельзя было разглядѣть — до такой степени онѣ были запылены и засижены мухами. Вдоль одной стѣны, почти до самаго потолка, шли полки, завѣшанныя выцвѣтшимъ коленкоромъ. На этихъ полкахъ въ два ряда были разставлены книги. Въ углу стоялъ маленькій столикъ и на немъ лежалъ скрипичный футляръ.

Капитолина Ивановна заглянула въ слѣдующую комнату, увидѣла еще больше пыли, увидѣла кровать съ грязными подушками и еще болѣе грязнымъ стеганымъ одѣяломъ — и даже замахала руками.

— Что это, Порфирій Яковлевичъ, батюшка, какъ у тебя все скверно! замѣтила она. — Вотъ ужъ не думала... умный ты человѣкъ! да скажи мнѣ на милость, умный человѣкъ развѣ такъ жить можетъ?..

Вѣдь это мерзость!.. вѣдь всякій нищій чище твоего живетъ... вотъ ужъ не ожидала!..

Она брезгливо осмотрѣлась и, поднявъ свою черную шелковую мантилью, съ видимымъ отвращеніемъ присѣла на кончикъ подставленнаго ей хозяиномъ стула.

— Скверно, батюшка, скверно! проговорила она.— Да и духъ какой!..

Порфирій Яковлевичъ стоялъ передъ нею и только ухмылялся. Губы его совсѣмъ пропали, носъ почти сходилъ съ подбородкомъ и злое выраженіе лица стало еще злѣе.

— Ну и скверно!.. наконецъ выговорилъ онъ,— такъ вѣдь я развѣ звалъ васъ къ себѣ, почтеннѣйшая Капитолина Ивановна? вѣдь не звалъ... Но разъ: сами пожаловали... а два: какой же я умный человѣкъ?! Я медвѣдь, сами частенько изволили меня такъ обзывать,—вотъ въ берлогѣ и живу...

— То то и есть, что во всякой берлогѣ чище чѣмъ у тебя тутъ! замѣтила Капитолина Ивановна и приподнялась со стула.

Ей рѣшительно было противно сидѣть. Она подошла къ полкамъ, осторожно, кончиками пальцевъ, отдернула пыльные занавѣски и стала разглядывать книги.

— Ишь пыль то, пыль!.. шептала она и опять у нея „першило“ въ горлѣ.

— А книгъ то у васъ много, Порфирій Яковлевичъ!..

— Много, матушка, много.

— Да и вижу я, есть такія, какихъ я и не знаю... Что же это ты мнѣ не приносишь, еще въ

прошлый разъ просила я новенькаго, а вы говорите: нѣтъ ничего... какъ же нѣтъ?..

— Да вѣдь тутъ все старое, матушка, старое...

— Для кого старое, а для меня новое...

И она, несмотря на пыль и свое отвращеніе, стала рыться въ книгахъ.

— Чѣмъ же васъ, сударыня, угощать прикажете? спросилъ хозяинъ, — у меня угощеніе плохое — чайку вотъ развѣ не выпить ли?.. Прикажете, матушка? моя глухая тетеря мигомъ самоварчикъ вздуеть...

Капитолина Ивановна обернулась и повела глазами на Порфирія Яковлевича.

— Нѣтъ, батюшка, я въ такой грязи твоей чай пить не стану.

— Ну какъ хотите! тотчасъ же согласился хозяинъ. — А все же такую почтенную гостью угостить надо... вѣдь у меня никто, никто какъ есть не бываетъ... Сколько лѣтъ нога человѣческая сюда не вступала!

Огромный старикъ вдругъ оживился, глаза его блеснули, какая то неопредѣленная и странная усмѣшка скривила тонкія губы.

— А вотъ что развѣ... какъ бы про себя шепнулъ онъ и подошелъ къ угольному столику.

Капитолина Ивановна все рылась въ книгахъ. Старикъ осторожно отперъ скрипичный футляръ, вынулъ скрипку и смычекъ, бережно оберъ ихъ клѣтчатымъ носовымъ платкомъ, сталъ въ позу и провелъ смычкомъ по струнамъ.

— Это что?! почти даже съ испугомъ вскрикнула Капитолина Ивановна, обернулась — да такъ и застыла отъ изумленія. — Что это, Порфирій Яковле-

вичъ, никакъ ты со скрипичей? въ музыканты записался?!

Старикъ между тѣмъ подтянулъ двѣ, три струны и внезапно пыльная, нищенская, душная комната огласилась медленно полившимися одинъ за другимъ чудными звуками.

Капитолина Ивановна широко раскрыла глаза и уже не замѣчая пыли, позабывъ брезгливое чувство и першеніе въ горлѣ, присѣла на дырявый диванъ не спуская глазъ съ виртуоза.

А онъ стоялъ и водилъ смычкомъ по струнамъ, и звуки лились, то совсѣмъ почти замирая, то поднимаясь густой, полной волною.

Капитолина Ивановна слушала и никакъ не могла понять, что это такое, что говорить эти звуки. Но они говорили что то, они назойливо и властно возбуждали все ея вниманіе, проникали ей до самаго сердца.

Наконецъ, мало-по-малу, все яснѣе и яснѣе становилось строгой и холодной старухѣ, что такое именно говорятъ эти звуки. Они захватили ее въ свою власть и не боясь холода, вѣявшаго отъ ея стараго и злого разсудка, не боясь ея остраго языка и насмѣшекъ, — взяли и унесли ее далеко, далеко, въ иной міръ, о которомъ она давно уже забыла...

Передъ нею разстилались пышныя поля, вставали лѣса и горы, яснѣла синева небесная, проносились дуновения душистой лѣтней ночи, мигали звѣзды, плескали волны и какой то незнакомый, но сладкій голосъ шепталъ тихія слова той самой любви, той самой страсти, надъ которою такъ привыкла смѣяться Капитолина Ивановна.

Но теперь она не смѣялась—она умиленно слушала...

И подъ конецъ показалось ей, что вернулись старинные годы, тѣ годы когда она была молода, когда она любила все то, на что теперь не обращала вниманія, когда на устахъ ея еще не было насмѣшки и когда юный, только что пробуждавшійся разумъ не училъ ее презирать людей и ихъ дѣянія, и искать прежде всего во всемъ изнанку, темную сторону...

А звуки лились,—бархатные, сладкіе звуки, и таеъ ясно, на родномъ языкѣ твердили:

„Не все то правда, что кажется правдой, не все обманъ, что кажется обманомъ... и въ томъ, что ты считаешь обманомъ, есть великая святая правда, какой нѣтъ въ твоей холодной злой правдѣ... Страсть—гроза могучая горячей лѣтней ночи... Любовь, любовь—великая вѣчная сила, любовь ко всему и ко всѣмъ — и безъ нея весь твой разумъ, весь твой опытъ, вся жизнь — только ложь, только обманъ и преходящее сновидѣніе!..“

Вдругъ оборвались и замерли сладкіе звуки...

Та же душная грязная комнатка. Порфирій Яковлевичъ укладываетъ скрипку въ футляръ.

Капитолина Ивановна совсѣмъ очнулася и почувствовала, что ея щеки мокры отъ слезъ.

— Фу ты, пропасть! да что же это ты, Порфирій Яковлевичъ! крикнула она,—да какъ же это ты?! да вѣдь вы, батюшка, музыкантъ, какъ есть музыкантъ настоящій!..

Порфирій Яковлевичъ стоялъ передъ нею съ блестящими глазами и ухмылялся. Только теперь его

лицо уже не было злымъ—оно будто совсѣмъ преобразилось.

— Да, музыкантъ, матушка Капитолина Ивановна, тихо отвѣтилъ онъ.

— Такъ какъ же это?.. къ чему же вы отъ всѣхъ скрываете... и мнѣ ни разу въ жизни ни слова?..

— Чего же я стану благовѣститъ то!.. Музыкантъ, такъ музыкантъ, да не ученый, для себя играю, одинъ себя слушаю... Можетъ вы то вотъ первый человѣкъ кто меня слышалъ... развѣ сосѣди, такъ какіе тутъ сосѣди и изъ-за двойныхъ рамъ чай по ту сторону улицы и не слышно...

— Ну, ужъ удивилъ!.. вотъ ужъ удивилъ!.. повторила Капитолина Ивановна,—спасибо, батюшка, за угощеніе, спасибо... А мнѣ пора и домой, шутка сказать, вѣдь черезъ всю Москву ѣхала къ тебѣ, сколько времени ѣхала, да извозчика съ дуру отпустила, тутъ чай и не найти. Ну спасибо, спасибо... А книжку вотъ эту я у тебя возьму... Когда же свидимся, Порфирій Яковлевичъ, подумайте только— третью недѣлю не навѣдывались, я и безбоязненно не захворалъ ли...

— Точно что мнѣ понездоровилось—оттого и не былъ—ломота вдругъ въ ногѣ, муравьинымъ спиртомъ всю недѣлю натиралъ ногу... Ну теперь прошло... Безпремѣнно, матушка, у васъ на этихъ дняхъ буду.

— То то же, смотрите...

Старики распрощались и Капитолина Ивановна, подбираясь и стараясь ни обо что не задѣть платьемъ, выбралась изъ домика.

Долго у нея въ ушахъ помимо воли звенѣли чудные звуки.

Съ этого дня Капитолина Ивановна уже никогда больше не порывалась посѣщать медвѣдя въ его берлогѣ, о которой вспоминала съ отвращеніемъ. Но она не разъ упрашивала Порфирія Яковлевича принести съ собою скрипку и поиграть. И каждый разъ онъ рѣшительно отказывалъ ей въ этомъ.

— Что угодно, матушка, говорилъ онъ, — что угодно прикажите — и исполню, а на счетъ скрипки — нѣтъ! И съ чего это я стану съ ней тащиться по городу — срамъ да и только!..

— Да вѣдь вы такъ играете, Порфирій Яковлевичъ, васъ заслушаться можно! Вотъ соберутся у меня ужъ гости, а вы и сыграете... всѣмъ доставите удовольствіе, захватятъ васъ... на расхватъ приглашать станутъ, протрубятъ на всю Москву про вашу музыку...

Порфирій Яковлевичъ даже обижался.

— Что же это мнѣ на старости лѣтъ тапѣромъ, штукмейстеромъ прикажете сдѣлаться?!

— Фу, отецъ мой, какой ты вздоръ городишь, просто уши вануть!

— Да ужъ вздоръ либо нѣтъ, а какъ доселѣ не игралъ я на потѣху, такъ и впредь не буду... Очень имъ нужна моя музыка, гостямъ то вашимъ, да и много они въ ней смыслятъ! Для себя выучился, для себя играю, себя услаждаю... человѣкъ я маленький, темный, никому я не нуженъ и никто мнѣ не нуженъ... Что и вамъ то сыгралъ — такъ теперь на себя пеняю... сдурилъ... сдурилъ... изъ одного почтенія къ вамъ...

— Знаю я, упругій вы человекъ, Порфирій Яковлевичъ... Ну такъ вотъ что: коли не хотите при гостяхъ, принесите скрипку, запремъ мы окна и двери и мнѣ съиграйте... Хороша ваша музыка, хотѣлось бы еще послушать.

— Мало-ли чего намъ хочется!.. Оставьте вы меня съ моей скрипкой,—ничего изъ того не выйдетъ.

— Тьфу! съ досадою говорила Капитолина Ивановна,—ишь вѣдь упругій какой... Ну да если вамъ, сударь, угодно ломаться, такъ я на колѣнкахъ просить васъ не стану, Богъ съ вами совсѣмъ и съ вашей музыкой... Пойдемте въ столовую, попробуйте—у меня нынче настоечка новая готова...

— Вотъ это дѣло! радостно восклицалъ Порфирій Яковлевичъ, бывшій страстнымъ любителемъ всякихъ настоекъ и закусокъ, особливо приготовленныхъ такой искусницей какъ Капитолина Ивановна.

Такъ ей и не удалось уговорить упрямого старика дать ей возможность снова послушать его музыки. Прошелъ годъ, другой, третій—и она позабыла про его скрипку. Позабыла про скрипку, а про грязь и нищету его берлоги вспоминала нерѣдко, получая отъ него для прочтенія книги, отъ которыхъ, какъ ей казалось, пахло гнилью и плѣсенью. Въ такомъ случаѣ она всегда думала:

„Вѣдь вотъ—славный человекъ, серьезный, а какой скряга! Глупость то какая! вѣдь съ голоду чуть не умираетъ, копить деньги, капиталъ изрядный еще отъ отца получилъ, вѣдь онъ теперь пожалуй удесатерилъ его, съ родными въ ссорѣ, кому оставить?! какъ собака издохнетъ на своихъ деньгахъ!.. помрачение!..“

Но высказывать ему свои мысли, противъ своего обыкновенія, она не рѣшалась, потому что разъ какъ то заговоривъ на эту тему, довела старика до бѣшенства.

Онъ, всегда почтительный и даже нѣсколько робкій съ нею, тутъ такъ расходился, что сталъ просто кричать.

— И кто это считалъ мои деньги!?. захлебываясь и сверкая глазами повторялъ онъ, — кто считалъ! Нѣтъ у меня денегъ... нищета!.. куска говядины иной разъ купить не начто—вотъ какія мои деньги...

— Врете, батюшка, врете и стыдно это, особливо въ ваши годы! съ изумленіемъ глядя на него промолвила Капитолина Ивановна.

— А коли я врелемъ у васъ сталъ! даже какъ то взвизгнулъ старикъ, — такъ прощайте, Богъ съ вами,—надоѣлъ я вамъ, вижу!..

Онъ отвѣсилъ низкій поклонъ Капитолинѣ Ивановнѣ, схватилъ свой засаленный картузъ, дрожащими руками накиннулъ на себя удивительный плащъ на красной подкладкѣ и ушелъ.

Ушелъ да и не возвращался цѣлыхъ два мѣсяца.

Капитолина Ивановна сначала дѣлала видъ что не замѣчаетъ его отсутствія, но скоро должна была себѣ признаться, что скучаетъ по пріятелѣ, и когда онъ, тоже соскучившись, снова явился, она даже не показала ему вида, встрѣтивъ его какъ будто они самымъ дружескимъ образомъ простились только наканунѣ. И никогда она больше не заводила непріятнаго разговора.

Были ли у Порфирія Яковлевича деньги и сколько—конечно никто не могъ навѣрно этого знать,

но онъ всю жизнь прожилъ какъ послѣдній бѣднякъ. Дома питался иногда по цѣлымъ днямъ только чаемъ да тюрькой, а когда чувствовалъ, что отошлѣлъ, то шелъ обѣдать къ Капитолинѣ Ивановнѣ или къ кому другому изъ своихъ немногочисленныхъ знакомыхъ.

Устали онъ никогда не зналъ, не истратилъ кажется за полвѣка ни копейки на извозчика измѣряя Москву огромными шагами своихъ длинныхъ ногъ.

Разстоянія для него не существовало. Иногда приходилось ему засидѣться у Капитолины Ивановны чуть ли не до полуночи. На дворѣ лилъ дождь, ночь—зги не видно, по улицамъ море разливанное.

— Батюшка, да какъ же это вы такую даль къ Андроньевскому, въ такую темень? замѣчала Капитолина Ивановна подходя къ окну и прислушиваясь какъ завываетъ вѣтеръ, какъ бьетъ въ стекла дождь.— Да останьтесь переночевать... наверху въ свѣтелѣ я вамъ постлатъ прикажу... Ишь вѣдь мы засидѣлись—полночь скоро...

— Ничего, матушка, ничего—не въ первый разъ, спокойно отвѣчалъ Порфирій Яковлевичъ, нахлобучивалъ свой картузъ и выбирался на улицу.

И шагаль онъ по лужамъ какъ какое то страшное привидѣнiе, пугая запоздалыхъ пѣшеходовъ.

Привычка вѣчно ходить пѣшкомъ была въ немъ такъ велика, что съ нимъ даже случился одинъ маленький анекдотъ: Былъ онъ ^{на}свадьбѣ у знакомыхъ, свадьба была веселая, ужинъ прекрасный, выпилъ тоже изрядно Порфирій Яковлевичъ и захмелѣлъ, да такъ захмелѣлъ, что лыка не вяжетъ... Что съ нимъ дѣлать? какъ въ такомъ видѣ пустить его къ

Андроньевскому? Выискалось два добрыхъ человѣка знакомыхъ, у которыхъ на всю ночь была нанята четырехмѣстная карета, взялись они доставить домой Порфирія Яковлевича, усадили его въ карету, повезли. Ёдутъ они, а Порфирій Яковлевичъ поднимаетъ то одну ногу, то другую и изрядно толкаетъ своихъ спутниковъ.

— Порфирій Яковлевичъ, спрашиваютъ,—что вы такое дѣлаете?

— Какъ, что дѣлаю? отвѣчаетъ онъ едва ворочая языкомъ.

— Что вы насъ толкаете, да ногами ворочаете?..

— Какъ что дѣлаю—домой иду...

И такъ онъ продолжалъ идти въ каретѣ до самаго дома...

Любимымъ развлеченіемъ Порфирія Яковлевича, кромѣ скрипки, которой невѣдомый виртуозъ посвящалъ иногда часа три, четыре въ день, было пребываніе у Сухаревой башни въ лавченкахъ букинистовъ. Онъ рылся тамъ въ книжномъ хламѣ и найдя какую нибудь книжку, казавшуюся ему интересной, по цѣлымъ часамъ торговался, пока ему ее наконецъ не уступали за безцѣнокъ, иной разъ за три копейки либо пятакъ, чтобы только онъ отвязался.

„Вѣдь душу всю вымотаетъ — ну его къ Богу!“ говорили про него букинисты.

Разъ въ году Порфирій Яковлевичъ разрѣшалъ себѣ огромную роскошь—онъ покупалъ „новыя“ книги—то есть скупалъ прошлогодні журналы. Навьюченный ими и нѣсколько даже сгибаясь подъ драгоцѣнной ношей, торжественно возвращался онъ къ себѣ въ берлогу и на нѣсколько дней уходилъ въ

книги, читаль запоемъ, пока все не прочитываль. А прочтеть все—нападетъ на него грусть, жаль затраченныхъ денегъ, и онъ начинаетъ выгадывать; даже чай почти перестаетъ пить, а если пьетъ такъ безъ сахару и ходить обѣдать къ знакомымъ.

Въ обществѣ Порфирій Яковлевичъ былъ всегда мраченъ, внимательно слушалъ, но говорилъ очень мало, а иногда просто ограничивался какимъ то мычаньемъ. Несмотря однако на его страшный и мрачный видъ, на молчаніе—его присутствіемъ обыкновенно не тяготились. Онъ умѣлъ молчать и стуживаться. Только съ одной Капитолиной Ивановной онъ иной разъ разговорится и не видятъ они какъ проходитъ время. Но случалось и такъ: просидитъ онъ у нея цѣлый день, и закусить и выпьетъ исправно, послѣ обѣда сядутъ они за преферансикъ, потомъ поужинаютъ, онъ распрощается, и запагаетъ къ Андроньевскому. И только послѣ его ухода, Капитолина Ивановна спохватится:

„А вѣдь Порфирій то Яковлевичъ нынче какъ есть ни одного слова не промолвилъ!“





V.

Анна Алексѣвна.

Между „своими людьми“ Капитолины Ивановны по древности и постоянству дружбы второе мѣсто принадлежало Аннѣ Алексѣевнѣ Крапивинѣ. На видъ Анна Алексѣвна представляла изъ себя полную противоположность Капитолинѣ Ивановнѣ.

Это была старуха высокая, худая, съ огромными руками и ногами, съ лицомъ на рѣдкость безобразнымъ и вдобавокъ еще испещреннымъ слѣдами оспы. Но все же если пристально взглянуть въ это безобразное лицо — оно мало-по-малу начинало нравиться, такъ какъ въ немъ было что то успокоивающее, какая то почтенность и добродушіе.

Анна Алексѣвна неизмѣнно носила коричневое шерстяное платье, коротенькую черную тафтяную мантильку, а на головѣ черный тюлевый чепчикъ. Она была вдова, тоже почти непомнящая когда по-

теряла мужа; на это впрочемъ она даже имѣла нѣкоторое право, такъ какъ покойникъ не оставилъ ей какъ есть ничего на память о себѣ, ни гроша, и она должна была сама зарабатывать кусокъ хлѣба.

И вотъ уже нѣсколько десятковъ лѣтъ какъ она зарабатывала этотъ кусокъ хлѣба, помогая новорожденнымъ москвичамъ и москвичкамъ своего квартала вступать въ жизненный путь по всѣмъ правиламъ повивальнаго искусства. А искусство у Анны Алексѣевны, какъ давнымъ давно уже было рѣшено, оказывалось большое, до того большое, что, несмотря на ея непредставительную и безобразную наружность, ее приглашали не только въ богатые купеческіе дома, но и къ знатымъ барамъ.

Правда, съ годами ея дѣятельность стала гораздо ограниченнѣе. Теперь она была уже черезчуръ стара и ее замѣняли болѣе молодыми и подвижными „привилегированными“ особами. Но она не смущалась этимъ, такъ какъ успѣла скопить себѣ маленькій запасецъ на старость. Она ничуть не обижалась, и хотя ее покидали, но она не покидала дома своихъ прежнихъ паціентовъ и время отъ времени навѣщала ихъ не въ качествѣ официальнаго лица, а какъ старый другъ. Ее принимали, съ ней не церемонились, не стѣснялись, иногда ее просто не замѣчали.

Она зачастую приходила съ чернаго хода въ какойнибудь большой богатый домъ, тихохонько, но спокойно и увѣренно пробиралась въ излюбленную, привычную для нея комнату, и если не встрѣчала никого изъ домашнихъ, то просила лакея или гор-

ничную доложить барынѣ, что вотъ, молъ, пришла Анна Алексѣевна.

— Да барыни нѣтъ дома, говорили ей.

— Кто же дома у васъ нынче?

— Барышня вотъ никакъ дома, только онѣ видно заняты.

— И прекрасно, пусть барышня занимается... а я посижу, подожду, можетъ кто и подѣдетъ...

И усаживалась Анна Алексѣевна самымъ скромнымъ образомъ гдѣ нибудь въ уголку, складывала на груди руки и застывала, въ видѣ какого то мистическаго существа, на полчаса, на часъ, а то хоть и на два.

Если въ домѣ были дѣти—они непременно заглядывали въ комнату, шушукались изображая на своихъ лицахъ смѣсь любопытства, отвращенія и страха—и исчезали. Анна Алексѣевна ихъ къ себѣ не подзывала и не старалась вступать съ ними въ разговоръ. Она очень хорошо знала, что неблагодарныя дѣти, съ которыми она такъ искусно ладила и управлялась въ первые дни ихъ существованія, вырастая, начинаютъ ее бояться.

„Ну и Богъ съ ними, думала она, — ужъ коли Господь такой рожей наказалъ, такъ тутъ ничего не подѣлаешь!.. за что же дѣточекъ смущать, если они за бабу-ягу меня принимаютъ... вырастутъ—поумнѣютъ... Христосъ съ ними!“

Анна Алексѣевна старалась даже не глядѣть на нихъ, будто боялась, что сглазить.

Наконецъ появлялась барышня.

— Ахъ, Анна Алексѣевна, это вы здѣсь? а ма-
маши дома нѣтъ... здравствуйте...

Барышня подавляла въ себѣ нѣкоторую невольную брезгливость къ безобразной старухѣ и протягивала ей руку.

Анна Алексѣевна медленно поднималась изъ своего угла.

— Знаю-съ, говорила она, — что маменьки дома нѣтъ... вотъ и поджидаю... а вы, милая барышня, меня не стѣсняйтесь... Въ добромъ ли здоровьи всѣ у васъ?..

— Благодарю васъ, Анна Алексѣевна, всѣ здоровы... Дядя Миша изъ Петербурга пріѣхалъ... въ четвергъ у насъ балъ будетъ...

Барышня, по привычкѣ, объявляла всѣ семейныя новости, а Анна Алексѣевна ее внимательно слушала и приговаривала:

— Такъ-съ... такъ-съ...

Сообщивъ новости, барышня забывала о присутствіи Анны Алексѣевны, уходила, приходила, а то, если ей бывало скучно, въ свою очередь начинала спрашивать Анну Алексѣевну, что дѣлается на свѣтѣ.

Старуха удовлетворяла ея любопытство на сколько считала это пригоднымъ.

Наконецъ возвращалась барыня.

— А, это вы, Анна Алексѣевна! очень рада васъ видѣть... давно не заглядывали.

— Давненько, матушка, это точно, что давненько—вотъ и соскучилась... и думаю: дай зайду, погляжу, что тамъ дѣлается... а васъ и дома нѣтъ... я вотъ тутъ и поджидала.

— Хорошо сдѣлали, пойдемте ко мнѣ... да оставайтесь у насъ обѣдать.

— Покорно благодарю, матушка, покорно благодарю...

Анна Алексѣевна располагалась какъ дома и послѣ обѣда возвращалась къ себѣ, въ свои маленькія и чистенькія двѣ комнаты, гдѣ на каждомъ окошкѣ стояло по двѣ вѣтки съ канарейками, убѣждаясь, что ея запасъ свѣдѣній о дѣлахъ житейскихъ значительно прибавился. Она узнала всю подноготную—выдала мало, а получила много.

„Ишь вѣдь люди то дурятъ! думала она,—посмотрѣть со стороны—тишь да гладь да Божья благодать... а копнешь... фу ты пропасть—сору то, сору то сколько!..“

„Зайти развѣ къ Капитолинѣ Ивановнѣ?!“ спохватывалась она и поворачивала къ старому другу.

Капитолина Ивановна встрѣчала ее, по вечернему времени, въ столовой за самоваромъ.

— А вотъ и ты, мать моя, пожаловала! говорила она.—Откуда?

— Отъ Патрикѣевыхъ! протягивала Анна Алексѣевна усаживаясь противъ хозяйки. — Весь день почитай тамъ просидѣла... обѣдала...

— Ну что тамъ у нихъ? рассказывай! Съ чѣмъ чай пить будемъ: съ медкомъ что ли?—вотъ свѣжій сотовый, или варенья не хочешь ли какого?

— Съ медкомъ, матушка,—варенье я нынче что то совсѣмъ разлюбила... не тянетъ меня къ нему... Дѣла, дѣла у Патрикѣевыхъ... я вамъ скажу...

— А что такое?!

— Михаила Петровича то знаете, братецъ ейный, въ Петербургѣ служить... въ камергерскомъ чинѣ?

— Ну какъ не знать, еще мальчишкой знала... шалберникъ!..

— Приѣхалъ... съ женой разводится...

— Что ты, мать моя, полно!..

Капитолина Ивановна нѣсколько оживилась и видимо начинала интересоваться.

— Какъ разводится, вѣдь они всего года три женаты и она въ прошломъ году приѣзжала, видѣла я ее—такая тихоня... красивая бабенка, и всѣ родные говорили, что съ мужемъ другъ на друга не надышутся.

— Такъ-съ, такъ-съ... ну вотъ и поди-жь ты! то было въ прошломъ году, а въ нынѣшнемъ дружка себѣ завела... Такая исторія... срамъ!..

Она подробно передавала исторію...

— Кто-жь это тебѣ, сама Патрикѣева сказала?

— Сама... сама... Да что еще это... вотъ Митенька Патрикѣевскій жениться надумалъ...

— Ишь вздоръ! вѣдь мальчишеѣ всего года двадцать два...

— То то и есть...

— Да на комъ? Кто же за него, за мальчишку такого пойдетъ?!

— Нашлась таковская... вдовица молодая, Надежда Сергѣевна Невольская...

— Ахъ негодница! восклицаетъ Капитолина Ивановна—вѣдь она совсѣмъ разгульная!.. вѣдь ужъ это я знаю какія шашни за ней водятся!.. Чего же родители то смотреть? неужьто такъ и даютъ мальчишку на погибель.

— Старики въ горѣ... сама то мнѣ рассказываетъ—плачетъ... характеръ у Митеньки бѣдовый,

на стѣну лѣзеть... Такая у нихъ кутерьма, что и сказать невозможно.

Послѣ двухъ часовъ бесѣды, весь запасъ приобрѣтенныхъ Анной Алексѣевной свѣдѣній переданъ Капитолинѣ Ивановѣ, все рѣшено, выяснено, всему подведены итоги и даны заключенія.

Наступаетъ нѣкоторое молчаніе. Обѣ старухи сидятъ другъ передъ другомъ выпивая чуть ли не двѣнадцатую чашку чаю съ медкомъ. Ихъ раскраснѣвшіяся старыя лица серьезны и онѣ имѣютъ видъ важныхъ государственныхъ людей, только что разобравшихся въ сложномъ и запутанномъ дѣлѣ.

— Ну, а еще что у тебя новенькаго, мать моя? прерываетъ наконецъ молчаніе Капитолина Ивановна.

— Да что новенькаго! видно свѣтопреставленіе скоро—по всѣмъ домамъ такая кутерьма идетъ, такіа чудеса творятся...

— Ужъ и свѣтопреставленіе!.. видно у тебя, Анна Алексѣевна, отъ старости память вышибло... припомни-ка! живемъ мы съ тобою на свѣтѣ не мало времени и всегда то, всегда таже кутерьма была... Это вотъ я зачастую слышу: въ прежнія времена, молъ, лучше было! да вѣдь это такъ, зря, люди болтаютъ. Какія времена? когда лучше было?—можетъ при царѣ Горохѣ, а на нашемъ вѣку все тоже. Моды вотъ эти дурацкія мѣняются, прежняго богатства что-то меньше стало, да замѣсто золота мишурою теперь пыль въ глаза пускать стали—это вѣрно... а каверзъ всякихъ по семьямъ да дурости людской сколько было, столько и осталось... а ты говоришь: свѣтопреставленіе!..

— Пожалуй что и такъ, соглашается качая головою Анна Алексѣевна.

— То то же—такъ!.. какія у тебя новости?..

И начинаетъ передавать Анна Алексѣевна, что вотъ молъ у тѣхъ то дочка на прошлой недѣлѣ родилась, дѣвочка здоровая, только на правомъ плечѣ, на самомъ что ни на есть видномъ мѣстѣ большущее черное пятно...

— Даже мохнатое, матушка, мохнатое ровно мышь!.. Мать-то плачетъ, говоритъ: вырастетъ дѣвочка, такъ кто же съ такой мышью замужъ возьметъ, какъ ее въ люди будетъ показывать!..

— Вотъ дура го! замѣчаетъ Капитолина Ивановна,—нашла о чемъ плакать!

— А у Семеновыхъ, у Ивана Петровича, барышня ихняя, Анеточка, со студентомъ съамурилась, а между тѣмъ женихъ хорошій наворачивался, богатый...

— И по дѣломъ!.. распустили дѣвку; я давно говорила: добромъ не кончится! объявляетъ Капитолина Ивановна.

Къ концу вечера Капитолина Ивановна оказывается посвященной въ подноготную знакомыхъ и незнакомыхъ. А главное знаетъ она, что все сообщенное Анной Алексѣевной вѣрно и что свои знанія и наблюденія Анна Алексѣевна никому кромѣ нея не повѣряетъ. Посторонній человѣкъ хоть озолоти Анну Алексѣевну — ничего отъ нея не выведаетъ, слова отъ нея не добьется. А передъ старымъ другомъ Капитолиной Ивановной нѣтъ у нея сдержки, нѣтъ тайнъ.

Знаетъ еще Капитолина Ивановна, что никто и

подозрѣвать не можетъ объ этихъ ихъ бесѣдахъ за чайкомъ съ медкомъ.

И вотъ объясненіе репутаціи колдуньи, которую приобрѣла себѣ Капитолина Ивановна. Вѣрной и неизмѣнной помощницей ея въ отгадываніи разныхъ запутанныхъ исторій и семейныхъ дѣлъ всегда оказывалась Анна Алексѣевна. Она доставляла ей матеріалъ и изъ матеріала этого тонкій умъ Капитолины Ивановны выводилъ сложные построенія.





VI.

Тайное совѣщаніе.

На слѣдующее утро послѣ посѣщенія Горбатова, Капитолина Ивановна по обычаю проснулась очень рано, по обычаю умывалась болѣе часа и извела нѣсколько ушатовъ воды. Но за самоварчикомъ сидѣла недолго. Даже кошки, несмотря на всѣ свои старанія, никакъ не могли обратить на себя ея милостиваго взора и такъ и отошли отъ стола несолоно хлѣбавши, безъ молока и булки.

Капитолина Ивановна прошла къ себѣ въ спальню, отперла шкафчикъ, вынула изъ него два листа бумаги и два конверта, старинную стальную чернильницу въ видѣ глобуса, который раскрывался на обѣ стороны посредствомъ устроенной у верхняго полюса пружинки; нѣсколько гусиныхъ перьевъ.

Разложила она все это на столикѣ возлѣ окошка, усѣлась и принялась писать.



Подобное занятіе было для нея крайне непривычно и составляло цѣлое событіе въ ея повседневной жизни. Единственная письменная работа ея была—ежемѣсячное сведеніе счетовъ.

Несмотря на свою любовь къ литературѣ и на множество прочтенныхъ ею книгъ, Капитолина Ивановна писала довольно странными каракулями и при этомъ нисколько не стѣсняясь въ орфографіи. Она писала такъ, какъ говорила, находя это простымъ и естественнымъ.

Да и перо то она не держала какъ всѣ, а какъ то стоймя. И вся ея фигура во время писанья дѣлалась очень странной и комичной. Она выводила буквы не только перомъ, а бессознательно помогала работѣ губами и языкомъ, даже по временамъ, на какомъ нибудь трудномъ для нея словѣ, прищелкивала.

На первомъ листѣ она вывела:

„Милостивой государь мой, Порфирій Яковличъ. Прашу я васъ быть у меня нынче къ обеду бесприменно, большая да васъ есть надобность и при многа обяжите если ждате незаставите. Посылаю нарочно Сидара дѣло спешное. Пребываю со всемъ моимъ къ вамъ доброжелательствомъ Капитолина Миронова“.

И тутъ слѣдовалъ такой неожиданный и удивительный росчеркъ, что Капитолина Ивановна даже сама изумилась и нѣсколько времени какъ бы съ недоумѣніемъ и любопытствомъ разглядывала дѣло руки своей. Письмо это она сложила аккуратно въ конвертъ и подписала:

„Порфирию Яковлечу“.

„ИЗГЛАВНИКЪ“.

Затѣмъ принялась за другой листъ бумаги. Но отъ непривычной работы рука ея уже утомилась и она совсѣмъ почти іероглифически вывела:

„Анна Алексѣевна, будь мать моя къ обеду нужно“. И затѣмъ поставила К. М. и уже безъ черка.

На конвертѣ совсѣмъ ничего не надписала.

Окончивъ это дѣло Капитолина Ивановна снова отперла шкафчикъ, поставила въ него чернильницу, положила перья, вынула палку сургуча и огромную печать, на которой былъ вырѣзанъ летящій голубь, довольно похожій на утку и имѣющій во рту письмо. Зажгла Капитолина Ивановна свѣчку, очень неискусно запечатала свои письма и поспѣшила какъ можно скорѣе задуть свѣчу, такъ какъ не любила, чтобы свѣчки горѣли днемъ: это было одно изъ ея немногихъ, но упорныхъ суевѣрій.

Выйдя изъ спальни съ письмами Капитолина Ивановна крикнула:

— Ей, Машка!

Машка тотчасъ же появилась на зовъ.

— Кликни Сидора, да чтобы шелъ скорѣе!

Сидоръ былъ дворникъ Капитолины Ивановны, крошечный мозглявый старикашка, сѣдой какъ луна, котораго никогда не бывало ни видно, ни слышно въ домѣ, но который тѣмъ не менѣе уже многіе годы, и даже несмотря на свое пристрастіе къ хмельному, добросовѣстно исполнялъ обязанности дворника, плотника, садовника и огородника, и поддерживалъ красоту дома и сада Капитолины Ивановны.

Сидоръ осторожно вошелъ въ коридоръ и остановился у двери въ столовую. Увидя Капитолину Ивановну, онъ отвѣсилъ ей глубокий поклонъ и проговорилъ хриплымъ голосомъ:

— Что приказать изволите?

— А вотъ что, Сидоръ, слушай ты, возьми вотъ эти два письма и сбѣгай... Это вотъ снеси къ Аннѣ Алексѣевнѣ, а это, гдѣ написано, смотри не перепутай! къ Порфирію Яковличу... знаешь—у Андроньевскаго...

Сидоръ почесалъ въ затылкѣ.

— Сбѣгать то къ Аннѣ Алексѣевнѣ, сказалъ онъ, — это я мигомъ, а вотъ къ Порфирію Яковличу...

— Знаю я, что не ближній свѣтъ, перебила его Капитолина Ивановна,— ну да сбѣгай... чѣмъ тутъ коли нужно! Да смотри ты—дорогой въ кабакъ не завертывай...

Она строго погрозила ему пальцемъ.

— Нужное письмо и непременно мнѣ отвѣтъ отъ него какъ можно скорѣе...

— Помилуйте, сударыня, обиженно отозвался Сидоръ,—развѣ я въ кабакъ... статочное ли дѣло: съ барскимъ порученіемъ, да въ кабакъ! А вотъ я такъ, раздумываю — толкъ то будетъ ли, сударыня? Жилье Порфирія Яковлича мнѣ извѣстно, найти — найду, да сами изволите знать: не отпираютъ, не пускаютъ... какъ бы не случилось того же, что намедни (это намедни было пять лѣтъ тому назадъ), — такъ ужъ вы, сударыня, на мнѣ не взыскивайте коли не потрафлю. Вѣдь стучалъ я, стучалъ, кулаки себѣ отстучалъ, а такъ и ушелъ ни съ чѣмъ,

такъ вотъ и думается: не отопрутъ, что же я по-
дѣлаю?!

Капитолина Ивановна даже разсердилась.

— Вздоръ, пустое! сказала она, — нужно чтобы
онъ прочелъ это письмо и отвѣтъ далъ. Онъ до
полудня всегда дома и ты поспѣши. Стучи и кричи:
„письмо, молъ, отъ Капитолины Ивановны — отво-
рите!“

Сидоръ опять почесалъ въ затылкѣ, но уже ни-
чего не возразилъ. Онъ взялъ письма, не особенно
дружелюбно посмотрѣлъ на нихъ, и молча вышелъ.

Капитолина Ивановна отправилась въ садъ и за-
нялась варкой варенья. Но и Машка и Лукерья
замѣчали, что барыня какъ то не по себѣ — раз-
сѣяна она, задумывается, сидитъ — смотреть на
тазъ съ вареньемъ, а губами нѣтъ нѣтъ—да и за-
шепчетъ что то.

Вотъ уже полдень, вотъ уже второй часъ, а Си-
доръ не возвращается. Капитолина Ивановна то и
дѣло посылаетъ Машку узнать въ дворницкую и
каждый разъ получаетъ отвѣтъ, что дворницкая
пуста.

— Такъ и есть! зашелъ въ кабакъ, нагрузился!..
вотъ плюгавый старикашка — и послать то нигуда
нельзя... Да еще ну какъ растерялъ письма?!

— Прикажете, сударыня, ягоды сыпать? спраши-
ваетъ Лукерья.

— Э, да чтобъ тебя и съ ягодами!..

Капитолина Ивановна совсѣмъ начинаетъ сер-
диться.

— Машка, бѣги—смотри—вернулся ли Сидоръ?
Машка бѣжитъ и тотчасъ же возвращается.

— Вернулся, сударыня...

— Такъ что же онъ нейдетъ?

— Не можетъ...

— Какъ не можетъ? Отчего не можетъ?

— Стоить и ругается... Я ему говорю: иди, дѣ-
душка, барыня зоветь!—а онъ мнѣ: не могу, гово-
рить, картузь потерялъ дорогой, не могу идти къ
барынѣ...

— Тьфу ты пропасть, нуженъ мнѣ его картузь!..
Пьянъ онъ?

— Совсѣмъ-съ, еле на ногахъ держится! не безъ
удовольствія отвѣчаетъ Машка, предчувствуя инте-
ресную сцену.

— Зови его, мерзляка! тащи его силой, чтобы
сейчасъ былъ здѣсь!..

Машка исчезаетъ. Проходитъ нѣсколько минутъ.
Наконецъ неподалеку отъ бесѣдки, въ которой ва-
рится варенье, раздаются голоса — тоненькій голо-
сокъ Машки и хрипкое ворчанье Сидора. Вотъ онъ
появляется дѣйствительно еле держась на ногахъ,
останавливается передъ Капитолиной Ивановной и
включаетъ носомъ.

— Хорошъ! презрительно произносить она, —
снесъ письма?

— Шапку потерялъ! отвѣчаетъ онъ.

— И по дѣломъ тебѣ, негодный пьянчуга! Что
я тебѣ говорила, чтобы ты не смѣлъ въ кабакъ за-
ходить?!.. „Не зайду съ барскимъ порученіемъ.“
Что же ты за человѣкъ послѣ этого! Нивакого
стыда въ тебѣ—отвѣчай: снесъ письма?

— Шапку потерялъ! упорно говорить Сидоръ, усаживается на песокъ скрестивъ ноги и невинно смотреть на Капитолину Ивановну.

— Уведите его! приказываетъ она Лукерьѣ и Машкѣ.

Онъ его не безъ труда поднимаютъ и тащутъ отъ бесѣдки. Онъ не упирается и только повторяетъ:

— Шапку потерялъ!.. чер-р-рти!..

Лукерья и Машка, закрываясь рукой чтобы барыня не замѣтила, фыркаютъ отъ сдерживаемаго смѣха.

Еще съ полчаса продолжается волненіе Капитолины Ивановны. Она ходитъ по садовымъ дорожкамъ своей медленной, перевалистой походкой, вся красная.

„Растерялъ письма, негодный пьянчуга! время отъ времени повторяетъ она — того и жди растерялъ!“

Но вотъ изъ-за кустовъ сирени въ глубинѣ сада показывается фигура Порфирія Яковлевича. Капитолина Ивановна радостно идетъ ему на встрѣчу.

— Получилъ письмо?! издали кричитъ она ему.

— Какъ же, матушка, какъ же, за тѣмъ и поспѣшилъ... Что такое приключилось?

— Ничего не приключилось, здравствуйте... А ужъ я такъ боялась, что этотъ негодный Сидоръ вамъ письмо не доставилъ. Сейчасъ только вернулся пьянъ-пьянехонекъ.

— Это видно онъ на обратномъ пути. А во мнѣ пришелъ трезвый, только крикъ на всю улицу под-

нялъ—я думалъ ужъ и не вѣсть что такое у васъ. Да что же, матушка, зачѣмъ я вамъ нынче надобенъ?..

— Ахъ, отвѣйся, отецъ мой, потерпи малость, что за любопытство!.. Отдохни вотъ въ бесѣдѣ... тамъ тѣнь—прохладно... А я пойду велю обѣдомъ поторопиться... подойдетъ Анна Алексѣвна... Ботвинья у меня нынче, бѣлорыбица такая, пальчики оближешь...

На лицѣ Порфирія Яковлевича изображается удовольствіе и онъ уходитъ въ бесѣдку, гдѣ дѣйствительно прохладно, гдѣ пахнетъ горячимъ вареньемъ и жужжать осы.

Скоро является Анна Алексѣвна, но и ей хозяйка не объясняетъ причины письменнаго зова. Скоро она приглашаетъ гостей въ столовую, гдѣ уже приготовлена закуска и большая миска съ зеленымъ и льдомъ, да кувшинъ пѣнистаго душистаго кваса для приготоуленья ботвиньи. Вотъ Машка вносить блюдо съ жирной и бѣлой какъ снѣгъ бѣлорыбицей. Порфирій Яковлевичъ даже облизывается отъ предвкушаемаго удовольствія.

Обѣдъ проходитъ довольно молчаливо, всѣ трое ѣдятъ съ большимъ аппетитомъ, изрѣдка затрогивая спеціальные и тонкіе вопросы кулинарнаго искусства. Послѣ обѣда подается душистый черный кофе и нѣсколько маленькихъ граненыхъ графинчиковъ съ наливками.

— Несите-ка вы кофе и наливки въ гостиную на круглый столъ! приказываетъ Капитолина Ивановна Лукерья и Машкѣ.—Тамъ намъ будетъ лучше поговорить о дѣлѣ... объясняетъ она гостямъ.

Ихъ любопытство, доведенное почти до нуля во время вкуснаго обѣда, внезапно поднимается сразу на тридцать градусовъ и имъ даже становится жарко отъ этого любопытства.

„Что за дѣло такое? Капитолина Ивановна даромъ не напишетъ. Сколько ужъ лѣтъ ничего подобного не случилось.“

Вотъ они въ гостиной за круглымъ столомъ. Капитолина Ивановна запираетъ двери. Любопытство Порфирія Яковлевича и Анны Алексѣевны достигаетъ сорока градусовъ.

Капитолина Ивановна усаживается въ кресло, подвигаетъ къ себѣ чашку кофе, лицо ея принимаетъ особенно серьезное и строгое выраженіе. Порфирій Яковлевичъ и Анна Алексѣевна такъ и впиваются въ нее глазами.

— Звала я васъ нынче, наконецъ начинаетъ хозяйка,—по большому дѣлу, хотѣла посовѣтоваться съ вами, говорить онѣ вполголоса и съ нѣкоторымъ таинственнымъ оттѣнкомъ.

— Что такое, матушка, что такое?!

— А то, други мои, что старыя дѣла наши, о которыхъ мы такъ полагали, что они померли и забыты,—наружу всплываютъ. Знаете ли кто у меня вчера съ здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ сидѣлъ?

— Кто такое... кто?!

— Горбатовъ, Борисъ Сергѣевичъ, покойнаго генерала Горбатова братецъ, тотъ самый, который за четырнадцатое декабря въ Сибирь сосланъ былъ...

Анна Алексѣевна всплеснула руками, а Порфирій Яковлевичъ промывчалъ:

— Вотъ какъ!..

— Да, вотъ какъ! И какъ бы вы думали зачѣмъ онъ ко мнѣ пожаловалъ?

— Ну, извѣстно зачѣмъ! сказалъ Порфирій Яковлевичъ,—такъ это тогда онъ Прыгунова подсылалъ, я, признаться сказать, такъ и думалъ.

Капитолина Ивановна усмѣхнулась.

— Большой мудрости не было догадаться! Да-съ, пожаловалъ ко мнѣ самъ свою персоною и требуетъ: подавай ему Сашеньку да Петрушу...

— Ну и что же вы?

— Само собою тоже самое — умерли, нѣтъ ихъ, похоронены. Такъ вѣдь онъ не вѣритъ. Отыщу, говоритъ; братъ умирая просилъ...

Порфирій Яковлевичъ усмѣхнулся.

— На смертномъ одрѣ раскаяніе видно взяло...

— Видно что такъ, отецъ мой, и вотъ теперь этотъ самый Борисъ Сергѣевичъ Горбатовъ, богачъ какихъ немного въ русскомъ царствѣ, желаетъ розыскать своего незаконнорожденнаго племянника и озолотить его.

— Чудны дѣла твои, Господи! прошептала Анна Алексѣевна.

— Такъ-съ! протянулъ Порфирій Яковлевичъ.— Вотъ вѣдь какое дѣло... какъ же вы, почтеннѣйшая Капитолина Ивановна, думаете, что же теперь?!

— Что же теперь! повторила Капитолина Ивановна,—умерла наша Сашенька, умеръ Петруша, похоронили мы ихъ на Ваганьковскомъ, я еще въ прошломъ мѣсяцѣ къ нимъ на могилки ѣздила, да панихиду служила. И если господину Горбатову

такъ ужъ надобно, и словамъ моимъ онъ не вѣритъ, такъ мы ему и доказательство смерти представить можемъ. Вѣдь такъ, Порфирій Яковлевичъ?

— Можно, безъ сомнѣнія можно, отвѣтилъ Порфирій Яковлевичъ.

— Ну вотъ на томъ я вчера и порѣшила, и совсѣмъ было успокоилась. А нынче утромъ какъ встала, такъ и берегъ меня сомнѣніе. Горбатовъ то мнѣ, знаете ли что, хорошимъ человѣкомъ показался!

— Да говорятъ таковъ онъ и есть, слухомъ земля полнится, сказалъ Порфирій Яковлевичъ.

— Вотъ то-то оно и есть, не въ богатствѣ счастье, а могъ бы быть нашъ Петруша и богатымъ, дядя ему большую бы дорогу открылъ... Проснулась я— и все раздумываю. Почему знать, можетъ быть и впрямь отъ этого добраго дяди было бы Петрушино счастье, думаю... одно слово — смущеніе! И такъ Горбатовъ дѣла этого не оставитъ. Пригунову не удастся, другого найдетъ, вверхъ дномъ все перевернетъ, — съ деньгами, сами знаете, песчинку въ морѣ найти можно...

— Ну, нашу то песчинку какъ сыскать! глубоко-мысленно проговорилъ Порфирій Яковлевичъ.

— А ты что же молчишь, мать моя? обратилась Капитолина Ивановна къ Аннѣ Алексѣевнѣ.

— Да что же, матушка, смутили вы меня, какъ есть совсѣмъ смутили... Страхъ беретъ, вѣдь и я тутъ не малую ролю сѣиграла, вѣдь у меня все въ домѣ было. Вы вотъ теперь говорите: съ деньгами все можно—оно такъ и есть — вѣрно. А что коли

Горбатовъ до суда дойдетъ, вѣдь этакъ мы всѣ заплатиться можемъ вотъ какъ!..

— Такъ ты ужь трусишь, Анна Алексѣевна?

— Какъ не трусить, какъ не трусить!.. вишь ты какое дѣло! Правда то, говорятъ, не рано такъ поздно всплываетъ — вотъ оно и всплываетъ. Ахъ, матушка, совсѣмъ, совсѣмъ вы меня смутили...

Анна Алексѣевна даже отодвинула отъ себя рюмочку съ наливкой и сидѣла хлопая глазами.

Порфирій Яковлевичъ заговорилъ:

— Пугаться нечего! какъ ни повертывай дѣло, а никакимъ манеромъ ничего онъ разузнать не можетъ. Какія тамъ доказательства... Нѣтъ, это вѣрно, бояться нечего...

— Конечно бояться нечего, сказала Капитолина Ивановна. А только вотъ что пришло мнѣ въ голову... говорю я вамъ — хорошій человекъ Горбатовъ и простой человекъ, даромъ что богачъ и важный баринъ. Ни чуточку онъ не похожъ на нашихъ князей да графовъ, совсѣмъ простой. Не открыться ли ему, а тамъ пусть какъ знаетъ?.. сдается мнѣ, бояться намъ его нечего и именно въ такомъ разѣ нечего бояться, если мы ему на чистоту всю правду скажемъ.

Порфирій Яковлевичъ и Анна Алексѣевна сильно задумались и нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе. Затѣмъ Порфирій Яковлевичъ поднялъ голову и проговорилъ:

— Можетъ оно и такъ, можетъ вы это и вѣрно рассудили, Капитолина Ивановна. Только по моему разумѣнію, намъ съ вами дѣла этого рѣшать ни-

какъ невозможно, рѣшить это могутъ только Иванъ Федоровичъ съ Марьей Семеновной.

— Само собою, сказала Капитолина Ивановна. Затѣмъ я и звала васъ, обсудить сначала со всѣхъ сторонъ, а потомъ и имъ представить... ихъ дѣло... ихъ дѣло!.. а безъ васъ, не посудивъ съ вами, я въ нимъ идти не хотѣла... Такъ значитъ рѣшено?!

— Да, да! подтвердилъ Порфирій Яковлевичъ.

— А ты, мать моя, что на это скажешь? обратилась Капитолина Ивановна къ Аннѣ Алексѣевнѣ.

— Да чтò я скажу, что мнѣ тутъ говорить! какъ вы рѣшите — такъ и будетъ. А боязно мнѣ... все черезъ мои руки, все у меня въ домѣ...

— Ну, заладила! Совсѣмъ ты, сударыня, отъ старости поглупѣла, съ тобой видно и говорить нечего.

Капитолина Ивановна встала и отперла двери, показывая этимъ, что засѣданіе окончено.





VII.

Старая идиллія.

Въ одномъ изъ безчисленныхъ переулковъ между Пречистенкой и Арбатомъ, гдѣ послѣ пожара двѣнадцатаго года стало строить себѣ дома московское дворянство, помѣщался небольшой, но помѣстительный домъ Ивана Федоровича Бородина. Но имѣя недвижимую собственность въ аристократическомъ кварталѣ, Бородинъ уже никакъ не принадлежалъ, несмотря на свое имя, напоминавшее поле знаменитой битвы, къ старому дворянству.

Онъ былъ потомственнымъ русскимъ дворяниномъ благодаря своей службѣ, за которую получилъ орденъ давшій ему дворянское званіе. Происходилъ онъ отъ зажиточныхъ мѣщанъ города Калуги. Показалъ въ дѣтствѣ большую склонность къ чтенію и письму, а потому отецъ его и рѣшилъ:

„Ну что же, пушай и идетъ по ученой части! и

въ этомъ званіи люди не пропадаютъ и хлѣбъ добываютъ“.

Кончилъ Иванъ Федоровичъ курсъ въ гимназіи, поступилъ въ университетъ, занимался математическими науками и затѣмъ, какъ молодой человѣкъ, заявившій себя прилежаніемъ и знаніемъ передъ московскими профессорами и особливо ими рекомендованный, былъ принятъ учителемъ математики въ московскую гимназію.

Иванъ Федоровичъ, человѣкъ нрава кроткаго и уживчиваго, пристрастился къ своему занятію и въ теченіе двадцати пяти лѣтъ аккуратно каждый день вдалбливалъ гимназистамъ разные корни, теоремы, синусы и косинусы. На его глазахъ созрѣвали поколѣнія московской молодежи и любилъ онъ эту молодежь отъ всего сердца. И его любили ученики, только такъ какъ онъ не умѣлъ быть строгимъ и твердости характера никакой не показывалъ, то любовь ихъ главнымъ образомъ выражалась въ томъ, что они немилосердно шумѣли въ его классѣ, не обращая никакого вниманія на его замѣчанія, и надували его самымъ непозволительнымъ образомъ. Нерѣдко даже они подсмѣивались надъ нимъ и подшучивали, позволяли себѣ съ нимъ разные фарсы. Пользуясь его замѣчательной разсѣянностью, они напримѣръ накладывали въ карманы его вице-мундира апельсиныя корки, старые бутерброды. Онъ ничего не замѣчалъ и всѣ эти запасы приносилъ домой, къ изумленію и ужасу своей супруги. Случалась нѣсколько разъ во время его двадцатипятилѣтняго учительства и такая гадость—скверные мальчишки накладывали ему въ карманы сырыхъ

яйца, слѣдствіемъ чего было конечно то, что бѣдный Иванъ Федоровичъ оказывался въ самомъ странномъ и соблазнительномъ видѣ. Но, онъ все терпѣлъ и даже не сердился на гадкихъ мальчишекъ, разсуждая такъ, что они еще дѣти, глупы, а вырастутъ—поумнѣютъ и самимъ стыдно будетъ вспомнить.

И онъ былъ правъ. При встрѣчахъ съ нимъ бывшіе ученики никогда его не обходили и кидались къ нему какъ къ старому другу. Онъ каждого узнавалъ, спрашивалъ подробно и зазывалъ къ себѣ въ гости. Такимъ образомъ у него въ домѣ иной разъ набиралось не мало народу.

Иванъ Федоровичъ, поступивъ учителемъ въ гимназію, въ то же время давалъ нѣсколько и частныхъ уроковъ; а такъ какъ онъ былъ молодымъ человекомъ скромнымъ и пользовался репутаціей смиренника, то ему было поручено даже обучать ариѳметикѣ нѣкоторыхъ московскихъ барышень.

Въ одну изъ своихъ ученицъ, дочку заѣзжаго пензенскаго помѣщика, онъ вдругъ влюбился. Какъ съ нимъ случилась такая напасть — онъ и сообразить не могъ. До того времени онъ боялся женщинъ, старался избѣгать встрѣчъ съ ними и разговоровъ, а когда такое бѣгство оказывалось невозможнымъ, то конфузился, краснѣлъ, не поднималъ глазъ.

Точно также онъ поступалъ и со своими ученицами, а тутъ вдругъ поднялъ глаза, да и увидѣлъ передъ собою юную бѣлокурую головку, рѣзкія розовыя щеки, тихую улыбку, выказывавшую рядъ ровненькихъ, бѣленькихъ зубовъ.

Непостижимое что то совершилось съ Иваномъ Федоровичемъ, не въ силахъ былъ онъ оторвать глазъ отъ этого милаго личика; сбился, спутался и никакъ не удавалось ему объяснить барышнѣ именованныя числа.

— Иванъ Федоровичъ, что это вы на меня такъ странно смотрите? проговорила барышня, а сама вдругъ вспыхнула какъ макъ цвѣтъ.

Молодой учитель задрожалъ всѣмъ тѣломъ:

— Я ничего-съ!.. я такъ-съ... извините пожалуйста, Марья Семеновна...

Она засмѣялась такъ звонко и весело и сквозь смѣхъ проговорила:

— Чего же вы извиняетесь? вы меня ничѣмъ не обидѣли...

Но вдругъ, прекративъ смѣхъ и сдѣлавшись очень серьезной, прибавила:

— Такъ что же такое именованныя числа, я все никакъ понять не могу, повторите пожалуйста?!

Но ничего не вышло изъ этого урока; барышня такъ и не узнала, что такое именованныя числа.

Въ слѣдующій разъ Иванъ Федоровичъ пришелъ такой блѣдный и грустный и уже не поднималъ глазъ на Марью Семеновну. Она ждала, ждала и не утерпѣла, спросила:

— Иванъ Федоровичъ, отчего вы на меня глядѣть не хотите? вы на меня сердитесь?

Онъ привскочилъ на стулъ какъ ужаленный.

— Я—на васъ сердиться!! я... помилуйте... да я, Марья Семеновна, я...

Онъ замолчалъ. И она ясно увидѣла какъ на его глазахъ блеснули слезы. Ея доброе, милое личико

стало еще добрѣе и послѣ урока она крѣпко, крѣпко сжала руку Ивана Федоровича.

Онъ выбѣжалъ изъ дома какъ сумасшедшій и часа три бѣгалъ по бульварамъ, самъ непонимая гдѣ онъ, что съ нимъ такое дѣлается, и совсѣмъ забылъ, что онъ давно уже пропустилъ часъ очень выгоднаго урока.

Трудно было сговориться молодымъ людямъ. Иванъ Федоровичъ даже и мечтать не смѣлъ о какихъ нибудь серьезныхъ планахъ. Онъ жилъ настоящимъ. Онъ былъ счастливъ ея молчаливой улыбкой, пожатіемъ руки.

Она тоже дальше этого не шла. Такъ продолжалось цѣлую зиму.

Наконецъ пришло время кончить уроки: Марья Семеновна собиралась съ родителями въ деревню. Бѣдный Иванъ Федоровичъ бродилъ какъ помѣшанный, считалъ дни.

„Боже мой, вѣдь завтра послѣдній урокъ!“ думалъ онъ.

Онъ не спалъ нѣсколько ночей, совсѣмъ отбился отъ ѣды и даже похудѣлъ, пожелтѣлъ. Наступилъ часъ послѣдняго урока. Марья Семеновна вышла къ нему съ покраснѣвшими глазами; она очевидно плакала.

Во время уроковъ очень часто присутствовала ея мать, добродушнѣйшая, толстѣйшая помѣщица средней руки, обожавшая единственную дочь. Былъ еще у нея сынъ-офицеръ, да тотъ со своимъ полкомъ находился гдѣ то въ Польшѣ и по цѣлымъ годамъ не видался съ родителями.

Но на этотъ разъ они оказались одни. Маменька

уѣхала за покупками, за запасами на лѣто, отецъ Марья Семеновны, старый отставной полковникъ, большой крикунъ и говорунъ, вѣчно ходившій на распашку до неприличія, потому что ему всегда было душно, и не выпускавшій изо рта длиннаго чубука, еще за мѣсяцъ уѣхалъ въ деревню.

Иванъ Федоровичъ, молча поздоровавшись съ барышней, хотѣлъ было уже приступить къ уроку и началъ было:

— Въ прошлый разъ мы остановились съ вами...

Но барышня перебила его.

— Иванъ Федоровичъ, оставьте это, сказала она, — поговоримъ лучше. Вѣдь вы знаете — мы уѣзжаемъ въ деревню и врядъ ли вернемся будущей зимой въ Москву, такъ папенька сказалъ. Значить... значить мы съ вами простимся и можетъ быть больше никогда не увидимся...

— Зачѣмъ же вы это мнѣ говорите! вдругъ воскликнулъ Иванъ Федоровичъ съ такой силою, съ такой страстью, какой даже въ немъ предположить было невозможно. — Зачѣмъ говорите! Я и такъ измучился...

— Такъ вамъ скучно прощаться со мною?! прошептала она заглядывая ему въ глаза своими нѣжными, печальными глазами.

— Марья Семеновна, да неужели вы не видите, что я умру разставшись съ вами.

Она вдругъ зарыдала. Но это не были слезы горя.

Себя не помня, онъ кинулся къ ней и черезъ мигъ они были въ объятіяхъ другъ друга.

Въ это время раздался звонокъ. Они очнулись.

— Это маменька вернулась, сказала Марья Семеновна, — пойдите къ ней, поговорите съ нею, милый!

Иванъ Федоровичъ съ небесъ упалъ на землю.

— Да какъ же я... какъ же я посмѣю?... шепталъ онъ.

— А не посмѣете — значитъ меня не любите... быстро проговорила Марья Семеновна и скрылась изъ комнаты.

Эти послѣднія слова ея мгновенно его наэлектризовали и когда, переваливаясь и обмахиваясь платкомъ, вошла „маменька“, Иванъ Федоровичъ уже былъ совсѣмъ инымъ человекомъ, чѣмъ тотъ, котораго всѣ знали.

Онъ винулся къ „маменькѣ“ и, весь красный, съ сверкающими глазами, съ нервной дрожью въ голосѣ, даже не поздоровавшись, объявилъ ей, что любить ея дочь и просить ея руки. Маменька оставилась и поглядѣла на него широко раскрытыми глазами.

— Да что это вы, батюшка, на меня накинудись, будто бѣлены обѣлись! Да поглядите вы на себя... вы сейчасъ кусаться станете! Поздоровайтесь хоть сначала...

Она протянула ему руку, которую онъ поцѣловалъ.

— Ну, а теперь садитесь и будемъ говорить.

Изъ этого приѣма уже можно было видѣть, что маменька подготовлена. Марья Семеновна не дремала и, не смотря на всю свою дѣвическую скромность и немудреность, рѣшивъ, что любить Ивана Федоровича и отлично зная, что и онъ ее любитъ,

мало-по-малу уговорила таки маменьку. Сначала старуха и слышать не хотѣла, объявила даже, что не станетъ пускать Бородина въ домъ и прекратить эти глупые уроки.

— Ишь въдь, въ тихомъ то омутѣ и впрямь видно черти водятся! На видъ такой скромный, глазъ не подымаетъ... а скажите пожалуйста—вонъ куда метнулъ!... Да ты, Машенька, рехнулась что ли — подумай только: ты столбовая дворянка и не безприданница — а онъ что! — учительшка изъ мѣщанъ! Это я доподлинно знаю, мнѣ Капитолина Ивановна сказывала (Капитолина Ивановна, старая знакомая маменьки, и рекомендовала ей Ивана Федоровича). Такъ развѣ онъ тебѣ пара? не такого жениха тебѣ надо!

Но Марья Семеновна стала доказывать самымъ логичнымъ образомъ, то есть слезами и поцѣлуями, что именно такого жениха ей надо, что ни за кого другого она ни за что не пойдетъ и если ее не выдадутъ за Ивана Федоровича, то она станетъ чахнуть и умереть—вотъ какъ кузина Наденька, которая въ полгода извелась и сошла въ могилу, оттого что родители не выдали ее за любимаго человѣка.

Маменька при такомъ напоминаніи перепугалась не на шутку.

— Ахъ бѣды! и когда же вы это успѣли? кажется съ глазъ не спускала...

— Что успѣли, маменька? ничего мы не успѣли. Онъ никогда мнѣ и слова не сказалъ... такого...

— Такъ что же это ты, можетъ онъ вовсе о тебѣ не думаетъ!

— Ну ужь я знаю, знаю... онъ скромный... очень боится...

И каждый день у матери съ дочерью были такіе разговоры и кончилось тѣмъ, что маменька совсѣмъ убѣдилась, что дѣлать нечего — придется выдать дочку за учителя.

Теперь являлся другой вопросъ:

— А объ отцѣ ты то и не подумала. — Онъ не допустить, ни за что не допустить!.. Онъ свое столбовое дворянство знаешь какъ цѣнить!

— Ахъ ты, Боже мой, опять это! Да Иванъ Федоровичъ... онъ ученый человекъ, онъ служить, онъ двадцать разъ дворяниномъ будетъ!.. Если вы станете уговаривать папеньку, такъ онъ согласится, навѣрно согласится, вѣдь онъ меня любитъ, не захочетъ моей смерти.

Маменька подумала, подумала и рѣшила такъ, что папенька накричитъ, набурлитъ, а въ концѣ концовъ сдастся...

— Такъ вотъ вы какъ, Иванъ Федоровичъ! съ притворной строгостью сказала маменька Бородину, усаживаясь въ кресло и продолжая обмахиваться платкомъ, — арифметикѣ обучали мою дочку, а на умѣ другое было... Ну да браниться съ вами не буду. — А вотъ что скажите вы мнѣ, сударь мой, мнѣ это знать нужно, потому тутъ не во мнѣ дѣло, а мужъ какъ скажетъ... Слышала я какъ будто вы не изъ дворянъ?..

Иванъ Федоровичъ нѣсколько смутился, но тотчасъ же поднялъ глаза.

— Да, сказалъ онъ, — отецъ мой былъ мѣщани-

номъ, а я, какъ университетскій, какъ кандидатъ, имѣю личное дворянство.

— Личное! то-то же! Ну а потомственное дворянство вы получить можете?

— По службѣ могу!..

И онъ объяснилъ ей все, что было надо.

Она покачала головою.

— Такъ слушайте меня, Иванъ Федоровичъ, рѣшила она, — что съ возу упало — то пропало: сдурила моя дочка — Богъ съ вами, человѣкъ вы хороший и коли любите ее душевно — я вашему счастью мѣшать не стану.

Иванъ Федоровичъ схватилъ руки маменьки и покрывалъ ихъ восторженными поцѣлуями.

— Да не торопись ты, отецъ мой, отбивалась она, — какъ мужъ рѣшить, можетъ онъ и слышать про тебя не захочетъ. Вотъ мы поѣдемъ въ деревню и станемъ его уговаривать; не уговоримъ — дѣлать нечего, а уговоримъ — пришлю я тебѣ письмоцо и пріѣзжай ты къ намъ въ деревню. Вѣдь у тебя лѣто свободное?

— Конечно свободное, конечно свободное! повторялъ Иванъ Федоровичъ.

Все передъ нимъ было какъ въ туманѣ.

— А теперь уходи, говорила между тѣмъ маменька, — и ни гугу! никому ни слова, коли ты честный человѣкъ, потому что еще неизвѣстно какъ дѣло обернется. Уѣзжаемъ мы послѣ-завтра, утромъ зайди пожалуй проститься на минуту и смотри — виду не подай. А затѣмъ жди отъ насъ вѣсти...

Такъ все и случилось. Марья Семеновна уѣхала съ маменькой. Иванъ Федоровичъ остался въ Москвѣ

въ тревогѣ, въ ожиданіи. Онъ считалъ дни, часы и минуты. Прошли двѣ недѣли, три недѣли, мѣсяцъ— онъ уже сталъ приходить въ отчаяніе, но вдругъ письмо. Сама Марья Семеновна писала:

„Иванъ Федоровичъ, голубчикъ, трудно было, но все же уладилось—папенька согласенъ, пріѣзжайте.“

Небо съ овчинку показалось Ивану Федоровичу. Онъ мигомъ собрался и помчался въ Пензенскую губернію.





VIII.

Жили-были.

Когда Иванъ Федоровичъ, уже на склонѣ жизни, въ тихія минуты припоминалъ это далекое время, каждый разъ восторженные слезы наворачивались на глаза его и онъ шепталъ:

„И за что мнѣ дано было такое счастье? что я сдѣлалъ, чтобы заслужить его?!“

И конечно онъ не могъ понять до какой степени онъ стоилъ своего скромнаго счастья. Онъ вотъ, наприимѣръ, высоко цѣнилъ умъ своей супруги; но далеко былъ отъ мысли, что главнымъ образомъ она выказала свой умъ выбравъ его себѣ въ мужа и настаивая на томъ, чтобы ей разрѣшили выйти за него замужъ. Лучшаго мужа „маменька“ и „папенька“ конечно никогда бы не могли найти для своей дочери.

Какъ былъ онъ восторженно влюбленъ въ нее объясняя ей именованныя числа, такъ точно востор-

женно оставался влюбленнымъ и до старости. Марья Семеновна была для него олицетвореніемъ всѣхъ добродѣтелей, воплощеніемъ земной и чуть что ни небесной красоты. Что сказала и рѣшила Марья Семеновна—то было для него свято. Все что исходило отъ нея, все что дѣлалось ею—казалось ему произведеніемъ высшей мудрости. Никогда между ними не пробѣжало ни одной черной кошки, въ ихъ семейной жизни была такая тишь да гладь, да Божья благодать, что даже строгая Капитолина Ивановна, всегда искавшая и находившая оборотную сторону медали, ставила ихъ всѣмъ въ примѣръ.

— Вотъ Бородины, говорила она, — скромные люди, звѣздъ съ неба не хватаютъ, пороку не выдумываютъ, а всѣмъ бы нашимъ умникамъ да умницамъ у нихъ поучиться! на заглядѣнье живутъ! У нихъ въ домѣ и духъ то особенный: войдешь—такъ словно свѣжестью какой пахнетъ, вотъ какъ въ саду весною...

И этотъ весенній запахъ, чувствуемый Капитолиной Ивановной, Бородины счумѣли сохранить въ теченіе всей своей жизни.

„Папенька“ и „маменька“ купили молодымъ просторный, хорошій домъ, устроили имъ полную обстановку, такъ что никого имъ принять было не зазорно. Поговаривали въ первое время о томъ, что не бросить ли Ивану Федоровичу его учительства, гимназической службы, не найти ли службы поvidнѣе, чтобы выйти скорѣе въ люди. Но Иванъ Федоровичъ находилъ, что онъ и такъ уже черезчуръ „вышелъ“, что дальше и выше идти ему некуда, что при полномъ его счастьи и благополучіи питать

въ себѣ еще какіе нибудь честолюбивые замыслы— просто грѣхъ. Да и наконецъ онъ любилъ свое скромное дѣло, любилъ скверныхъ шалуновъ-мальчишекъ— и продолжалъ учительствовать. Но все же „папенька“ и „маменька“, не на шутку терзавшіеся мыслью о „неблагородствѣ“ своего зятя, при посредствѣ добрыхъ знакомыхъ, такъ подѣйствовали на гимназическое начальство, что Иванъ Федоровичъ въ годъ своей женитьбы былъ награжденъ орденомъ. Этотъ орденъ давалъ всѣ ему права и привилегіи потомственного дворянства. Впослѣдствіи это дворянство причинило ему, какъ увидимъ, не мало тревогъ...

Послѣ трехъ лѣтъ полного благополучія, пришло къ Бородинымъ высшее счастье, о которомъ они мечтали: родился у нихъ ребенокъ—сынокъ Миша. Марья Семеновна наглядѣться не могла на мальчика. Иванъ Федоровичъ всѣ свои свободныя минуты посвящалъ ему и при этомъ выказывалъ такую нѣжность, такую почти женскую заботливость и умѣніе обращаться съ ребенкомъ, что Капитолина Ивановна, часто ихъ навѣщавшая, прозвала его „нянькой“. Да и мальчикъ вышелъ славный, съ такими живыми глазами, съ курчавыми волосенками, такой бѣленькій, тихій и спокойный...

Ежегодно, когда наступало лѣто и въ гимназіи оканчивались экзамены, Бородины уѣзжали въ деревню на вакаціонное время. „Папенька“ и „маменька“ всегда настаивали, и особенно съ тѣхъ поръ какъ родился Миша, чтобы Марья Семеновна подольше оставалась въ деревнѣ, на вольномъ воздухѣ; но она и слышать объ этомъ не хотѣла: она ни на одинъ день не разставалась съ мужемъ.

„Гдѣ мужъ—тамъ и жена! говорила она,—какъ я его одного отпущу въ Москву?! да онъ совсѣмъ пропадетъ безъ меня!“

Иванъ Федоровичъ благодарно взглядывалъ на жену и они возвращались всегда вмѣстѣ, въ первой половинѣ августа, къ началу его классныхъ занятій.

Только одинъ разъ этотъ установившійся порядокъ былъ нарушенъ. Почти передъ самымъ отъѣздомъ въ деревню маленький Миша сильно заболѣлъ. Двери Бородиныхъ заперлись для всѣхъ знакомыхъ за исключеніемъ Капитолины Ивановны. Мальчикъ болѣлъ долго, потомъ было слышно, что онъ выздоровѣлъ. Только въ началѣ іюля Иванъ Федоровичъ и Марья Семеновна уѣхали въ деревню совсѣмъ какъ то тихомолкомъ.

Къ началу гимназическихъ занятій Иванъ Федоровичъ вернулся одинъ, да такой мрачный, худой и блѣдный, что знакомые его такъ и ахнули.

— Батюшка, Иванъ Федоровичъ, что съ вами, вѣдь вы больные совсѣмъ, и какъ это Марья Семеновна васъ отпустила?

— Нѣтъ, я здоровъ! печально отвѣчалъ онъ.

— Все ли у васъ благополучно? какъ лѣто провели?

— Ничего, все благополучно...

И при этихъ словахъ голосъ его дрожалъ и выраженіе лица становилось такимъ жалкимъ, такимъ безнадежнымъ.

— Ну, а какъ теперь вашъ Миша? совсѣмъ поправился послѣ болѣзни?

— Поправился, слава Богу... И Иванъ Федоровичъ обрывалъ разговоръ.

Но всё замѣчали, что онъ груститъ и тоскуетъ, что у Бородиныхъ что то неладно.

— Да и чего это Марья Семеновна такъ замѣш-
калась въ деревнѣ?

Наконецъ поздно осенью она прѣхала съ Мишей. Ее нашли еще болѣе измѣнившейся. Она просто по-
старѣла на нѣсколько лѣтъ. Знакомые иногда заста-
вали ее съ глазами, видимо распухшими отъ слезъ,
но она никому не повѣряла причины своей грусти.

— И что у нихъ тамъ такое — одному Богу
извѣстно!.. печальное было, видно, лѣто... Одному
Мишѣ оно принесло пользу — перенесенная имъ бо-
лѣзнь видимо его совсѣмъ переродила, просто не
узнать стало мальчика... Такъ выросъ, окрѣпъ, да
и лицо какъ будто другое — глаза потемнѣли, одни
только волосенки попрежнему курчавые да мягкіе.

Но мальчика рѣдко кто и видѣлъ. Марья Семен-
овна сдѣлалась такая странная, прятала ото всѣхъ
ребенка, будто боялась, что его сглазятъ.

Между тѣмъ время шло: стали проходить годы,
и мало-по-малу всё знавшіе Бородиныхъ конечно
забыли о томъ, что имъ показалось когда то стран-
нымъ и непонятнымъ. Марья Семеновна уже не пла-
кала и не грустила, пополнѣла и поздоровѣла. Иванъ
Федоровичъ продолжалъ учительствовать, преклоняться
передъ женою и баловать сына. Только у него мало-
по-малу развилась новая страсть, которая не осо-
бенно шла къ предмету его занятій, то есть къ ма-
тематикѣ, страсть эта была — ботаника. Теперь онъ
все свободное время проводилъ у себя въ саду, гдѣ
настроилъ тепличекъ и парниковъ, выращивая уди-
вительныя овощи и растенія.

Миша росъ, развивался; его уже больше ни отъ кого не прятали и всякій приходившій въ домъ Бородиныхъ имѣлъ полную возможность любоваться живымъ, красивымъ мальчикомъ.

— Какой славный у Бородиныхъ Миша вырастаетъ, говорили про него, — только вотъ ужъ не въ мать не въ отца, крупный такой, черноглазый!

Прошло еще нѣсколько лѣтъ. Бородины уже не ѣздили лѣтомъ въ деревню, такъ какъ ни „папеньки“, ни „маменьки“ не было на свѣтѣ, а деревня принадлежала брату Марьи Семеновны, незнавшемуся съ сестрою. Послѣ смерти родителей этотъ братъ вышелъ въ отставку, переѣхалъ въ деревню, обдѣлилъ сестру при раздѣлѣ наслѣдства и затѣмъ прямо объявилъ ей, что она унизила себя своимъ замужествомъ. Конечно послѣ этого о родственныхъ отношеніяхъ не могло быть и рѣчи. Поволновалась, поволновалась Марья Семеновна, но скоро успокоилась. Брата она почти не знала, такъ что ссора эта не причинила ей особеннаго горя. А что обманулъ онъ ее и присвоилъ часть родительскаго состоянія, которая должна была ей достаться — Богъ съ нимъ. Жили Бородины ни въ чемъ не нуждаясь, въ своемъ домѣ и былъ у нихъ припасенъ небольшой капиталъ. Иванъ Федоровичъ получалъ достаточно — хватить на ихъ вѣкъ, да и Мишѣ что нибудь достанется. А Миша, Богъ дастъ, не пропадетъ, мальчикъ умный, способный, въ гимназіи хорошо учится.

Миша росъ и продолжалъ хорошо учиться. Затѣмъ поступилъ въ университетъ, кончилъ курсъ, потомъ уѣхалъ за границу. Родители ни въ чемъ ему не отказывали и Марья Семеновна аккуратно высылала

ему то во Францію, то въ Германію, то въ Италію всѣ проценты со своего капитала. Что то ужъ очень долго Миша пробылъ за границей—болѣе двухъ лѣтъ. Наконецъ вернулся.

Послѣ первыхъ радостныхъ дней свиданія, отецъ осторожно и боязливо приступилъ къ разговору о предметѣ, который его видно тревожилъ—сталъ спрашивать сына, что же онъ намѣренъ теперь съ собою дѣлать, гдѣ и какъ думаетъ служить?

Красавецъ Миша приподнялъ на отца свои черные глаза, которые почти всегда держалъ полузакрытыми, и проговорилъ:

— А вамъ, папенька, непременно бы хотѣлось, чтобы я служилъ?

— Другъ мой, какъ же иначе! Зачѣмъ же ты образованіе получилъ, если не для того, чтобы примѣнить его къ дѣлу... Вотъ ты болѣе двухъ лѣтъ провелъ за границей, я, мой милый, тебя не прекаю и знаю, что ты не даромъ прожилъ это время, ты тамъ окончательно завершилъ свое образованіе, ты слушалъ лекціи знаменитыхъ европейскихъ ученыхъ. Все это прекрасно. Ну, а теперь надо начинать иную жизнь.

Михаилъ Ивановичъ совсѣмъ почти закрылъ глаза и задумался.

— Хорошо! проговорилъ онъ, —я согласенъ съ вами... буду служить, только гдѣ?

Отецъ оживился.

— А ты полагаешь, мы съ матерью объ этомъ не подумали. Слава Богу, не безъ добрыхъ людей на свѣтѣ. Вотъ Петръ Петровичъ Софоновъ, чай помнишь... Знаешь какое мѣсто теперь занимаетъ.

Вѣдь онъ изъ первыхъ старшихъ учениковъ моихъ и меня никогда не забываетъ... Еще недавно, какъ получилъ твое послѣднее письмо, я говорилъ съ нимъ о тебѣ и онъ обѣщалъ тебя у себя пристроить.

— Что же это—въ архивныя крысы! равнодушно произнесъ Михаилъ Ивановичъ.

Отецъ опѣшилъ.

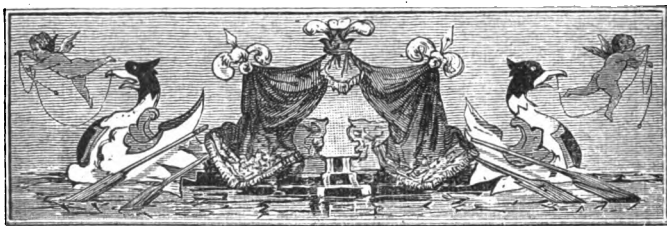
— Какъ это ты такъ говоришь: въ архивныя крысы! къ чему тутъ крыса?! Для начала службы самое лучшее и при твоёмъ образованіи, полагаю я, для тебя подходящее, а дальше отъ тебя будетъ зависѣть... А ты вдругъ... крыса!..

Михаилъ Ивановичъ улыбнулся.

— Да вѣдь это я такъ, папенька—шутя!.. Мнѣ все равно... Если желаете, я и у Софонова служить буду.

На томъ они и порѣшили. Михаилъ Ивановичъ поступилъ на службу и остался въ родительскомъ домѣ. Ему былъ предоставленъ весь мезонинъ, состоящій изъ трехъ просторныхъ комнатъ, гдѣ онъ могъ располагать своимъ временемъ какъ угодно, принимать кого ему вздумается, возвращаться домой, никого не стѣсняя въ какой угодно часъ ночи, такъ какъ и ходъ въ мезонинъ былъ отдѣльный.





IX.

Михаиль Ивановичъ.

Теперь со времени возвращенія Михаила Ивановича прошло уже нѣсколько лѣтъ и въ эти годы въ домѣ Бородиныхъ совершились большія перемѣны. Но прежде чѣмъ говорить объ этихъ перемѣнахъ, нужно нѣсколько познакомиться съ Михаиломъ Ивановичемъ.

По мѣрѣ того какъ онъ выросталъ, по мнѣнію всѣхъ бывавшихъ въ домѣ у Бородиныхъ, онъ все болѣе и болѣе заслуживалъ названія „родительскаго утѣшенія“, и по истинѣ могъ считаться счастливецъ. Мальчикъ онъ былъ очень здоровый, характеръ имѣлъ ровный и спокойный, способности къ ученію прекрасныя. Подъ родительскимъ кровомъ не зналъ онъ никакихъ бѣдъ и напастей, не извѣдалъ даже, что значить строгость. И отецъ и мать его благо-

вали, окружали постоянной заботливостью, старались сблизить его какъ можно меньше.

Другой бы на его мѣстѣ избаловался и сдѣлался непослушнымъ и своевольнымъ, но съ нимъ этого не случилось. Онъ, повидимому, очень рано научился цѣнить доброту своихъ родителей и никогда не злоупотреблялъ ею. Выросъ онъ и развивался самымъ правильнымъ образомъ. Въ гимназіи сходился съ такими же благовоспитанными и скромными мальчиками, какимъ былъ самъ.

Будучи студентомъ университета и съ удовольствіемъ слушая и записывая профессорскія лекціи, онъ однако не былъ изъ числа тѣхъ маменькиныхъ сынковъ, которые являлись въ университетъ съ провожатыми и изображали изъ себя невинныхъ агнцевъ. Иной разъ случалось, что Михаилъ Ивановичъ сильно покучивалъ и шумѣлъ въ пріятельской компаніи и даже раза два-три во время университетскаго курса подвергался дисциплинарному наказанію. Но ничего грязнаго и неблагогоуднаго не было въ его кутежахъ и шалостяхъ. Да и наконецъ эти кутежи очень скоро прекращались, не оставляя по себѣ никакихъ слѣдовъ. Однако онъ вспоминалъ объ нихъ съ пріятной улыбкой и безъ упрековъ совѣсти.

Только къ концу университетскаго курса въ его внутреннюю, спокойную и счастливую жизнь стало проникать какое то недовольство, не то скука, и самъ онъ не замѣтилъ откуда и какимъ образомъ появились вдругъ эти чувства. Все вокругъ него было по прежнему складно и ладно, та же мирная и скромная семейная обстановка, тѣ же добрые старики-родители, тѣ же привычныя лица, которыхъ

онъ съ дѣтства зналъ и любилъ, которыя и его любили. Но бывало прежде ему было хорошо и уютно въ этой обстановкѣ, а теперь нѣтъ-нѣтъ, да и покажется она ему черезчуръ сѣренькой и неприглядной. Онъ сталъ ко всему относиться критически. Иногда онъ ловилъ себя на недовольствѣ отцомъ и матерью. Иногда они казались ему не совсѣмъ такими, какими бы онъ хотѣлъ ихъ видѣть. 7

Дѣло было въ томъ, что Михаилъ Ивановичъ попалъ не въ свое общество—онъ сдружился съ двумя молодыми людьми, принадлежавшими къ высшему московскому кругу и черезъ нихъ попалъ въ знатные и богатые дома. Его принимали въ этихъ домахъ очень хорошо. Онъ былъ такой красивый и приличный молодой человекъ и, благодаря стараніямъ и заботамъ Марьи Семеновны, даже очень недурно говорилъ по французски, безъ чего въ этихъ домахъ обойтись никакъ было невозможно, не роняя своего достоинства.

И вотъ, вѣшный блескъ роскошной барской жизни, лоскъ и тактъ этихъ неизвѣстныхъ ему прежде людей произвели на него неотразимое впечатлѣніе. Онъ очень скоро усвоилъ себѣ приемы свѣтлаго молодого человека, привычки, какихъ у него прежде не было. Онъ сталъ франтить и модничать. Онъ вообще такъ вдругъ измѣнился, что Капитолина Ивановна, какъ то пристально и долго въ него взглядавши, вдругъ обратилась къ нему съ такой фразой:

— Никакъ это ты, Мишенька, вороной сталъ въ павлиньихъ перьяхъ! Очнись, батюшка, не пристало тебѣ фinta такото разыгрывать...

Михаилъ Ивановичъ съ изумленіемъ взглянулъ на старуху.

— Что это вы, Капитолина Ивановна, чѣмъ я ворона въ павлиньихъ перьяхъ?

— Да ужъ не вывертывайся! насквозь я тебя вижу, попалъ къ богатымъ да знатымъ людямъ—и рехнулся... Не ждала я отъ тебя такой дурусти, считала тебя умнѣе... Такъ то... что? не нравится!—ужъ не взыщи, вѣдь я тебя, балбеса, на рукахъ нянчила, носъ тебѣ утирала, такъ не стану съ тобой церемониться... А вотъ что я тебѣ скажу—одумайся—ка лучше, да отъ князей своихъ да графовъ подалее, ни къ чему путному это, тебя не приведетъ. Знай сверчокъ свой шестокъ—въ томъ весь и умъ человѣка, чтобы умѣть оставаться на своемъ мѣстѣ. А вздумаешь на чужое мѣсто садиться — такъ сгонять и сраму не оберешься...

Сказала все это Капитолина Ивановна, а потомъ взяла, повернулась и ушла, такъ что и отвѣтить ничего не успѣлъ ей Михаилъ Ивановичъ. Да и отвѣта у него никакого не было. Смутила его и даже какъ будто нѣсколько испугала старуха, заставила задуматься.

„Какъ ворона въ павлиньихъ перьяхъ?! думалъ онъ,—какъ не на своемъ мѣстѣ?! Тамъ мнѣ хорошо, тамъ мнѣ вольно дышется, тамъ все такъ свѣтло, изящно, гармонично. И какимъ образомъ меня могутъ прогнать со срамомъ, когда принимаютъ какъ друга, когда считаютъ меня равнымъ себѣ?! Да и чѣмъ я имъ неравный?! Что у меня незнатное имя, что я небогаты... Но вѣдь они хорошо понимаютъ,

что то и другое не зависеть отъ человека и не можетъ дать ему особеннаго значенія!..“

Однако какъ онъ себя ни успокоивалъ, а слова старухи засѣли у него въ памяти. Онъ невольно сталъ внимательно вглядываться въ общество, которое считалъ теперь своимъ обществомъ, и очень скоро замѣтилъ, что ошибался во многомъ, что его хотя и принимали любезно, а своимъ не считали. Случай помогъ ему скоро окончательно въ этомъ убѣдиться.

Онъ увлекся одной молоденькой свѣтской дѣвушкой, которая повидимому выказывала ему большое вниманіе и всегда очень охотно съ нимъ бесѣдовала и даже танцевала. За этой дѣвушкой свѣтская молодежь очень ухаживала и она позволяла за собой ухаживать. Поощренный примѣромъ пріятелей, и Михаилъ Ивановичъ вздумалъ показать ей, хотя и въ очень осторожной формѣ, свои нѣжныя чувства. Но тутъ случилось нѣчто странное: то, что она принимала отъ другихъ, гораздо менѣе его интересныхъ молодыхъ людей, того не только не приняла отъ него, но обдала его такой холодною, что онъ не зналъ куда и дѣваться. Она мгновенно перестала совсѣмъ замѣчать его, и въ домѣ ея родителей такъ приняли бѣднаго юношу, что онъ ушелъ съ тѣмъ, чтобы больше никогда туда не вернуться, ушелъ съ чувствомъ глубоко оскорбленнаго самолюбія.

Затѣмъ онъ подслушалъ нѣсколько фразъ, сдѣлалъ нѣсколько сопоставленій и оказалось, что Капитолина Ивановна права, что онъ ворона въ павлиньихъ перьяхъ.

Неизвѣстно какъ бы онъ покончилъ со своими

великосвѣтскими знакомствами, еслибы это было въ другое время. Но время было для него горячее— послѣдніе выпускные экзамены. Онъ призвалъ къ себѣ на помощь всю силу воли, принялся за работу, выдержалъ экзамены прекрасно и поспѣшилъ уѣхать за границу.

Два года, проведенные имъ въ Европѣ, были для него какимъ то долгимъ сномъ. Здоровый и энергичный, далекій отъ какого бы то ни было пресыщенія жизнью, онъ жадно вглядывался во все новое, что ему встрѣчалось. Онъ изѣздилъ Германію, Францію, Италію, побывалъ даже въ Греціи, даже въ Константинополѣ. И несмотря на то, что Марья Семеновна аккуратно высылала ему деньги, жажда все видѣть, все знать и всюду быть, оказалась въ немъ такъ велика, что для удовлетворенія этой жажды ему приходилось иногда просто почти бѣдствовать.

А ядъ, который онъ вкусилъ уже въ обществѣ, принятомъ имъ за свое общество, нѣтъ-нѣтъ да и начиналъ дѣйствовать. Михайлъ Ивановичъ уже не считалъ себя счастливымъ человѣкомъ, ему недоставало многого, въ немъ не разъ поднималось желчное чувство, заговаривала мучительная зависть къ людямъ, которымъ все доступно и которые иногда вовсе недостойны этого.

„Зачѣмъ имъ все, а мнѣ такъ мало! Зачѣмъ то, что имъ само дается въ руки, не спрашивая, чувствуютъ ли они въ этомъ потребность, мнѣ, которому все это такъ нужно, дается съ трудомъ, съ лишеніями, а многое, главное — совсѣмъ никогда

не может достаться... Зачѣмъ эта несправедливость?!"

Онъ старался гнать такія мысли и начиналъ успокаивать себя, начиналъ доказывать себѣ, что глупо и позорно мучиться всѣмъ этимъ, что это самое бесплодное изъ всѣхъ мученій.

А ядъ все-таки же дѣйствовалъ и портилъ ему жизнь, развивалъ въ немъ болѣзненное равнодушіе.

„Все равно, какъ ни бейся, а ничего большого не достигнешь—такъ лучше и не достигать ничего. Пусть такъ идетъ себѣ жизнь, день за днемъ, сѣренькая и блѣдная..."

Тогда ему приходило въ голову, что вѣдь есть люди, которые, безъ всякаго оружія въ рукахъ; берутъ все. Но онъ инстинктивно чувствовалъ, что не принадлежитъ къ такимъ людямъ, что безъ оружія не возьметъ многого. Вотъ еслибы судьба дала хоть какое нибудь оружіе — тогда можно было бы побороться...

Вернулся Михаилъ Ивановичъ въ Москву именно въ самый разгаръ этого своего душевнаго разлада; поэтому то онъ такъ равнодушно и отнесся къ дальнѣйшей судьбѣ своей. Но это была въ немъ болѣзнь, это былъ кризисъ, послѣ котораго, очевидно, началось выздоровленіе.

Михаилъ Ивановичъ уже теперь совсѣмъ отказался отъ свѣтскаго общества, да никто туда и не звалъ его. Теперь онъ пуще всего боялся изображать изъ себя ворону въ павлиньихъ перьяхъ. Онъ изъ всѣхъ силъ старался вернуться къ прежнимъ своимъ юнымъ впечатлѣніемъ и найти удовлетвореніе среди тихой жизни, бывшей его удѣломъ.

Повидимому онъ достигъ цѣли, успокоился, нашелъ интересъ въ служебныхъ занятіяхъ, вошелъ въ сношенія съ людьми скромными, но образованными. Старался подавлять свои мечтанія, свое недовольство, старался жить такъ, какъ всѣ жили вокругъ него. И наконецъ, къ великой радости отца и матери, онъ женился на очень милой дѣвушкѣ, еще ребенкомъ бывавшей въ домѣ Бородиныхъ.

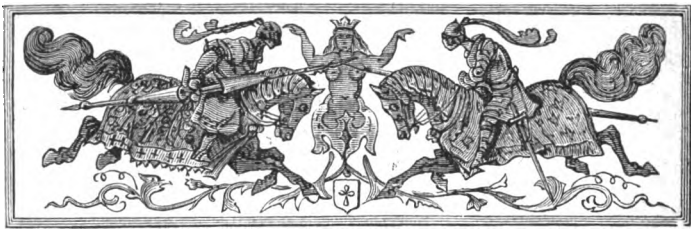
Капитолина Ивановна приложила руку и къ женитьбѣ Мишеньки, какъ когда то приложила ее къ женитьбѣ Ивана Федоровича и Марьи Семеновны.

Молодой Бородинъ съ женою остались жить въ родительскомъ домѣ, гдѣ всѣмъ было довольно мѣста. Теперь у него уже былъ сынокъ и двѣ дочки. Онъ хорошо шелъ по службѣ, и еслибы его спросили—доволенъ ли онъ своей жизнью—онъ искренно бы отвѣтилъ:

„Доволенъ, чего же мнѣ еще!“

Правда, остатки попавшаго когда то въ него яда изрѣдка пошевеливались, но почти неслышно. Даже Капитолина Ивановна считала Мишеньку совсѣмъ здоровымъ.





Х.

Абранадабра.

Олимпіада Петровна Прыгунова съ нѣкотораго времени находилась въ крайнемъ недоумѣніи и даже безпокойствѣ. Съ ея „грибомъ“ творилось что то странное. Хотя она и увѣряла, что онъ всю жизнь мыкался, но такого мыканья, какъ теперь—еще никогда не бывало.

Уже не говоря о непостижимой поѣздкѣ въ Петербургъ и о слѣдовавшей затѣмъ въ скоромъ времени поѣздкѣ въ Тамбовскую губернію; но и теперь, по возвращеніи въ Москву, мыканья Кодрата Кузьмича усиливались съ каждымъ днемъ. Его почти никогда не было дома. Онъ исчезалъ съ утра и возвращался иногда только поздно вечеромъ.

Олимпіада Петровна, издавна привыкшая къ скрытности мужа, хорошо знала, что когда онъ занятъ чѣмъ либо дѣломъ, то добиться отъ него объясне-

ній и подробностей дѣла до окончанія — вещь невозможная. Она исподволь научила себя не любопытствовать, однако въ настоящемъ случаѣ, выходявшемъ изъ ряду вонъ, въ виду этого неслыханнаго мыканья, любопытство ее сильно разбирало и она не разъ подбѣзжала къ мужу окольными путями, стараясь хоть немного объяснить себѣ, что все это значить. Кодратъ Кузьмичъ сразу проникалъ въ ея хитрость и поводилъ на нее строгимъ взглядомъ:

— Ну... ну—ну! чего ты!.. чего понапрасну вертишься, чего тебя разбираетъ?! Что жъ ты думаешь, сударыня, — я всѣхъ твоихъ подвоховъ не вижу — думаешь проболтаюсь... Не жди ты этого!.. и вотъ что я тебѣ скажу, матушка: удержи ты твое любопытство бабье, не то совсѣмъ изведешься. Взгляни на себя, на что ты стала похожа—кости да кожа! А все отчего?—отъ празднаго любопытства!..

— А, да ну тебя совсѣмъ! со вздохомъ произносила Олимпиада Петровна,—знаю я, знаю, что ты каменный идолъ, что объ тебя голову расшибешь, а съ мѣста не сдвинешь... Да и не любопытствую я вовсе—очень мнѣ нужно твои глупыя дѣла знать! мыкайся, батюшка, коли охота на старости лѣтъ быть гончей собакой, а въ концѣ концовъ тебя же оставить съ носомъ!

Она поджимала губы и уходила съ презрительнымъ видомъ. А любопытство все возростало и не давало покоя. Она наблюдала и видѣла рѣшительныя чудеса.

Кодратъ Кузьмичъ совсѣмъ одурѣлъ. Кончилось тѣмъ, что онъ даже сталъ франтить. Почти еже-

дневно, выходя изъ дома, онъ облакался въ новый сюртукъ, повязывалъ себѣ на шею новый галстукъ, даже завелъ модную цилиндрическую шляпу и сталъ надѣвать перчатки, чего съ нимъ давно не случилось.

„И гдѣ это онъ пропадаетъ?!“ безнадежно думала Олимпіада Петровна.

Еслибы она могла слѣдить за мужемъ, то узнала бы, что ея Кодратъ Кузьмичъ сдѣлался свѣтскимъ человѣкомъ, сталъ посѣщать дома людей, съ которыми не видался лѣтъ по двадцати. Еслибы она могла слѣдить за нимъ невидимкой, то невольно изумилась бы тому, что съ кѣмъ бы теперь Кодратъ Кузьмичъ ни говорилъ и какой бы разговоръ ни вель, а разговоръ этотъ непременно сводился на Капитолину Ивановну Миронову.

Кодратъ Кузьмичъ поднималъ старину; но хотя ему и удалось собрать объ этой старинѣ кой какія свѣдѣнія, все же онъ былъ недоволенъ.

Онъ почти ежедневно навѣщалъ Бориса Сергѣевича Горбатова; но каждый разъ объявлялъ ему, что дѣло идетъ туго.

— Старая баба такого тумана напустила, говоритъ онъ, — ничего какъ есть разглядѣть невозможно!

Наконецъ Борисъ Сергѣевичъ сказалъ ему, что собственно его дѣла всѣ въ Москвѣ кончены и, что если присутствіе его не нужно Прыгунову, то онъ уѣдетъ въ Петербургъ.

— И уѣзжайте, сударь, уѣзжайте, только понапрасну я васъ потревожилъ... Бѣдовая эта Мироניה, провела насъ да и только... и вѣдь хожу

около клада, а какъ за него взяться — не умѣю! Слова такого нужнаго — „абракадабры“ не нашель!..

— А не ошибаетесь-ли вы, Кодратъ Кузьмичъ, замѣтилъ Горбатовъ, — можетъ намъ съ вами только показалось, что она хитритъ и скрываетъ, можетъ дѣйствительно и мать и ребенокъ умерли!?

Кодратъ Кузьмичъ даже привскочилъ съ мѣста.

— Помилуйте! забасилъ онъ, — да вы ли это мнѣ, Борисъ Сергѣевичъ, говорите, и я ли васъ слушаю! — Не вы ли отъ нея вернулись при полной увѣренности, что она скрываетъ?!

— Да, конечно, она была такъ смущена и потому нѣкоторыя слова ея мнѣ показались, да и теперь кажутся очень загадочными. Но она могла, съ ея страннымъ характеромъ, просто хотѣть насъ одурачить.

— Полноте, полноте! перебилъ его Прыгуновъ, — одурачиваетъ она насъ — это вѣрно, только въ иномъ смыслѣ. Ни разу въ жизни не попадалось мнѣ такого дѣла — путано, перепутано и запутано. Говорю я вамъ, государь мой, хожу кругомъ клада... и неужьто не найду абракадабры?!...

Онъ всталъ съ кресла и началъ ходить по комнатѣ, очевидно углубляясь въ свои мысли и комбинаціи.

— Да-съ, снова заговорилъ онъ, — просто разума можно лишиться на такомъ дѣлѣ... Вѣдь могила-съ... памятникъ: „раба Божья Александра и младенецъ Петръ“... и свидѣтельство о смерти, и все въ порядкѣ... И Капитолина Ивановна пріѣзжаетъ панихиду служить... Вѣдь сказать все свѣжему человеку — разсмѣется — прямо за безумца меня почтетъ...

Но вы меня хоть убейте,—живъ этотъ самый младенецъ Петръ... Начали мы съ вами одно, а выходить другое... Подмѣнили!.. тутъ, такъ сказать, дѣяніе преступное! А поди докажи его безъ какойнибудь абракадабры... да и съ абракадаброй-то пожалуй ровно ничего не докажешь...

Прошло еще дня три-четыре—и Прыгуновъ снова явился. На этотъ разъ Борисъ Сергѣевичъ сразу замѣтилъ въ немъ нѣчто особенное: онъ былъ необыкновенно серьезенъ и важенъ и въ лицѣ его сказывалась даже какая-то таинственность.

— Я завтра или послѣзавтра собрался уѣзжать, сказалъ Борисъ Сергѣевичъ; но вы, кажется, сегодня имѣете что-то новое сообщить мнѣ... въ такомъ случаѣ, если это важно, я еще повременю... Съ чѣмъ же вы, почтеннѣйшій Кодратъ Кузьмичъ?

Прыгуновъ нѣсколько смутился и какъ-бы опѣшилъ.

— Какъ съ чѣмъ? проговорилъ онъ,—почему это вы изволите заключать, что у меня имѣется новость...

— По вашему виду мнѣ показалось...

Кодратъ Кузьмичъ махнулъ рукою.

— Что видѣ! не безъ нѣкоторой меланхоліи произнесъ онъ,—видѣ бываетъ обманчивъ, да и вида особаго я не имѣю, ибо, къ глубочайшему своему прискорбію, ни до чего особаго еще не дошелъ... А все же бы я просилъ васъ, государь мой, повременить денька два-три отъѣздомъ въ Петербургъ...

— А что?

— Мысль такая новая пришла мнѣ въ голову... повремените, можетъ дѣло наше и выгорить... Только

какъ бы это... какъ бы?!.. Онъ приложилъ палецъ ко лбу и нѣсколько мгновений обдумывалъ что то.

— Ну-съ это будетъ видно! наконецъ сказалъ онъ!—Не то завтра, не то послѣзавтра я и мысль мою вамъ скажу, и рѣшено тогда будетъ: дуракъ я или нѣтъ—коли дуракъ—казните!... А теперь вотъ что еще я вспомнилъ: извоили вы говорить мнѣ о семейномъ архивѣ, находящемся тутъ у васъ, въ московскомъ домѣ, такъ вспомнилъ я,—есть у меня человекъ знающій, привычный, которому можно будетъ въ ваше отсутствіе поручить разборку архива.

— Кто же это?!

— А это, видите-ли, нѣкій Михаилъ Ивановичъ Бородинъ. Онъ человекъ образованный и службу свою началъ по архивамъ.

— Позвольте, позвольте, сказалъ Горбатовъ,—мнѣ уже объ немъ говорили и именно рекомендовали его. Такъ вы его знаете?!

— Какъ же не знать—съ дѣтства знаю.

— Вотъ и прекрасно!!

— Да еще какъ прекрасно то, государь мой, завтрашній день, если позволите, я съ нимъ къ вамъ и приѣду.

— Только согласится ли онъ взять на себя эту работу?

— Согласится! Его хлѣбомъ не корми, а дай порыться въ старыхъ бумагахъ — страсть онъ это любить. Не далѣе-съ какъ третьяго дня я былъ у него и говорилъ съ нимъ и о васъ, и о вашемъ архивѣ.

— Ну и отлично, я буду ждать и его, и васъ

завтра все утро. Очень радъ буду съ нимъ познакомиться.

Прыгуновъ сталъ прощаться.

— Куда же это вы? посидите, Кодратъ Кузьмичъ, потолкуемте.

— Нѣтъ, ужъ прощенія просимъ, пора мнѣ, пора... ужъ до завтра-съ... потерпите немножко, авось поймаетъ мы эту старую лисицу, Капитолину Ивановну...

— Да въ чемъ же наконецъ дѣло? теперь и вы принялись за мистификаціи, сказалъ улыбаясь Борисъ Сергѣевичъ.

— Да-съ, мистификаціи, да ждать недолго, потерпите, не спрашивайте, ужъ будьте милостивы, не спрашивайте... а къ тому же и страхъ беретъ — какъ бы мнѣ опять не опростоволоситься... такое дѣло... со всѣхъ сторонъ оглядѣть надо...

Онъ принялъ еще болѣе таинственный видъ, простился съ хозяиномъ и въ глубокой задумчивости вышелъ изъ горбатовскаго дома.

„Абракадабра! разсуждалъ онъ съ собою, — надо полагать что точно: абракадабра... а все же опаска не мѣшаетъ... и послѣ этого свиданія можетъ и виднѣе будетъ...“

На слѣдующее утро, въ двѣнадцатомъ часу, Кодратъ Кузьмичъ съ Михаиломъ Ивановичемъ Бородинымъ велѣли о себѣ доложить Горбатову и дожидались его въ большой залѣ. Бородинъ безъ всякихъ затрудненій согласился ѣхать съ Прыгуновымъ и заранѣе брался разобрать горбатовскій архивъ, въ которомъ, какъ ему уже давно было извѣстно, находилось не мало очень важныхъ исто-

рическихъ матеріаловъ и документовъ. Ему также не безынтересно было познакомиться со старымъ декабристомъ. Прохаживаясь теперь по большой залѣ съ Прыгуновымъ, онъ съ видимымъ удовольствіемъ разглядывалъ окружавшую его обстановку.

— Еслибы знали вы, Кодратъ Кузьмичъ, какъ я люблю эти старые барскіе дома, говорилъ онъ. Каждый разъ какъ вхожу — испытываю особенное ощущение... Вѣдь вотъ этотъ домъ, напримѣръ, какая прелесть! Взгляните — эта анфілада, эта старинная тяжелая мебель!.. Право, теперь совсѣмъ не умѣютъ жить и устраиваться богатые люди. Да впрочемъ пожалуй и не то — пусть выстроятъ такой же точно домъ и закажутъ по моделямъ такую же точно обстановку, — будетъ совсѣмъ не то... Тутъ старымъ духомъ пахнетъ, тутъ года оставили свои слѣды. Знаете, я помню, когда былъ за границей, вошелъ разъ въ Венеціи въ старый, покинутый палаццо — такъ вѣрите-ли, — цѣлую недѣлю каждый день ходилъ туда, оторваться не могъ. И странное дѣло, съ дѣтства у меня такая любовь къ стариннымъ домамъ, еще мальчикомъ былъ, все мечталъ, что вотъ буду жить въ такомъ домѣ.

— Такъ-съ, такъ-съ! повторялъ Кодратъ Кузьмичъ.

Онъ былъ какъ на иголкахъ и щеки его то и дѣло багровѣли. Въ это время старый, почтеннаго вида слуга имъ доложилъ, что Борисъ Сергѣевичъ ихъ „просить“.

— Борисъ Сергѣевичъ вѣроятно въ библіотекѣ? спросилъ Прыгуновъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, отвѣчалъ слуга, — они въ на-

стоящее время не одни, у нихъ гости... они просятъ васъ пройти въ портретную: гости уѣзжаютъ и Борисъ Сергѣевичъ сею же минутою къ вамъ выйдетъ...

— Гдѣ же это „портретная“, проводи насъ, почтеннѣйшій,—говорилъ Кодратъ Кузьмичъ,—въ портретной этой мнѣ еще ни разу не довелось быть... ишь вѣдь у васъ домъ то какой! въ немъ хоть мѣсяцъ цѣлый проживи, такъ и то того и жди—забудись...

— Это точно-съ, сказалъ слуга, — домъ старинный-съ, какъ есть барскій, настоящій, прежнихъ временъ-съ; теперь, я чаю, такъ ужъ и не строятъ, разучились... да и бары! гдѣ-жъ такихъ баръ по нынѣшнему времени найти какъ вотъ, для примѣра, нашъ покойный баринъ, Сергѣй Борисовичъ .. царствіе ему небесное!..

— Такъ, такъ! повторялъ Кодратъ Кузьмичъ, дѣлаясь снова тревожнымъ и машинально слѣдуя за слугою.

— Портретная въ такомъ домѣ — это обыкновенно самая интересная комната, замѣтилъ Михаилъ Ивановичъ, внимательно и съ видимымъ удовольствіемъ разглядывавшій обстановку каждой комнаты, черезъ которую они проходили,—такая портретная, вѣдь это, такъ сказать, живописная исторія рода... да и какіе удивительные портреты иногда попадаются!..

Слуга всё время шедшій съ почтительно наклоненной головою, поднималъ глаза на Михаила Ивановича, еще и еще разъ поглядѣлъ на него внимательно, даже какъ бы съ замѣшательствомъ; но по-

томъ вдругъ проговорилъ: „пожалуйте!“ — и отперъ тяжелыя, высокія двери.

Прыгуновъ и Михаилъ Ивановичъ очутились въ обширной комнатѣ, выходившей окнами въ садъ, съ мягкой бархатной мебелью, широкими низенькими диванами, и стѣнами, почти до потолка увѣшанными портретами.

У Михаила Ивановича глаза разбѣжались; но онъ еще не успѣлъ сосредоточить своего вниманія на какомъ нибудь портретѣ, какъ въ комнату вошелъ хозяинъ.

Михаилъ Ивановичъ почему то представлялъ его себѣ человѣкомъ непремѣнно очень высокаго роста, осанистымъ и важнымъ, а потому не безъ изумленія взглянулъ на этого маленькаго красиваго старика съ серебряной бородою, съ такими ясными глазами и доброй улыбкой.

— Позвольте вамъ представить... началъ было церемоннымъ тономъ Кодратъ Кузьмичъ; но почему то осѣкся. Онъ взглянулъ на Бориса Сергѣевича — и слова замерли у него на губахъ.

Произошло что то мгновенное и непостижимое.

Хозяинъ шелъ навстрѣчу гостю и уже любезно протягивалъ ему руку, очевидно приготовляясь сказать что-то; но вдругъ протянутая рука опустилась и Борисъ Сергѣевичъ отступилъ глядя на Бородину какъ на что-то сверхъестественное, какъ на привидѣніе. Потомъ взглядъ его перешелъ куда-то въ сторону. Михаилъ Ивановичъ, не успѣвшій еще даже и удивиться — такъ все это было мгновенно, — невольно послѣдовалъ глазами за этимъ взглядомъ, —

и невольное восклицаніе изумленія и почти ужаса вырвалось изъ груди его.

Прямо передъ нимъ, на стѣнѣ, освѣщенной солнцемъ и увѣшанной портретами, выступалъ большой портретъ въ широкой золотой рамѣ. На этотъ портретъ растерянно глядѣлъ Борисъ Сергѣевичъ, на этотъ портретъ взглянулъ и Бородинъ — и узналъ самого себя.

Сходство было поразительно: тѣ же черты лица, тѣ же волосы, тѣ же полузакрытые глаза... Сходство было до того поразительно, что Михаилъ Ивановичъ даже не замѣтилъ гвардейскаго мундира первыхъ годовъ царствованія императора Николая.

Онъ видѣлъ только будто свое отраженіе въ зеркалѣ и, мгновенно забывъ гдѣ онъ и съ кѣмъ, чувствуя только необычайное волненіе, непонятный страхъ, онъ замирающимъ голосомъ произнесъ:

— Кто это? чей это портретъ?

Но никто не отвѣчалъ ему.





XI.

Послѣднее слово разгадки.

Нѣсколько минутъ продолжалось тягостное молчаніе. Дѣйствующія лица этой неожиданной сцены не отдавали себѣ отчета въ проходящихъ минутахъ, погруженные въ свои быстро мѣнявшіяся ощущенія.

Борисъ Сергѣевичъ, послѣ перваго неожиданнаго потрясенія, произведеннаго замѣчательнымъ сходствомъ Бородина съ покойнымъ Владиміромъ Горбатовымъ, убѣдился, что передъ нимъ никто иной какъ разыскиваемый имъ племянникъ, что это и есть та самая „абракадабра“, которую такъ долго искалъ Прыгуновъ, и которую наконецъ нашелъ.

„Но какъ же могъ онъ такъ... не предупредивъ... это невыносимо... это глупо съ его стороны!.. что дѣлать?“

Онъ сердито взглянулъ на Пригунова и въ то же время этотъ взглядъ требовалъ помощи...

Но старый дѣлецъ былъ растерянъ и смущенъ не менѣе его и представлялъ изъ себя жалкую фигуру. Онъ машинально вынулъ свою табакерку; но не раскрывалъ ее и только похлопывалъ по ней пальцами.

Еще за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ онъ внутренно торжествовалъ. Онъ былъ у дѣли. Природное, развитое практикой чутье указало ему путь и привело именно къ тому мѣсту, гдѣ должно было заключаться открытіе смущавшей его тайны. Онъ долго ходилъ кругомъ да около и, убѣжденный въ томъ, что чутье его не обманываетъ, дѣйствовалъ со свойственной ему настойчивостью. Капитолина Ивановна оказалась запертою имъ въ магическомъ кругу, изъ котораго ей нельзя было выбраться. Вся ея прошлая жизнь, всѣ ея отношенія и особенности этихъ отношеній стали извѣстны Пригунову.

Наконецъ онъ сказалъ себѣ рѣшительно:

„Михаилъ Ивановичъ Бородинъ и есть тотъ самый младенецъ Петръ, коего мы ищемъ!.. подмѣнили! Только къ чему такое несообразное и противузаконное дѣяніе?!“

Однако онъ не сталъ на этомъ останавливаться и разбирать—рѣшивъ, что впослѣдствіи все и такъ будетъ видно. Онъ пожелалъ устроить маленькій „фортель“, по его выраженію: свести Бородина съ Горбатовымъ, ничего заранее не объясняя. Молодой человѣкъ навѣрное понравится. А потомъ: „какъ, молъ, онъ показался вамъ, Борисъ Сергѣевичъ?“ и

„вотъ, молъ, кто это!..“ „Пригуновъ за дѣло зря не берется... до конца доводить!..“

„Вотъ и довелъ!! нечего сказать — умно! въ такихъ дуракахъ еще не бывалъ ни разу въ жизни... И какъ было не заглянуть въ эту „портретную“, какъ было не подумать о возможности сходства, когда и по собственнымъ и по чужимъ наблюдениямъ знаю, что дѣти любви весьма въ частыхъ случаяхъ бываютъ поразительно схожи со своими отцами... Бр! скверно!..“

И онъ все щелкалъ пальцами по табакеркѣ, и даже не смѣлъ глядѣть на портретъ, а глядѣлъ куда то въ уголъ.

Между тѣмъ Борисъ Сергѣевичъ наконецъ овладѣлъ собою. Онъ крѣпко сжалъ руку Бородина, усадилъ его, сказалъ, хотъ и не твердымъ голосомъ, нѣсколько любезныхъ фразъ и просилъ извиненія за свое замѣшательство, вызванное поразившимъ его сходствомъ.

Но Михаилъ Ивановичъ все же не могъ успокоиться! Ему было неловко какъ еще никогда въ жизни. Его сердце отчего то болѣзненно ныло, казалось — будто дышать нечѣмъ, хотѣлось на свѣжій воздухъ изъ этой одуряющей, какой то заколдованной атмосферы.

А глаза такъ и тянуло къ портрету.

— Чей же, чей это портретъ? опять спросилъ онъ.

— Моего покойнаго брата, отвѣчалъ хозяинъ, — я видѣлъ его въ послѣдній разъ давно, передъ моей ссылкой... онъ былъ тогда приблизительно вашихъ лѣтъ... поэтому я такъ и пораженъ...

— Я пораженъ не менѣе вашего, прошепталъ Михаилъ Ивановичъ снова впиваясь глазами въ портретъ, — вѣдь, насколько я себя знаю, это... это я...

Онъ даже вздрогнулъ, потомъ постарался улыбнуться.

— Извините меня, Борисъ Сергѣевичъ, — мнѣ просто страшно... знаете—какъ человѣку, который видитъ свой двойникъ...

Въ это время въ сосѣдней комнатѣ слышались шаги и на порогъ показалась фигура того самаго почтеннаго слуги, который провожалъ гостей въ портретную.

— Что тамъ такое? недовольнымъ тономъ спросилъ хозяинъ.

— Да вотъ, сударь, объяснилъ слуга, васъ спрашиваютъ.

— Кто спрашиваетъ? Я не могу принять, я занятъ.

— Барыня, старушка, госпожа Миронова, онѣ говорятъ: нужно васъ видѣть по важному дѣлу... говорятъ, что вамъ извѣстно...

Имя Мироновой поразило всѣхъ какъ громомъ, а главное Михаила Ивановича.

„Какъ? она!.. она здѣсь!?. Господи, да что же это такое?..“

И ему, какъ онъ только что объяснилъ, стало просто страшно.

Борисъ Сергѣевичъ тревожно задумался. У него мелькало въ головѣ:

„Что же дѣлать? нечего! это судьба!“

— Хорошо, я иду! сказалъ онъ,—извините!

Онъ направился къ двери.

Но не успѣлъ онъ сдѣлать и нѣсколько шаговъ, какъ вся багровая, въ своей удивительной, похожей на будку шляпѣ, твердымъ и рѣшительнымъ шагомъ въ кабинетъ уже входила Капитолина Ивановна.

Она все знала. Она только на минуту не застала, явившись къ Бородинымъ, Михаила Ивановича и Прыгунова. Ей сказали, что Прыгуновъ увезъ „Мишеньку“ къ Горбатову. Услыша это, она, не говоря ни слова, вышла изъ дома, сѣла на извозчика и велѣла везти себя на Басманную.

Капитолина Ивановна торопила извозчика:

— Эй ты, ванька, мчись во весь духъ! дуй свою клячу! крикнула она такъ властно, что извозчикъ тотчасъ же сталъ хлестать лошаденку, которая пустилась вскачь по изрытой, плохо мощеной улицѣ.

Капитолина Ивановна то и дѣло подскакивала какъ резиновый мячъ, сидя бокомъ на такъ называемой „гитарѣ“—экипажъ-инструментѣ, теперь уже забытомъ, но тогда бывшемъ единственнымъ способомъ передвиженія московскихъ обывателей, не державшихъ своихъ экипажей и лошадей. Только она не обращала на это никакого вниманія—ей все казалось, что негодный ванька нарочно везетъ ее тихо, а потому она самымъ усерднымъ образомъ долбила его въ спину ручкой своего зонтика.

— Да пошелъ же ты скорѣе!.. пошелъ, шельма, пошелъ!.. повторяла она.

Ванька молча дѣлалъ свое дѣло, то есть погонялъ и нукалъ лошаденку, и только по временамъ пере-

дергивалъ плечами, когда его спинѣ ужъ черезчуръ доставалось отъ зонтика сердитой барыни.

Терпѣніе у него очевидно было большое, да и спина крѣпкая. Но все же на полпути онъ не выдержалъ и обернулся.

— Полегче бы, барыня! добродушно сказалъ онъ,—вѣдь спина то у меня своя, не чужая, дырку въ ней продолбишь — пр-а продолбишь!.. этакъ то долбить не показано!

Капитолина Ивановна разсердилась.

— Скажи пожалуйста, вотъ нѣжности! крикнула она.—Пошелъ, езофъ!.. Пошелъ скорѣе!..

И въ своемъ волненіи непричастная чувству жалости, она продолжала ему тыкать въ спину зонтикомъ. Добродушный васька покорился горькой участи и ожесточенно сталъ погонять лошадь...

Подѣхавъ къ дому Горбатова, Капитолина Ивановна кубаремъ скатилась съ „гитары“, сунула васькѣ двугривенный и, несмотря на свой нѣсколько странный видъ и будкообразную шляпу, произвела на отворившаго ей швейцара такое подавляющее впечатлѣніе, что онъ немедленно впустилъ ее, а старый слуга пошелъ о ней докладывать. Но она этимъ не ограничилась. Она храбро послѣдовала за старикомъ и такимъ образомъ очутилась въ портретной. Она остановилась и тотчасъ же замѣтила всеобщее смущеніе. Потомъ быстрый взглядъ ея зоркихъ глазъ упалъ на освѣщенный солнцемъ портретъ.

Она торжественно раскланялась и развела руками.

— Добились таки!.. вымолвила она,—подстроили!.. Коздратъ Кузьмичъ подшелъ къ ней, хотѣлъ что

то сказать, но она отстранила его рукой и мрачно ему кинула:

— Съ вами, батюшка, я и говорить то не стану!— почитала я васъ за хорошаго и умнаго человѣка, а такъ люди добрые не дѣлаютъ!..

— Ухъ, устала я... извините... сяду... прибавила она, обращаясь къ Борису Сергѣевичу, и опустилась въ кресло.

Михаилъ Ивановичъ, не спускавшій съ нея глазъ, не проронившій ни одного слова, сдѣлался блѣденъ какъ полотно.

— Ради Бога, объясните мнѣ, что все это значитъ? я въ себя придти не могу... у меня все въ головѣ путается...

Капитолина Ивановна не слышала его словъ. Она глядѣла на портретъ и наконецъ какъ бы самой себя прошептала:

— Да-съ, съ этимъ ничего не подѣлаешь!..

Кодратъ Кузьмичъ, приходившій все болѣе и болѣе въ ужасъ отъ дѣла рукъ своихъ, подошелъ къ старухѣ и шепнулъ ей:

— Онъ еще ничего не знаетъ, если находите нужнымъ—попытайтесь скрыть отъ него истину.

Она опять отмахнулась отъ него рукой, обдала его презрительнымъ взглядомъ и громко произнесла:

— Да-съ, скроешь... много скроешь!.. заварили кашу—надо расхлебывать... Ну что же... я вотъ пришла... сѣла и сижу, и буду смотрѣть на васъ, умные люди... перехитрили меня... радуйтесь...

Потомъ она обратилась къ Горбатову.

— Ужъ извините меня, государь мой, сказала

она,—забралась незваной-непрошеной въ ваши хоромы...

— Очень жаль, что не забрались раньше, грустно отвѣтилъ Борисъ Сергѣевичъ.— Напрасно вы не хотѣли быть откровенной со мною, — много тяжелаго можно было бы избѣгнуть...

Капитолина Ивановна стала даже задыхаться отъ волненія—лицо ея поочередно перемѣняло всѣ цвѣта радуги и наконецъ сдѣлалось ярко-фіолетовымъ.

— Богъ мой! крикнула она,—да вѣдь я такъ и порѣшила идти къ вамъ и по душѣ переговорить съ вами... все представить на ваше благоусмотрѣніе, такъ было рѣшено у насъ... всѣ рѣшили. А вотъ онъ... (она пальцемъ показала на Прыгунова)—дѣлецъ то вашъ, умникъ, обрадовался, что дьяволъ, прости Господи, помогъ ему, и поспѣшилъ!..

Михаилъ Ивановичъ не могъ выдержать болѣе. Мучительная и тоскливая мысль, которая въ первую же минуту, передъ этимъ страшнымъ портретомъ, неявно и безсознательно охватила его, теперь ставилась для него все яснѣе и яснѣе. Передъ нимъ, изъ нахлынушаго на него тумана, выяснился образъ его матери. Съ тѣхъ поръ какъ онъ ее помнилъ, образъ этой прекрасной, тихой и любящей матери, положившей всю душу въ семью—въ мужа и сына,—былъ для него чистъ и безупреченъ. Ему вспомнились далекіе годы дѣтства, когда эта мать слудала съ него всякую пушинку, лелѣла и берегла его, учила, говорила ему глубокимъ, растроганнымъ голосомъ тѣ простыя, но могучія слова справедливости, любви и вѣры, которыя, быть можетъ, не разъ спасали его въ трудныя минуты. И онъ только теперь

понималъ до какой степени всегда, ни на минуту не переставая, горячо любилъ онъ эту мать. Да, онъ всегда ставилъ ее высоко, высоко надъ другими женщинами, несмотря на ея простоту и странности, развившіяся въ ней отъ долгой привычки къ довольно замкнутой сѣренькой жизни. И понялъ онъ, что оттого ставилъ ее такъ высоко, что уважалъ въ ней чистую женщину — образецъ семейныхъ добродѣтелей...

И что же теперь?! Этотъ страшный портретъ, общее смущеніе, появленіе Капитолины Ивановны — въ мигъ одинъ перевернули все — образъ матери исказился. Чувство тоски и стыда росло съ каждой минутой.

— Капитолина Ивановна! крикнулъ онъ въ отчаяніи, — я смутился — это такъ неожиданно, но я долженъ покончить съ такой слабостью... рано или поздно, нужно знать правду... и можетъ лучше, что я ее узнаю... Тяжело, но я постараюсь не судить мою мать за ея вину передъ мужемъ... скажите мнѣ все...

Капитолина Ивановна вскочила съ кресла, подняла руку и кинулась къ Бородину съ очевидной цѣлью зажать ему ротъ. Глаза ея метали искры. Она даже затопала ногами.

— Молчи!.. нишкни!.. глупецъ ты этакій!.. даже какъ то прошипѣла она. — Молчи, коли ничего не знаешь... кого это судить?! Какую мать?! Это Марью Семеновну то?! да она святая женщина... Она взростила тебя, лелѣяла, ты молиться на нее долженъ!..

Михаилъ Ивановичъ схватился рукой за голову.

Онъ ничего не понималъ, туманъ только еще сгустился.

Но Капитолина Ивановна уже заговорила:

— Такъ они тебѣ ничего не сказали!? Ну такъ слушай!

— Да и вы слушайте, дѣлецъ - гробокопатель!.. метнула она въ сторону Прыгунова, начинавшаго мало-по-малу выходить изъ своего оцѣпенѣнія, принимавшаго ея нападки съ большимъ смирениемъ и въ тоже время, въ глубинѣ души, сторававшего отъ нетерпѣнія узнать наконецъ всѣ подробности.

Она подробно рассказала исторію бѣдной Сашеньки. Рассказала какъ Сашенька съ Петрушей привезены были ею въ Москву, какъ она помѣстила ихъ на первое время у пріятельницы своей, Анны Алексѣевны, какъ Сашенька, уже больная въ Петербургѣ, стала мало-по-малу чахнуть.

— Была она добрая-предобрая, говорила Капитолина Ивановна, — и характеръ имѣла тихій и робкій. Къ соблазнителью своему привязалась всей душою, онъ только и былъ для нея одинъ на свѣтѣ, и въ слѣпотѣ своей почитала она его, противу всѣхъ видимостей, за ангела небеснаго. Долго недоходило до нея никакихъ слуховъ... да и какъ доходить! чтó была она и чтó онъ! хоть и въ одномъ городѣ, а почитай все равно какъ бы на разныхъ планетахъ жили... А всежъ таки кончилось тѣмъ, что узнала она всю правду, узнала...

— Сударыня, зачѣмъ эти подробности... вѣдь и такъ тяжело... перебилъ ее Борисъ Сергѣевичъ, указывая ей глазами на Бородину, сидѣвшаго опустивъ голову и съ помертвѣлымъ лицомъ.

Но ее только подзадорило это замѣчаніе.

— Не я начала, не я! а теперь ужь пусть все знаетъ, все!

Она съ ненавистью взглянула на портретъ Владиміра Горбатова и продолжала:

— Узнала она, что онъ, собираясь жениться соблазнилъ ее, а самъ говорилъ ей что уже давно женатъ... Не повѣрила она такому его поступку, долго невѣрила, а когда пришлось повѣрить, такъ вся душа ея перевернулась, руки на себя наложить хотѣла, потомъ ее и узнать нельзя было... онъ ей страшень сталъ... Да, во время я подоспѣла, чтобы отъ грѣха уберечь... Объ одномъ только она молила, чтобы я такъ ее спрятала, чтобы онъ ужь никогда, никогда не могъ найти ее, а главное, чтобы не могъ найти Петрушу, умирая о томъ меня молила!..

Далѣе рассказала Капитолина Ивановна, какъ Марья Семеновна Бородина, счастливая жена и мать, приняла въ Сашенькѣ участіе, навѣщала ее, ласкала Петрушу, въ которомъ находила большое сходство съ своимъ Мишенькой. А потомъ бѣдная Сашенька умерла. Петруша остался на рукахъ Анны Алексѣевны. Заболѣлъ Мипа Бородинъ, заболѣлъ и умеръ. И вотъ пришло ей въ голову спасти любимую ея Марью Семеновну отъ отчаянія, давъ ей вмѣсто умершаго другого сына, и въ тоже время исполнить предсмертную мольбу Сашеньки.

— Еще Мишенька былъ живъ, только ужь видно было, что не жилецъ онъ на свѣтѣ, какъ это пришло мнѣ въ голову и чуяла я, что самъ Господь меня надуумилъ. Ужь и не помню что я та-

кое говорила Марья Семеновна... Сперва она, въ горѣ своемъ да отчаяніи, и слушать меня не хотѣла, а потомъ вникать стала и осѣнило ее, а я настаиваю: „Въ память Мишеньки сдѣлай доброе дѣло, пригрѣй неповиннаго сироту — счастье тебѣ будетъ, да и Мишенька, ангельчикъ, на томъ свѣтѣ радоваться станетъ.“ Заплакала Марья Семеновна, а то и слезъ у нея не было, и смастерили мы тихонько, съ помощью старой няньки, это дѣло...

— Позвольте, Капитолина Ивановна, невыдѣржавъ перебилъ ее Прыгуновъ, — вѣдь это вы преступленіе совершили! да и къ чему? ребенка можно было усыновить законнымъ порядкомъ...

— Какже?! можно! неужто думаете вы—мы это дѣло не обсудили... Иванъ то Семенычъ о ту пору потомственное дворянство получилъ и усыновить ребенка не имѣлъ права.

— Дозволяется испрашивать въ такихъ случаяхъ высочайшее соизволеніе, замѣтилъ Прыгуновъ.

— И это намъ было извѣстно... только, батюшка, барамъ важнымъ все легко, а мы люди маленькіе и до царя гдѣ жъ намъ было добратся. А стали бы добираться, такъ и совсѣмъ бы ребенка потеряли... мнѣ ужъ извѣстно было, что его разыскиваютъ... И каждую ночь, вѣрите ли, и я и Марья Семеновна Сашеньку во снѣ видѣли, три ночи подрядъ, ясно такъ... приходитъ и говорить: „спасите Петрушу, скройте его, скройте!“ Вѣдь съ такимъ дѣломъ ни дня мѣшкать нельзя было—ну и устроили... казалось все на вѣки шито и крыто... Да такъ бы оно и было коли бы вы не стали его разыскивать... ну теперь что же?! теперь судите насъ,

старыхъ бабъ—въ Сибирь насъ, что-ли, на каторгу, какъ по твоему выходить—законниекъ?!

И опять Прыгуновъ почувствовалъ на себѣ тяжелый взглядъ старухи и приникъ головою подъ этимъ взглядомъ.

Бородинъ, блѣдный какъ мертвецъ, подошелъ къ Капитолинѣ Ивановнѣ и вдругъ будто у него подкосились ноги, онъ упалъ передъ нею, склонилъ голову къ ней на колѣни, прижался къ строгой старухѣ какъ бывало въ дни дѣтства и неудержимо зарыдалъ, онъ, ни разу не плакавшій съ дѣтства.

Она положила ему на голову свою морщинистую, старую руку. У нея у самой закапали слезы.

— Молчи, дурачекъ, не плачь! шептала она. — Все Богъ, все Богъ! чего тебѣ плакать — перемелется... несчастье то было давно и давно его нѣтъ больше, только вонъ оно—со стѣны смотреть!..

Между тѣмъ эти прорвавшіяся нервныя рыданія облегчили Михаила Ивановича. Онъ поднялся, проговорилъ: „простите“, и ни на кого не глядя уже хотѣлъ выйти изъ комнаты. Но тутъ Борисъ Сергѣевичъ заступилъ ему дорогу.

— Я не могу такъ отпустить васъ! сказалъ онъ ему своимъ тихимъ, проникающимъ въ душу голосомъ и крѣпко взялъ его за обѣ руки.—Я безъ вины виноватъ въ горѣ, которое причинено вамъ сегодня... Да нѣтъ, все это не то... и къ чему эти фразы!.. Смотри на меня... смотри...

Михаилъ Ивановичъ невольно поднялъ глаза, встрѣтилъ ясный взглядъ старика, и разслышалъ его шопотъ:

— Вѣдь я не чужой и ты не захочешь чтобы я былъ чужимъ тебѣ, ты вернешься ко мнѣ успокоившись?!

Въ этихъ словахъ было что то властное, что то магнетическое. Михаилъ Ивановичъ невольнымъ порывомъ приблизился къ Горбатову и они обнялись.

И выходилъ Бородинъ изъ этого дома, не смотря на весь свой туманъ, не смотря на тоску, все же съ сознаниемъ чего то добраго и хорошаго, что смягчало боль его измученнаго сердца.





ХІІ.

Кровь.

Въ то время какъ передъ портретомъ Владиміра Горбатова происходила тяжелая сцена, необдуманно устроенная Кодратомъ Кузьмичемъ Пригуновымъ, въ домѣ Бородиныхъ чувствовалась большая тревога.

Вотъ уже три дня какъ мирная жизнь стариковъ Бородиныхъ была нарушена.

Иванъ Федоровичъ, теперь уже превратившійся совсѣмъ въ старика, но все еще бодрый и живой, нѣсколько лѣтъ тому назадъ покинувъ гимназическую службу, исключительно предался своей страсти — огородничеству и садоводству. Онъ всѣ дни, особенно весною, лѣтомъ и въ началѣ осени, проводилъ въ своемъ саду и тепличкахъ, выращивая удивительные цвѣты и тыквы всевозможныхъ формъ и величинъ. Эти цвѣты и тыквы были теперь его

наилучшими друзьями и излюбленными дѣтищами. Онъ слѣдилъ за ихъ ростомъ, лелѣялъ ихъ и даже бесѣдовалъ съ ними, такъ что Марья Семеновна не разъ упрекала его, что онъ любитъ ихъ больше, чѣмъ своихъ домашнихъ.

— Вѣдь это даже просто грѣхъ! говорила она, — подумай только...

— Онъ сознавалъ, какъ и всегда, что она права, что „это грѣхъ“, что у него есть внучата, на которыхъ должна быть обращена вся его нѣжность, всѣ его заботы; но соблазнъ былъ превыше всякихъ разсужденій. Онъ вставалъ съ мыслью о развивающейся съ каждымъ днемъ гигантской турбанообразной тыквѣ—и засыпалъ съ этими же мыслями.

Марья Семеновна, уже давнымъ-давно утратившая свою красоту, сѣдѣнькая худенькая старушка съ добрымъ и дряблымъ лицомъ, почитала себя можетъ быть болѣе еще счастливой чѣмъ когда либо. Она любила Мишенькину жену, въ которой видѣла повтореніе какъ бы себя самой, обожала внучатъ. Весь ея день проходилъ въ заботахъ объ этихъ внучатахъ, въ тысячѣ мелочей домашней жизни. Но эти мелочи казались ей самыми важными вопросами, наполняли весь ея внутренний міръ.

Послѣ дѣятельно проведеннаго дня засыпала она съ яснымъ счастливymъ сознаніемъ исполненнаго долга и полноты жизни. Случалось ей нѣсколько разъ просыпаться ночью, но и въ эти минуты, между двумя снами, она продолжала жить все той же жизнью, думать о тѣхъ же вопросахъ, тревожиться тѣми же заботами...

Вотъ Ваня катался въ травѣ и напоролъ себѣ о черепокъ ногу!.. И мать и бабушка страшно перепугались. Бѣдный мальчикъ въ первыя минуты при видѣ хлынувшей изъ раны крови съ перепугу даже не кричалъ, а просто какъ то замеръ... Сейчасъ ему приложили паутины, обвязали ногу, къ вечеру уже рану затянуло.

И Марья Семеновна, среди ночной тишины, среди столько лѣтъ привычной обстановки своей незатѣйливой, но просторной и уютной спальни, думаетъ о Ваниной ранѣ, о томъ какія могутъ быть послѣдствія.

„Шрамъ, навѣрно шрамъ будетъ на всю жизнь! И откуда взялся такой черепокъ? — вычищаютъ садъ — сама слѣжу... и надо же было ребенку на этотъ черепокъ такъ напоротся!.. и вѣдь во всемъ саду, хоть объ закладъ побиться, нѣтъ другого черепка, навѣрно...“

У Машеньки прорѣзались послѣдніе зубы, тяжело рѣзались, жарокъ былъ сильный, теперь здорова...

„Какая она славная дѣвочка, веселая, черноглазая—въ отца будетъ!“ думается счастливой старушкѣ...

„Матушки! что жъ это я?! изъ ума вонъ — вѣдь въ будущій вторникъ Машенькино рожденіе... надо завтра же непременно въ лавки... игрушекъ купить...“

Бабушка начинаетъ, съ удовольствіемъ отгоняющимъ сонъ, обдумывать какія именно игрушки купить внучкѣ...

И такъ то вотъ все шло день за днемъ, и казалось—конца не будетъ этой мирной жизни.

А между тѣмъ, три дня тому назадъ, пришла Капитолина Ивановна и вверхъ дномъ повернула всю

эту жизнь! Насказала такихъ ужасовъ, что и Иванъ Федоровичъ и Марья Семеновна просто остолбенѣли, даже долгое время не хотѣли вѣрить.

Но не вѣрить было нельзя.

Что же это такое будетъ?!

Судили они и рядили весь вечеръ запершись въ маленькомъ кабинетѣ Ивана Федоровича, запершись втроемъ съ Капитолиной Ивановной, благо дѣти уже отпили чай и собирались спать, а молодые Бородины были въ гостяхъ. Судили, рядили и порѣшили обратиться къ сердцу Бориса Сергѣевича Горбатова. Если онъ добрый человѣкъ, то не захочетъ ихъ общаго несчастья, не станетъ мутить и портить ихъ мирной семейной жизни.

— А пуще всего упрошу я его, сказала Капитолина Ивановна,—чтобы онъ не пытался увидѣться съ Мишенькой, и уже предчувствую я, что будетъ съ его стороны тутъ большая загвоздка! А не слѣдъ Мишенькѣ попадать къ нимъ—узнають его по сходству, узнають!.. Вѣдь вотъ я еще съ утра достала портретикъ, что послѣ Сашеньки остался—вѣдь это какъ на смѣхъ, отцы мои, такое сходство!

Она вынула изъ кармана и положила передъ Бородиными тонкой работы медальонъ съ изображеніемъ Владиміра Горбатова. Они взглянули и вздрогнули—сходство съ ихъ Мишенькой было поразительное. Марья Семеновна и Иванъ Федоровичъ видѣли этотъ медальонъ тогда еще, болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ, но уже конечно давнымъ-давно забыли его.

Имъ стало жутко и больно.

Вотъ онъ, этотъ человѣкъ, давно умершій... Но

онъ встаетъ изъ могилы и отнимаетъ у нихъ ихъ сына, ихъ истиннаго, законнаго сына, котораго они получили по великому праву любви и жалости, котораго возростили и взлелѣвали, который былъ утѣшеніемъ и отрадой всей ихъ жизни.

Всплакнула Марья Семеновна, да и Иванъ Федоровичъ сидѣлъ совсѣмъ нахмурясь, забывъ о своихъ тюльпанахъ и тыквахъ.

Рѣшено было, что Капитолина Ивановна отправится къ Горбатову на этихъ же дняхъ, завтра не то послѣзавтра. Капитолина Ивановна позабыла, несмотря на всю свою мудрость, что теперь дорога каждая минута. Ужъ очень они были увѣрены, что все шито да крыто, что не съищеть старикъ Прыгуновъ „абракадабры“, а главное не знали они, что этотъ Прыгуновъ, который до сего времени и знакомъ то съ Бородинымъ не былъ, и въ домѣ у нихъ не бывалъ, а теперь, въ послѣднее время, уже два раза поднимался по лѣстницѣ въ мезонинъ къ Михаилу Ивановичу.

Михаилъ Ивановичъ былъ очень сообщителенъ и еслибы догадались спросить его какой это „старый грибъ“ былъ у него два раза — онъ конечно рассказъ бы о томъ гдѣ и какимъ образомъ встрѣтился съ Прыгуновымъ, какъ разговорился съ нимъ, какъ старикъ заинтересовалъ его горбатовскимъ архивомъ. Но никто его объ этомъ не спрашивалъ и какъ нарочно жены его оба раза не было дома когда приходилъ Прыгуновъ.

Прошло два тревожныхъ дня. Иванъ Федоровичъ бродилъ какъ въ воду опущенный, машинально, по привычкѣ обходилъ свои грядки, забирался въ те-

плички, но даже почти не замѣчалъ, что тюрбанобразная тыква превосходить его ожиданія, что темный тюльпанъ распустился во всей красѣ.

Марья Семеновна перестала думать о внучатахъ и молодая Бородина—Надежда Николаевна, сильно изумлялась глядя на стариковъ. Надежда Николаевна была веселаго нрава, а потому даже и подсмѣивалась внутри себя.

„Чудеса творятся! старики помолодѣли — опять влюбились другъ въ друга, весь день не расстаются, прячутся по уголкамъ, шушукуются... Что бы такое могло это значить?! Или сюрпризъ какойнибудь особенный готовить Мишѣ, а то и мнѣ пожалуй!“

Надежда Николаевна рѣшила во что бы то ни стало разгадать эту мистерию и даже рассказала обо всѣхъ родительскихъ продѣлкахъ Михаилу Ивановичу, когда онъ вернулся домой вечеромъ. Но онъ былъ мало заинтересованъ ея извѣстіемъ, у него на этотъ разъ было свое дѣло, очевидно очень его занимавшее. Онъ сказалъ женѣ, что на слѣдующее утро отправляется съ однимъ человѣкомъ къ Горбатову, извѣстному возвращенному изъ Сибири декабристу, который въ настоящее время находится въ Москвѣ въ своемъ старинномъ домѣ.

— Зачѣмъ же ты, къ нему поѣдешь? спросила жена.

— А затѣмъ, мой другъ, что онъ предлагаетъ мнѣ черезъ этого человѣка, съ которымъ я и поѣду, разобрать и привести въ порядокъ его семейный архивъ. А я, вотъ видишь ли, уже два года думалъ и раздумывалъ — какъ бы мнѣ познакомиться съ этимъ интереснымъ архивомъ...

— Ну это значить—засядешь опять за свои старыя бумаги и слова отъ тебя по цѣлымъ мѣсяцамъ не добьешься!

Михаилъ Ивановичъ улыбнулся.

— Отчего не добьешься!? слова добьешься, а дѣло будетъ интересное — вотъ что! Давно у меня интереснаго дѣла не было.

— Ну да... да... Ахъ ты мой старый кротъ! говорила Надежда Николаевна весело заглядывая въ лицо мужа и прижимаясь къ нему.

Она ужасно „обожала“ своего красавца Мишу. Она еще не успѣла остынуть среди мелочей и дразгъ семейной жизни, тѣмъ болѣе, что Марья Семеновна постоянно отстраняла ее отъ этихъ дразгъ и мелочей.

Утромъ Прыгуновъ явился рано за Михаиломъ Ивановичемъ и въ то время какъ они еще находились въ мезонинѣ, Надежда Николаевна рассказывала старикамъ Бородинымъ о томъ, что она узнала вчеромъ отъ мужа. Ея слова произвели такое неожиданное и страшное впечатлѣнiе, что она совсѣмъ растерялась.

Иванъ Федоровичъ и Марья Семеновна буквально заматались и, безпорядочно перебивая другъ друга, повторяли:

— Что же дѣлать?! его нельзя пустить! надо остановить непременно... Надя, другъ мой, позови его скорѣй, скажи что нибудь...

— Ну скажи что мнѣ дурно... наконецъ надумалась Марья Семеновна.

— Да что такое, маменька!? что случилось?!

Марья Семеновна, задыхаясь, едва проговорила:

— Потомъ узнаешь... зови скорѣе, зови!..

Надежда Николаевна, ничего не понимая, кинулась въ мезонинъ, но еще по дорогѣ горничная сказала ей, что Михаилъ Ивановичъ со старикомъ гостемъ уѣхали.

И въ то же время у подѣзда звонила Капитолина Ивановна. Надежда Николаевна и объявила ей куда уѣхалъ Михаилъ Ивановичъ.

Капитолина Ивановна повернулась и исчезла. А молодая Бородина только развела руками.

— Часть отъ часу не легче! да они всѣ просто съ ума сошли!

Положеніе, въ которомъ она застала Ивана Федоровича и Марью Семеновну, заставило ее еще болѣе призадуматься.

— Нѣтъ, не сошли съ ума,—вѣрно несчастье какое нибудь! Какое?! Что все это значить?!

Она пристала къ нимъ, чтобы они ей все объяснили. Но они оба, подавляя свое мученіе и волненіе, нашли въ себѣ силу отдѣлаться отъ нея успокоительными фразами.

— Ничего, милочка, ничего, пожалуйста не тревожься... все обойдется...

— Да что же обойдется?! Не мучьте вы меня! Господи, что обойдется?!

— Такъ, дѣло одно, которое тебя вовсе не касается...

Иванъ Федоровичъ просто уѣжалъ отъ нея въ свои теплички, заперся тамъ среди тюльпановъ и предался тревожнымъ мыслямъ. Скрылась и Марья Семеновна въ свою спальню, на ключъ заперла дверь и принялась молиться.

Надежда Николаевна обидѣлась и, не на шутку встревоженная, стала дожидаться мужа...

А онъ возвращался домой и не торопился. Онъ пошелъ пѣшкомъ. Онъ чувствовалъ, что ему нужно пройти до утомленія и одуматься, освѣжить свою горѣвшую голову. Онъ шелъ медленно всю длинную дорогу отъ Басманной въ Арбату и его, всегда оживленнаго, ходившаго быстро, часто останавливавшагося по дорогѣ, обращавшаго на все вниманіе, всѣмъ интересовавшагося, никто-бы не узналъ теперь въ этомъ блѣдномъ, разсѣянномъ человѣкѣ, который шелъ и не видѣлъ окружающаго. Онъ нѣсколько разъ на пути своемъ чуть не попалъ подъ лошадей, не слышалъ что кричатъ надъ самымъ ухомъ.

Но все же мало-по-малу онъ начиналъ овладѣвать собою, начиналъ разбираться въ нахлынувшихъ на него ощущеніяхъ и мысляхъ.

Что же это такое стряслось надъ нимъ сегодня? горе? несчастье? или и нѣтъ никакого горя — какъ увѣряла Капитолина Ивановна. Можетъ быть и нѣтъ горя, но вся жизнь, и дѣтство, и юность, и мало-по-малу съ каждымъ годомъ уходящая молодость — были сномъ и обманомъ. Была семья, былъ отецъ и мать, а теперь ихъ нѣтъ... нѣтъ! Да развѣ это возможно?.. вѣдь ничего не измѣнилось... все то же самое...

„Конечно... конечно... твердилъ онъ себѣ. — Они мнѣ тѣ же отецъ и мать... мои родные... милые...”

Онъ разсуждалъ, вдумывался и понималъ, что если любилъ ихъ до сихъ поръ, то теперь долженъ любить ихъ еще больше за все что они для него сдѣлали. Все это было такъ, это было ясно и просто,

а между тѣмъ тоска продолжала щемить его сердце и эта тоска шептала:

„Все же ты не ихъ сынъ, ты имъ чужой... ты не имѣешь на нихъ права! они не отецъ тебѣ, не мать, а благодѣтели...”

„Благодѣтели! они?!“

Тутъ было мучительное, терзавшее его противорѣчіе.

„Да и что же такое я самъ?—самозванецъ!!“ печально повторялъ онъ.

Передъ нимъ мелькала вся его жизнь, тѣ годы, когда ему такъ безумно хотѣлось имѣть все, все, что было въ рукахъ и во власти другихъ людей, съ которыми онъ когда то столкнулся; но у него было очень мало и между этимъ немногимъ больше всего можетъ быть онъ дорожилъ своимъ простымъ, но честнымъ именемъ. А вотъ и имени этого у него нѣтъ.— Что осталось? Что дано ему взамѣнъ потеряннаго?—Непризнаваемое родство съ одной изъ самыхъ старинныхъ и богатыхъ русскихъ фамилій! Этотъ красивый сѣдобородый старикъ, такъ нѣжно, такъ родственно его обнявшій, показавшійся ему очень добрымъ—его дядя. Этотъ архивъ, которымъ его заманили—это архивъ его предковъ!..

И вдругъ въ немъ сказалось дѣйствіе стараго забытаго яда. Онъ вспомнилъ блестящее высшее общество, которымъ когда то увлекался и отъ котораго пришлось ему оторваться съ трудомъ, съ чувствомъ оскорбленнаго самолюбія. Ему казалось, что онъ уже и тогда чувствовалъ свою связь съ этимъ изящнымъ обществомъ. Вотъ почему онъ любилъ его, вотъ почему ему всегда такъ легко дышалось

среди широкой жизни, среди роскоши и блеска. Это кровь говорила, кровь невѣдомаго отца, передавшаго ему всѣ свои черты!..

Ядъ поднимался.

„Я Горбатовъ!“ мысленно повторялъ онъ и уходилъ въ глубь вѣковъ, въ ту глубь, надъ которой такъ часто отъ юности любилъ задумываться.

Ему припоминалась, какъ будто сейчасъ она передъ нимъ была раскрыта, та страница „Исторіи Государства Россійскаго“, гдѣ онъ въ первый разъ прочелъ имя боярина Горбатова...

Передъ нимъ проходили одна за другою яркія сцены...

...Битва съ татарами. Русскій воевода, закованный въ латы, на лихомъ конѣ, рубить враговъ направо и налѣво... рѣдѣютъ толпы степныхъ хищниковъ—првославное воинство ликуетъ побѣду... Вождь опускаетъ свой кровавый мечъ, уста его шепчутъ молитву—это Горбатовъ...

...Низкіе расписные своды, восточный блескъ и роскошь... грозный царь съ измученнымъ и скорбнымъ лицомъ, съ подозрительно бѣгающими глазами... Кругомъ любимцы—льстецы, и среди нихъ тучная фигура стараго боярина—упрямый лобъ, гордый взглядъ...

„Мы—сила земли русской!“ говоритъ бояринъ,—
„и наше мѣсто рядомъ съ тобою въ твоемъ совѣтѣ!“

„Вы крамольники... вы злодѣи!“ кричитъ царь.

„Не мы крамольники, а ты самъ окружилъ себя крамолой!..“

„Казнить его!..“

И казнять упрямаго боярина—и бояринъ этотъ—Горбатовъ...

Опять другія картины. Опять то боевая схватка, то рѣшеніе дѣлъ государскихъ—и вездѣ и всюду на первомъ планѣ—Горбатовы...

...Годы ломки и перестройки всего государственнаго зданія... „Брей бороду! Надѣвай кургузое нѣмецкое платье! Бѣгай, работай, поспѣвай! въ кургузомъ то платьѣ—это сподручнѣе, въ длиннополомъ кафтанѣ только валяться да брюхо отращивать! Брей бороду, пузанъ!“ требуетъ властный голосъ великаго работника.

Но пузанъ-бояринъ стыдится себя окургузить, стыдится окорнать свою Богомъ данную красу мужескую—браду годами посребренную. Непонятенъ ему голосъ державнаго работника, да и упрямство отъ отцовъ наслѣдовано великое...

Уходитъ бородачь въ свои родовыя вотчины, зарывается тамъ отъ бѣла свѣта, чудачить и молится... и опять это Горбатовъ...

...Но сынъ бородача, уже въ нѣмецкомъ платьѣ, въ парикѣ на стриженной головѣ, работаетъ съ нѣмцами...

...Опять другія времена, другіе нравы...

Вспоминаются Михаилу Ивановичу рассказы москвичей, его знакомыхъ, о послѣднихъ Горбатовыхъ... Потомъ совсѣмъ меркнетъ блескъ славнаго имени, не слышать и не видать теперь Горбатовыхъ... Одинъ только этотъ старикъ, возвращенный изъ Сибири... послѣдній...

И вдругъ старыя грѣзы снова наплываютъ со всѣмъ своимъ соблазномъ.

„Дайте мнѣ средства! шепчетъ Михаилъ Ивановичъ старую фразу, которую такъ часто повторялъ онъ лѣтъ десять тому назадъ.— Дайте какое нибудь оружіе, тогда можно будетъ показать себя...“

„Да, многое можно сдѣлать, можно поработать для поднятія падающаго рода... и снова заблещетъ старое имя! Я Горбатовъ!..“

„Пойди, скажи имъ это! вдругъ шепчетъ насмѣшливый голосъ.— Пойди скажи — и они разсмѣются надъ тобою, втопчутъ тебя въ грязь... И стыдъ, унесенный тобою когда то изъ ихъ общества, покажется тебѣ ничѣмъ въ сравненіи съ этимъ новымъ стыдомъ!.. Незаконный сынъ Горбатова и петербургской мѣщанки!—кто же тебя признаетъ? Да и незаконнымъ то сыномъ ты не смѣешь назваться— у тебя отецъ и мать! Что же, подводить ихъ подъ отвѣтственность станешь добиваясь своего позора?!“

Совсѣмъ подавленный, совсѣмъ разбитый вернулся домой Михаилъ Ивановичъ.





XIII.

Межъ огней.

Онъ прошелъ прямо къ себѣ въ мезонинъ и въ первой же комнатѣ столкнулся съ женой, которая, такъ таки ничего не добившись отъ стариковъ, въ нетерпѣннѣи и въ волненіи дожидалась его возвращенія. Увидя его блѣдное, измученное и странное лицо она совсѣмъ ужъ испугалась. Она кинулась къ нему, охватила его шею руками и, сама блѣдная, прошептала:

— Господи, да что же, наконецъ, случилось?! Что у насъ дѣлается... не томи—скажи?! Они отъ меня скрываютъ, я весь день промучилась здѣсь тебя дожидаясь. Что же это? разорились вы что ли? Весь капиталъ пропалъ?.. Я ума не приложу... Ну... ну, говори скорѣе!..

Онъ вздрогнулъ и невольно отъ нея отстранился. У него изъ головы вонъ вышло, что вернувшись

домой ему придется отвѣчать на такіе разспросы. Что же онъ можетъ, что онъ долженъ ей отвѣтить?! Зачѣмъ ей знать—нѣтъ, онъ ничего ей не скажетъ, ничего ни ей, ни имъ...

Все это разомъ мелькнуло у него въ головѣ и онъ принялъ твердую рѣшимость. Онъ нашелъ въ себѣ силу внутренне отряхнуться. Онъ поцѣловалъ жену и улыбнулся.

— Чего ты перепугалась? Не разорились мы и ничего такого нѣтъ... что отъ тебя скрываютъ и откуда ты взяла все это?

— Да не обманывай ты меня, посмотри какое у тебя лицо. Что съ тобою?!

Онъ поднялъ свои тяжелыя, плохо слушавшіяся его вѣки и взглянулъ ей прямо въ глаза.

— Ничего со мною... Ты говоришь про мое лицо, можетъ быть я блѣденъ, я очень усталъ, я былъ у Горбатова... сговорились мы насчетъ архива... Вышелъ я отъ него, захотѣлось пройтись — и вотъ пѣшкомъ съ Басманной... Давно много не ходилъ, съ непривычки просто даже ослабѣлъ, голова кружится... Дай-ка мнѣ рюмку вина и объясни, что у васъ такое—я ничего не понимаю...

Надежда Николаевна въ недоумѣніи глядѣла на мужа.

„Что же это онъ, комедію играетъ? Вѣдь до сихъ поръ ничего не скрывалъ и общалъ, сколько разъ общалъ, что никогда не будетъ имѣть отъ меня тайны... Что же это теперь — или надо ему вѣрить?!“

Она рассказала ему о впечатлѣніи, произведенномъ на стариковъ его отъѣздомъ къ Горбатову, о

появленіи и таинственномъ исчезновеніи Капитолины Ивановны.

Онъ сдѣлалъ видъ что изумленъ и пожалъ плечами.

— Ну, душа моя, я самъ тутъ ничего не понимаю и теперь ты ужъ и меня пугаешь... Если тебѣ они ничего не объяснили, можетъ быть объяснятъ мнѣ—постой, я пойду и спрошу ихъ...

Онъ пошелъ внизъ, а Надежда Николаевна осталась все таки не зная вѣрить ему или нѣтъ.

„Неужели онъ лжетъ и притворяется?! Зачѣмъ, съ какой стати, что ему скрывать отъ меня?! Нѣтъ, нѣтъ, онъ должно быть ничего не знаетъ... онъ все время былъ совсѣмъ спокоенъ и вчера вечеромъ, и сегодня...“

А Михаилъ Ивановичъ, сходя внизъ, мучительно думалъ:

— Что же я скажу имъ? какъ съ ними встрѣчусь? что мнѣ дѣлать?

Но оказалось, что Марьи Семеновны не было дома—она уѣхала, и онъ понялъ, что она уѣхала къ Капитолинѣ Ивановнѣ. Старикъ былъ въ саду, въ тепличкѣ.

Михаилъ Ивановичъ вышелъ въ садъ, къ нему кинулись игравшія передъ балкономъ дѣти. Онъ машинально поцѣловалъ ихъ и направился къ тепличкѣ. Путь былъ не великъ, всего два-три десятка сажень. Но Михаилъ Ивановичъ шелъ едва передвигая ноги, шелъ какъ на казнь, такъ тяжело ему было встрѣтиться съ отцомъ.

Однако эта встрѣча во всякомъ случаѣ, часомъ раньше или позже, была неизбежна. Онъ подошелъ

къ тепличкѣ, схватился за дверцу, рука его дрожала, сердце замирало. Онъ согнулся и перешагнулъ порогъ. Его охватилъ горячій, влажный воздухъ, пропитанный испареніями растений.

На низенькой скамеечкѣ, среди цвѣтовъ и зелени, сидѣлъ, весь сгорбившись, Иванъ Федоровичъ въ своемъ сѣренькомъ лѣтнемъ балахонѣ. Длинные сѣдые волосы, которые онъ со времени отставки почему то пересталъ стричь и носилъ по плечамъ, обрамляли его старческое, гладко выбритое лицо. При видѣ Михаила Ивановича онъ задрожалъ, поднялся со скамейки да такъ и замеръ, совсѣмъ растерянный и не смѣя поднять глазъ, будто человѣкъ уличенный въ преступленіи.

Нѣсколько мгновеній они молча простояли другъ передъ другомъ. Затѣмъ Михаилъ Ивановичъ взялъ руку старика и прижалъ ее къ губамъ своимъ. Иванъ Федоровичъ свободной рукой обнялъ сына и почти громко заплакалъ.

— Мишенька... голубчикъ... только и могъ онъ выговорить сквозь слезы.

И опять молчаніе, и опять они стоятъ другъ передъ другомъ. Михаилъ Ивановичъ хотѣлъ говорить и не могъ. Снова нахлынула на него тоска, что то какъ будто путалось и обрывалось въ сердцѣ...

Вѣдь ничего не измѣнилось, вѣдь передъ нимъ тотъ же самый любящій отецъ, какого зналъ онъ всю жизнь. Тотъ же самый добрый чудакъ-отецъ, недалній умомъ, несильный характеромъ, но всегда чуткій сердцемъ, всегда отлично понимавшій все доброе и хорошее. Отецъ! отецъ — но вѣдь это не отецъ, это чужой человѣкъ!..

И чувствовалъ Михаилъ Ивановичъ, что уже ничѣмъ не выбѣтъ изъ себя этого мучительнаго и страшнаго сознанія. Что же теперь?! Запуталась, запуталась жизнь, нѣтъ прежней тишины и не будетъ. Все что было просто и естественно — теперь стало ложью, обманомъ, неестественностью...

Что сказать ему? вѣдь онъ видитъ и такъ, что все извѣстно. Объясняться!.. какія же могутъ быть объясненія...

Они ничего такъ и не сказали другъ другу.

Иванъ Федоровичъ робко взглядывалъ на сына и тотчасъ же отводилъ глаза. Но вдругъ, будто собравшись съ силами и что то рѣшивъ, онъ заговорилъ:

— А я вотъ, Мишенька, хотѣлъ показать тебѣ новый цвѣтокъ кактуса, вчера еще распустился... Вотъ, пойдика сюда, посмотри, сколько лѣтъ у меня и это въ первый разъ!..

Михаилъ Ивановичъ, никогда неинтересовавшійся цвѣтами, теперь такъ и накинулся на этотъ кактусъ, и сталъ спрашивать отца о томъ, какая это порода, когда и долго ли онъ цвѣтетъ, и тому подобное.

Иванъ Федоровичъ объяснялъ съ оживленіемъ, лихорадочно.

Какъ бы то ни было — этотъ цвѣтокъ кактуса разбилъ ледъ. Онъ былъ послѣдней соломенкой, за которую они оба ухватились и соломенка ихъ подержала.

Выходя изъ теплички Михаилъ Ивановичъ сказалъ:

— Надя перепугана, требуетъ объясненій... Я е
выдумаю какую нибудь исторію...

Иванъ Федоровичъ остановился и опять сильно
вздрыгнулъ.

— Да... да... Надя... выдумай... выдумай, голуб-
чикъ, зачѣмъ ей... не надо...

Михаилъ Ивановичъ вернулся къ женѣ все съ
тѣмъ же блѣднымъ и страннымъ лицомъ, но пови-
димому спокойный.

— Да, сказалъ онъ ей,—они очень встревожены,
но совершенно напрасно... Они Богъ знаетъ что
воображали...

— Что же они могли воображать и при чемъ
тутъ Горбатовъ?! Зачѣмъ они такъ испугались тому,
что ты къ нему ѣдешь?!

Въ отвѣтъ на это Михаилъ Ивановичъ намек-
нулъ на какую то туманную старую исторію, что
будто отецъ Марьи Семеновны зналъ Горбатова,
когда тотъ еще не былъ сосланъ въ Сибирь, что у
нихъ были какія то денежныя дѣла, какіе то не-
оконченные счета, что Марья Семеновна боится
какъ бы Горбатовъ не заподозрилъ ея покойнаго
отца въ нечестности. Но у Капитолины Ивановны
хранятся письменныя и неопровержимыя доказа-
тельства противнаго...

— Я все это разберу и выясню дѣло. Маменька
отправилась къ Капитолинѣ Ивановнѣ и конечно
вернется съ этими документами...

Надежда Николаевна повѣрила исторіи, сплетен-
ной мужемъ, и успокоилась. Но она удивлялась
тому, что за обѣдомъ всѣ были молчаливы, что у
Марьи Семеновны были заплаканы глаза, а вече-

ромъ она заперлась въ своей спальнѣ съ сыномъ и пробыли они тамъ долго, долго. И у Михаила Ивановича, когда онъ пришелъ къ женѣ и соби-
рался спать, были тоже глаза какъ будто немного красны.

Она только спросила его:

— Что же, ты видѣлъ эти бумаги? онѣ убѣди-
тельны?

— Да, да, слава Богу! отвѣтилъ онъ.—Я завтра
же съ ними поѣду къ Горбатову.

Надежда Николаевна мирно заснула и не знала,
что мужъ ея не сомкнулъ глазъ почти во всю ночь,
что онъ даже нѣсколько разъ, врядъ ли самъ и
замѣчая это, вставалъ съ постели и сидѣлъ понуря
голову, очевидно думая тяжелыя и тревожныя думы.

Онъ, какъ и сказалъ, отправился на слѣдующій
день къ Горбатову и возвратясь увѣрилъ ее, что
дѣло благополучно кончено. Благополучно конче-
но,—а между тѣмъ Надежда Николаевна ясно ви-
дѣла, что въ домѣ происходитъ что то странное,
что и Михаилъ Ивановичъ, и старики совсѣмъ не
тѣ, что всѣ они какъ то неестественны, какъ будто
играють комедію.

Она продолжала свои наблюденія, и наконецъ
рѣшила, что мужъ обманулъ ее, что отъ нея скры-
ваютъ какую то тайну. Она пристала къ Михаилу
Ивановичу, пустила въ ходъ всѣ женскія уловки,
подвергла его испытанію просьбъ, ласкъ, слезъ,
негодованія, и конечно кончила тѣмъ, что побѣ-
дила.

Онъ любилъ свою хорошенькую, влюбленную въ
него жену, въ которой, не смотря на нѣсколько

лѣтъ семейной жизни, сохранилось еще много дѣтскаго и наивнаго. Она родилась въ скромной средѣ московскаго чиновничества, воспитывалась въ институтѣ, рано вышла замужъ. Но въ ней не было той мелочности, того неизящества, которое Михаилъ Ивановичъ терпѣть не могъ въ барышняхъ его круга.

Надежда Николаевна именно была изящна отъ природы, была добра, и хотя ея образованіе и умственное развитіе сильно хромали, но природный тактъ былъ настолько значителенъ, что никогда она не заставляла краснѣть своего мужа ни на людяхъ, ни наединѣ.

Она не только продолжала оставаться въ него влюбленной, но и уважала его, ставила гораздо выше себя, умѣла вслушиваться въ его сужденія и запоминать ихъ, заставляла себя интересоваться всѣмъ, чѣмъ онъ интересовался—и достигала этого.

Она мало-по-малу становилась его послушной ученицей, въ нѣкоторомъ родѣ какъ бы его повтореніемъ въ миниатюрѣ. Онъ понималъ это, чувствовалъ и былъ доволенъ своей Надей...

Ему самому, съ перваго же дня, было тяжело имѣть отъ нея тайну. Да и наконецъ, нѣсколько дней, прошедшихъ со времени сцены въ горбатовскомъ домѣ, все же заставили его хладнокровнѣе взглянуть на дѣло. Наконецъ онъ задалъ себѣ вопросъ — зачѣмъ скрывать отъ жены? Она слишкомъ добрая и честная женщина, она не выдастъ его тайны, ничему не повредить.

Онъ ей во всемъ признался.

Надежда Николаевна слушала его широко рас-

крывъ глаза и въ первую минуту ей показалось даже, что онъ смѣется надъ нею, рассказываетъ ей сказку—такъ все это было невѣроятно. Но такой сказки онъ вѣдь не могъ выдумать. Она задумалась и вдругъ заплакала.

— Ну вотъ, ты и плачешь! сказалъ онъ,—значить лучше бы я молчалъ... И о чемъ ты плачешь?

Она удержала свои слезы, прижалась къ нему и прошептала:

— Я плачу потому, что ты не сказалъ мнѣ сразу и такъ долго скрывалъ отъ меня все это... И потому плачу, что какъ же не плакать,—вѣдь я понимаю какъ тяжело и тебѣ, и имъ...

— Но ради Бога, Надя, ни слова имъ, пусть они думаютъ, что ты ничего не знаешь...

— Тебѣ нечего просить меня объ этомъ, — конечно я не скажу имъ ни слова. Но что же ты теперь будешь дѣлать, Миша?..

Она остановилась и вздрогнула.

Онъ замѣтилъ это и печально улыбнулся.

— Вотъ видишь—и тебѣ страшно, сказалъ онъ,—назвала меня Мишей, а я даже и не Миша...

По его лицу скользнуло такое скорбное выражение, что она снова прижалась къ нему и стала крѣпко и горячо цѣловать его.

— Это пустяки, пустяки! повторяла она, — тебѣ нечего объ этомъ думать, это только странно. И я знаю одно, прибавила она,—что мы должны любить ихъ еще больше, еще больше цѣнить ихъ...

— Спасибо тебѣ за то, что ты такъ говоришь и думаешь! произнесъ Михаилъ Ивановичъ обнимая жену.

— Что же ты будешь дѣлать? повторила она свой вопросъ.

— Ничего, сказалъ онъ.—Что же мнѣ дѣлать?!

— А твой... дядя... Горбатовъ? Ты теперь каждый день у него бываешь...

— Дядя!! задумчиво произнесъ Михаилъ Ивановичъ, — онъ кажется дѣйствительно хочетъ быть для меня роднымъ... Онъ хорошій человѣкъ, я люблю его... Завтра онъ уѣзжаетъ, но зоветъ меня осенью въ Петербургъ...

— Ты поѣдешь?! А какъ же служба?!

— Я еще ничего не знаю, но можетъ быть и службу теперешнюю оставляю... можетъ быть... онъ снова задумался,—въ нашей жизни будетъ большая переменна...

— Какая же?! Что такое?! Ты опять начинаешь скрывать!

— Нѣтъ, но подожди, я еще самъ ничего не знаю, у меня до сихъ поръ голова какъ въ туманѣ...

Надежда Николаевна поблѣднѣла, какая то внезапная мысль мелькнула въ головѣ ея, и печальнымъ голосомъ произнесла она:

— Да, да, будутъ большія переменны, но къ лучшему ли, Миша? Мнѣ становится страшно...

Слезы блеснули на ея глазахъ, не то тоска, не то неопредѣленное предчувствіе сжало ей сердце.

— Переменны!.. шептала она, — да зачѣмъ онѣ намъ, мы жили хорошо; будемъ ли жить лучше? а вдругъ...

Она запнулась.

— Что вдругъ? спросилъ онъ поднимая глаза и видя ея испуганное лицо, — чего ты еще боишься?!

— Я боюсь, что ты меня теперь разлюбишь...

— Побойся Бога! Какъ тебѣ не стыдно! крикнулъ онъ хватая ея руки, — вѣдь ты не ребенокъ, что за безумная мысль! Мнѣ кажется, — теперь намъ болѣе чѣмъ когда либо нужно быть вмѣстѣ... тѣснѣе...

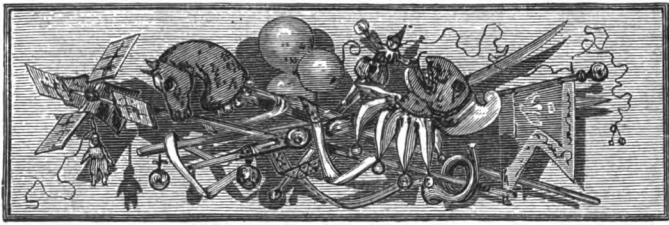
Эти слова ее успокоили.

— Только смотри, ничего не скрывай отъ меня... знаешь, хоть у меня и умишко не Богъ знаетъ какой, но все же—умъ хорошо, а два лучше...

А онъ что то скрывалъ, въ его головѣ роились какія то новыя мысли, новые планы. И Надежда Николаевна каждый день заставляла его задумчивымъ.

Онъ рѣшительно измѣнился, да и всѣ въ домѣ измѣнились. Старики были скучны и даже какъ будто сразу постарѣли. Прежняя тихая и спокойная жизнь съ каждымъ днемъ невозвратно исчезала.





XIV.

Тѣ же тревоги.

Борисъ Сергѣевичъ, засидѣвшись въ Москвѣ, уже давно покончивъ свои дѣла, спѣшилъ въ Петербургъ.

Онъ зналъ, что встрѣтитъ тамъ Николая, который извѣстилъ его о своемъ неожиданномъ, „по дѣламъ“ — какъ писалъ онъ, отъѣздѣ изъ Горбатовскаго и о томъ, что у нихъ въ петербургскомъ домѣ все приготовлено для встрѣчи дорогого гостя.

Получилъ Борисъ Сергѣевичъ также два письма отъ Наташи. Это были большія, въ два и три листа, письма, мелко исписанныя ея красивымъ почеркомъ.

Она описывала подробно всѣ внѣшнія происшествія ихъ деревенской жизни во время отсутствія дяди. Описывала, въ нѣсколько комическомъ видѣ, собиравшихся у нихъ гостей-сосѣдей. Прерывала

эти описанія какими то туманными, отвлеченными сужденіями, которыя всякому показались бы странными. Но Борисъ Сергѣевичъ ясно понималъ всѣ мысли своего новаго друга.

Прочитавъ эти два письма, онъ увидѣлъ всю внутреннюю жизнь Наташи, всѣ ея чувства. Она вскользь упомянула объ отъѣздѣ Николая и потомъ о немъ не было ни слова. Но одна эта коротенькая фраза и это молчаніе рассказали Борису Сергѣевичу все, что произошло тамъ безъ него, въ Горбатовскомъ.

Онъ печально задумался надъ этими письмами и передъ нимъ вставалъ неотвязно вопросъ — что же будетъ дальше? чѣмъ разрѣшится эта тяжелая судьба? А вѣдь она должна же разрѣшиться. Все это началось не теперь, а готовилось давно, росло невидно и неслышно, безсознательно для нихъ обоихъ, какъ и всегда готовится и растетъ большое горе.

„Судьба! повторялъ Борисъ Сергѣевичъ,—та самая судьба, которая и меня вела всю жизнь и складывала эту жизнь такъ, а не иначе... Что же будетъ съ ними?“

Онъ понималъ и чувствовалъ, что гроза разразится скоро и не устоять подъ этой грозой тѣмъ, кого онъ уже искренно полюбилъ. Онъ знаетъ заранее, что близка гибель, что ударъ неминуемый и жестокий виситъ надъ милыми ему существами... Онъ знаетъ то, чего не знаютъ они, потому что вѣрно имъ кажется, что многое еще въ ихъ власти!.. А въ ихъ власти что?—ничего!..

Онъ все это знаетъ—и нечѣмъ ему помочь имъ.

Онъ видитъ двѣ разбитыхъ жизни, да и двѣ ли только?!

Вотъ онъ живетъ наконецъ сердцемъ. Онъ, такъ долго бывшій одинокимъ на свѣтѣ и такъ тяготившійся своимъ одиночествомъ, своимъ бездѣйствіемъ—живетъ и дѣйствуетъ. У него есть близкіе ему люди. Ихъ интересы дѣлаются его интересами — а развѣ жизнь его стала отъ этого краше?! Мелькнуло что то свѣтлое—и угасло...

Онъ готовъ имъ всѣмъ отдать остатки своей жизни, отдать все что только есть у него, но видно никому ничего этого не нужно. Онъ снова ожилъ только для того, чтобы убѣдиться, что жизнь—страданіе.

Онъ дѣлаетъ большое дѣло—освобождаетъ тысячи душъ крестьянъ, заботится о дальнѣйшемъ ихъ устройствѣ. Это дѣло справедливости, это осуществленіе старой мечты!..

Но нѣтъ, нѣтъ да и являются у него смущающія мысли. Вспоминаются ему слова Николая, а затѣмъ и вѣрнаго слуги Степана, который, передъ отъѣздомъ его изъ Горбатовскаго, узнавъ наконецъ о томъ, что такое задумалъ баринъ, покачалъ головою и промолвилъ:

— Не ладно это, сударь Борисъ Сергѣевичъ, правое слово не ладно... Вотъ оно что значить отвычка—небось кабы мы не прожили всю жизнь въ Сибири, такъ и жалости у васъ къ вашимъ людямъ было бы больше, не стали бы гнать ихъ отъ себя...

— Что ты такое бредишь, Степанъ? Какъ отъ себя гнать?!

— А такъ таки и гнать! упрямо повторялъ Степанъ. За вами имъ хорошо и тепло, какъ у Господа за пазухой, а отпустите вы ихъ на волю на эту—и невѣдомо еще что изъ того выйдетъ! можетъ кому и точно впродъ пойдетъ, да не многимъ, а что многіе пропадутъ—это вѣрно...

— Ну, закаркала старая ворона! промолвилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— То то, старая ворона!..

И Степанъ съ ворчаніемъ ушелъ.

Но какъ бы то ни было, затѣянное дѣло приближалось къ благополучному окончанію.

Удалось и другое дѣло, за которымъ главнымъ образомъ и пріѣхалъ Борисъ Сергѣевичъ въ Москву—исполнилъ онъ завѣтъ брата, отыскалъ новаго племянника. Онъ ознакомился съ этимъ племянникомъ, призналъ въ немъ хорошаго человѣка, открылъ ему свое сердце, готовъ былъ оказать ему всяческую помощь. Но и тутъ помощи пока никакой очевидно не требовалось: Михаилъ Ивановичъ въ немъ не нуждался и онъ ясно видѣлъ это. Да и Капитолина Ивановна провожала его изъ Москвы такими словами:

— Ну, что же, государь мой, добились вы своего, такъ рады что ли?! Можетъ вы и рады, только взгляните-ка на Мишеньку—просто не узнать его за это время—хмурый, осунулся. А ужъ со стариками его что дѣлается—смотрѣть тошно!.. Еще спасибо вамъ, что не заупрямились—туда не пожаловали... Поглядимъ что дальше будетъ, думается такъ, что хорошаго то мало. Тихо жили люди, на жизнь не жа-

ловались, а теперь вотъ изъ коленъ выбиты, совсѣмъ выбиты!..

Борисъ Сергѣевичъ не могъ не согласиться, что она пожалуй и права. И могъ онъ только успокоить себя тѣмъ, что вѣдь не зналъ онъ какъ найдетъ этого племянника и думалъ найти его иначе. Онъ сваливалъ всю вину на Прыгунова, но отъ этого ему не становилось легче...

Въ Петербургѣ Борисъ Сергѣевичъ ненамѣренъ былъ засиживаться. Онъ повидался кой съ кѣмъ изъ вліятельныхъ лицъ, принявшихъ его съ холодной любезностью. Онъ узналъ, что рѣшеніе его отпустить на волю всѣхъ своихъ крестьянъ „очень поправилось“, ему было даже передано „удовольствіе“.

Онъ не узнавалъ Петербурга и по нѣкоторымъ сдѣланнымъ наблюденіямъ убѣдился, что Николай былъ правъ.

Николая онъ засталъ такимъ мрачнымъ, такимъ раздражительнымъ. Не будь перваго впечатлѣнія, встрѣтъ онъ его такимъ, какимъ онъ былъ теперь, онъ бы только укрѣпился въ своихъ предвзятыхъ мысляхъ и чувствахъ. Но онъ видѣлъ Николая другимъ, отдалъ ему уже свое сердце и могъ теперь только скорбѣть.

Николай дѣйствительно начиналъ переживать мучительное время, въ сравненіи съ которымъ годы тоски и недовольства жизнью казались ему почти блаженными годами. Онъ пріѣхалъ изъ Горбатовскаго совсѣмъ какъ въ туманѣ; но рѣшился бороться съ собою и внутренне былъ возмущенъ той слабостью, которую въ себѣ чувствовалъ.

Онъ хотѣлъ забыть, уничтожить въ себѣ все то, что такъ неожиданно, какъ ему казалось, выросло, прорвалось наружу и подавило его...

„И когда же это могло случиться?.. и какъ оно могло случиться?.. и какъ я смѣлъ допустить это?!“ пытался онъ разбирать себя, и судить, и осуждать; но тутъ же и чувствовалъ всю нелѣпость, всю фальшь такихъ суждений и самоосуждений, и чувствовалъ, что вовсе не „вдругъ“, а уже давно, давно, съ первой встрѣчи, съ первой минуты онъ любилъ Наташу.

Любилъ когда увидѣлъ ее какъ невѣсту брата, любилъ когда глядѣлъ какъ она обходила вокругъ аналая съ Сергѣемъ, любилъ когда она вошла въ ихъ домъ и когда онъ бесѣдовалъ съ нею какъ съ сестрой, и глядѣлъ на нее какъ на сестру...

Любилъ всегда, всегда, ни на минуту не переставая, любилъ все больше и больше съ каждой минутой, жилъ ею, думалъ только о томъ, какъ бы ее увидѣть, или о томъ какъ бы избѣгнуть встрѣчи съ нею. И избѣгая встрѣчи онъ въ то же время жаждалъ этой встрѣчи и ждалъ чутко, всѣмъ существомъ своимъ, чтобы она первая пришла къ нему. Если она приходила—онъ встрѣчалъ ее рѣзко, почти враждебно, а самъ замиралъ отъ блаженства и муки. Если она не приходила — онъ не выдерживалъ и самъ шелъ къ ней, еще болѣе рѣзкій, еще болѣе враждебный, равно готовый и оскорбить ее, и безумно упасть передъ нею на колѣни.

И все это было такъ, потому что иначе не могло быть; только все это дѣлалось и росло безсознательно, онъ жилъ и двигался и дѣйствовалъ какъ

во снѣ, а теперь, теперь все вспоминалъ и понималъ...

Послѣ этого страшнаго и блаженнаго вечера, послѣ встрѣчи въ бесѣдкѣ, онъ бѣжалъ инстинктивно ища спасенія въ бѣгствѣ. Онъ чувствовалъ необходимость уйти куда нибудь, окунуться въ тревожную дѣятельность, которая бы увлекла, помогла забыться.

По возвращеніи въ Петербургъ онъ объѣздилъ всѣхъ бывшихъ въ городѣ и окрестностяхъ знакомыхъ, сталъ видаться съ вліятельными, „работавшими“ въ то время людьми. Онъ казался особенно оживленнымъ, говорилъ много, горячо и увлекательно, развивалъ свои заветныя мысли, которыя, какъ онъ выразился въ своемъ первомъ разговорѣ съ дядей, заслужили порицаніе *en haut lieu*.

Онъ ужъ и прежде, когда хотѣлъ того, обращалъ на себя вниманіе. Теперь же, въ этомъ исключительномъ, лихорадочномъ состояніи духа, онъ производилъ почти магнетическое дѣйствіе, получалъ рѣшительное вліяніе. Съ каждымъ днемъ разростался кружокъ, невольно признававшій его своимъ центромъ. Люди однихъ съ нимъ взглядовъ, но до послѣдняго времени не рѣшавшіеся высказывать этихъ взглядовъ изъ боязни прослыть „отсталыми“, изъ увѣренности въ своемъ „одиночествѣ“—теперь, найдя въ немъ поддержку и увидя, что они вовсе не одиноки,—заговорили.

Кружокъ крѣпъ и получалъ вліяніе. Началась борьба. Новѣйшіе „дѣльцы“, жаждавшіе „удивить Европу“ и творить „блестящія страницы исторіи“, силились представить кружокъ Николая чуть что не

врагами отечества и уже во всякомъ случаѣ крѣпостниками и ретроgrадами. Но настоящіе крѣпостники и ретроgrады въ свою очередь были недовольны кружкомъ, ибо Николай и его единомышленники были вовсе не за старый строй и порядокъ. Они находили, что надо работать и строить—только осмотpительно, не на спѣхъ, не на показъ Европѣ, а прочно и своевременно.

Дни Николая проходили быстро въ этой закипѣвшей дѣятельности. Съ ранняго утра уже можно было видѣть экипажи, подъѣзжавшіе къ горбатовскому дому. Въ старой библіотекѣ то и дѣло устраивались невзначай какъ бы даже засѣданія подъ предсѣдательствомъ молодого хозяина.

Здѣсь можно было встрѣтить и горячихъ молодыхъ людей, уже болѣе или менѣе обратившихъ на себя общее вниманіе, и престарѣлыхъ государственныхъ мужей—дѣателей прошлаго царствованія. Но главнѣйшимъ образомъ сюда стремились и легко попадали съѣхавшіеся въ Петербургъ провинціалы, дворяне-помѣщики разныхъ губерній, имѣвшіе сказать свое слово, привезшіе съ собой болѣе или менѣе значительный запасъ опытности и наблюденій.

Николай умѣлъ сразу разгадывать новаго человека и если онъ представлялъ какого нибудь провинціала своимъ петербургскимъ вліятельнымъ пріятелямъ, то навѣрное ужъ этотъ провинціалъ оказывался интереснымъ. Многіе изъ заслуженныхъ государственныхъ особъ, бывшіе до того времени искренно увѣренными, что они прекрасно знаютъ и понимаютъ дѣйствительное положеніе Россіи, должны были сознаться, что только тутъ, въ этой старой

библіотекъ, начинаютъ настоящее знакомство съ этимъ положеніемъ.

Здѣсь шли оживленные, серьезные споры, прочитывались различныя записки и замѣтки. Конечно не разъ увлекались споромъ, отклонялись отъ главнаго предмета, стоявшаго на очереди; но Николай всегда умѣлъ во-время позвонить въ свой незримый предсѣдательскій колокольчикъ, то есть навести споръ на надлежащую дорогу. Самъ онъ говорилъ больше всѣхъ, съ постоянно возростающимъ краснорѣчіемъ, и посѣтители засиживались въ библіотекѣ, не замѣчая какъ идетъ время.

Наконецъ гости разѣзжались и Николая уже дожидался экипажъ у подъѣзда. Онъ отправлялся куда нибудь за городъ, къ кому нибудь на дачу, и всюду приносилъ съ собою свой увѣренный тонъ, свои ясныя мысли. Возвращаясь домой вечеромъ, онъ находилъ у себя на письменномъ столѣ приглашенія на слѣдующій день, иной разъ быстро карандашемъ набросанныя строчки — извѣстія о томъ, что получены важныя новости. Эти быстро набросанныя карандашемъ строчки были нѣчто въ родѣ шифрованныхъ депешъ — кружокъ такъ уже спѣлся, что люди понимали другъ друга въ одномъ словѣ, въ одной буквѣ.

И такъ шли недѣли.

Но нерѣдко и въ старой библіотекѣ, и въ чьей нибудь гостиной собесѣдники Николая взглядывали на него съ изумленіемъ — онъ вдругъ среди самаго интереснаго спора останавливался, терялся, замолкалъ. Его оживленное лицо становилось блѣднымъ,

блестящіе глаза потухали, онъ начиналъ отвѣчать короткими фразами, а иногда даже очевидно неслыхалъ того, что ему говорили.

Нерѣдко, возвращаясь домой съ Острововъ, изъ Царскаго Села или Петергофа, полный только что высказанныхъ мыслей, онъ чувствовалъ какъ эти мысли обрываются, какъ всякій интересъ къ дѣятельности, въ которую онъ окунулся, пропадаетъ безслѣдно и на его мѣсто врывается въ сердце и въ мозгъ тотъ мучительный, невыносимый міръ мыслей и ощущеній, отъ котораго онъ бѣжалъ, съ которымъ боролся и гвалъ отъ себя и почти уже думалъ, что прогналъ далеко.

Опять и опять вставали передъ нимъ два женскихъ образа, да два: не одна Наташа, а и Мари. Онъ начиналъ теперь все чаще и чаще думать о Мари и тутъ опять таки происходило нѣчто странное и мучительное. Онъ, самъ того не замѣчая, пересталъ негодовать на нее и она ужъ не казалась ему „чужою“ какъ еще недавно. Ему не приходило въ голову обвинять ее, а себя оправдывать. Онъ почувствовалъ, что она передъ нимъ невиновата, что онъ не имѣлъ никакого права требовать отъ нея, чтобы она для него переродилась, стала иною, чѣмъ создала ее природа. А главное, главное, какова бы ни была она, онъ созналъ свою нерасторжимую связь съ нею и его всего наполнило чувство жалости къ ней, невыносимо мучительное чувство.

Иной разъ онъ бродилъ теперь по ея пустымъ комнатамъ, гдѣ все говорило объ ней, онъ взглядывалъ порою на ея портретъ и глядѣлъ долго, не-

отрываясь, будто впервые видѣлъ это красивое, спокойное лицо. Ему казалось, что онъ читаетъ нѣмой упрекъ въ ея глазахъ. Тоскливая жалость душила его. Еслибъ Мари очутилась теперь передъ нимъ—онъ бы бросился къ ней на грудь и рыдалъ бы, рыдалъ бы...

Но вотъ будто голосъ какой-то, гдѣ-то тамъ, глубоко, въ сердцѣ произносилъ завѣтное имя: „Наташа!“ — и ему становилось просто страшно отъ огня всего его охватывавшей страсти. Тутъ уже не было жалости, тутъ была роковая, неумолимая сила, таившаяся всю жизнь, безъ исхода, безъ пищи — и теперь порвавшая свои оковы.

Онъ негодовалъ на себя, почти презиралъ себя, кидался къ своему рабочему столу, начиналъ писать, заставлялъ работать мозгъ... Но среди работы, ему слышался то тихій голосъ Наташи, то шорохъ ея платья.

И онъ безнадежно хватался за свою горящую голову.

Борисъ Сергѣевичъ видѣлъ и понималъ борьбу, происходившую въ Николаѣ. Въ своихъ бесѣдахъ онъ не позволилъ себѣ ни одного намека и только всячески старался убѣдить его, что хандрить и тяготиться жизнью въ его годы не слѣдуетъ, что въ жизни во всякомъ случаѣ много дѣла, много большой работы, въ которой можно забыться и найти успокоеніе.

— Нѣтъ, тяжело жить, дядя! мрачно отвѣчалъ ему Николай. — Конечно вы правы — есть и дѣло, есть и работа,—и я работаю...

— Да вы не глядите на меня что я такой, вдруг спохватывался онъ.— Это я можетъ быть клевету и на жизнь, и на себя... характеръ такой глупый, нервы что ли... Я съ жизнью долженъ справиться.. и справлюсь...

Какъ то Борисъ Сергѣевичъ сказалъ ему:

— Вотъ постой, я попытаюсь занять тебя Азіей. Теперь некогда, надо спѣшить въ Горбатовское, а вернемся сюда осенью, я тебѣ сообщу многое такое, что навѣрно тебя заинтересуетъ... Потерпи до осени.

— Охъ, ужъ эта осень!! невольно выговорилъ Николай.

По лицу его пробѣжало тоскливое выраженіе и онъ перебрѣнулъ разговоръ...

Въ Горбатовскомъ Бориса Сергѣевича ждало не много радостей. Наташа была пожалуй еще плоше Николая. Она очевидно ломала себя всячески, ни на что не жаловалась, казалась спокойной, но поблѣднѣла и похудѣла. И по временамъ старикъ замѣчалъ такой странный, почти безумный взглядъ ея глазъ, что ему становилось за нее страшно. Съ нею онъ бы заговорилъ, но она пуще всего боялась этихъ разговоровъ и не допускала ихъ.

Сергѣй теперь иногда по нѣскольку дней не бывалъ дома. Онъ уѣзжалъ на ярмарку, потомъ отправлялся на охоту. И Борисъ Сергѣевичъ не могъ не замѣтить, что только во-время его отсутствія Наташа хоть нѣсколько спокойнѣе дышала.

Мари повидимому была все та же. Она, какъ и всегда, показывалась рѣдко, почти всѣ дни прово-

дила у себя, только Борисъ Сергѣевичъ замѣтилъ, что она часто призываетъ къ себѣ своего мальчика и подолгу остается съ нимъ, чего прежде не бывало.

Ко всему этому Катерина Михайловна постаралась отравить послѣднія спокойныя минуты. Извѣстіе о томъ, что Борисъ Сергѣевичъ отпускаетъ на волю своихъ крестьянъ, поразило ее и довело до бѣшенства. Она не рѣшалась конечно выказать этого бѣшенства, но настроеніе ея духа становилось невыносимымъ. Она придиралась къ каждому слову, она преслѣдовала рѣшительно всѣхъ.

Атмосфера Горбатовскаго сдѣлалась совсѣмъ душной.

Наконецъ Борису Сергѣевичу былъ приготовленъ послѣдній сюрпризъ. Какъ-то поздно вечеромъ, это было уже въ августѣ, ему не спалось и онъ вышелъ въ паркъ. Ночь была тихая и темная, только сквозь чащу деревьевъ мигали безчисленныя звѣзды. Въ аллеяхъ было совсѣмъ темно.

Борисъ Сергѣевичъ набрелъ на скамью, сѣлъ и задумался. Мало-по-малу эта ночь, — предвѣстница осени, навѣяла на него свою таинственную тишину, подняла въ немъ то тихое и грустное чувство, которое заставляетъ человѣка не то на яву, не то въ полуснѣ прислушиваться къ дыханію заснувшей природы, слышать въ этомъ дыханіи съ каждой минутой все яснѣющіе и яснѣющіе звуки и почти даже понимать смыслъ и значеніе ихъ.

Но на этотъ разъ Борису Сергѣевичу не удалось побесѣдовать съ природой. — Онъ былъ освобожденъ

отъ чаръ ея новыми, совсѣмъ земными звуками. Онъ разслышалъ шаги, тихіе голоса, разслышалъ звукъ поцѣлуя.

Мимо него, въ темной аллеѣ, не замѣчая его присутствія, медленно проскользнули двѣ тѣни — и онъ узналъ въ нихъ Сергѣя и хорошенькую Лили...





XV.

Между мужемъ и женою.

Скучно и однообразно прошелъ конецъ лѣта въ Горбатовскомъ. Только дѣти веселились. Да и то не всѣ. Володя часто по цѣлымъ часамъ ходилъ мрачный и задумчивый, скрестивъ на груди руки и опустивъ голову. Его блѣдное, нѣжное личико выражало большую грусть. Ему казалось съ нѣкотораго времени, что все измѣнилось и стало не такимъ, какимъ было прежде. Пожаръ Знаменскаго произвелъ эту перемену — вмѣстѣ со старымъ домомъ сгорѣла вся прежняя жизнь.

Маленькая преступница Груня не выходила изъ головы мальчика. Онъ узналъ отъ дѣдушки, что она въ Москвѣ и поручена добрымъ людямъ, что она была больна; но ее вылечили и скоро отдадутъ учиться въ пансіонъ.

„Значить Груня не будетъ простой горничной,

ею уже никто не посмѣетъ помыкать, бить ее и мучить... Дѣдушка сказалъ, что онъ устроить всю ея жизнь и конечно онъ хорошо устроитъ, потому что онъ такой добрый..."

Только Володѣ теперь болѣе чѣмъ когда либо недоставало его маленькой пріятельницы; ему иногда такъ хотѣлось ее увидѣть, поговорить съ нею, хорошенько разспросить ее какъ это могло съ ней случиться такое ужасное, какъ могло прійти ей въ голову... Хотѣлось ему понять все это, да такъ хотѣлось, что иной разъ, высвободясь изъ-подъ надзора и бродя въ паркѣ, онъ начиналъ громко говорить съ Груней и ждалъ, что она вотъ, вотъ появится. Ему казалось иногда, что онъ ужъ какъ будто даже слышитъ ея голосъ, чувствуетъ ея присутствіе. Мигъ — и раздвинутся вѣтки... покажется черноволосая головка...

Но Груня не являлась...

Да и не одна Груня его мучила. Пуще Груни мучила его мама Наташа. Она совсѣмъ теперь измѣнилась—такая же добрая и ласковая, такъ же крѣпко цѣлуетъ его; но она вѣрно больна. Онъ хорошо замѣчалъ какъ она похудѣла; онъ инстинктивно слѣдилъ за нею и видѣлъ даже то, чего никто не видѣлъ. Онъ зналъ, что она часто плачетъ и скрываетъ ото всѣхъ свои слезы. Долго нерѣшался онъ ее спросить о чемъ она плачетъ; наконецъ рѣшился.

Она испугалась, стала увѣрять его, что совсѣмъ здорова, что ей весело—и засмѣялась. Но это былъ такой нехорошій смѣхъ—и онъ ему неповѣрилъ.

Онъ все больше и больше начиналъ думать о

томъ, что же такое съ мамой Наташей? она конечно больна... отчего же никто не замѣчаетъ ея болѣзни? вѣдь если она больна—ей надо лечиться... доктора ее вылечатъ и она будетъ такая же какъ прежде.

Пуще всего его изумляло какъ это отецъ ничего не замѣчаетъ. Вѣдь еслибы онъ замѣчалъ—онъ бы встревожился, испугался, онъ не оставилъ бы такъ маму и ужъ конечно былъ бы всегда съ нею. А онъ теперь все рѣже и рѣже дома, уѣзжаетъ куда-то. Значить—ничего не замѣчаетъ.

Одинъ разъ ему даже пришлось въ голову пойти и поговорить обо всемъ этомъ съ отцомъ; но какое-то, самымъ имъ несознанное чувство помѣшало...

Между тѣмъ Володя ошибался. Сергѣй Владиміровичъ, несмотря на все свое легкомысліе и вѣчно одолѣвавшую его скуку, несмотря на постоянныя отлучки изъ дому, съ нѣкотораго времени тоже сталъ замѣчать большую перемѣну въ Наташѣ и, по временамъ, даже очень тревожился этой перемѣной. Ему казалось, что перемѣна эта началась съ того злополучнаго дня, когда онъ признался ей въ одной изъ своихъ провинностей.

Онъ чувствовалъ себя виноватымъ и такъ какъ мысль эта была ему тяжела, то онъ и старался отгонять ее отъ себя.

И никакія сознанія своей виновности, никакія тревоги за Наташу не мѣшали ему довести распушенность до послѣдней степени. Онъ продолжалъ домашнюю интригу съ Лили. Его капризъ къ этой миловидной, жеманной и довольно глупенькой дѣвухѣ поддерживался двумя обстоятельствами. Хотя

онъ и успѣлъ ужъ, одному ему извѣстными чарами, заполонить ее какъ и почти всѣхъ женщинъ, на которыхъ обращалъ вниманіе, но она все еще не сдавалась окончательно и ускользала у него изъ рукъ въ ту минуту, когда онъ думалъ, что совсѣмъ поймалъ ее. При этомъ его извращенное, утомленное воображеніе, его одуряющая скука требовали новыхъ, сильныхъ ощущеній—и онъ находилъ эти ощущенія въ самой дерзости своей интриги, въ постоянной возможности попасться и въ мысли о томъ отвратительномъ положеніи, въ которомъ онъ окажется если попадется...

Наконецъ, какъ-то войдя въ спальню, онъ увидѣлъ Наташу такой блѣдной, съ такимъ грустнымъ и измученнымъ лицомъ, что остановился какъ вкопанный. Ему просто стало страшно. Онъ мигомъ забылъ Лили, какъ будто ея никогда и не бывало на свѣтѣ...

Наташа теперь часто сидѣла одна въ спальнѣ, съ какойнибудь книгой, которая однако нерѣдко оставалась открытой все на одной и той же страницѣ.

При входѣ мужа она подняла на него усталые глаза и тотчасъ же ихъ опустила.

Съ каждымъ днемъ эта общая жизнь, присутствіе мужа — дѣлались для нея все невыносимѣе. И она не могла даже рѣшить, что именно ужаснѣе и мучительнѣе—тоска ли ея и любовь безумная, любовь къ человеку, о которомъ она не смѣла думать и о которомъ тѣмъ не менѣе ежеминутно думала, — или близость мужа.

Она теперь дышала свободно только въ отсут-

ствіи Сергѣя и радовалась, что эти отсутствія часты, что иной разъ по цѣлымъ днямъ она его не видитъ.

Когда онъ не возвращался ночевать домой, она даже нѣсколько оживлялась. Она рано уходила къ себѣ въ спальню, запиралась, и ей казалось, что она одна, одна въ цѣломъ свѣтѣ, и что никто и ничто не мѣшаетъ ей предаваться думамъ. Но это были почти не думы, это были мучительно сладкія ощущенія. Передъ нею внезапно и властно вставалъ образъ Николая, ей казалось, что онъ тутъ, съ нею, что она почти его видитъ.

Она, какъ и маленькій Володя, начинала громко говорить съ нимъ, и онъ отвѣчалъ ей. И это были длинныя, длинныя бесѣды безъ словъ, которыхъ конечно не могъ бы понять никто, но въ которыхъ для нея заключался цѣлый міръ...

Однако изъ этого блаженнаго волшебнаго міра ее часто выводилъ какой нибудь внѣшній предметъ, попавшійся на глаза, какой нибудь звукъ, раздавшійся въ ближнихъ комнатахъ или внѣ дома. И она словно просыпалась. Милый призракъ исчезалъ, дѣйствительность вступала въ свои права.

Она старалась разсуждать. Для нея было ясно, что прежняя жизнь, бывшая хотя и не особенно счастливою, но все же нерѣдко дававшая ей довольство — навсегда кончена. Она знала навѣрно, что въ тотъ страшный часъ вечеромъ, въ бесѣдкѣ, она навсегда простилась съ Николаемъ. Довольно этой слабости, этой преступной слабости, сдѣлавшей то, что вотъ она такъ часто теперь сама себя ненавидитъ и презираетъ.

Нѣтъ, ни одного слова теперь такого не будетъ сказано ею наединѣ съ Николаемъ и вѣдь и самъ онъ не захочетъ ее мучить. Все сказано, все рѣшено, все кончено!..

Но теперь она чувствовала и понимала все яснѣе съ каждымъ днемъ, что если и можетъ побѣдить свою слабость, то не можетъ, не смѣетъ, не должна, да, не должна выносить дольше этихъ неестественныхъ, обманныхъ отношеній къ мужу. И еще больше чѣмъ за ту минуту въ бесѣдѣ, она презирала себя за то, что до сихъ поръ тянетъ это невыносимое положеніе. Уже нѣсколько разъ она порывалась начать—и не хватало силъ. Она и теперь безнадежно взглянула на него въ то же время проклиная себя и внутренно желая всѣмъ существомъ своимъ, чтобы онъ скорѣе ушелъ и оставилъ ее одну.

Но онъ не уходилъ. Онъ какъ то неловко и опустивъ глаза присѣлъ въ кресло передъ нею и молчалъ.

— Что тебѣ, Сергѣй? наконецъ прошептала она.

— А то, Наташа, что я больше не могу этого видѣть!.. почти крикнулъ онъ.—Ты на себя не похожа!.. ты больна...

Онъ взялъ ея руки, но она отстранилась отъ него и неудержимо зарыдала. Онъ совсѣмъ перепугался.

— Наташа!!.. Наташа!!.. шептала онъ,—да успокойся же! Господи, что съ тобою?!.. Ахъ, это я все надѣлалъ... Ахъ, я несчастный!..

Онъ самъ готовъ былъ плакать.

— Наташа, да не стою я этого—разлюби меня, я не стою...

Онъ не зналъ, что говорить. Она вдругъ остановила рыданія и съ искаженнымъ лицомъ проговорила:

— Оставь меня... умоляю тебя, оставь меня совсѣмъ, совсѣмъ...

Она снова зарыдала и ломая руки, въ приливъ безнадежности, то хватаясь за него, то отстраняя его говорила:

— Оставь меня... мы не можемъ быть вмѣстѣ... я не могу любить тебя какъ жена должна любить мужа...

Онъ пугался все больше и больше. Ему начало казаться, что Наташа сходитъ съ ума.

— Успокойся, твердилъ онъ, — ты сама не знаешь, что говоришь... Ради Бога забудь все и прости меня... Клянусь тебѣ... никогда больше не будетъ дурного... Ну хорошо... сдѣлаемъ вотъ что: уѣдемъ, уѣдемъ куданибудь вдвоемъ за границу...

Пытка Наташи росла. Ей надо было сказать ему все и въ тоже время она чувствовала, что не въ силахъ сдѣлать этого... Какъ она скажетъ?! какъ произнесетъ дорогое, страшное имя... Нѣтъ, она не можетъ, не можетъ!..

— Отпусти меня... я уѣду къ дядѣ Ивану Петровичу въ Москву... отпусти меня! ухватила она за мелькнувшую мысль.

— Зачѣмъ?.. вѣдь я же говорю... уѣдемъ за границу...

— Боже мой! воскликнула она заломивъ руки, — совсѣмъ не то... я не могу, отпусти, оставь меня!

— Не то! тихо повторилъ онъ.

Онъ замолчалъ, отстранился и взглянулъ на нее странно блеснувшими глазами.

— Не то!.. значить... можетъ быть ты любишь когонибудь?!

Въ его голосѣ что то какъ будто оборвалось.

Наташа молчала опустивъ голову.

Онъ глядѣлъ на нее сначала съ изумленіемъ, онъ ждалъ ея отвѣта. Но она молчитъ, молчитъ...

Онъ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ. Онъ схватилъ ея холодную руку. Она ее вырвала и зарыдала.

— О, Боже мой!.. слышалъ онъ сквозь ея рыданія.

Онъ простоялъ нѣсколько мгновений неподвижно, не говоря ни слова и только продолжая глядѣть на нее широко раскрытыми глазами. Потомъ схватился за голову и выбѣжалъ изъ спальни.





XVI.

С у д ь я.

Еще ни разу въ жизни не приходился Сергѣй въ такомъ положеніи, еще ни разу въ жизни у него не было такъ смутно и такъ мучительно на душѣ. Онъ зналъ что такое значить горе. Послѣ смерти первой жены онъ испыталъ его. Но вѣдь это было ясное, опредѣленное горе — умерла жена, близкая женщина, съ которой онъ провелъ нѣсколько лѣтъ. Онъ къ ней привыкъ. Ему очень часто, особенно послѣ кутежа и утомительныхъ приключеній, бывало съ нею хорошо и тихо...

Онъ никогда не думалъ, что лишится ея, что останется одинъ, что не будетъ уже вокругъ него всей этой привычной, душистой атмосферы кокетливой и хорошенькой женщины. Она умерла такъ внезапно, такъ быстро. Онъ былъ пораженъ, и естественно, — страдалъ, плакалъ и метался.

Но затѣмъ съ каждымъ днемъ ~~горе~~ забывалось и скоро отъ него не осталось и слѣда въ сердцѣ Сергѣя. Иной разъ вспоминалось объ этой уtratѣ, маленькая какая нибудь сцена изъ прошлаго наводила мгновенно какъ будто бы облачко грусти: но это облачко тотчасъ же пропадало.

„Охо-хо! грѣхи наши тяжкіе!..“ скажетъ бывало Сергѣй и этимъ любимымъ своимъ восклицаніемъ покончить и съ тоской, и съ воспоминаніями...

Тутъ же совсѣмъ не то—никто не умеръ. А тоска такъ и давить, и на душѣ такъ скверно, скверно, что хотъ иди да и топись!..

Онъ никогда въ жизни не думалъ о нравственныхъ вопросахъ, о морали. Никто ни въ дѣтствѣ, ни потомъ не заставлялъ его задумываться надъ такими вопросами; никакая наконецъ книга не остановила на немъ его мысли уже потому, что никогда онъ и не читалъ книгъ.

Правда, у него была одна книга, составлявшая исключеніе; эту книгу онъ любилъ, постоянно имѣлъ при себѣ и давнымъ давно выучилъ ее наизусть. Это было „Горе отъ ума“. Почему онъ такъ любилъ эту книгу — онъ и самъ не зналъ; но нерѣдко въ минуты скуки декламировалъ Грибоѣдовскія строки — и это очевидно доставляло ему удовольствіе. Ему просто нравились эти звуки, эти рѣзкіе, эти „словечки“. Но онъ даже никогда не задумывался надъ смысломъ „Горя отъ ума“, надъ выведенными въ немъ лицами...

...Какъ поглядишь, да посравнишь

Вѣкъ нынѣшній, и вѣкъ минувшій...

съ глубокомысленнымъ видомъ декламируетъ онъ,

между тѣмъ слова эти не имѣютъ никакого отноше-
нія къ его мыслямъ, они просто приходятъ невольно
на умъ и только...

Когда передъ Сергѣемъ передавали различные
скандалы и сплетни, судили и рядили о дѣлахъ
ближнихъ, кричали о безнравственности такого то
или такой то — онъ никогда не принималъ участія
въ подобныхъ разговорахъ и если уже непременно
долженъ былъ сказать что нибудь, то говорилъ:

„Какое же кому до этого дѣло? и чего судить—
вѣдь никому ни жарко, ни холодно отъ этого суда!..
Такъ ли оно было? а если и такъ—почему же это
безнравственно?.. просто такъ вышло!..“

Онъ пожималъ плечами, ему становилось скучно
и онъ уходилъ отъ этихъ перетолковъ и пересудовъ.
Самъ онъ никогда никого не осуждалъ. Люди у
него дѣлились на тѣхъ, съ которыми скучно, и тѣхъ,
съ которыми не скучно. Были еще близкіе—братъ,
дѣти, наконецъ, въ послѣдніе годы, Наташа. Съ
ними не было ни скучно, ни весело, а хорошо. Хо-
рошо, да и то не всегда, съ дѣтьми наприимѣръ
было всегда хорошо, когда они только не слишкомъ
приставали. Но съ Наташей иногда дѣлалось жутко,
съ нею нельзя было быть совсѣмъ на распашку, не
стѣсняясь; точно также и съ братомъ Николаемъ.

При этомъ Сергѣй иной разъ заставлялъ себя на
томъ, что онъ почему то очень жалѣетъ и Наташу,
и брата. Иногда это чувство жалости становилось
настолько сильно, что онъ замѣчалъ его; онъ всегда
очень изумлялся—чего же ихъ жалѣть? Но онъ все
же жалѣлъ ихъ.

И вотъ теперь, вырвавшись изъ спальни и очу-
тившись на улицѣ.

тившись у себя, на своей любимой кушеткѣ, онъ, среди поднявшейся въ немъ бури, думая о женѣ, о томъ, что сейчасъ произошло, невольно думалъ и о братѣ. Онъ вдругъ замѣтилъ, что и прежде всегда думалъ о нихъ „вмѣстѣ“. Онъ только теперь въ первый разъ почти совсѣмъ ясно понималъ свои отношенія къ брату и къ женѣ.

Они особенные люди. Они совсѣмъ, совсѣмъ не такіе оба какъ онъ. Передъ нимъ мелькнули нѣкоторыя минуты его семейной жизни... Наташа, прекрасная, ласковая, но холодная, какая-то далекая, какъ будто чужая... Ему стало ясно, что она дѣлалась для него ближе, понятнѣе и роднѣе только тогда, когда онъ глядѣлъ на нее не какъ на жену, а какъ на друга... Ему припоминались вся его скука, всѣ глупости, которыя онъ дѣлалъ со времени своей второй женитьбы...

Ему представился братъ и онъ поразился какъ это до сихъ поръ не замѣчалъ, что Николай и Наташа такъ подходятъ другъ къ другу, что если ихъ трудно понять, такъ они то ужъ навѣрно должны хорошо понимать другъ друга.

Онъ вдругъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и кровь ударила ему въ голову.

„Значить что же? значить она... его, его любить!“

И ему стало ясно, что они, встрѣтись и сблизившись, должны были непременно такъ кончить, что иначе не могло быть. Онъ вспомнилъ первое время женитьбы брата, эти смѣшные уроки съ Мари, ея жалобы, его уныніе. До сихъ поръ онъ никогда не вглядывался въ братнину семейную жизнь, а теперь ему вспомнились многія сцены, многія обстоятель-

ства — и онъ ясно понялъ, что братъ никогда не былъ счастливъ съ женою.

„Проклятая, проклятая судьба!!... почти громко крикнулъ онъ. Но что же теперь дѣлать?! Что же такое будетъ?! Какъ же Мари? Что если она узнаетъ?! А вдругъ она уже знаетъ?! Вѣдь вотъ же Наташа почти сама сказала мнѣ, можетъ быть и онъ сказалъ уже ей... Вотъ почему онъ уѣхалъ. Но вѣдь мы опять черезъ двѣ, три недѣли будемъ вмѣстѣ. Ну что же?... Ну уѣзжать, или имѣ или намъ — все равно это ни къ чему не приведетъ... Вѣдь вотъ она уже теперь такъ истомилась...”

Тутъ онъ представилъ ее себѣ такою, какой видѣлъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ въ спальнѣ — потрясенной, плачущей, трепещущей. И новое, мучительное, ядовитое чувство охватило его. Никогда еще, ни разу въ жизни не испытывалъ онъ ничего подобнаго. Наташа вдругъ представилась ему какъ бы въ новомъ свѣтѣ, онъ какъ будто только теперь понялъ всю ея женственную прелесть, все, чего до сихъ поръ не замѣчалъ въ ней или, вѣрнѣе, чему не придавалъ значенія, на что глядѣлъ иными глазами. Наташа, чистая, возвышенная, почти всегда сдержанная, казавшаяся ему даже холодной, была отъ него далека. Онъ не могъ до нея возвыситься, а она не могла снизойти къ нему — и они непонимали другъ друга. Она, какъ прекрасная статуя или картина, иногда заставляла его любоваться собою, но не возбуждала въ немъ горячей страсти. Теперь же это не она, не прежняя Наташа! Картина вышла изъ рамы, статуя сошла съ пьедестала и превратилась въ живую, слабую жен-

щину, въ такую, какихъ онъ понималъ, какихъ онъ зналъ, какія возбуждали и могли возбудить въ немъ страсть. Она не святая, не недоступная, она сама поддалась страсти, показала свою слабость. И на этомъ далекомъ отъ него солнцѣ оказались пятна, да и еще какія!..

Наташа, его жена, нарушила долгъ свой! Если бы еще недавно, еще вчера кто нибудь сказалъ ему что это возможно—онъ не повѣрилъ бы и засмѣялся. Она—и нарушеніе долга!.. она—и любить другого... Это было несовмѣстимо, это была нелѣпость... Но теперь онъ не могъ сомнѣваться...

Въ немъ сразу поднялось неизвѣданное имъ чувство ревности и вмѣстѣ съ этимъ, также быстро и внезапно, поднялась страсть къ этой новой Наташѣ, земной, слабѣй и ему понятной. Когда она представлялась ему его достоинствомъ, его собственностью, которая никуда и никогда не уйдетъ отъ него, онъ сознавалъ всю цѣнность этой собственности, но она ему была какъ то ненужна, нечего было дорожить ею, беречь, охранять — и такъ не уйдетъ. А теперь она ускользаетъ, онъ теряетъ ее...

И вотъ она стала соблазнять его какъ никогда еще не соблазняла ни одна женщина. И онъ, въ порывѣ своего новаго чувства, нашелъ въ себѣ даже такія мысли, о какихъ не имѣлъ до сихъ поръ понятія.

„Какъ же она смѣетъ! говорилъ онъ себѣ... вѣдь она моя жена... моя!.. я не отдамъ ее... она должна... должна любить меня и никого больше... А онъ то, этотъ любимый братъ!.. какая измѣна!.. но вѣдь я

не отдамъ ее... не отдамъ... она должна, должна любить меня!..“

Страсть и ревность охватывали его все сильнѣе и сильнѣе. Кажется, еслибы Николай очутился тутъ, передъ нимъ, онъ бы задушилъ его своими могучими руками. Онъ Николая ставилъ также высоко какъ и Наташу, теперь Николай, также какъ и она, упалъ на землю. Но если земная Наташа возбуждала въ немъ страсть — Николай сдѣлался ему *противенъ*.

Въ то же время ему безумно захотѣлось услышать изъ устъ Наташи окончательное признаніе. Почти себя не помня, онъ винулся опять въ спальню, распахнулъ дверь — и остановился.

Наташа безъ движенія лежала на постели, вокругъ нея хлопотали горничныя, тутъ же находился, совсѣмъ встревоженный, Борисъ Сергѣевичъ съ какой то селянкой въ рукахъ. Сергѣй стоялъ не шевелясь, бессмысленно глядя на все, что вокругъ него дѣлалось.

Прошло нѣсколько мгновений. Наташа наконецъ глубоко вздохнула, открыла глаза, что то прошептала. Борисъ Сергѣевичъ подошелъ къ Сергѣю и тихо сказалъ ему:

— Ее надо теперь оставить... прошу тебя — уйди, и я сейчасъ приду къ тебѣ...

Сергѣй, самъ не понимая что съ нимъ дѣлается, молча и послушно вышелъ изъ спальни.

Черезъ нѣсколько минутъ Борисъ Сергѣевичъ вошелъ въ кабинетъ племянника. Между тѣмъ порывъ бѣшенства и страсти успѣлъ ужъ какъ то застыть въ сердцѣ Сергѣя. Этотъ неожиданный, никогда не-

извѣданный порывъ сразу утомилъ его и теперь оставалась только глухая тоска и тяжелое бездумье. Все какъ то заволокло туманомъ и Сергѣй только время отъ времени машинально повторялъ себѣ:

„Что же такое будетъ?!.“

— Что она? Что съ нею?! выговорилъ онъ поднимая глаза на входившаго дядю.

Борисъ Сергѣевичъ былъ блѣденъ и сильно взволнованъ. Онъ тяжело опустился въ кресло не зная какъ заговорить и о чемъ говорить.

— Я случайно вошелъ къ Наташѣ и засталъ ее въ ужасномъ положеніи, почти въ истерическомъ припадкѣ, — да вѣдь ты ее такъ и оставилъ. Ну а потомъ она потеряла сознание.

— Она вамъ ничего не сказала?

— Я знаю, что вы объяснились... чувствуя крайнюю тяжесть, проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ. — Ахъ, да что тутъ, я давно уже все понимаю...

— Давно?... и вы молчали! воскликнулъ Сергѣй.

Старикъ печально пожалъ плечами.

— Что же было говорить?! Теперь вотъ, какъ это ни невыносимо, а я долженъ спросить тебя — что ты намѣренъ дѣлать?

У Сергѣя снова кровь бросилась въ голову.

— Такъ вы знаете, что она, эта женщина, которую всѣ считали святою... меня опозорила?! глухимъ голосомъ прошепталъ онъ.

Борисъ Сергѣевичъ вздрогнулъ, глаза его блеснули.

— Остановись! перебилъ онъ, — я не судья между вами; но если ты ужъ такъ говоришь, то я спрошу тебя: А ты то развѣ былъ ей годнымъ мужемъ?!

Ты ее не позорилъ? Не позоришь ее и теперь ежедневно съ этой Лили?..

Сергѣй опустилъ голову и молчалъ.

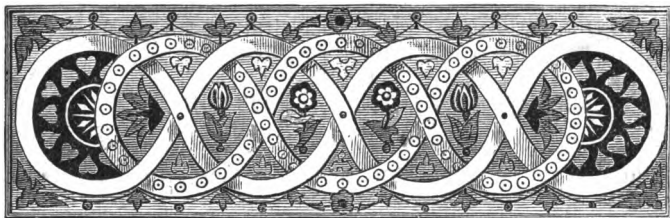
— Но нѣтъ, говорить не о чемъ... не о чемъ!.. продолжалъ Борисъ Сергѣевичъ, — въ такихъ дѣлахъ нельзя говорить, нельзя осуждать... это несчастье, страшное несчастье... мнѣ жаль и ее, и тебя, и всѣхъ... но помочь тутъ никто не можетъ. Скажи мнѣ одно, что ты намѣренъ дѣлать?!

Сергѣй поднялъ на него затуманившіеся, ничего не выражавшіе глаза и мрачно выговорилъ:

— Ничего! я не знаю что буду дѣлать и прошу васъ объ одномъ—никогда не касайтесь этого....

Онъ опустилъ голову, закрылъ руками лицо и Борисъ Сергѣевичъ ничего больше не могъ отъ него добиться.





XVII.

М а р и.

Мало-по-малу приближалось время переѣзда семьи Горбатовыхъ въ Петербургъ. Дни шли за днями и въ огромномъ домѣ все имѣло видъ полного благополучія. Разразившаяся и бывшая въ полномъ разгарѣ гроза оставалась незримой для посторонняго взгляда. Даже Наташа, послѣ объясненія съ мужемъ и послѣ своего обморока, не разболѣлась; напротивъ, она теперь какъ бы набралась силъ, совсѣмъ совладѣла съ собою, казалась спокойной и Володя уже не заставлялъ маму Наташу съ красными отъ слезъ глазами. Она не избѣгала его, искала даже встрѣчъ со своимъ милымъ, умнымъ и страннымъ мальчикомъ. Она болѣе чѣмъ когда либо стала интересоваться и остальными дѣтьми, ихъ занятіями, присутствовала въ классной при урокахъ француза, англичанки и Лили.

Съ Борисомъ Сергѣевичемъ она встрѣчалась часто и бесѣдовала подолгу. Но ни разу ни она, ни онъ даже и близко не подходили въ своихъ разговорахъ къ тяжелой темѣ.

Сергѣя почти не было видно въ домѣ, а возвращаясь онъ избѣгалъ встрѣчъ съ женой и разговоровъ съ нею. Когда же неизбежно приходилось сталкиваться — говорилъ сдержанно и не глядя на нее.

Она его не узнавала. Онъ былъ какъ то совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Что онъ думалъ, что рѣшилъ — она не знала и старалась не задумываться надъ этимъ; вообще старалась какъ можно меньше думать. Ея сердце ныло, ныло — и только. Но эти мучительныя столкновенія съ мужемъ для нея были все же менѣе мучительны, чѣмъ столкновенія съ Мари, которая между тѣмъ повидимому нисколько ея не избѣгала. Она только, какъ казалось Наташѣ, глядѣла на нее по новому, пристальнымъ, будто испытующимъ, но не гнѣвнымъ, а скорѣе грустнымъ взглядомъ.

Сергѣй очевидно искалъ и находилъ себѣ развлечения внѣ дома, Наташа имѣла поддержку въ горячей привязанности Бориса Сергѣевича, Катерина Михайловна ни въ комъ не нуждалась, а Мари была совсѣмъ одинока. Между тѣмъ за это время она пережила многое, быть можетъ даже пережила больше и глубже чѣмъ другіе. Въ ея внутреннемъ мірѣ произошла неожиданная и полная перемѣна, хотя она ее и не сознавала. Она давно отгадала своимъ женскимъ чутьемъ роковую для нея тайну, долго сомнѣвалась и колебалась, сама себѣ не вѣ-

рила, старалась отгонять отъ себя навязчивыя и страшныя мысли. Но когда наконецъ окончательно убѣдилась, то вдругъ будто проснулась отъ сна, будто вся переродилась.

До послѣдняго времени, какъ мы уже знаемъ, Мари удовлетворялась апатичной, полусонной жизнью, вызываемой ея темпераментомъ, ея лѣнивымъ, никогда еще какъ слѣдуетъ не пробужденнымъ умомъ. Она ничего не желала и не искала, находя что все у нея есть. Правда, не было счастья, наслажденія жизнью; но она давно знала или, по крайней мѣрѣ, убѣряла себя, что такого счастья, такого наслажденія не бываетъ, что оно приходитъ только въ юности, на короткое время, а затѣмъ начинаются будни. Но вѣдь и будни — не дурная вещь и она была ими довольна. Она никогда себя не анализировала и вообще о себѣ не думала и не знала, что въ ней таится. Еслибы ее спросили: любить ли она, и какъ любить своего мужа — она отвѣтила бы, что любить какъ только можетъ любить, и удивилась бы такому вопросу.

Она не вглядывалась въ него, не изучала его и давно уже позабыла прежнія странныя его требованія, смѣшныя уроки и тому подобное. Это были юныя фантазіи — и только. Теперь же юность прошла, наступилъ благоразумный, зрѣлый возрастъ. Конечно онъ самъ, если и вспоминаетъ свои прежнія фантазіи, то смѣется надъ ними. Она даже незамѣчала какъ мало-по-малу, уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, между ними разорвалась внутренняя связь. Если онъ былъ недоволенъ ею, то она была имъ довольна, она считала его лучшимъ человекомъ

и никогда даже во снѣ не вздумала предпочесть ему кого либо. А мысль, что онъ полюбитъ другую, что этотъ установившійся, спокойный, хотя и будничныи строй жизни можетъ нарушиться—никогда не приходила ей въ голову. И вотъ все это перевернулось, налетѣла гроза. Мари замѣнулась въ себѣ и въ первый разъ у нея открылись глаза на многія вещи, въ первый разъ она стала себя анализировать, и себя и его. Только теперь она съ ужасомъ замѣтила какъ много измѣнилась съ перваго года ихъ семейная жизнь, только теперь она поняла иногда прорывавшіяся у него фразы. Его раздраженіе, его холодность—все это она приписывала настроенію духа, дурному характеру, нервности. Теперь она видѣла, что это было совсѣмъ другое. Она пробовала было обсуждать — кто же виноватъ; но не могла этого. Чего тутъ рѣшать — несчастье разразилось и ничѣмъ не поможешь! Это несчастье разбудило ея душу, ея сердце и, сама того не замѣчая, она была уже не прежняя Мари. Она была способна теперь любить Николая такъ, какъ онъ желалъ когда то. Она чувствовала вмѣстѣ съ тѣмъ безконечный приливъ нѣжности къ своему мальчику, однимъ словомъ, она уже не спала, а жила. Зачѣмъ только эта жизнь началась такъ поздно, когда можетъ дать только одни страданія...

Но тутъ сказалось въ ней то, чего трудно было ожидать. Понявъ свое несчастье, она не вознегодовала, не озлобилась, она только почувствовала себя страшно одинокой и безпомощной, ей захотѣлось чьего либо участія. Но кругомъ нея не было никого. Вмѣстѣ съ этой безпомощностью, съ этой оди-

новостью въ ней пробудилось и другое чувство. Это чувство было то самолюбіе, которое не позволяетъ человѣку унижаться, которое заставляетъ его держать высоко голову, скрывать ото всѣхъ свою боль, свои раны. И Мари тутъ показала всю свою невѣдомо откуда взявшуюся большую силу. Она держала себя съ такимъ тактомъ, съ такимъ достоинствомъ и даже кротостью, что никто не могъ бы заподозрить ея гнетущей тоски, ея тяжелаго горя. Никто не зналъ, что, оставаясь одна, въ ночной тишинѣ, она уже не спала прежнимъ безмятежнымъ сномъ. Теперь нерѣдко сонъ этотъ прерывался и въ уединеніи спальни лились тихія слезы.

Она терпѣливо дожидалась переѣзда въ Петербургъ. Передъ нею не было никакой надежды; но въ Петербургѣ находилось единственное близкое ей существо, которому она могла повѣрить свое горе.

Наконецъ день отъѣзда наступилъ. Къ огромному крыльцу дома стали подѣзжать великолѣпные Ноевы ковчеги, то есть гигантскія кареты, запряженные шестериками, кареты, въ которыхъ можно было не только обѣдать, пить чай, играть въ карты, но и спать самымъ удобнымъ образомъ. Да такъ обыкновенно и дѣлалось: на ночь эти кареты превращались въ кровати.

Вся семья размѣстилась. Дѣти торжествовали. Эти долгіе переѣзды, со всѣми дорожными маленькими приключеніями, со смѣной впечатлѣній, были для нихъ настоящимъ праздникомъ и долго потомъ вспоминались какъ волшебные сны.

И особенно дороги были эти переѣзды Володѣ. Горячее воображеніе его работало неустанно, нерв-

ная впечатлительность все воспринимала съ удвоенной силой. Онъ жилъ во время этихъ переездовъ лихорадочной жизнью.

Вотъ Горбатовы въ Петербургѣ.

Мари, хоть и очень утомленная дорогой, даже не захотѣла отдыхать. Она обыкновенно послѣ такого переезда отдыхала нѣсколько дней и долго жаловалась на усталость.

Теперь же она, ни на что не обращая вниманія, не прикоснувшись къ своимъ вещамъ, приказала заложить экипажъ и поѣхала къ теткѣ своей, старой графинѣ Натасовой.

Старушка Натасова жила на Сергѣевской, въ своемъ небольшомъ, но прекрасно, совсѣмъ по старинному устроенномъ домѣ. Она вела все ту же однообразную, привычную ей жизнь, посѣщала знакомыхъ, показывалась украшенная старинными брилліантами, на официальныхъ балахъ и раутахъ, принимала у себя разъ въ недѣлю избранный кружокъ, однимъ словомъ, поддерживала старыя связи и отношенія. Вліянія въ обществѣ она не имѣла, но петербургскій „beau monde“ признавалъ ее „своею“ по всѣмъ правамъ и никогда не отказывалъ ей въ знакахъ внѣшняго почтенія.

Это была пріятная старушка, образецъ благобразія и благопристойности. Она держала себя съ большимъ тактомъ, не позволяла себѣ лишняго слова, была большого мнѣнія о своемъ умѣ и о своихъ нравственныхъ качествахъ. Не выйдя замужъ и испытавъ въ молодости безнадежную любовь, она мало-по-малу примирилась со своимъ положеніемъ старой дѣвы и носила его съ достоинствомъ.

Племянницу свою, Мари, она искренно любила и считала ее счастье дѣломъ рукъ своихъ, а что Мари была счастлива—въ этомъ она не сомнѣвалась. Она видѣла ее окруженную блескомъ и роскошью; при этомъ у нея красивый, умный мужъ, носящій знаменитое имя... Положимъ, онъ не дѣлаетъ особенной карьеры, но онъ еще молодъ, неизвѣстно чѣмъ еще кончитъ, да и наконецъ не всѣмъ же быть министрами и посланниками... Гриша здоровый, хорошенькій мальчикъ. Этотъ Гриша ее вѣстникъ и будетъ ее наслѣдникомъ. Сама Мари такая полная, такая здоровая, никогда ни на что не жалуется, съ нею ласкова попрежнему — какого же еще счастья надо!..

И вдругъ Мари явилась передъ нею съ утомленнымъ видомъ, поблѣднѣвшая, какъ-то особенно порывисто, необычно бросилась къ ней въ объятья и заплакала.

Мари плачетъ!—это не даромъ, она не изъ слезливыхъ! не отъ радости же свиданія плачетъ, — прежде и на болѣе долгое время разставались, а она никогда вѣдь не плакала...

Старушка крѣпко расцѣловала племянницу и тревожнымъ тономъ стала ее спрашивать, что съ нею такое.

— Я къ вамъ, тетя, прямо съ дороги, начала Мари удерживая слезы, — вотъ, какъ видите, и умыться хорошенько не успѣла, не успѣла оглядѣться... Мужа не видѣла... его не было дома когда мы приѣхали. А между тѣмъ онъ могъ бы быть дома, могъ бы насъ встрѣтить...

— Такъ ты изъ-за этого плачешь?!. изумленно

спросила старушка, — Богъ съ тобой, точно институтка! Вернись домой и увидишь, что мужъ тебя дожидается. Мало ли что его могло заставить уѣхать... какое нибудь спѣшное дѣло по службѣ...

— Ахъ, не то, совсѣмъ не то!.. проговорила Мари. Скажите, тетя, давно вы его видѣли?

— На дняхъ какъ то заѣзжалъ...

— И вы ничего не замѣтили?!..

Графиня задумалась.

— Какъ сказать, ничего особеннаго...

— Да вы прямо, прямо мнѣ говорите, не скрывайте отъ меня, сами увидите какъ это важно!

— Да, ну вотъ видишь-ли, онъ мнѣ все время казался какимъ то страннымъ, разсѣяннымъ, усталый такой... Богъ его знаетъ, я даже, признаться, и ждала тебя, чтобы поговорить съ тобой о немъ. Мнѣ кажется онъ нездоровъ...

— Ну вотъ видите, сами видите!

— Да что я вижу?!.. я еще ничего не вижу и нечего тебѣ пугаться. Если нездоровъ, усталъ отъ занятій, такъ надо ему полечиться, отпускъ взять что ли, проѣхаться за границу. Скажи пожалуйста чего это онъ такъ рано изъ Горбатовскаго уѣхалъ?

— Отчего уѣхалъ?!.. Тетя, я запру двери, мнѣ надо поговорить съ вами, только чтобы никто, никто не слышалъ...

— Кому же тутъ слышать, да если хочешь я прикажу никому не принимать...

Она дернула советку, отдала приказаніе явившемуся лакею и потомъ заперла дверь.

— Ты меня пугаешь, мой ангелъ, что у васъ такое? Ума не могу приложить.

Мари кинулась къ ней, охватила ея шею руками и снова заплакала.

— А то тетя, что я очень, очень несчастна...

У нея снова брызнули слезы и она не могла продолжать.

— Голубчикъ мой, да что такое?! повторяла графиня, уже начавшая не на шутку тревожиться.

— Мужъ разлюбилъ меня...

Мари быстро вытерла слезы, сдѣлалась вдругъ даже какъ будто спокойной и тихимъ, но твердымъ голосомъ сказала теткѣ въ чемъ дѣло.

Графиня отшатнулась и широко раскрыла глаза.

— Что ты?! что ты?! Христосъ съ тобою! замала она руками.—Что ты вздоръ какой говоришь, какъ тебѣ не стыдно, одумайся, Мари, вѣдь ты благоразумная женщина — не ребенокъ, не дѣвочка!.. Помилуй, мой ангелъ, я и слышать то этого не хочу... какъ это можно!.. и стыдно! твой Николай не такой человекъ... пригрезилось тебѣ, да и удивляюсь я какъ и пригрезиться то такое могло!..

Мари печально усмѣхнулась.

— Вотъ вы не вѣрите, тетя, да и никто конечно не повѣритъ, а это правда, я не фантазирую ни сколько, къ несчастію моему, и мало того что онъ влюбленъ въ Наташу, да и она тоже... И что такое между ними — я не знаю. Но что они по крайней мѣрѣ объяснились—въ этомъ я увѣрена, увѣрена... это навѣрно!..

Графиня придти въ себя не могла, ушамъ своимъ не вѣрила.

Не сошла же вѣдь съ ума Мари и совсѣмъ не

такая она фантазерка, и говоритъ такъ увѣренно, даже почти спокойно.

— Мари, если это такъ, такъ это такой ужасъ, какой и въ бреду горячечномъ не привидится!.. вѣдь это позоръ... и въ такой семьѣ!.. Да и твоя belle soeur... можетъ ли она быть такою?!..

— Ахъ, тетя, тетя! прошептала Мари.— Чтò тутъ говорить о позорѣ... тутъ не позоръ, а несчастье... и на вѣкъ... и непоправимо!..

Она безнадежно опустила голову.

Между тѣмъ графиня нивакъ еще не могла въ себя прійти и ей все невѣрилось.

— Ахъ, какъ ты меня сразила! Ахъ, какъ сразила! Да вѣтъ, Мари, голубушка ты моя, чтонибудь можетъ такое и мелькнуло, мало ли чтò бываетъ, мелькнуло, да и пропало... А ты изъ ревности и Богъ знаетъ чтò себѣ представила!

Мари пожала плечами.

— Не было у меня никогда ревности и откуда бы она взялась, а ужь особенно къ ней—къ ней!.. Вѣдь развѣ я могла себѣ представить это? Слушайте, тетя, я вамъ все, все расскажу — и судите сами.

Она передала ей всѣ свои наблюденія, всѣ свои мысли.

Графиня слушала ее внимательно и въ концѣ концовъ должна была сознаться, что Мари не фантазируетъ, что дѣло во всякомъ случаѣ серьезно.

— Что же теперь ты думаешь дѣлать? вѣдь нельзя это допустить! вдругъ сказала она.

Мари взглянула на нее съ изумленіемъ.

— Какъ нельзя допустить?!.. тета, да развѣ вы не видите, что всему конецъ... конецъ!

Голосъ ея дрогнулъ.

— Чтѣ ты, что ты! воскликнула, порывисто подымаясь съ кресла, старушка, — какъ можно!.. Богъ дастъ — все еще поправимо... и хоть конечно, я вижу теперь что ты имѣешь основаніе предполагать и страшиться, но это все надо разобрать... Знаешь что, Мари, рѣшила она наконецъ, — я приглашу Николая къ себѣ и переговорю съ нимъ. Онъ до сихъ поръ выказывалъ мнѣ уваженіе и наконецъ надо же намъ знать, что онъ скажетъ если говорить съ нимъ рѣшительно, — а я буду рѣшительна. Я добьюсь, я заставлю его сказать мнѣ всю правду.

Графиня завопила не на шутку, чего съ ней обыкновенно не случалось.

— Я не дамъ тебя въ обиду, мой ангелъ, не дамъ, будь увѣрена... нельзя этого... Нѣтъ, нѣтъ, онъ не уйдетъ отъ меня, не увернется... Боже мой, Боже мой! считала я его за хорошаго человѣка — и вдругъ такое!.. Вотъ ужъ правда, что не на кого нынче положиться... Люди то, люди какіе стали!.. Ахъ ты, Господи!.. Нѣтъ, моя дорогая, вотъ тебѣ рука моя — я этого такъ не оставлю...

Мари увидѣла, что тетка не ограничится словами.

„Но развѣ можно что нибудь сдѣлать? развѣ что нибудь осталось?!.. А вдругъ?..“ подумала она и сердце ея сильно забилося.

Она уѣхала отъ старушки какъ будто нѣсколько успокоенная. Она высказалась, нашла участіе, и при этомъ у нея мелькнула надежда. Она съ дѣт-

ства привыкла считать тетку существомъ самымъ что ни на есть умнымъ и могущественнымъ.

„Что она захочетъ, то и сдѣлаетъ! всегда такъ бывало“, обыкновенно говорила она про графиню.

Эта дѣтская вѣра вернулась теперь, и Мари за нее ухватилась какъ за послѣднее спасеніе.





XVIII.

Не въ добрый часъ.

Графиня Натасова, говоря о себѣ, обыкновенно объявляла своимъ знакомымъ:

„Я, знаете, не люблю никакого шума, никакой спѣшки, но когда надо дѣйствовать—дѣйствую рѣшительно, и главное—не упуская минуты. Еще отъ дѣда слыхала, что Великій Петръ говаривалъ: „Упущеніе времени смерти подобно“. Такъ вотъ и я: въ важномъ дѣлѣ ни минуты, ни секунды не упущу!“

Теперь она доказала, что слова ея были не пустая похвальба, что она дѣйствительно слѣдуетъ по стопамъ Преобразователя Россіи. Немедленно по отъѣздѣ племянницы она послала Николаю записку, въ которой самымъ убѣдительнымъ образомъ просила его „по наинужнѣйшему дѣлу“ захватить къ ней вечеромъ.

„И пожалуйста сегодня, не завтра, а сегодня,



очень, очень надобно, задержу не долго“, писала она.

Посланному было приказано, если барина нѣтъ дома, непремѣнно дожидаться его возвращенія и настоятельно просить отвѣта.

„Молъ графиня безъ отвѣта и возвращаться не приказали“.

Николай догадался, что Мари была у тетки, и что приглашеніе это неспроста.

Онъ написалъ графинѣ, что желаніе ея будетъ исполнено и вечеромъ къ ней отправился.

Онъ даже радъ былъ куда нибудь ѣхать, все равно куда, лишь бы не быть дома.

„Что же это? думалъ онъ. — Мари, онъ теперь зналъ это навѣрно, поняла все... но неужели она сказала теткѣ?...“

Сердце его ныло и въ то же время онъ чувствовалъ болѣзненное раздраженіе, какую то безпредметную злобу. Онъ былъ расположенъ къ старой графинѣ, всегда съ нимъ ласковой. Она казалась ему благоразумной, она имѣла вліяніе на Мари. Но чѣмъ же она теперь поможетъ?!

Онъ ясно видѣлъ, что теперь настала пора разныхъ объясненій. Онъ видѣлъ это съ утра, хотя Мари не подала ему и виду. Она встрѣтилась съ нимъ какъ и всегда, только онъ все же замѣтилъ, что она слѣдила за каждымъ его словомъ, сказаннымъ Наташѣ.

Но слѣдить ей было незачѣмъ. Онъ и Наташа встрѣтились при всѣхъ и еслибы Сергѣй и Борисъ Сергѣевичъ ничего не знали, то уже конечно въ этотъ день не узнали бы ничего новаго.

И у Наташи, и у Николая откуда то взялась большая сила, большое спокойствіе. Они очевидно до чего то додумались, пришли оба въ серьезнымъ рѣшеніямъ. И главное рѣшенія эти, хотя они и не сговаривались и хотя думали свои думы на разстояніи многихъ сотенъ верстъ другъ отъ друга, — были одинаковы. Они встрѣтились какъ близкіе друзья и родственники, безъ всякаго смущенія, прямо взглянули въ глаза другъ другу и, казалось, вовсе ненамѣрены были избѣгать встрѣчъ какъ прежде.

Сергѣй, увидя брата, обнялъ его и поцѣловалъ; но Николай сразу почувствовалъ, что это не прежнее братское объятіе и для него уже не оставалось сомнѣнія въ томъ, что Сергѣй „все знаетъ“. Онъ невольно опустил глаза и поблѣднѣлъ, отвѣчая на его привѣтствіе...

Весь день, и вотъ теперь, подъѣжая къ дому графини Натасовой, онъ испытывалъ ощущенія преступника, окруженнаго сыщиками и знающаго, что ему ужъ нѣтъ возможности скрыться, что ему предстоитъ допросъ.

Едва сдерживая въ себѣ бѣшенство, онъ думалъ или, вѣрнѣе, не думалъ а чувствовалъ, что онъ никого не впуститъ въ свой внутренній міръ, въ свои муки, что эти муки — его и онъ долженъ самъ бороться съ ними.

Пуще же всего въ немъ говорило сознаніе необходимости отстранять отъ всего этого Наташу, не допустить чтобы ихъ общаго несчастія грубо касались холодныя, чужія руки. Вѣдь онъ не можетъ бяснить правду этимъ судьямъ такъ, чтобы они ее

поняли. Ложь возмущала его гордую природу; но онъ видѣлъ, что надо будетъ лгать, лгать и лгать. Ему становилось невыносимо и душно. Совсѣмъ измученный и озлобленный, вошелъ онъ къ старой графинѣ.

Она встрѣтила его какъ то натянуто и онъ, конечно, замѣтилъ это...

— Пойдемъ, Nicolas, ко мнѣ! таинственно сказала она.

„Ко мнѣ“ — значило въ маленькую уютную комнату, куда обыкновенно она рѣдко даже кого изъ родственниковъ впускала и гдѣ рѣшались только самые серьезные вопросы.

Онъ молча послѣдовалъ за нею.

„Боже мой! эти подготовленія, эти подходы!“ раздражительно думалъ онъ.

Но она на этотъ разъ, проникнутая все тѣмъ же убѣжденіемъ, что упущеніе времени смерти подобно, ни къ какимъ подходамъ не обратилась, а начала съ самой сути.

— Была у меня сегодня несчастная Мари, сказала она строгимъ голосомъ.

— Несчастная Мари! уныло повторилъ онъ — и тоска и страданіе изобразились на лицѣ его. — Если вы ее такъ называете — значитъ, вѣрно, она сказала вамъ, что я причиной ея несчастія... Но, *ma tante*, вы сами не разъ говорили, что трудно быть судьей между мужемъ и женою...

— Да, да!.. протянула она обдавая его своимъ пристальнымъ и загорѣвшимся взглядомъ, — между мужемъ и женою судить трудно, и не слѣдуетъ, да,

это я сама всегда говорила... но до известной степени, Nicolas!..

Она будто спохватилась и добавила: „до известной степени, Николай Владиміровичъ...“

Но онъ не замѣтилъ этого. Блѣдное лицо его какъ бы совсѣмъ застыло. Онъ изъ всѣхъ силъ старался казаться спокойнымъ и только нервная дрожь, пробѣгавшая по его тѣлу, выдавала его волненіе. Онъ проговорилъ глухимъ голосомъ:

— Вы звали меня и вотъ я у васъ... но мнѣ кажется, что это напрасно. Намъ лучше было бы не объясняться... право это бесполезно...

Графиня вспыхнула.

— Не напрасно и не бесполезно! рѣзко сказала она, — я не могу такъ этого оставить... Вы забываете, что Мари мнѣ племянница, самая близкая родная, что я ее воспитывала...

— Но мнѣ вѣдь Мари — жена... не забудьте и вы этого...

— Нѣтъ, я этого не забываю, а вотъ вы такъ точно забыли... да, забыли, въ этомъ все и дѣло! Я почитала васъ примѣрнымъ мужемъ и радовалась на счастье ваше съ Мари...

— Никогда не было этого счастья! невольно почти безсознательно прошепталъ онъ свою мысль.

Графиня всплеснула руками.

— А, такъ вотъ!.. что вы сказали?! никогда не было счастья?!.. вы ею недовольны... вы ее не любите... такъ вѣдь объ этомъ, сударь, раньше нужно было думать. Васъ не обманомъ на ней женили, васъ никто не ловилъ... Вспомните, вы клялись мнѣ,

да, клялись, что любите Мари пуще всего на свѣтѣ. что вѣкъ будете ей самымъ вѣрнымъ мужемъ!..

Николай пришелъ въ себя и грустно опустилъ голову.

— Да, это правда! сказалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ.

— То то, что правда! Такъ за что же вы ее измучили... за что вы ее обманываете?..

— Я еще разъ просилъ бы васъ прекратить этотъ разговоръ, сказалъ Николай. — Если Мари пришла въ какому нибудь рѣшенію, пусть она сама скажетъ мнѣ — и я постараюсь исполнить ея волю... Я же, съ своей стороны, ни въ чемъ, ни въ чемъ не виню ее...

Графиня была такъ взволнована, что не обратила вниманія на смыслъ этихъ словъ.

— Еще бы ты винилъ ее! вдругъ забывая и „вы“ и „Николай Владиміровичъ“ воскликнула она. — Тебѣ то ужъ, батюшка, винить ее совсѣмъ не въ чемъ! такой жены поискать во всемъ свѣтѣ — не найдешь. Да на нее только удивляться надо — молода, хороша, а живетъ будто монахиня, объ удовольствіяхъ и не думаетъ, вся въ тебѣ, да въ сынѣ. Въ чемъ же тебѣ обвинять ее?!

Николай самъ не замѣтилъ какъ горько усмѣхнулся при этихъ словахъ. Но замѣтила это графиня и вспыхнула.

— Что за мефистофельскія усмѣшки?! Да гдѣ же это глаза мои были?.. вѣдь я все тебя за добраго и хорошаго человѣка считала, и только теперь вотъ, сегодня, сейчасъ, вижу каковъ ты!..

Николай начиналъ терять послѣднее терпѣніе. Его нервы натягивались невыносимо.

— Я никогда не увѣрялъ васъ, что я добрый и хорошій человѣкъ, проговорилъ онъ.—Пожалуйста скажите мнѣ въ чемъ же наконецъ дѣло, въ чемъ мое преступленіе?

— Сейчасъ, сейчасъ и скажу... опять вспыхнула графиня и даже привскочила съ низенькаго маленькаго диванчика, на которомъ сидѣла.—Сейчасъ и скажу. Вы не только охладѣли къ женѣ, не только разлюбили ее, но вы допустили въ себѣ преступное чувство...

Лицо его потемнѣло, брови сдвинулись.

— Я знаю все, продолжала она, — и не одна я, не одна Мари — а весь свѣтъ скоро узнаетъ, весь свѣтъ будетъ говорить объ этомъ!..

„Наташа... бѣдная Наташа!..“ мелькнуло у него въ головѣ и онъ почувствовалъ, что готовъ задушить своими руками всякаго, кто осмѣлится ее оскорбить; но вѣдь вотъ ее уже оскорбляютъ!.. Ее оскорбляютъ, а онъ долженъ молчать!.. Да долженъ ли? вѣдь его молчаніе будетъ истолковано какъ признаніе... въ чемъ? въ чемъ признаніе!? не въ ихъ общемъ несчастіи, не въ чувствѣ, которое выросло и созрѣло помимо ихъ воли, долго незамѣчаемое, неподозрѣваемое ими и теперь навсегда отравившее ихъ жизнь, а въ чемъ то другомъ, въ чемъ ни онъ, ни Наташа, при теперешнихъ обстоятельствахъ, не могутъ быть виновны.. Все скажется, все приметъ грязную форму... Нѣтъ, онъ не можетъ, не долженъ молчать, не долженъ — ради Наташи!..

Его раздраженіе вдругъ стихло. Онъ взглянулъ на графиню почти умоляющимъ взглядомъ.

Она не зла, быть можетъ она пойметъ...

— Если будутъ что говорить—будутъ клеветать! сказалъ онъ.

— Будто бы! протянула графиня, и отъ тона этихъ словъ, насмѣшливаго и презрительнаго, кровь снова бросилась ему въ голову.

Не будучи въ силахъ владѣть собою—онъ всталъ и пошелъ къ двери.

Но графиня его удержала. Она замѣтила, что сдѣлала ошибку, что только раздражила его и ничего не добилась.

Она заговорила совсѣмъ инымъ тономъ:

— Успокойтесь, Nicolas, ну извините, я погорячилась, можетъ быть что нибудь сказала не такъ... Но пойми—вѣдь дороже, ближе Мари у меня никого нѣтъ! Я не могу быть хладнокровна, когда дѣло касается ея счастья... Ну успокойся же, извини. Поговоримъ спокойно.

— Если вы меня позвали чтобы оскорблять, то я вамъ скажу: это недостойно васъ...

— Я не хочу оскорблять тебя... Послушай, вѣдь ты знаешь—я тебя полюбила какъ родного. Я всегда соединяла тебя въ моихъ мысляхъ и въ моемъ сердцѣ съ Мари. Я всегда вѣрила, что ты истинно благородный человѣкъ. Скажи же мнѣ прямо, дай мнѣ честное слово, что у тебя нѣтъ ничего съ Nathalie... что ваши отношенія, просто дружескія, родственныя отношенія... Дай мнѣ честное слово—и я тебѣ повѣрю.

Она взяла и крѣпко сжимала его руку и ловила

его взглядъ. И она увидѣла какъ онъ поблѣднѣлъ, какъ жестокое страданіе изобразилось на лицѣ его.

Нѣсколько секундъ онъ не могъ выговорить ни слова, наконецъ произнесъ:

— Между мною и Nathalie нѣтъ и не можетъ быть ничего такого, за что намъ пришлось бы краснѣть. Nathalie... да вѣдь вы ее знаете... она неспособна ни на что дурное и Мари можетъ быть совершенно спокойна. Вы наконецъ сами должны понять, что то, въ чемъ вы теперь рѣшились меня подозрѣвать,—немыслимо... невозможно!.. и въ этомъ я вамъ даю честное слово...

— Хорошо, я тебѣ вѣрю! сказала графиня,—но вѣдь не могла же Мари все это выдумать, вѣдь есть чтонибудь?

У него опять затуманилась голова, опять тоска подступала къ сердцу и онъ горячо проговорилъ:

— Вы непременно хотите заглянуть въ мою душу!.. вы въ ней найдете мучительное, невольное чувство—и больше ничего...

Графиня всей душой оскорбилась за племянницу.

— Ну, мой милый, это попросту значить, что жена надоѣла, не подходитъ... а вотъ другая—подходить... Мари бѣдная была и хороша, и мила, и прелестна... теперь она сдѣлалась никуда негодной, теперь другая стала и мила, и прелестна!..

— Да, конечно, еслибы мнѣ досталась такая жена,—я былъ бы самымъ счастливымъ человѣкомъ... Но она мнѣ не жена, а сестра и останется навсегда сестрою!

У графини опустились руки.

— А что же будетъ дальше? спросила она.

— Не знаю... ничего не будетъ... все то же...

Въ его голосѣ она разслышала столько безнадежности, столько муки, что не будь дѣло въ Мари, она навѣрное его пожалѣла бы. Но теперь у нея не могло быть жалости къ Николаю.

— Я больше ничего не могу сказать вамъ, а то что сказалъ—могу повторить передъ всѣми... Я думалъ, что въ мою внутреннюю жизнь никто не вмѣшивается... я думалъ самъ, наединѣ съ собою, пережить ее никого не оскорбляя... Вы заставили меня говорить — и я скажу вамъ все. Очень серьезныя дѣла удерживаютъ меня на нѣкоторое время въ Петербургѣ... закончивъ ихъ—я думалъ уѣхать на нѣкоторое время, конечно, одинъ... Я можетъ быть вернулся бы побѣдивъ себя... Вы и Мари очевидно желаете иного, хоть я собственно не понимаю чего вы желаете; я чувствую, что такъ будетъ хуже... Извините—я не могу больше говорить! прибавилъ онъ.

У него мутилось передъ глазами.

Онъ поспѣшно простился съ графиней и вышелъ даже не слыша того, что она ему говорила.

Оставшись одна она крѣпко задумалась.

„Вотъ какой онъ! вотъ какой онъ! повторяла она про себя.—Кто бы могъ думать?! а я была въ немъ такъ увѣрена... Теперь вѣдь и меня обвинять станутъ — я устроила свадьбу... Да кто же ихъ знаетъ -- всѣ они таковы, всѣ! на кого положиться можно?!“

Графиня волновалась все больше и больше.

„Надо полагать что ничего нѣтъ... Онъ такъ сказалъ, далъ слово; но вѣдь довольно и того призна

нія что онъ сдѣлалъ... вѣдь самъ такъ и говоритъ: жена никуда негодна, съ ней несчастье, а жена брата прелестна, сокровище — и съ ней было бы счастье! Господи! да что жъ это такое?!“

Графиня даже стукунула своимъ маленькимъ кулакомъ по столу.

Она не вспомнила, что давно, давно, въ ея молодые годы, она полюбила, и кого же? — женатаго человѣка. Она была воспитана въ строгихъ правилахъ, знала себѣ цѣну и была горда. Никто не могъ ее никогда обвинить въ лишнемъ словѣ, въ лишнемъ жестѣ. Какъ же могло съ ней случиться такое? она не знала, знала только что любить со всею силою, на какую была способна.

Эта любовь принесла ей много горя; въ нѣсколько мѣсяцевъ она такъ вообще измѣнилась, что родные стали бояться за нее. Но она рѣшилась побѣдить свое сердце, она уже начала, мало-по-малу, находить утѣшеніе въ сознаніи исполненнаго долга...

И вдругъ она узнала, что ея тайна, которую она, казалось, такъ искусно ото всѣхъ скрывала, сдѣлалась городскою новостью. Она видѣла двусмысленные взгляды, слышала грубые намеки, наконецъ убѣдилась, что на нее клеветаютъ, что въ нее бросаютъ грязью. И кто же бросалъ?! главнымъ образомъ тѣ, за которыми было много грѣховъ и много дѣйствительной грязи, прикрытой соблюденіемъ условныхъ приличій.

Въ ней поднялось негодованіе, и, вмѣстѣ съ этимъ, уже начавшее было успокаиваться и замирать чувство вспыхнуло. Въ болѣзненномъ припадкѣ страсти и раздраженія она написала любимому человѣку,

съ которымъ рѣшилась было никогда не встрѣчаться. Только благодаря случайности это письмо не попало ему въ руки, только случайность спасла ее отъ такого шага, который бы, вѣроятно, испортилъ всю жизнь ея...

Но графиня теперь не вспомнила ничего этого. Она рѣшила, что должна „заступиться“ за Мари, думала, что надо кому то „открыть глаза“ и что можно что то „устроить“.

Не откладывая, на слѣдующій же день, она поѣхала къ Катеринѣ Михайловнѣ.





XIX.

Еще новый взглядъ.

Катерина Михайловна выслушала графиню съ большимъ вниманіемъ, но только вовсе не показалась ей возмущенной.

Графиня думала, что, отрывая глаза „матери“, она приведетъ ее въ ужасъ и отчаяніе, а потому даже всячески старалась ее „подготовить“ и вообще говорила осторожно.

Спокойствіе Катерины Михайловны ее просто сразило.

— Вы такъ принимаете, *chère amie*, какъ будто я вамъ рассказала какую нибудь свѣтскую сплетню?

— Такъ оно почти и есть! отвѣтила Катерина Михайловна. — Мари все это пригрезилось.

Она хотѣла сказать, что пригрезилось это Мари отъ зависти къ Наташѣ, но удержалась и только прибавила:

— Да, пригрезилось отъ ревности!

Тогда графиня, приберегавшая къ концу главное доказательство, передала ей слово въ слово весь свой разговоръ съ Николаемъ и, надо ей отдать справедливость, передала искусно, со всѣми оттѣнками.

Катерина Михайловна стала серьезна.

— Что же вы послѣ этого скажете? Вѣдь я не убѣряю, что между ними есть что нибудь такое. Пока Богъ милостивъ — и я вѣрю честному слову вашего сына. Только вѣдь вы сами понимаете какая это опасная игра...

— Да, да! задумчиво проговорила Катерина Михайловна. — Вы мнѣ принесли дурную новость... и какъ же это я ничего незамѣчала?! да впрочемъ и не могло мнѣ придти на умъ... А если подумать хорошенько, то теперь мнѣ объясняется многое что казалось страннымъ... Да, да... они фантазеры, оба экзальтируются, только въ сущности намъ нечего уже такъ тревожиться... Мало ли какой иногда вздоръ взбредетъ въ голову, вѣдь это, какъ бы то ни было, игра взрослыхъ дѣтей. Позабавятся, помучаются — да и перестанутъ.

— А какъ же Мари?! вы о ней забываете! воскликнула графиня.

Катерина Михайловна пожала плечами.

— Я нисколько не забываю о Мари, сказала она, — и мнѣ отъ всего сердца жаль ее; но чѣмъ же я могу тутъ помочь?! Я даже не могу себѣ представить... какъ я могу вмѣшаться... *ma foi... c'est une affaire... vous comprenez...*

— Но вѣдь вы точно также какъ и я знаете,

что такое нашъ свѣтъ... Вѣдь если и нѣтъ ничего, такъ рады придумать все дурное, а ужъ если найдутъ основаніе... Ахъ, Боже мой, подумайте, подумайте только!..

Съ этого бы и должна была начать графиня. Она наконецъ нашла чѣмъ растрогать Катерину Михайловну и сейчасъ же замѣтила дѣйствіе своихъ словъ по тому какъ собесѣдница ея внезапно измѣнилась въ лицѣ и испуганно на нее взглянула.

— Да вы развѣ чтонибудь уже слышали? съ дрожью въ голосѣ спросила она.

— Пока ничего, но какоенибудь лишнее слово, взглядъ—и люди, радующіеся бѣдѣ ближняго,—довольны...

— Да, конечно... *oui, certainement, vous avez raison!* говорила Катерина Михайловна. Только что же мнѣ дѣлать?

— Употребите все свое вліяніе... вы мать...

— Хорошо, хорошо! я подумаю... благодарю васъ, что предупредили меня... и я васъ только прошу, графиня, ради самого Бога, никому, ни однимъ словомъ не заикнитесь, будьте какъ можно осторожныѣе, *je vous supplie!*..

— Къ чему вы мнѣ это говорите?! обиженно отвѣтила графиня.—Я люблю Мари не на словахъ, а на дѣлѣ... я всѣ мои силы употребляю, чтобы все было шито и крыто. Внушите имъ какъ знаете, внушите чѣмъ все это можетъ кончиться, куда они идутъ... будьте справедливы и къ бѣдной Мари... Она то тутъ уже не причемъ, ни въ чемъ не виновата...

Въ это время Катеринѣ Михайловнѣ доложили о прїѣздѣ кого-то и разговоръ былъ прерванъ.

Проводивъ гостей и оставшись одна въ своихъ комнатахъ, Катерина Михайловна принялась обдумывать сообщенную ей новость и снова изумилась какъ это въ самомъ дѣлѣ она до сихъ поръ ничего не замѣтила. А вѣдь кажется на подобныя дѣла у нея было тонкое чутье!..

Она припоминала все и съ каждой минутой убѣждалась, что такъ оно и есть, что дѣло серьезное.

Теперь понятны, совсѣмъ понятны странности въ обращеніи Николая съ Наташей, и ея лѣтняя болѣзнь, и его внезапный отъѣздъ изъ Горбатовскаго...

„Такъ вотъ какое дѣло!“ качала головою Катерина Михайловна.

„Да что-жь, оно вѣдь и понятно! вдругъ рѣшила она и даже, какъ ни странно это, не безъ нѣкотораго внутренняго довольства.—Да, понятно! у Николая вкусъ хорошій—и только. Самъ виноватъ—вольно же было жениться въ двадцать лѣтъ... конечно—какая она ему жена!.. Je le savais bien!.. я была права, что не могла одобрить эту женитьбу, безъ меня было сдѣлано, а я бы не допустила... Я вотъ нашла Наташу—и обоимъ братьямъ она приплась по вкусу!..“

Именно такъ и выразилась про себя Катерина Михайловна.

„Да, да, къ Николаю она больше подходитъ, они совсѣмъ пара. Оба идеальничаютъ, оба въ небесахъ витаютъ и все же оба на землю спустятся, если еще до сихъ поръ и не спустились...“

„Но какъ же это, какъ же я все это проглядѣла?! И по дѣломъ Мари, по дѣломъ! Да и чего она такъ взволновалась?“

„А Сергѣй?!“ вдругъ вспомнила она.

Но про Сергѣя она очень хорошо знала, что онъ легкомысленно относится ко всему и ко всѣмъ, что онъ постоянно обманываетъ Наташу. Она вотъ проглядѣла эту исторію, а шуры-муры Сергѣя съ Лили замѣтила съ самаго начала и глядѣла на это сквозь пальцы.

Теперь она рѣшила, что Сергѣя жалѣть нечего, онъ совсѣмъ не такой человѣкъ. Если и замѣтитъ, если и замѣтилъ, то махнетъ рукой и навѣрно не станетъ поднимать бури, найдетъ себѣ еще новое какое нибудь развлеченіе—и только.

„Что-жь, au fond—все это въ порядкѣ вещей! наконецъ окончательно рѣшила Катерина Михайловна.—Да и развѣ у насъ это только?..“

Она вспомнила все, чего навидалась и чего слышалась въ жизни.

„И хуже того бываетъ, гораздо хуже, да съ рукъ сходить. Только что же это они — помѣшались что ли? какъ это могли быть такъ неосторожны, и какъ это Мари замѣтила?.. даже на нее не похоже! Да, началось съ зависти, отъ зависти видно даже сонъ прошелъ. Однако надо же ихъ образумить, пусть дѣлаютъ что хотятъ, но чтобы не было скандала... Боже избави!.. теперь только этого и недоставало!..“

Катерина Михайловна горько вздохнула и перешла къ инымъ мыслямъ.

У нея было другое горе, другая тяжесть; съ этой

тяжестью раздѣлаться было гораздо труднѣе, она томила ее и тѣмъ болѣе томила, что приходилось скрываться ото всѣхъ.

Это горе, эта тяжесть—былъ графъ Шапскій. Онъ поймалъ ее, заперъ въ клѣтку, и теперь она въ его власти, теперь онъ играетъ съ нею какъ котъ съ мышью и доводитъ ее до отчаянія.

Какъ она вынесла тогда въ Горбатовскомъ, какъ побѣдила себя, какъ не заболѣла потомъ — она не понимала. Она отдала этому извергу всѣ деньги, какія у нея были, и онъ уѣхалъ.

Но вотъ теперь, въ первый же день по пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ уже прислалъ ей письмо и въ немъ напоминалъ объ ихъ условіи, и требовалъ, чтобы она въ теченіе недѣли приготовила по меньшей мѣрѣ пятьдесятъ тысячъ. Ровно черезъ недѣлю онъ ей еще разъ напомнить, и если она не доставитъ ему эти деньги безотлагательно, то онъ приметъ мѣры...

Она отлично знала, что онъ не шутитъ. Но не знала она откуда взять эти деньги: ихъ не было, а еслибы и были, онѣ нужны, ужасно нужны для дома.

Конечно Борисъ Сергѣевичъ можетъ помочь, на него вся надежда. Но что будетъ если онъ узнаетъ о графѣ Шапскомъ! А вѣдь онъ можетъ узнать, легко можетъ узнать,—этотъ негодный старикъ, Степанъ, видѣлъ Шапскаго въ Горбатовскомъ... можетъ быть онъ уже донесъ Борису Сергѣевичу, а если не донесъ, то только выжидаетъ... Да и наконецъ, ну и этотъ разъ удастся, достанетъ она деньги, кинетъ ихъ въ пасть звѣрю, онъ проглотитъ

а затѣмъ, немного подождать, опять придетъ за подачкой... и такъ безъ конца, безъ конца!..

„Вотъ и спокойствіе на старости лѣтъ! Да вѣдь это каторга, это адъ... вѣчно подъ ножомъ, вѣчно дрожать, ждать такого ужаса! И что это будетъ, если извергъ вздумаетъ появиться здѣсь въ домѣ, въ присутствіи Бориса, что это будетъ такое?!“

„Боже мой, да что же я, изъ ума вонъ!.. вѣдь старуха Натасова говорила о томъ, что Борису все извѣстно относительно Наташи и Николая... Что же это, какъ онъ глядитъ? вѣдь не можетъ же онъ относиться къ дѣлу такъ какъ я, съ его фанаберіями? А тутъ, если еще появится Щапскій — что это такое будетъ!!?“

Она опустила голову, безпомощно уронила руки и заплакала.

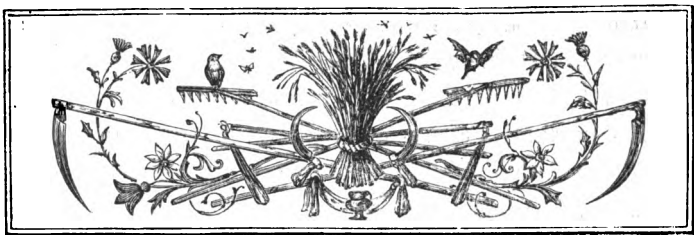
„Да вѣдь ты же сама все это подготовила!“ шепнулъ ей неясный голосъ.

Но она въ него не вслушалась, она почитала себя страдальцей, жертвой.

„И развѣ за себя?! за сына вѣдь, за Николая, за него всѣ эти муки! а мнѣ что, хоть бы умереть!.. да, умереть, право лучше чѣмъ такая жизнь!..“

Въ первый разъ пришла ей мысль о смерти и не испугала ее...





XX.

Въ новый путь.

— И такъ, Мишенька, это рѣшено — ты уѣзжаешь въ Петербургъ?

— Да, Капитолина Ивановна, уѣзжаю.

Они сидѣли вдвоемъ, въ вылощенной маленькой гостиной Капитолины Ивановны, на жесткой старинной мебели. Блѣдный свѣтъ ненастнаго осенняго дня озарялъ скромную комнату. Мелкій частый дождь заливалъ стекла.

Капитолина Ивановна сдвинула на самый кончикъ носа круглыя серебряныя очки, ея пальцы машинально перебирали спицы чулка, который она вязала. Она то и дѣло поглядывала на собесѣдника. Лицо ея было не весело.

— И когда же ты ѣдешь?

— Да думаю на этой недѣлѣ. Что это вы. Ка-

питолина Ивановна, говорите такъ, точно вамъ не нравится моя повѣдка?

— И не нравится, чему тутъ нравится!..

Она пожевала своимъ беззубымъ ртомъ и пристально, пристально, какъ то прищуривъ одинъ глазъ, взглянула на Михаила Ивановича.

Не хорошъ казался онъ ей въ послѣднее время, совсѣмъ не хорошъ, хотя она и не могла съ точностью объяснить себѣ что именно ей въ немъ не нравится. Повидимому, онъ поступилъ хорошо, именно такъ, какъ и слѣдовало въ его положеніи. Все обошлось у Бородиныхъ тихо и ни одна душа не могла ничего замѣтить. Онъ не только не измѣнился въ отношеніи Ивана Федоровича и Марьи Семеновны, но сталъ къ нимъ еще ласковѣе, еще внимательнѣе, точно также какъ и жена его.

Онъ продолжалъ свой всегдашній образъ жизни. О далекомъ прошломъ, о недавнихъ открытіяхъ не было и помину, онъ ни разу больше ни о чемъ не спросилъ ни своихъ стариковъ, ни Капитолину Ивановну.

„Все это такъ, все это прекрасно!“ думала она.— Но каждый разъ, встрѣчаясь съ Михаиломъ Ивановичемъ, она замѣчала въ немъ какую то странность.

„Да можетъ это мнѣ чудится только?“ спрашивала она себя; но тотчасъ же и убѣждалась, что ей вовсе не чудится, что съ Мишенькой дѣйствительно произошла большая перемѣна, что онъ не тотъ что прежде.

А въ чемъ эта перемѣна и нельзя сказать, не объяснишь словами.

Наконецъ она рѣшила, что онъ задумалъ что то и таить про себя. И вотъ онъ пришелъ къ ней и объявляетъ что ѣдетъ въ Петербургъ.

— Да зачѣмъ собственно тебѣ понадобилась эта поѣздка? Не вилай ты передо мною... Потолкуемъ, разберемъ хорошенько. Или можетъ я стара ужъ очень стала, изъ ума выжила? Вѣдь чай ты такъ обо мнѣ теперъ думаешь?..

— Вы знаете, что я этого не думаю, Капитолина Ивановна. Нѣжничать я не умѣю, доказывать и расписывать вамъ какъ я васъ цѣню и почитаю — мнѣ нечего...

Она ласково кивнула ему головою.

— Ну и спасибо тебѣ, а въ такомъ разѣ и потолкуемъ по душѣ, можетъ мой старый умишко и пригодится тебѣ, можетъ что и ладное присовѣтую...

— Мнѣ нечего скрываться, сказалъ Михаилъ Ивановичъ, — эту поѣздку мы рѣшили еще съ Борисомъ Сергѣевичемъ, и онъ вотъ опять письмомъ зоветъ меня въ Петербургъ, пишетъ что присмотрѣлся и составилъ для меня кое какой планъ...

— Э-эхъ! протянула Капитолина Ивановна, — какой же такой планъ?

— Подробно онъ ничего не пишетъ... онъ желаетъ чтобы я расширилъ свою дѣятельность, чтобы я, однимъ словомъ, устроился. Передъ отъѣздомъ своимъ онъ... такъ сказать, сдѣлалъ мнѣ нѣ мало комплиментовъ, и увѣрилъ меня, что если я приложу старанія, то съ его поддержкой могу многого добиться...

— Что жь онъ тебя въ министры что ли прочить?

— Нѣтъ, не въ министры, Капитолина Ивановна, — мнѣ этого и не надо... Много теперь большихъ денежныхъ промышленныхъ дѣлъ, банки разные открываются, общества, желѣзныя дороги строятся...

— Охъ ужъ мнѣ эти банки, чугушки, общества! махнула рукой Капитолина Ивановна. — И безъ нихъ жили люди, безъ нихъ стояла Россія и первымъ государствомъ въ Европѣ сдѣлалась... и богатства довольно было всякаго...

Михаилъ Ивановичъ улыбнулся.

— Да, конечно, и безъ всего этого можно было обходиться... и недурно было, а устроятся желѣзныя дороги, банки и общества, такъ Богъ дастъ будетъ гораздо лучше... богатство всеобщее увеличится, все что теперь зарыто какъ кладъ, что недоступно, что даромъ лежитъ въ землѣ — все выйдетъ наружу и плодъ принесетъ... Ужъ вы съ этимъ не спорьте, Капитолина Ивановна, — это такъ!

— Не вѣрю! упрямо твердила она, — не къ лучшему все идетъ, а къ худшему... Ну, я то, конечно, не увижу, а вы вотъ увидите... можетъ еще когда нибудь и вспомнишь мои слова: не къ лучшему, а къ худшему, такъ и знай... Да нечего слова даромъ тратить — ты упрямъ, тебя не переспоришь... Такъ, такъ... значить это жадность тебя, батюшка, одолѣла! наживаться хочешь...

— Вовсе не жадность, а что наживаться хочу,

такъ въ этомъ нѣтъ ничего позорнаго. У меня дѣти, пусть имъ живется шире и лучше чѣмъ намъ. Вы вотъ твердите: не въ деньгахъ счастье!.. оно конечно — не въ нихъ счастье; но деньги — великая вещь, съ деньгами многое можно сдѣлать — горы сдвинуть можно съ мѣста, да и пользу принести не малую не себѣ одному, а и многимъ...

— Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ! со вздохомъ прошептала Капитолина Ивановна.

— И это правда, и знаю я, что вы эти слова говорите не такъ, какъ говорятъ ихъ обыкновенно. Знаю я о чемъ вы думаете...

— Да знаешь ли, дружокъ, точно ли знаешь?..

— Вы желали бы мнѣ, Капитолина Ивановна, внутренняго, душевнаго довольства пуще всякаго богатства—такъ ли?

— Такъ, такъ...

— Ну и на это опять я вамъ скажу, — что у меня есть, то не отнимется, а внутренняго довольства послѣ... послѣ этихъ открытій у меня быть не можетъ.

— Выбрось ты дурь эту изъ головы, забудь, скажи что это сонъ и кончено!

— И хотѣлъ бы, да не могу! это выше меня, ломалъ себя всячески—ничего не выходитъ... Такъ вотъ и говорю я: внутренняго довольства, то есть полнаго спокойствія мнѣ не дожидаться, и нужно занять себя чѣмъ нибудь, уйти во что нибудь важное, большое, именно позаботиться о хлѣбѣ... а когда жизнь наполнится, когда придутъ удачи—и на душѣ лучше станетъ...

— Охъ, не совсѣмъ то ты хорошо говоришь, Мишенька! все это въ тебѣ суета твоя, гордость въ тебѣ, тщеславіе!

Онъ пожалъ плечами.

— Можетъ быть и такъ! я и не выставляю себя добродѣтельнымъ человѣкомъ, такимъ вотъ какъ тотъ, о которомъ говорится въ прописяхъ, подаренныхъ мнѣ вами когда я былъ маленькимъ мальчикомъ... Вѣрно это въ крови у меня...

Она все жевала беззубымъ ртомъ.

„Въ крови! подумалось ей. — Охъ ужъ мнѣ эта кровь! вотъ и сказалась!..“

— А ну какъ тебя ждутъ неудачи? расквашаешься со всѣмъ старымъ, занесешься въ мечтаніяхъ, а получишь—пишъ! сядешь между двумя стульями, ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга! тогда что?!. Что жъ это тебѣ ворожея какая, гадалка что ли судьбу твою открыла?! Такъ ты пріѣдешь въ Петербургъ, повертишь пальцемъ—и дождь на тебя золотой посыпется?!

— Ни въ чемъ я не увѣренъ, и еслибъ мнѣ предстояло только повертѣть пальцемъ, такъ я, можетъ быть, и не сталъ бы начинать—этакъ скучно... Мнѣ предстоитъ большая работа, вѣрно и черезъ неудачи придется пройти — такъ вѣдь въ этомъ настоящая жизнь. А что чего нибудь достигну я—расчитываю на это! Вѣдь вы сами знаете, что я почти съ дѣтскихъ еще лѣтъ имѣлъ двѣ селонности...

— Да, да, какже — знаю! перебила Капитолина Ивановна,—либо старыя книжки да грамотки разбирать, либо разныя выкладки съ копѣйками дѣлать... Копѣшникъ ты,—какъ есть копѣшникъ!

— Что жь, и тутъ можетъ опять кровь... только съ другой стороны,—пересиливъ себя, но все же невольно покраснѣвъ, сказалъ Михаилъ Ивановичъ.— Однако, знаете ли вы, что я тѣ пять тысячъ, которыя заработалъ семь лѣтъ тому назадъ—уже утродилъ, а много ли тутъ, въ Москвѣ, безъ ростовщическихкихъ гадостей сдѣлать можно?! Иду я теперь своей прямой дорогой...

— Ну, и иди, только знай, что я тебя не могу благословить на эту дорогу... Желать тебѣ всякой удачи, золотыхъ горъ—это я буду, и грѣшная молитва моя за тебя будетъ, а коли неладное что съ тобой приключится — попомни старуху: молъ напередъ говорила... Охъ, горе мнѣ съ тобою! да и твоихъ жалъ пуще всего, пуще всего ихъ жалъ... Не слѣдъ бы тебѣ, Мишенька, покидать ихъ на старость... А то вѣдь это что же? комедію ты теперь съ ними ломаешь? — люблю, молъ, и почитаю, и ублажаю всячески—а самъ въ лѣсъ смотреть... Ну, пріѣдешь ты въ Петербургъ... надолго ли ѣдешь то? со службой своей какъ ты здѣшней?

— Беру отпускъ трехмѣсячный, а потомъ видно будетъ...

— То-то—видно будетъ! не вернешься ты, сударь, застрянешь въ Петербургѣ... извѣстно—жену, дѣтей перетянешь, а старики останутся здѣсь горе горевать... Подумай — вѣдь это что жь такое! просто надо такъ сказать: безбожіе!

Она закипятилась, даже кинула на столъ свое вязаніе и сняла очки.

Онъ опустилъ глаза и задумался.

— Ну вотъ и договорились! продолжала с

Вотъ этого то я и боялась! и стыдно тебѣ, сударь, стыдно! Ужъ хоть ругайся ты распроругайся, правду сказать должна тебѣ... совсѣмъ стыдно!..

— Не стыдите заранѣе, Капитолина Ивановна, у меня и въ мысляхъ нѣтъ покидать папеньку и маменьку...

— Въ мысляхъ нѣтъ, а самъ дѣлаешь такую пакость.

— Я еще ровно ничего не дѣлаю... если мнѣ придется остаться въ Петербургѣ, такъ я надѣюсь, что и они туда всѣ переѣдутъ...

— Ну такъ, такъ, такъ и ждала!.. Что же, сударь ты мой, можетъ и меня въ свои новозданныя хоромы приглашать станешь?! Да ужъ за одно кстати и Порфирія Яковлевича, и Анну Алексѣевну.. такъ что ли?!

— Конечно, и это хорошо бы было! васъ мнѣ очень недоставать будетъ.

Капитолина Ивановна поднялась съ кресла и по-багровѣла.

— Дуракъ ты! вотъ что я тебѣ скажу! крикнула она.

— Спасибо за ласковое слово.

— Да еще какой дуракъ то! и на свѣтѣ такихъ мало! А подумалъ ли ты о томъ, что коли стараго человѣка взять да пересадить въ новую землю—такъ онъ тутъ же и пропадетъ, зачахнетъ! Да понимаешь ли ты, что человѣку нужно: умереть въ томъ воз-духѣ, въ какомъ онъ всю жизнь жилъ, на своемъ пригрѣтомъ мѣстѣ, что стараго человѣка пожалѣть надо! Я не о себѣ говорю, меня изъ моего гнѣзда никакими калачами не выманишь... и не только

для тебя, дурака, а и ни для кого на свѣтѣ я изъ домишка своего не двинусь... А попробуй — тронь отсюда отца съ матерью... ну и умрутъ они, умрутъ съ тоски по своемъ гнѣздѣ!..

— Да развѣ гнѣздо въ вещахъ... я думаю что ихъ гнѣздо въ семьѣ, въ насъ да въ дѣтяхъ... и гдѣ будемъ мы, тамъ и ихъ гнѣздо будетъ.

— Эхъ ты! жилъ себѣ, жилъ, нельзя сказать чтобъ ужъ очень мало времени—вонъ на висѣхъ то—ужъ сѣдой волосъ пробиваться началъ,—а того сообразить не можешь, что каждый человѣкъ созданъ по своему... Оно точно, есть такіе люди, непосѣды, цыгане такіе, что имъ всю жизнь съ мѣста на мѣсто перебираться ничего не стоитъ, а есть и другіе люди: возьми, переведи ихъ на другое мѣсто — и пропадутъ. Такъ ты долженъ знать, что отецъ твой и мать изъ этихъ вторыхъ людей будутъ... Всю то жизнь на одномъ мѣстѣ прожили, обстроились, обзавелись; каждая вѣдь пылинка, что вокругъ нихъ, имъ знакома, годами знакома... И вдругъ ихъ лишитъ всего этого! Да Иванъ Федоровичъ бѣдный безъ огорода своего, безъ теплички что станетъ дѣлать?! Фу, нѣтъ, это такая пакость, что хоть и ждала я, боялась многого, а все же тебя почитала разумнѣе да добрѣе!

Михаилъ Ивановичъ ничего не возражалъ, да и возражать ему было нечего. Онъ очень хорошо понималъ и чувствовалъ, что Капитолина Ивановна права, что дѣйствительно Иванъ Федоровичъ и Марья Семеновна немислимы въ другой обстановкѣ чѣмъ та, которая ихъ окружаетъ многіе годы.

Онъ долженъ былъ упрекнуть себя не то что въ

глупости, а въ иномъ, чего ему бы не хотѣлось въ себѣ видѣть. Да, онъ думалъ только о себѣ, а объ нихъ, о старикахъ своихъ не подумалъ. Онъ не разъ говорилъ себѣ мысленно за это время, да и Надѣ своей говорилъ, что теперь его обязанность любить ихъ и беречь пуще глаза, а между тѣмъ задумалъ ихъ погубить.

Нѣсколько мгновеній продолжалось молчаніе, во время котораго Капитолина Ивановна, переваливаясь и отдуваясь, ходила взадъ и впередъ по комнатамъ и метала грозные взгляды на Михаила Ивановича.

Наконецъ онъ проговорилъ:

— Вы правы какъ и всегда, Капитолина Ивановна,—я дуракъ, какъ вы говорите, и можетъ быть даже хуже... большое спасибо вамъ за то, что на разумъ меня наставили. Теперь я ужъ больше не займусь о переѣздѣ папеньки и маменьки въ Петербургъ...

Капитолина Ивановна развела руками:

— Прекрасно! а самъ то все же ѣдешь?!

— Ъду!..

— Такъ значитъ—изъ огня да въ полымя?! изъ одной ихъ погибели, да и въ другую?!

— Нѣтъ, Капитолина Ивановна... я еще ничего не знаю и не могу рѣшить; но обѣщаюсь вамъ, что все у насъ какъ было, такъ и останется по старому... ни Надя, ни дѣти не тронутся отсюда... и если мнѣ придется всю мою дѣятельность имѣть въ Петербургъ... ну что же—я стану кочевымъ человѣкомъ, благо это теперь возможно—и въ каждый свободный день буду въ Москву возвращаться... довольны вы?!

— Вижу я что теперь уже ты меня за дуру считаешь, батюшка!.. Чего мнѣ быть довольной, чего ты мнѣ очки то втираешь, чего глаза отводишь?! Выдумалъ фортель—и думаетъ: все рѣшилъ! Знаемъ мы эти переѣзды... Ну и станешь какъ угорѣлый метаться... на долго тебя хватить! въ полгода разболѣешься, а то на проклятой чугунокъ шею тебѣ свернуть...

Михаиль Ивановичъ подошелъ къ ней и съ улыбкой сталъ цѣловать ее въ то время какъ она отъ него отбивалась.

— Да не задобривай... нечего лизаться... видно ничего путнаго отъ тебя не добиться!..

— А вы не пророчьте разныхъ ужасовъ, чего каркать—вы не ворона... въ тонъ ей говорилъ онъ.— Ну, слушайте, Капитолина Ивановна, тамъ видно будетъ что и какъ, только знайте, что мое неизмѣнное рѣшеніе не повидать папеньку и маменьку и что теперь, когда мнѣ все ясно, я даю вамъ слово, слышите—даю слово, что все будетъ по старому и ничего не измѣнится у насъ въ домѣ. А объ остальномъ говорить теперь рано...

Капитолина Ивановна видимо успокоилась, взяла его за руку и, проговоривъ: „Пойдемъ-ка, пойдемъ!“—повела его къ себѣ въ спальню.

— Вотъ Богъ!.. вотъ образа! сказала она указывая ему на кіотъ.— Въ Бога-то ты вѣришь?!

— Вы знаете что вѣрю.

— Ну, такъ побожись, побожись мнѣ, что отъ своихъ словъ не отступишься!

Онъ перекрестился.

— Теперь вотъ поцѣлуемся!

Они крѣпко обнялись.

— Что же ты—прямо домой ѣдешь?

— Домой.

— Таеъ подвези меня.

— Отлично...

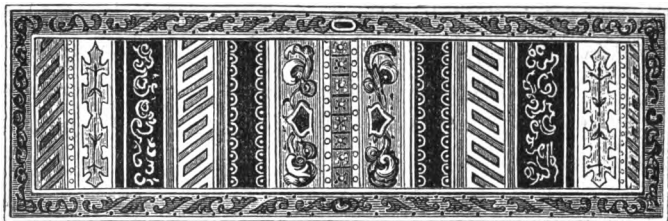
— Ну и ступай въ гостиную, пожди, а я приберусь немного...

Онъ вышелъ изъ спальни и, поджидая ее, серьезно задумался.

„Что-то будетъ? все усложняется, все запутывается... Но прежде всего старики, прежде всего!.. А идти впередъ надо...“

Онъ зналъ что пойдетъ и во что бы ни стало достигнетъ цѣли.





XXI.

И такъ нельзя.

Николай сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ въ библіотекѣ. Онъ отвѣтилъ на полученныя письма, проглядѣлъ газеты и журналы, принялся было за чтеніе только что вышедшей книги по интересовавшему его вопросу, но вдругъ оставилъ книгу, опустилъ голову и забылся. Онъ не могъ бы сказать гдѣ бродили его мысли, а когда онъ сталъ сознавать ихъ, то прежде всего задалъ себѣ вопросъ: чего онъ ждетъ, зачѣмъ онъ здѣсь, откуда это, вотъ сейчасъ, явилась какъ будто надежда, что жить можно?..

Уѣхать—это не трудно... все бросить, выйти въ отставку... дальше... дальше куда нибудь, на край свѣта... но что же это за жизнь будетъ? и къ чему такая жизнь, если Наташи нѣтъ — не съ нимъ, не

съ нимъ—онъ никогда, ни на секунду не посмѣлъ объ этомъ подумать,—а только близко, подъ однимъ кровомъ. Вѣдь оттого вѣрно и показалось ему возможнымъ жить, что она тутъ же. А если нѣтъ ея—нѣтъ и жизни!

Онъ закрылъ глаза. Наташа, какъ живая, была передъ нимъ и его охватило ощущеніе ея близости. Отвернулъ глаза—ея нѣтъ; но все ему говорило о ней въ этой библіотекѣ.

Вотъ тутъ одинъ разъ Наташа сидѣла, вернувшись изъ театра. Они вернулись вмѣстѣ. Она была въ черномъ бархатномъ платьѣ съ вырѣзаннымъ корсажемъ. Онъ въ первый разъ замѣтилъ всю силу ея красоты и прелести. Онъ подошелъ къ ней и она ему улыбнулась... И потомъ долго, долго она представлялась ему въ этомъ черномъ бархатномъ платьѣ, съ бѣлой, будто мраморной шеей, на которой горѣло и переливалось, какъ крупныя росинки, брилліантовое ожерелье. Долго преслѣдовала его ея улыбка.

Сколько часовъ они проводили здѣсь вмѣстѣ!

Онъ переносился въ близкое прошлое и вспоминалъ подробно, подробно всѣ бесѣды съ нею, повторялъ каждое ея слово...

Онъ ничего не хотѣлъ больше какъ только чтобы вернулись эти бесѣды, эти тихія минуты. Но вѣдь теперь ничего этого не будетъ, прошлое не вернется... Теперь все испорчено...

„Умереть! покончить съ собою?!“ мелькнуло въ головѣ его.

Но мысль о самоуничтоженіи всегда была ему

противна, въ ней всегда ему казалось что то уни-
тельное, недостойное. И затѣмъ, хоть и безсозна-
тельно, но вѣрно же было еще жалъ жизни, потому
что, какъ бы то ни было, а жизнь въ немъ была
включемъ. И до сихъ поръ, до самаго послѣдняго
времени, все казалось ему, что несмотря на всѣ ра-
зочарованія, несмотря на всю неудавшуюся семей-
ную обстановку, впереди есть что то, что пока все
это только такъ себѣ, какое то подготовленіе къ
чему то, а настоящее, къ чему служить все это под-
готовленіемъ, еще будетъ, еще настанетъ...

„Но такъ жить нельзя... нельзя!“ съ безнадеж-
ностью и отчаяніемъ, изъ глубины своего существа,
рѣшилъ онъ.

Онъ чувствовалъ, что его нервы натянуты до по-
слѣдней степени: малѣйшее обращенное къ нему
теперь слово, малѣйшій стукъ потрясали его. Ему
какъ будто недоставало воздуха, нечѣмъ было ды-
шать и это было чисто даже физическое ощущеніе.

„Нельзя такъ жить!.. уѣхать, скорѣе, какъ можно
скорѣе. Но куда!? Зачѣмъ?!“

Дверь тихо скрипнула—вошла Наташа.

— Здравствуй, Николай! тихо сказала она протя-
гивая ему руку, которую онъ пожалъ какъ то осо-
бенно торопливо, будто боялся къ ней прикос-
нуться.—А я думала что тебя нѣтъ дома... Я здѣсь
еще въ первый разъ по пріѣздѣ... Что это? новыя
книги?! Вотъ за этимъ то я и пришла сюда—покажи
что такое...

Она присѣла къ столу, стала разбирать книги и
въ то же время поднимала по временамъ на Ни-

колая глаза, въ которыхъ онъ ничего не видѣлъ кромѣ доброты и спокойствія.

Она стала говорить ему о Горбатовскомъ, рассказала ему о томъ какое впечатлѣніе произвелъ на всѣхъ поступокъ дяди—вольная, данная имъ своимъ крестьянамъ, и надѣленіе ихъ землею.

— Представь себѣ, они сначала долго не хотѣли вѣрить, потомъ стало дѣлаться съ ними что то странное, они какъ будто были недовольны, бабы такъ даже въ три ручья плакали... И чѣмъ же кончилось!.. въ послѣдніе дни то и дѣло являлись разные мужики съ просьбами и жалобами... Вотъ имъ такую то землю отрѣзываютъ, а они хотятъ другую... и все въ этомъ родѣ, однимъ словомъ — остались недовольны!.. Бѣдный дядя цѣлые дни съ ними возился...

— Такъ оно и должно быть! сказалъ Николай.—И вотъ увидишь, что этимъ еще не кончится, дядѣ предстоитъ не мало непріятностей и разочарований... А впрочемъ все же хорошо, что онъ такъ сдѣлалъ...

— Конечно хорошо! подтвердила Наташа.

Затѣмъ она стала говорить о дѣтяхъ. Рассказывала много о Володѣ, объ его странностяхъ.

Потомъ они стали переходить съ предмета на предметъ и кончилось тѣмъ, что оба совсѣмъ оживились. Николаю уже не было тяжело дышать. Онъ уже не думалъ о томъ, что нельзя такъ жить, напротивъ, ему вдругъ стало тихо, хорошо и спокойно.

Они продолжали оживленно разговаривать, когда въ бібліотеку вошла Мари.

Она приблизилась къ нимъ своей тихой, плавной походкой и повидимому спокойно проговорила:

— Николай, я тебя ищу по всему дому, татап приходила и просила позвать тебя... Она ждетъ тебя у себя въ спальнѣ...

— Хорошо, я иду! сказалъ онъ.

Лицо его затуманилось, опять тоска сдавила его сердце, опять нехватало воздуха для дыханія! Онъ нервно вздрогнулъ, и вышелъ изъ комнаты.

Мари подошла къ столу и придвинула себѣ только что повинутое Николаемъ кресло.

Наташа подвняла глаза, встрѣтилась съ ея пристальнымъ взглядомъ. Она уже знала этотъ *новый* взглядъ Мари, тихій, грустный, невыносимый. Она уже не разъ терпѣла пытку подъ этимъ взглядомъ и теперь ей стало такъ тяжело и неловко, что она невольно проговорила:

— Какъ ты странно смотришь, Мари?

Мари печально усмѣхнулась.

— Не знаю что ты находишь страннаго... я гляжу какъ всегда...

Но Наташа ужъ не могла остановиться. Каждый нервъ болѣзненно трепеталъ въ ней. Въ послѣднее время она не мало работала надъ собою, она повидимому рѣшила самые мучительные вопросы. Она знала, что уничтожить въ себѣ овладѣвшее ею чувство она не можетъ, потому что это не въ ея власти; но знала также, что никто и никогда больше, и прежде всего Николай, не замѣтятъ этого чувства. Она будетъ скрывать его ото всѣхъ и отъ себя самой... Въ чемъ же упрекнуть ее? Въ невольныхъ мысляхъ, въ

невольныхъ чувствахъ, невѣдомо откуда приходящихъ?!—но развѣ можно упрекать человѣка, если онъ борется съ этими мыслями и чувствами, если онъ не даетъ имъ бороться себя, если онѣ не отражаются въ его сознательныхъ поступкахъ?!

Но вотъ Мари передъ нею, глядитъ ей въ глаза—и она не можетъ выносить этого взгляда, и чувствуетъ себя виновной, преступной, униженной...

И хотъ онѣ обѣ молчать теперь; но она знаетъ, почему то навѣрное знаетъ, что Мари сейчасъ заговорить... что она скажетъ? что можетъ сказать она?..

Наташа вся похолодѣла готовясь къ этому невѣдомому, но неизбежному слову Мари. Она ждала его какъ роковаго, смертельнаго удара.

Ея предчувствіе оправдалось.

Мари уже поднялась съ кресла, уже собиралась выйти изъ библіотеки—и вдругъ вернулась и остановилась передъ Наташей. Ея губы дрогнули, изъ глазъ брызнули слѣзы и тихо, едва слышно она прорыдала:

— Такъ зачѣмъ же ты у меня отняла его!

— Какъ отняла?! растерянно крикнула Наташа хватаясь за голову.—Какъ отняла?! Мари... Боже мой! Да неужели я когда нибудь могла думать объ этомъ? развѣ я знаю какъ все это сдѣлалось со мною?..

— Еслибы онъ ничего не замѣтилъ съ твоей стороны... начала Мари, но рыданія душили ее и она не могла договорить.

Наташа безумно глядѣла на нее своими широко

раскрытыми померкнувшими глазами. И нѣсколько мгновений стояли онѣ такъ другъ передъ другомъ, безъ словъ, безъ мыслей, съ однимъ давящимъ сознаніемъ своего безвыходнаго горя.

И что же бы онѣ могли еще сказать? онѣ во всякомъ случаѣ не въ силахъ были ни судить, ни понять другъ друга...

Мари первая очнулась. Она подавила рыданія, быстро вытерла глаза, будто стыдясь своей слабости, и, слабо махнувъ рукою, вышла изъ библіотеки...

Когда Николай вошелъ къ матери — она встрѣтила его даже гораздо нѣжнѣе чѣмъ обыкновенно, и серьезнымъ тономъ передала ему о своемъ разговорѣ съ графиней Натасовой.

Онъ даже сначала не нашелъ въ себѣ силу отвѣтить ей что либо. Она продолжала:

— Понимаешь, мой другъ, что я должна была, не смотря на то какъ все это мнѣ тяжело, предупредить тебя... Да и наконецъ, если ты уже говорилъ съ графиней — можешь поговорить и со мною... Я только боюсь за васъ, но ничего не знаю, и совсѣмъ не хотѣла бы въ это вмѣшиваться... это вовсе не мое дѣло... Я не разбираю какія такія у Мари основанія... но согласись, Nicolas, что ты прежде всего обязанъ ее успокоить... Иначе чѣмъ же это кончится? что будутъ говорить?! если ты ни себя и никого изъ насъ не жалѣешь, такъ пожалѣй хоть Наташу... вѣдь главнымъ образомъ все это на нее обрушится...

— Господи! простоналъ Николай, — что обрушится?! что будутъ говорить?! неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете...

— Я говорю тебѣ: я ничего не думаю и не хочу думать, вы не дѣти и я вамъ не судья... но только я прошу тебя... я наконецъ тебя умоляю, ради всего — будьте осторожны. Я вотъ ничего не замѣтила, а замѣчаютъ другіе...

— Мама! глухимъ голосомъ сказалъ Николай. — Въ моемъ обращеніи съ Наташей никто и никогда не могъ бы замѣтить ничего кромѣ родственныхъ отношеній... Но теперь нечего говорить объ этомъ — я вижу что мнѣ остается одно — уѣхать какъ можно скорѣе... и я это сдѣлаю...

Катерина Михайловна испугалась. Уѣхать — значитъ отставка, и именно тогда, когда начинается блестящая карьера. Она уже знала объ успѣхахъ Николая и еще не далѣе какъ наканунѣ одна изъ ея свѣтскихъ пріятельницъ поздравляла ее и сулила Николаю въ близкомъ будущемъ очень видное служебное положеніе. И слова эти были вовсе не желаніе сказать что нибудь пріятное матери о сынѣ. Катерина Михайловна знала, что если ея „bonne amie“ такъ говорить, то ужъ не спроста, потому что она находится у самаго источника... Конечно это было главное; но вѣдь и кромѣ того отставка и отъѣздъ при такихъ обстоятельствахъ — вѣдь это и есть самый ужасный скандалъ... что же можетъ быть хуже этого?!

— Совсѣмъ не то! горячо заговорила она. — Боже тебя избави уѣзжать — ты этимъ ничего не исправишь и только погубишь свою будущность! Оставайся; но только будь благоразуменъ и подумай хорошенько... Да что тутъ говорить! — я вовсе не хочу тебя раздражать, я не прошу у тебя никакихъ при-

знаній... правоученій тебѣ тоже не намѣрена читать, да ты вѣдь не сталъ бы меня и слушать — я тебя знаю. Дѣлайте что хотите, но только будьте осторожны, чтобы не къ чему было придраться... А Мари ты успокой и Наташѣ объясни, что пуще всего она должна стараться поддерживать съ нею добрыя отношенія. Конечно теперь это трудно, — но умная женщина всегда съумѣетъ... Да, другъ мой, что дѣлать! Теперь ты видишь самъ какъ я была права не одобряя твоего ранняго брака! А того, что сдѣлано — не воротишь... Mais en tout cas il faut sauver les apparences!..

Николай весь дрожалъ вслушиваясь въ слова матери. Наконецъ онъ не выдержалъ:

— Чтѣ вы такое говорите? я ничего не понимаю!..

Катерина Михайловна не смутилась.

— Это твое дѣло — захочешь — поймешь. И все теперь, все зависитъ отъ васъ: и больше, знай разъ навсегда, я съ тобой ни о чемъ такомъ говорить не стану... и вида не подамъ. Но если вы не боитесь скандала и прямо на него идете — этого я не потерплю.

Николай взглянулъ на мать съ ужасомъ и едва удержался отъ взрыва негодованія.

— Какъ можете вы такъ говорить со мною и давать мнѣ такіе совѣты? наконецъ произнесъ онъ. — Завтра же я подаю въ отставку...

— Опомнись! воскликнула Катерина Михайловна совѣмъ уже испуганная выраженіемъ лица Николая. — Я думала, что ты все же хоть немного да

благоразуменъ, mais je vois—tu perds complaite-
ment la tête!.. совѣтую придти въ себя — тогда мо-
жетъ быть и сообразишь, что только благодаренъ
мнѣ долженъ быть за то, что я такъ говорю съ
тобою,—другая мать, на моемъ мѣстѣ, не такъ бы
говорила...

— Да, не такъ!.. прошепталъ онъ и послѣшилъ
скорѣе отъ нея...

Онъ шелъ не замѣчая куда идетъ и очнулся толь-
ко въ библиотекѣ. Онъ увидѣлъ передъ собою блѣд-
ное лицо Наташи съ лихорадочно блестящими гла-
зами.

— Наташа, сказалъ онъ унылымъ, но твердымъ
голосомъ, — наконецъ я рѣшилъ то, что давно уже
долженъ былъ рѣшить: я уѣзжаю...

Она подняла на него глаза; онъ не могъ вы-
нести этого мучительнаго взгляда и опустилъ го-
лову.

— Куда же ты уѣдешь?

— Куда?! Я почему знаю... да развѣ это не все
равно?!

— Нѣтъ... нѣтъ, это не то... и я совсѣмъ не то
хотѣла спросить тебя... Николай, слушай...

Она подошла къ нему.

— Слушай... поклянись мнѣ что если ты уѣдешь,
если тебѣ станетъ очень тяжело, ты все же ни-
когда, никогда не покончишь съ жизнью...

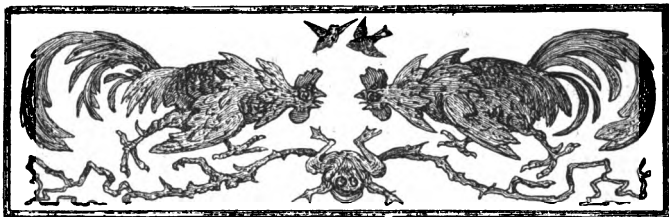
Онъ вздрогнулъ. Какимъ образомъ мысль о само-
убійствѣ, вставшая вдругъ теперь, вотъ сейчасъ, пе-
редъ нимъ—стала ей извѣстна.

А она повторяла:

— Поклянись мнѣ, что ты не убьешь себя... поклянись!..

Они не слышали какъ дверь въ библіотеку отворилась и не замѣтили, что въ то время какъ она произносила послѣднія слова, рядомъ съ ними былъ Сергѣй.





XXII.

Безъ выхода.

Въ эти четыре дня, съ прїѣзда въ Петербургъ, между Сергѣемъ и Николаемъ буквально не было произнесено ни слова, они даже ни разу и не находились вмѣстѣ. Впрочемъ и никто не видалъ Сергѣя. Онъ уѣзжалъ утромъ и возвращался среди ночи. Онъ побывалъ у всѣхъ своихъ старыхъ прїятелей, очутился въ прежнемъ офицерскомъ кружкѣ и убивалъ время за картами, въ попойкахъ, въ посѣщеніяхъ тѣхъ невѣдомыхъ полиціи мѣстъ, куда можно входить только съ очень туго набитымъ карманомъ и „съ особенной рекомендаціей“. Сергѣю такая рекомендація оказывалась излишней—онъ издавна былъ вездѣ „своимъ человѣкомъ“.

Теперь его уже не томила скука—томило другое, онъ понялъ что значитъ тоска.

Порывъ бѣшенства, вызванный въ немъ призна-

ніемъ Наташи, прошелъ безслѣдно; но не проходила вспыхнувшая въ ней страсть. Онъ любилъ теперь ее какъ никогда еще никого въ жизни, и она была его жена, она принадлежала ему по всѣмъ человѣческимъ правамъ, — а онъ зналъ, зналъ навѣрно, что любить ее безнадежно, что потерялъ ее навсегда. Онъ много думалъ объ этомъ и еще больше чувствовалъ, и вдругъ онъ понималъ, ясно и окончательно, что ничего теперь исправить не можетъ.

И когда онъ это понималъ, то, не смотря на всю свою страсть и тоску, пересталъ винить и Наташу и брата. Онъ „отошелъ“, оставилъ Наташу на свободѣ, безъ упрековъ, безъ объясненій и сценъ, а самъ жилъ день за днемъ, стараясь только забыться.

Теперь онъ какъ то случайно заѣхалъ среди дня домой и еще болѣе случайно зашелъ въ библіотеку. Онъ слышалъ не только послѣднія слова Наташи, но и весь разговоръ ея съ Николаемъ.

Онъ видѣлъ какъ братъ вздрогнулъ, какъ онъ опустилъ глаза замѣтивъ его присутствіе, видѣлъ какой ужасъ изобразился на лицѣ Наташи, какъ она шатаясь вышла изъ библіотеки...

Николай остался. Вотъ онъ наконецъ глядитъ на него... но что это?! онъ едва узналъ брата — такое у него измученное, измѣнившееся лицо, такіе страшные глаза...

— Ты слышалъ... я уѣзжаю... проговорилъ Николай.

Онъ ничего не отвѣтилъ.

— Но нѣтъ, вѣдь это невозможно такъ! вдругъ отчаяннымъ стономъ вырвалось изъ груди Николая. — Братъ!.. если я виновенъ въ томъ, что не

замѣтилъ, какъ подкралось это безуміе, что не задушилъ его въ себѣ... моя казнь началась и ей конца не будетъ... Но такъ разстаться съ тобой я не могу... не могу!.. Еслибъ ты могъ понять какое во всемъ этомъ ужасное, непостижимое противорѣчіе!..

— Я знаю это! тихо и грустно сказалъ Сергѣй.—Я не виню тебя теперь... Ты ѣдешь... конечно уѣзжай, если хочешь... только вѣдь это все равно—ты ничему не поможешь своимъ отъѣздомъ...

И эти два человѣка, хоть и ничуть не похожіе одинъ на другого, но всю жизнь прожившіе рядомъ, съ дѣтства привыкшіе любить другъ друга—замолчали и разошлись какъ чужіе...

Между тѣмъ Наташа едва нашла въ себѣ силу дойти до спальни и бросилась на кровать совсѣмъ разбитая, съ горящей головою, вся въ лихорадѣ. Она закрыла глаза и чрезъ нѣсколько мгновеній ей показалось даже, что она засыпаетъ.

Но это былъ не сонъ и даже не забытье, хотя все окружавшее исчезло и забылось.

Передъ нею былъ только Николай.

„Дорогой мой!.. шептала она,—что же дѣлать?! я не виновата... ты терзаешься... ты страдаешь—и я не могу тебя успокоить... Ахъ, еслибы могла я... я бы сдѣлала все... все, чтобы только у тебя не было грустныхъ, мрачныхъ глазъ... этой печальной усмѣшки, которая каждый разъ разрываетъ мнѣ сердце... Милый, еслибы я только могла, я бы стала ласкать и цѣловать тебя до тѣхъ поръ, пока бы ты не улыбнулся мнѣ весело и счастливо... пока бы твои глаза не блеснули тѣмъ свѣтомъ, который я видѣла въ нихъ когда то, а теперь давно

такъ не вижу... Милый мой, я бы отдала тебѣ всю душу, всю жизнь... каждая мысль была бы о тебѣ, и ты бы узналъ что я совсѣмъ не такая, какой кажусь... ты бы узналъ, что я умѣю любить до самозабвенія...”

„О, я не стала бы тебя мучить ни любовью своей, ни ревностью... не стала бы тебя преслѣдовать, не давать тебѣ покоя... я бы говорила тебѣ что надо жить не только для себя, но и для другихъ, и уже конечно не стала бы мѣшать твоей жизни... Но я не упустила бы ни одной минуты, когда могла бы тебѣ быть нужной... И ты нашелъ бы меня всегда возлѣ себя... и я бы выучилась понимать каждую твою мысль...”

„Уже давно я слыхала, что у тебя тяжелый, дурной характеръ... но я никогда этому не вѣрила... съ перваго дня не вѣрила и теперь знаю что тебя никто не понялъ... и теперь могу только удивляться твоему терпѣнію съ ними... Я бы никогда не разсердила тебя... да... да, я сдумѣла бы сбегать тебя...”

„И ничего я не могу... и нельзя!... и я не должна... не смѣю даже о тебѣ думать... Да нѣтъ же, нѣтъ, кто запретить мнѣ это?! кто имѣетъ такое право?.. я люблю тебя... люблю!...”

Она открыла глаза, слезы такъ и лились одна за другою, тихія, мучительныя слезы... Ее охватила такая безнадежность, жизнь показалась ей такой невыносимой... страстное чувство, охватывавшее ее всю, возмутилось и она говорила себѣ:

„Да къ чему же это все? Что все это значить?!

„изгнанный”.

Почему только они правы? почему мы должны погибать?... Есть другая жизнь—и она возможна... Уйдемъ... уйдемъ, бросимъ ихъ... Посмѣмся надъ ними... развѣ они чегонибудь другого стоятъ... уйдемъ на край свѣта, уйдемъ!..“

Она какъ бы пришла въ себя и ужаснулась своимъ мыслямъ... Въ ней было теперь два существа, будто двѣ души, два сердца, два разсудка — и эти два существа отчаянно боролись другъ съ другомъ. И она чувствовала каждый ударъ этой борьбы, и каждый ударъ потрясалъ ее и доводилъ до изнеможенія...

Вотъ она ясно слышитъ строгій и неумолимый внутренній голосъ. Онъ повторяетъ ей давно знакомыя слова: нравственность, долгъ, таинство, нарушение клятвы... Слова эти звучатъ ей приговоромъ и она нѣмѣетъ и замираетъ передъ ними...

Но поднимается другой голосъ и шепчетъ:

„Все это здѣсь, все это для жалкаго земного существованія... а чтó оно такое—это существованіе—когда за нимъ—бесконечность жизни!? Кратковременная неволя, быстро мелькающіе, какъ тѣнь, какъ призракъ, мѣсяцы и годы... Терпѣливо носи свои оковы и жди... онѣ спадутъ—и ты поймешь тогда все, что кажется теперь непонятнымъ и несправедливымъ, жестокимъ и горькимъ. Поймешь откуда взялось то, чтó ты называешь горемъ и мукой, и зачѣмъ оно было неизбежно... И ты благословишь свое горе и свою муку за то что онѣ омыли и расправили твои загрязненные крылья... Ты оставишь здѣсь все, безъ сожалѣній и тревоги, и унесешь съ

собой только лучшія мгновенія, только чистыя грёзы, унесешь съ собой и любовь свою, но очищенную отъ земной грязи—и сама ты ее не узнаешь—такъ будетъ она свѣтла и радостна, и ужъ не помрачитъ ее никакое грубое прикосновеніе...”

Подъ шепотъ этого голоса Наташа затихла и ушла отъ дѣйствительности...

Можно себѣ представить какъ прошелъ этотъ день въ старомъ горбатовскомъ домѣ и тѣмъ болѣе, что единственнаго человѣка, могшаго хотъ нѣсколько облегчить положеніе нѣкоторымъ изъ лицъ этой глухой семейной драмы, не было—Борисъ Сергѣевичъ уѣхалъ съ утра и долженъ былъ вернуться только къ вечеру. Онъ обѣдалъ у одного изъ оставшихся въ живыхъ друзей его молодости, у князя Бѣльскаго.

Николай нигде не уѣхалъ. Онъ провелъ весь день у себя въ рабочемъ кабинетѣ, не вышелъ къ обѣду. Онъ не могъ ничего ѣсть, не могъ никого видѣть. Онъ велѣлъ принести себѣ чернаго кофе, всегда на него хорошо дѣйствовавшаго, и сидѣлъ куря сигару передъ своимъ бюро, машинально разбираясь въ бумагахъ, перечитывая старыя письма, которыхъ онъ теперь даже и не понималъ. Но ему нужно было что нибудь дѣлать.

Вдругъ, это было уже въ послѣобѣденное время, кто то постучался въ его дверь. Онъ пошелъ, теперь и съ изумленіемъ увидѣлъ передъ собою старика Степана.

— Что тебѣ надо, Степанъ? спросилъ онъ рѣзкимъ тономъ.

Степанъ на него покосился.

— Простите, сударь, сдѣлайте Божескую милость—простите, что васъ потревожилъ! съ напускною робостью и въ сущности не безъ нѣкоторой язвительности, которой впрочемъ Николай не замѣтилъ, проговорилъ Степанъ,—запамятовалъ совсѣмъ: Борисъ Сергѣевичъ...

(Еслибы онъ говорилъ съ Сергѣемъ, то непременно бы сказалъ: „дяденька“, но тутъ, какъ онъ самъ увѣрялъ себя, у него языкъ не повертывался).

— Борисъ Сергѣевичъ какъ уѣзжали, приказали снести вашей милости вотъ эти тетради, а я и запамятовалъ, только сію минуточку и вспомнилъ... ужъ простите, сдѣлайте Божескую милость!.. Они сказали что вы изволите знать что это такое...

Николай взялъ толстыя, переплетенныя тетради и сообразилъ:

— Да, да, знаю... спасибо...

Онъ заперъ дверь, положилъ тетради на столъ и просидѣлъ нѣсколько минутъ опустивъ голову. Потомъ машинально раскрылъ первую тетрадь, началъ читать. Тетрадь была исписана рукою Бориса Сергѣевича.

Это были сдѣланные имъ переводы со старинныхъ буддистскихъ книгъ, съ его объясненіями, примѣчаніями и тутъ же, на поляхъ, приведенными имъ интересными разсказами о томъ, чего онъ самъ былъ свидѣтелемъ во время путешествія своего по Тибету.

Николай не замѣтилъ какъ чтеніе мало-по-малу

увлекло его и часъ проходилъ за часомъ, а онъ все разбиралъ дядины тетради и до того углубился въ чтеніе, что не замѣтилъ какъ около полуночи дверь отворилась, заглянула Мари и опять скрылась.

Прошло еще больше часу, а онъ все читалъ. Наконецъ утомленіе стало одолевать его, онъ закрылъ тетради и хотѣлъ было по обычаю потушить лампу и идти въ спальню. Но вдругъ остановился:

„Туда?! теперь?! нѣтъ, ни за что!“ Ему невыносимо тяжело было видѣть Мари, и особенно теперь, когда имъ принято было безповоротное рѣшеніе.

Онъ подошелъ къ большому турецкому дивану, снялъ сюртукъ и легъ, рѣшившись провести ночь здѣсь, не раздваясь. Онъ закрылъ утомленные отъ долгаго чтенія рукописи глаза и лежалъ прислушиваясь къ тому, какъ чикаютъ, обгоняя другъ друга, часы на каминѣ и на бюро.

Минуты проходили, онъ никакъ не могъ заснуть.

Вотъ скрипнула дверь, онъ открылъ глаза — въ кабинетъ входила Мари. Онъ сдѣлалъ надъ собою мучительное усиліе и закрылъ глаза снова, притворившись спящимъ.

„Авось она уйдетъ, авось не рѣшится тревожить, оставить...“ Онъ чувствовалъ себя совсѣмъ не въ силахъ говорить съ нею.

Но Мари прямо подошла къ дивану, на которомъ онъ лежалъ, остановилась, прислушалась.

— Николай!

Онъ не шевельнулся. Тогда она стала будить его

до тѣхъ поръ пока онъ наконецъ не поднялся тря-
саясь какъ въ лихорадеѣ.

— Что такое?! Что? Мари, оставь меня пожа-
луйста... Я ужасно усталъ и хочу спать! сказалъ
онъ.

Но она проговорила спокойнымъ голосомъ:

— Уже два часа! ты заснулъ здѣсь въ кабинетѣ
не раздѣваясь... Приди въ себя, потуши лампу, иди
спать...

— Да вѣдь я спалъ, зачѣмъ же ты меня раз-
будила? Ну хорошо... я скажу тебѣ — я нарочно
здѣсь остался, потому что долженъ быть сегодня
одинъ... завтра... завтра поговоримъ.

— А, такъ вотъ что?! произнесла она, но вѣдь
мы не свободны въ этомъ домѣ и поневолѣ должны
соблюдать приличія... А ты будто нарочно это дѣ-
лаешь для того чтобы бросилось въ глаза всей при-
слугѣ... для того чтобы Богъ знаетъ что стали го-
ворить...

Онъ всталъ съ дивана и нервно заходилъ по ком-
натѣ.

— Господи, пытка какая! Да что говорить? пусть
говорять! хуже того что есть—ничего не скажутъ...
Оставь меня, уйди, умоляю тебя!..

Однако Мари была не та, какой онъ зналъ ее
до сихъ поръ. Уже если она не заснула до двухъ
часовъ дожидаясь его, если она рѣшилась прійти
сюда, очевидно для тяжелаго разговора, она, быв-
шая всегда готовою согласиться съ чѣмъ угодно
лишь бы избѣжать непріятныхъ объясненій, лишь

бы ее оставили въ покоѣ—такъ съ ней трудно было спорить.

— Я не уйду! сказала она, — выслушай меня... къ чему ждать, и теперь намъ никто не помѣшаетъ. Я хотѣла избѣжать этихъ ужасныхъ разговоровъ; но нельзя... все стало такъ невыносимо и я вижу что такая жизнь не можетъ продолжаться!.. Да ты самъ—неужели считаешь ее возможной?!

— Конечно—нѣтъ! выговорилъ онъ.

— Такъ значитъ — надо же на что нибудь рѣшиться...

— И я уже рѣшился... Я завтра утромъ подамъ прошеніе объ отставкѣ—и уйду.

— Какъ? что? переспросила она невольно блѣднѣя.—Уйдешь... навсегда?

— Боже мой, почему же я знаю?!

— Послушай! едва слышно начала Мари.—Я ни въ чемъ не хочу упрекать ни тебя, ни другихъ... это бесполезно... но подумай прежде чѣмъ рѣшиться на такой шагъ, который будетъ безповоротнымъ, не для себя я прошу, а для Гриши... Неужели ничего, какъ есть ничего не осталось отъ прошлаго?..

Ей очевидно было трудно говорить и связывать мысли. Она остановилась и заплакала; но такъ тихо, беззвучно.

— Мари! воскликнулъ Николай схватывая и крѣпко сжимая ее холодную руку.—Какъ ничего не осталось отъ прошлаго? все осталось — и въ этомъ мое невыносимое мученіе... Я уйду потому, что иначе нельзя... и ты знаешь почему... но какъ я объясню тебѣ, что я люблю тебя теперь можетъ быть больше

чѣмъ когда либо, что ты мнѣ и дорога, и близка, что я чувствую и всегда буду чувствовать мою неразрывную связь съ тобою... Это можетъ быть безуміе; но это правда!..

Она широко раскрыла глаза. Ея слезы остановились. Чтò такое онъ говорить?.. Любить! онъ ее любить! она близка, дорога ему! неужели есть надежда?.. или онъ смѣется надъ нею, или онъ лжетъ?!

Но она вѣдь знала, что такъ смѣяться онъ не способенъ, знала, что онъ никогда не лжетъ.

— Николай, прошептала она,— такъ что же? зачѣмъ же тогда все это?!

Ея голосъ поднялся и зазвучалъ страстными нотами.

— Я забуду все, все, какъ будто его никогда и не бывало... я могу это, могу!.. уѣдемъ вмѣстѣ, съ нашимъ мальчикомъ... Ты увидишь— все будетъ новое... Я ужь не та, что прежде... Я стѣмлю теперь любить тебя... Уѣдемъ...

Онъ оставилъ ея руку и глядѣлъ на нее тусклымъ взглядомъ...

— Это невозможно...

— Значить ты ее, ее любишь! простонала Мари хватаясь за голову. — Зачѣмъ же ты сейчасъ такъ безбожно солгалъ мнѣ?

— Я сказалъ правду... и я зналъ вѣдь, что ты не можешь понять меня!

— Кто же можетъ понять?.. Такъ значить все кончено?

Онъ ничего не могъ ей отвѣтить.

— Прощай! едва выговорила она.

Сдерживая рыданія она вышла изъ кабинета и заперла за собою дверь.

Онъ остался посреди комнаты и долго, долго стоялъ такъ, совсѣмъ подавленный безысходной, гнетущей тоскою...





XXIII.

Новый планъ.

Катерина Михайловна ошибалась, воображая, что старый Степанъ непременно донесетъ Борису Сергѣевичу о визитѣ Шапскаго въ Горбатовское. Еслибы онъ захотѣлъ это сдѣлать, то конечно сдѣлалъ бы уже давно.

Но дѣло въ томъ, что Степанъ рѣшился никакими домашними дѣлами не досаждать своему барину. Ужъ больно плохи были эти дѣла и толковать о нихъ — значить понапрасну только мучить Бориса Сергѣевича. Измѣнить ничего нельзя, помочь ничему нѣтъ никакой возможности — остается только махнуть рукою.

Степанъ даже ужъ и пробовалъ махать рукою, да и это оказывалось не такъ-то легко.

„Нечего сказать, на хорошія дѣла пріѣхали! просто не глядѣли бы глаза, не слухали бы уши. Въ

тысячу разъ лучше было бы оставаться тамъ, въ Сибири, потому что если тамъ и выходило что нибудь неладное, если и творили сосѣдскіе людишки какія ни на есть пакости, такъ вѣдь то были чужіе люди, по большей части даже нехристи, татарва азіатская... Дѣлаетъ онъ что нибудь неладное—для него же хуже—и только... Да и то, опять надо сказать, что конечно въ семьѣ не безъ уroda, есть и тамъ негодяи, и разбойники часто, но хорошихъ людей все же больше...”

Степанъ оставилъ тамъ даже истинныхъ пріятелей, о которыхъ теперь нерѣдко вспоминалъ съ грустью и любовью, несмотря на то, что у пріятелей этихъ глаза были какъ щелки, носъ пуговицей, скулы шишками, а бороденка словно рѣденькій конскій волосъ...

„Вотъ и въ Христа Спасителя не вѣруютъ, думалъ объ этихъ своихъ пріятеляхъ Степанъ, — и болвану, прости Господи, какому-то шестирукому замѣсто Бога молятся, а душа то вѣдь чистая, сердце справедливое, да жалостливое, совсѣмъ настоящіе, хорошіе люди!“

„А тутъ—что это такое?! просто сердце кровью обливается... вѣдь это что же... вѣдь это все господа наши, Горбатовы, отъ корени Сергѣя Борисовича да Татьяны Владиміровны... такъ, по крайности, про всѣхъ про нихъ значится, а просто срамъ и позоръ!.. Охъ, ужъ и припекутъ же тебя на томъ свѣтѣ, матушка Катерина Михайловна! за все отвѣтъ дашь, отъ тебя все это происходитъ... ты все это въ семью нашу господскую пустила!..“

Степанъ отлично все замѣчалъ и видѣлъ, и ни-

чего не ускользало отъ его пронизательнаго взгляда изъ того что творилось за это лѣто въ Знаменскомъ и Горбатовскомъ. Узналъ онъ всю подноготную „настоящаго“ барина, какъ онъ называлъ Сергѣя Владиміровича. Узналъ про всѣ его пашни и потребности, и по сосѣдству, и въ домѣ—съ этой „вертихвосткой Лилишкой“. Не ускользнуло отъ него и то неладное, что творилось промежъ Николая Владиміровича и Наташи.

„Какъ есть, какъ есть наказаніе Божье! говорилъ онъ самъ съ собою. — А мы (онъ подразумѣвалъ Бориса Сергѣевича) какъ разъ на все это и пріѣхали, видно мало насъ судьба гнала, видно мало своего горя натерпѣлись — вотъ и въ чужомъ пирѣ похмѣлье. Да и опять нельзя сказать, что пиръ чужой, вѣдь свой пиръ-то!.. Вотъ и спокойствіе на старость... И дуракъ же я, дуракъ, что уговаривалъ изъ Сибири сюда ѣхать... да неужто можно было такого ждать!“

Пріѣздъ Щапскаго въ Горбатовское окончательно сразилъ Степана. Онъ какъ увидалъ его да узналъ, — еле совладѣлъ съ собою, Богъ знаетъ чтó онъ бы далъ чтобъ только возможно было хорошенько его побить, ну не до смерти—это все же грѣшно, а такъ чтобы навсегда помнилъ этотъ неожиданный гость.

„Не издохъ еще до сихъ поръ!.. вѣдь это что же такое! вѣдь теперь сраму не оберешься! Ну, да авось показалъ носъ — и провалится, не очень-то засидѣлся, видно не больно хорошо его приняли... авось не покажется... И счастье еще что Бориса Сергѣевича нѣту дома—не выдержалъ бы онъ.“

И Степанъ по долгимъ разсужденіямъ рѣшилъ молчать передъ Борисомъ Сергѣевичемъ.

„Нечего разстроивать его, коли самъ что видитъ и знаетъ — съ этимъ ужъ нечего дѣлать, а подбавлять ему горя на старость лѣтъ не стану.“

Вопреки своему обычаю, онъ весь конецъ лѣта въ Горбатовскомъ, и теперь, въ эти первые дни по приѣздѣ въ Петербургъ, не вступалъ со своимъ бариномъ ни въ какіе интимные разговоры...

Но если Катерина Михайловна ошибалась относительно Степана, она нисколько не преувеличивала опасности, грозившей со стороны Щапскаго. И этого мало — она даже не могла себѣ представить до какой степени эта опасность велика.

Щапскій очевидно приѣхалъ въ Петербургъ съ тѣмъ чтобы здѣсь поселиться на долгое время. Онъ нанялъ себѣ квартиру на Конюшенной улицѣ и жилъ важнымъ бариномъ, какъ уже отвыкъ было жить въ послѣдніе годы, скитаясь за границей и терпя неудачу за неудачей. Квартира его была меблирована и отдѣлана самымъ изысканнымъ образомъ. На конюшнѣ стояла четверка лошадей, а въ сараѣ помѣщались превосходные экипажи.

Все это было приобрѣтено въ кредитъ. Графъ Щапскій умѣлъ пустить пыль въ глаза. Получивъ деньги отъ Катерины Михайловны, онъ замазалъ немного рта своихъ поставщиковъ и мало-по-малу совсѣмъ обживался въ Петербургѣ.

Онъ разыскалъ всѣхъ оставшихся въ живыхъ старыхъ знакомыхъ и пріятелей. Его видѣли въ Англійскомъ клубѣ и театрахъ. Его снова приняли въ обществѣ и никому въ голову не могло придти, что

это человекъ, единственно благодаря случаю не находившійся въ Сибири на каторгѣ, что это человекъ, сыгравшій хоть и тайную, но очень значительную роль въ польскомъ возстаніи, крупно замѣшанный во всевозможныхъ неблаговидныхъ продѣлкахъ за границей; имѣвшій дѣло съ итальянской, нѣмецкой, французской и англійской полиціей. Да и теперь онъ явился въ Петербургъ послѣ самой наглой продѣлки съ юнымъ и недалекимъ, поддавшимся ему богатымъ французскимъ маркизомъ. Онъ чуть было не пустилъ этого маркиза по міру. Но съ нѣкотораго времени судьба была противъ него. Его плутни раскрылись и только благодаря своей находчивости онъ въ время исчезъ изъ Парижа и очутился въ Петербургѣ...

Съ каждымъ днемъ настроеніе его духа становилось веселѣе. Онъ дѣлался самоувѣренъ и хотя значительно уставшій и измотавшійся, но еще разъ съ довѣріемъ отнесся къ своимъ силамъ и къ своей счастливой звѣздѣ.

„Еще можно пожить!“ думалъ онъ возвращаясь вечеромъ на своихъ рыскахъ изъ клуба или отъ знакомыхъ.

Онъ былъ увѣренъ теперь что еще разъ всѣхъ проведетъ и надуетъ. И всѣхъ, кого только захочетъ, заставитъ служить своимъ цѣлямъ.

„Всѣ они будутъ у меня въ рукахъ! всѣ!.. Еще какъ здѣсь отлично устроюсь!..“

Онъ заранѣе намѣчалъ свои будущія жертвы. Одна уже попалась. Онъ нѣсколько ошибся въ расчетѣ, такъ какъ не зналъ, что Катерина Михайловна разорена; но все же не отказывался отъ мысли

получить съ нея, хоть и съ нѣкоторой проволочкой, всю назначенную имъ сумму.

А потомъ, когда сумма эта получится, можно будетъ и еще попросить надбавку.

Но этого мало — у него теперь созрѣлъ новый планъ: онъ рѣшился играть въ двойную игру и, вмѣстѣ съ Катериной Михайловной, сдѣлать своимъ вѣчнымъ данникомъ и Николая...

И вотъ этого-то никакъ не могла подозрѣвать, никакъ не могла додуматься до этого Катерина Михайловна. А между тѣмъ отвратительной планъ совсѣмъ уже былъ готовъ въ головѣ Щапскаго.

Онъ успѣлъ навести всѣ необходимыя справки, подробно разузнавалъ обо всѣхъ отношеніяхъ и связяхъ Николая, объ его характерѣ. Пріятели и знакомые Николая, довольно плохо его понимавшіе, представили его Щапскому человѣкомъ очень гордымъ, даже преисполненнымъ высокаго мнѣнія о себѣ и непомѣрно кичащимся своимъ знаменитымъ именемъ.

Кто-то сказалъ ему:

„Николай Горбатовъ считаетъ себя такъ высоко стоящимъ, что даже не заботится о служебной карьерѣ, которую онъ могъ бы легко сдѣлать, такъ какъ, когда захочетъ, то онъ человѣкъ ловкій и способный. Но ему кажется, что для Горбатова не нужна никакая карьера, что она ничего новаго не дастъ ему...“

Щапскій такъ и впивался въ эти слова. Узнавъ что Николай уѣхалъ изъ деревни и находится въ Петербургѣ, онъ сдѣлалъ ему визитъ.

Николай, погруженный въ себя, переживавшій

тяжелые дни, былъ въ этотъ часъ еще болѣе мраченъ и раздражителенъ, чѣмъ когда либо. Онъ принялъ Щапскаго съ холодной любезностью и послѣ недолгаго разговора оправдалъ въ глазахъ его мнѣніе, имъ о немъ сдѣланное согласно полученнымъ сообщеніямъ.

Николай не торопился отдать визитъ этому новому знакомому, хотя новый знакомый и отрекомендовалъ ему себя старымъ другомъ и, почему-то, даже товарищемъ покойнаго Владиміра Сергѣевича. Но все же какъ-то вспомнивъ о Щапскомъ, онъ забросилъ ему свою карточку.

Щапскій, возвращаясь домой и найдя эту карточку у себя на столѣ, скривилъ губы въ усмѣшку.

„Гордецъ... пренебрегаетъ мною... Но не надолго!..“

Онъ никогда, до этого возвращенія въ Россію, не думалъ о своемъ сынѣ и теперь, увидавъ его, не почувствовалъ къ нему никакой любви, а напротивъ, какъ это ни странно, почувствовалъ къ нему скорѣе ненависть за эту мнимую его гордость, за это казавшееся ему презрѣніе къ нему...

Еслибы какойнибудь другъ, котораго у него впрочемъ никогда не было, спросилъ графа Щапскаго въ откровенную минуту относительно его мнѣнія о самомъ себѣ, — онъ навѣрное сказалъ бы про себя:

„Я умный человѣкъ!“

И при этомъ прибавилъ бы:

„И не злой, нисколько не злой“.

Онъ бы сказалъ это совсѣмъ искренно, такъ какъ дѣйствительно считалъ себя по преимуществу умнымъ

человѣкомъ, а о злобѣ и добротѣ не имѣлъ даже яснаго представленія.

Еслибы спросить его — считаетъ ли онъ себя счастливымъ или несчастнымъ — онъ, вспомнивъ всю свою жизнь, крайне разнообразную и до послѣднихъ лѣтъ исполненную всякихъ успѣховъ и удачъ въ достиженіи задуманныхъ цѣлей, — все же долженъ былъ бы согласиться, что онъ челоѣкъ несчастный. Это была правда.

Щапскій не зналъ ни отца, ни матери. Они умерли когда онъ былъ еще ребенкомъ. Онъ выросъ и воспитался въ рукахъ іезуитовъ и они подготовили въ немъ дѣятеля по своему вкусу. Они не разъ потомъ употребляли его для своихъ цѣлей и почти всегда удачно.

Конечно въ природѣ его были уже извѣстные задатки; но школа тщательно развила эти задатки. Онъ вступилъ въ жизнь еще неопытный, еще ничего не испытывшій, но уже заранѣе пріученный презирать людей, глядѣть на нихъ какъ на живой матеріалъ для построенія разныхъ хитрыхъ комбинацій, какъ на одно изъ средствъ къ достиженію земныхъ благъ. А въ обладаніи этими земными благами для него собственно и заключалась главная цѣль жизни, ея главный смыслъ.

И вотъ теперь, когда уже пришла старость, когда тѣло, бывшее для него всѣмъ, такъ имъ любимое, порядкомъ уже износилось и даже становилось ему порою въ тягость, — онъ не имѣлъ главнѣйшаго, почти единственнаго утѣшенія, остающагося старымъ людямъ, не имѣлъ теплыхъ воспоминаній.

Онъ никого не любилъ въ жизни, ни за кого не

страдалъ, никому не пожертвовалъ ничѣмъ. И, не смотря на то, что онъ считалъ себя умнымъ человекомъ, для него оставался непонятнымъ и закрытымъ цѣлый разнообразный и могучій міръ, при пониманіи котораго только и можетъ жить человѣкъ полной человѣческой жизнью. Но ему, незнакомому съ этимъ міромъ, оставалось видѣть въ жизни единственно борьбу за существованіе, торжество грубой силы, хотя онъ и называлъ эту грубую силу—разумомъ.

Немудрено, что такой человѣкъ не выдѣлялъ своего сына, положимъ незнакомога ему и не знавшаго о своемъ родствѣ съ нимъ, но все же сына—изъ среды всѣхъ прочихъ людей, почитаемыхъ имъ пѣшками.

Вовсе не сознавая всей гнусности и неестественности своихъ поступковъ и плановъ, онъ рѣшился воспользоваться этимъ сыномъ—какъ пользовался и другими.

Онъ сказалъ себѣ:

„Я его заставляю служить мнѣ!“

И ему теперь казалось, что ничего нѣтъ легче, какъ исполнить это: стоитъ только открыть сыну истину, стоитъ ему доказать что онъ его отецъ и что онъ можетъ, въ случаѣ чего либо, заставить говорить объ этомъ весь городъ. Этотъ гордый, чванлый человѣкъ придетъ въ ужасъ и готовъ будетъ конечно на что угодно, лишь бы дѣло оставалось тайнымъ...

Какъ?! — онъ, носитель стариннаго, знаменитаго имени — и вдругъ превратится въ незаконнаго ребенка, въ „притчу“ всего высшаго общества!..

Нѣтъ, онъ не вынесетъ всего этого! за сохраненіе тайны онъ отдастъ все—и тогда можно будетъ пользоваться и матерью, и сыномъ. Если у матери нѣтъ денегъ — найдутся у сына; если она не сѣмѣетъ достать—сѣмѣетъ достать онъ, благо у нихъ теперь въ рукахъ этотъ глупецъ-дядя, этотъ возвращенный декабристъ. Они разорены; но онъ богатъ, страшно богатъ, несмотря на то, что уменьшилъ теперь свое состояніе, отпустивъ на волю своихъ крестьянъ и надѣливъ ихъ землею. Пусть онъ доставляетъ имъ средства!..

Теперь и онъ, этотъ Борисъ, превратится для него въ пѣшку—и онъ будетъ имъ пользоваться.

Планъ быстро созрѣлъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ и Щапскій рѣшилъ неоткладывая привести его въ исполненіе.





XXIV.

Одно къ одному.

Въ это время Борисъ Сергѣевичъ былъ занятъ дѣлами своего новаго племянника, Михаила Ивановича. Конечно онъ уже ясно видѣлъ, что для этого племянника было бы гораздо лучше оставаться въ невѣдѣніи истины. Онъ могъ бы и такъ быть ему полезнымъ, не отравляя его спокойствія, не лишая его той почвы, на которой онъ выросъ и уже по-видимому укрѣпился.

Онъ продолжалъ негодовать на старика Прыгунова, начавшаго такъ хорошо дѣло и такъ его испортившаго. Но, по своему обыкновенію, онъ и виду не показалъ Кодрату Кузьмичу и самъ же его успокоивалъ. Прощаясь съ нимъ, онъ заставилъ его принять значительную сумму денегъ „за всѣ хлопоты и за успѣшное окончаніе дѣла“.

Кодратъ Кузьмичъ думалъ было даже отказываться,

найдя что сумма эта черезчуръ велика; но Горбатовъ умѣлъ въ такихъ случаяхъ настаивать, да и потомъ—Кодрату Кузьмичу пришли на умъ всѣ его хозяйственныя потребности, нѣтъ и убѣжденія жены, въ которыхъ было много правды, наконецъ появленіе въ домѣ окончившей институтскій курсъ дочери — вѣдь нужно же было ее экипировать — и побаловать!.. Скрѣпя сердце онъ принялъ деньги.

Онъ былъ очень мраченъ эти послѣдніе дни пребывания Бориса Сергѣевича въ Москвѣ, все вздыхалъ, дома ни съ кѣмъ не говорилъ и находилъ единственное утѣшеніе въ своей приходской церкви, въ исполненіи обязанностей церковнаго старосты...

„Да, все это дѣло повернулось совсѣмъ не такъ какъ бы слѣдовало — но сдѣланнаго не воротишь!“ думалъ Борисъ Сергѣевичъ и рѣшился во что бы то ни стало принести Михаилу Ивановичу какъ можно больше существенной пользы.

Для того чтобы понять въ чемъ должна заключаться эта польза, онъ долженъ былъ прежде всего поближе познакомиться съ Михаиломъ Ивановичемъ. Онъ это и сдѣлалъ въ послѣдніе дни своего пребывания въ Москвѣ. Они были почти неразлучны — и по крайней мѣрѣ у Бориса Сергѣевича явилось удовлетвореніе, что онъ нашелъ племянника своего совсѣмъ хорошимъ, а главное солиднымъ человѣкомъ, способнымъ и благоразумнымъ.

„Онъ не избалованъ богатствомъ, не испорченъ жизнью, страстей особенныхъ у него нѣтъ, семейная жизнь его повидимому очень счастлива...“

Но въ разговорахъ съ Михаиломъ Ивановичемъ онъ понималъ, что, не смотря на все это, племяннику

многого недостаетъ и прежде всего недостаетъ широко, крупной дѣятельности. Онъ подмѣтилъ въ немъ наклонности и способности финансиста.

„Ну, что же, говорилъ онъ самъ себѣ,—и отлично, пусть онъ устраиваетъ свое благосостояніе, и для себя и для дѣтей, для будущаго, а я ему помогу въ этомъ. Часть моего состоянія все равно принадлежить ему. Но такъ принимать отъ меня деньги онъ врядъ ли станетъ, а если я и заставлю его дѣлать это, то во всякомъ случаѣ не уничтоживъ въ немъ тяжелаго чувства. Тутъ же будетъ совсѣмъ другое. Онъ самъ станетъ работать, а я только помогу ему, довѣрю ему извѣстный капиталъ... это будетъ не подарокъ...“

Вернувшись въ Петербургъ, Борисъ Сергѣевичъ, съ помощью нѣкоторыхъ старыхъ знакомыхъ, навелъ нужныя справки, разузналъ подробно о всякихъ возникавшихъ проѣктахъ и кончилъ тѣмъ, что заинтересовалъ Михаиломъ Ивановичемъ нѣкоторыхъ вліятельныхъ людей. Тогда онъ его сталъ звать въ Петербургъ.

„Дѣлать нечего, еще предстоитъ много тяжелаго, но уже разъ сдѣлана ошибка, возвращаться поздно: Михаила Ивановича не спрячешь. Конечно тотчасъ же здѣсь всѣ поймутъ, что онъ мнѣ не просто знакомый. Пожалуй его моимъ сыномъ считать будутъ!.. впрочемъ это поразительное сходство съ братомъ... А Сергій?.. а Николай?.. а всѣ въ домѣ?.. Ну что жъ, пусть узнаютъ и пусть полюбятъ Михаила Ивановича,—прежде всего справедливость!.. и видно все это такъ и надобно было...“

Михаилъ Ивановичъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Ему

пришлось выдержать тяжелую сцену прощанія съ родными. Со времени своей давнишней поѣздки за границу онъ почти вѣкуда не отлучался изъ Москвы и теперь старикамъ казалось что уже кончено, что Мишенька для нихъ потерянъ навсегда, что вотъ онъ уѣзжаетъ и никогда больше не вернется. Ему стоило не малаго труда увѣрить ихъ, что они ошибаются, что онъ никогда ихъ не покинетъ. Онъ объяснялъ имъ, что его ждетъ большое дѣло, отъ котораго зависитъ будущность дѣтей.

Они его слушали, соглашались съ нимъ, рѣшились ничего не возражать ему, но внутри себя были такого мнѣнія „что какой еще будущности!? и такъ все хорошо, средствъ на всѣхъ хватитъ“.

Надежда Николаевна сначала было объявила, что ни за что его не пуститъ одного, что поѣдетъ съ нимъ. Ему даже это очень улыбалось; но потомъ они разсудили, что ей слѣдуетъ остаться со стариками. А если обстоятельства его задержать въ Петербургѣ—тогда будетъ видно. Она подчинилась благоразумію; но на сердцѣ у нея было тяжело. И хотя она конечно довѣряла своему Мишенькѣ, но все же нѣтъ, нѣтъ—а и мелькнетъ прежняя мысль:

„А что если это на погибель? Что если кончено теперь наше счастье?! Если онъ тамъ меня забудетъ... разлюбить?! Что если у него...“

У нея даже являлась мысль о другой женщинѣ, которая вдругъ можетъ быть появится и отниметъ его у нея... И главное—вѣдь она не знала что тамъ такое, не могла себѣ представить эту новую его жизнь, эту дѣятельность и онѣ представлялись ей такими то таинственными и страшными.

Какъ бы то ни было, Михаилъ Ивановичъ простился и уѣхалъ. Онъ казался бодрѣмъ, оживленнымъ и дѣйствительно былъ бодръ и вступалъ въ новую жизнь съ вѣрою въ свои силы, готовый къ борьбѣ, къ испытаніямъ. Испытанія должны были представиться сразу.

Онъ зналъ что попадетъ въ домъ Горбатовыхъ, что встрѣтится со своими родными, съ братьями, которыхъ не зналъ и которые его не знали. Они встрѣтятся какъ чужіе и вѣроятно будутъ играть комедію другъ передъ другомъ. У него невольно пробуждалось какое то непонятное чувство къ этимъ невѣдомымъ братьямъ.

А что если они отнесутся къ нему свысока?! И вѣдь это очень можетъ быть. И во всякомъ случаѣ его положеніе самое тяжелое, самое фальшивое. Нужно очень приготовиться чтобы не быть жалкимъ, чтобы не быть смѣшнымъ, чтобы заставить уважать себя. Но вотъ вѣдь это первая проба, первое испытаніе и онъ долженъ доказать и себѣ и другимъ, что въ немъ есть настоящая сила.

Михаилу Ивановичу было мучительно думать обо всемъ этомъ, но онъ кончилъ тѣмъ, что побѣдилъ въ себѣ всѣ тяжелыя, смущающія чувства и хотя не безъ волненія, но съ полнымъ самообладаніемъ явился въ старѣй, великолѣпный домъ Горбатовыхъ.

Между тѣмъ Борисъ Сергѣевичъ уже заочно познакомилъ съ нимъ племянниковъ. Онъ скрылъ отъ нихъ часть истины. Сдѣлалъ Михаила Ивановича нѣсколько старѣе. Эта невинная и необходимая, какъ ему казалось, ложь тѣмъ болѣе была возможна, что Михаилъ Ивановичъ, хотя и очень крѣпкій и

здоровый человекъ, все же казался нѣсколько старше своихъ лѣтъ.

Извѣстіе о скоромъ появленіи въ домѣ новаго человека, новаго родственника, котораго нельзя будетъ признать, но котораго взялъ подъ свое покровительство дядя, несмотря даже на тяжелыя обстоятельства, удручавшія всѣхъ членовъ семьи, произвело большое впечатлѣніе. Это впечатлѣніе было даже встати. Оно хотъ на нѣсколько часовъ заставило всѣхъ отойти отъ своей собственной жизни.

Пуще всѣхъ извѣстіе это поразило Катерину Михайловну. Ей въ сущности не было никакого дѣла, былъ ли у ея покойнаго мужа незаконный сынъ или нѣтъ. Хотъ десять, хотъ двадцать — ей все равно! Но принимать этого сына у себя въ домѣ — она не могла...

Между тѣмъ Борисъ Сергѣевичъ прямо сказалъ ей, что избѣгнуть этого, по сложившимся обстоятельствамъ, нельзя, что онъ проситъ ее быть спокойной и если ей угодно — ей даже незачѣмъ видѣть Бородину; но если случайно она съ нимъ встрѣтится, то пусть вспомнить, что вѣдь онъ то ни въ чемъ не виноватъ.

Онъ просто Михаилъ Ивановичъ Бородинъ и ничего больше, а если ее поразитъ его сходство съ покойнымъ Владиміромъ, то ей конечно нечего этого выказывать. Онъ ее только долженъ предупредить объ этомъ сходствѣ.

Онъ показалъ ей даже дагеротипный портретъ Михаила Ивановича.

Катерина Михайловна пришла въ ужасъ.

— Да вѣдь это вылитый, вылитый Владиміръ!

воскликнула она.—Вы можете дѣлать все что вамъ угодно, Борисъ, откапывать какихъ хотите... (она хотѣла употребить рѣзкое слово, но не договорила). Вы очевидно желаете скандала... Вы не думаете о положеніи Сергѣя и Николая... Дѣлайте что угодно, впускайте въ этотъ домъ кого хотите, но меня увольте... я конечно къ нему не выйду...

Борису Сергѣевичу стало неловко. Онъ видѣлъ что въ нѣкоторомъ отношеніи она даже и права. Но онъ уже, говоря съ нею, переговорилъ заранѣе съ ея сыновьями и все было рѣшено.

Едва онъ отъ нея вышелъ какъ она предалась своему негодованію. Она была увѣрена, что онъ нарочно все это подстроилъ именно съ цѣлью оскорбить ее, да и не только ее, а и Сергѣя и Николая. Она была готова заподозрить его въ чемъ угодно.

„Да, да, говорила она себѣ,—онъ только прикинулся. Онъ вовсе никого изъ нихъ не любитъ. Онъ пріѣхалъ не для того чтобы найти семью, а для того чтобы отомстить!..“

До сихъ поръ она была увѣрена, что ея дѣти его единственные наслѣдники, что все его громадное состояніе, по всѣмъ правамъ, да и по желанію его, перейдетъ конечно къ нимъ. Она боялась сначала за Николая, но полагая что комедія, сыгранная ею передъ Борисомъ Сергѣевичемъ, подѣйствовала, успокоилась на томъ, что онъ не захочетъ семейнаго позора.

А теперь что же это? Можетъ быть уже онъ заранѣе тамъ въ Сибири рѣшилъ ихъ всѣхъ обмануть и провести. Можетъ быть у него уже все давно подстроено. Ея дѣти пожалуй ничего не увидятъ изъ

его богатства: онъ его раздастъ разнымъ найденнымъ, только чтобы намъ ничего не досталось...

Вотъ ужъ онъ началъ. Онъ уже значительно уменьшилъ свое богатство этимъ дурацкимъ освобождениемъ крестьянъ. Теперь является на сцену какой то будто бы сынъ Владиміра. Можетъ быть онъ и есть сынъ Владиміра, и вѣроятно не одинъ у него былъ, но онъ нашелъ его и обрадовался...

Теперь онъ всѣхъ ихъ унижить, а этого незаконнаго сдѣлаетъ своимъ наслѣдникомъ. Почему знать, можетъ быть онъ дойдетъ до того, что станетъ хлопотать даже о передачѣ ему родового имени...

Но тутъ Катерина Михайловна остановилась, невольно почувствовавъ, что кажется начинается чересчуръ фантазировать.

„Нѣтъ, это было бы слишкомъ... да и не согласятся. Странно однако, отчего же онъ не выдастъ этого человѣка за своего собственнаго сына,—тогда бы вѣдь ему легче было бы исполнить весь этотъ гнусный замыселъ“.

Она задумалась надъ этимъ и сейчасъ же и поняла—отчего:

„Конечно для того чтобы окончательно унижить ее и ея дѣтей! Да, да, конечно! Не даромъ же я всегда сомнѣвалась въ его добродѣтеляхъ“.

„Онъ хитеръ и страшно золь!..“

И она не замѣчала, что обманываетъ сама себя, что именно она всегда была увѣрена въ добродѣтеляхъ Бориса Сергѣевича, въ его благородствѣ. А теперь на нее нашло просто какое то затмѣніе... Чересчуръ она была измучена, чересчуръ стала всего

бояться и всюду видѣла противъ себя враждебные замыслы...

Даже ея здоровье за это послѣднее время испортилось. Она страдала безсонницей, часто по цѣлымъ ночамъ не могла сомкнуть глазъ, а если и заснегъ, то начинаютъ ей грезиться такіе страшные сны, что она просыпается вся покрытая холоднымъ потомъ, въ лихорадкѣ, въ безнадежномъ ужасѣ и отчаяніи...

И Сергѣй, и даже Николай отнеслись совсѣмъ иначе къ извѣстію о томъ, что у нихъ есть братъ, хотя и незаконный, хотя и такой, родство съ которымъ нельзя будетъ признать, но все же братъ.

Борисъ Сергѣевичъ, призвавъ ихъ обоихъ къ себѣ, откровенно объяснилъ имъ все, познакомилъ ихъ заочно съ Михаиломъ Ивановичемъ, рассказалъ всю необычайную исторію его жизни и обстоятельства, вслѣдствіе которыхъ онъ находилъ теперь излишнимъ скрывать отъ нихъ существованіе этого человека. Эти обстоятельства были: необыкновенное сходство съ ихъ отцомъ и всѣ послѣдствія непредусмотрительности Прыгунова.

— Вы сами теперь должны понять, говорилъ онъ,—что я не могу принимать таинственнаго участія въ жизни Михаила Ивановича и уже тѣмъ менѣе могу пренебречь имъ. Я его полюбилъ и надѣюсь, друзья мои, что и вы его тоже полюбите. Онъ хорошій человекъ... и вѣдь какъ бы то ни было, мы должны быть его родными.

Племянники согласились съ дядей.

— Конечно я могъ бы не звать его сюда, продолжалъ онъ,—могъ бы оставить его въ Москвѣ; но

надобно ли это? мнѣ кажется что теперь, рано или поздно, вы бы все равно узнали, а я всегда находилъ, что самое лучшее дѣйствовать прямо и открыто...

Онъ вглядывался въ племянниковъ, слѣдилъ за впечатлѣніемъ, произведеннымъ на нихъ. Конечно еслибы все это произошло въ другое время, они могутъ быть были бы поражены и, главное, было бы больше разговоровъ. Теперь же общее горе если не уменьшало, то все же измѣняло впечатлѣніе.

И Сергѣй, и Николай сначала почувствовали себя неловко; но затѣмъ рѣшили, что дядя правъ, и оба общались ему отнестись къ Михаилу Ивановичу искренно и сердечно.

— Только вѣдь, надѣюсь, не будетъ никакихъ объясненій!? проговорилъ Николай.

— Конечно, конечно! воскликнулъ Борисъ Сергѣевичъ,— если эти объясненія тяжелы для васъ, то для него еще гораздо тяжелѣе... Ну спасибо, что вы меня поддержали!.. впрочемъ я въ васъ не сомнѣвался.

Николай задумался было надъ этой новостью; но скоро позабылъ о ней, снова вернувшись къ своей тоскѣ и рѣшимости уѣхать какъ можно скорѣе. Онъ уже подалъ въ отставку и дѣлалъ всѣ приготовления къ далекому путешествію.

Куда онъ ѣдетъ—онъ еще не зналъ, онъ только такъ собирался, какъ будто ему ужъ не суждено вернуться въ Петербургъ. Онъ весь день не выходилъ изъ своего кабинета, тамъ и ночевалъ...

Сергѣй же кончилъ тѣмъ, что даже обрадовался этому неожиданному родственнику, — мысли о немъ

отвлекали его отъ всѣхъ этихъ „исторій“, какъ онъ, подбадривая себя, самъ себѣ называлъ то, что творилось теперь у нихъ въ домѣ.

Михаилъ Ивановичъ, въ первое же свое посѣщеніе дома Горбатовыхъ, увидѣлся съ братьями. Это свиданіе произошло повидимому совсѣмъ спокойно. Дядя ихъ познакомилъ какъ постороннихъ людей; они бесѣдовали другъ съ другомъ болѣе часу и Михаилъ Ивановичъ долженъ былъ сознаться, что у него славные братья.

Особенно понравился ему Сергѣй, крѣпко, крѣпко при прощаніи сжавшій его руку и не разъ во время разговора обращавшійся къ нему со своей доброй, всѣхъ побѣждавшей улыбкой.

Только Михаилъ Ивановичъ былъ все же въ концѣ концовъ смущенъ: онъ замѣтилъ что-то неладное въ этомъ домѣ; въ особенности Николай показался ему совсѣмъ страннымъ. Онъ конечно ничего не зналъ и приписалъ всѣ замѣченныя имъ странности—его появленію.

„Это и понятно! говорилъ онъ себѣ,—и наконецъ никто же не заставляетъ меня ихъ тревожить. Я не стану бывать у нихъ—вотъ и все...“

Онъ, какъ-то внутренне встрахнувшись, принялся обсуждать все что слышалъ отъ Бориса Сергѣевича, все что относилось до его „собственныхъ“ дѣлъ.

На слѣдующій же день, въ сопровожденіи дяди, онъ сдѣлалъ визитъ къ нѣкоторымъ лицамъ, отъ которыхъ зависѣлъ успѣхъ его начинавшейся дѣятельности. Онъ держалъ себя съ такимъ тактомъ, выказалъ въ обращенныхъ къ нему разговорахъ такую

ясность мысли, такой практичный складъ ума, что произвелъ на всѣхъ самое выгодное впечатлѣніе.

Онъ первый же и замѣтилъ это и рѣшилъ, что начало хорошо.

Отъ волненія онъ не спалъ почти всю ночь и то и дѣло заставлялъ себя на размышленіяхъ о томъ какіе результаты, какія выгоды и барыши можетъ принести такое-то и такое-то изъ дѣлъ, о которыхъ съ нимъ въ этотъ день говорили.

„Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ!“ — вспоминались ему слова Капитолины Ивановны; но онъ только снисходительно улыбался этому воспоминанію—и оно исчезало.

Онъ чувствовалъ, что у него вырастаютъ крылья.





XXV

Призывъ.

Покончить съ собою, насильственно прервать свою жизнь — вовсе нетрудно когда эта жизнь стала въ тягость, когда чувствуется невыносимая, мучительная усталость, когда слабы нравственные силы. Минута отчаянія, минута самозабвенія, — все какъ въ туманѣ, будто какая-то посторонняя, соблазняющая сила подталкиваетъ руку... Одинъ шагъ. одно движеніе... всего только одно, одно движеніе — и кончено!.. и уже назадъ нельзя!..

Страданіе! — но о немъ не думается и оно мгновенно, а за этимъ мгновениемъ конецъ всему — тоскѣ, усталости, слабости!..

Умереть нетрудно; но пережить извѣстныя минуты, часы и дни — иногда требуетъ отъ человѣка огромной затраты нравственныхъ силъ, и послѣ такой затраты человѣкъ выходитъ совсѣмъ преобра-

женнымъ. А потомъ, черезъ долгое время, когда уляжется старое горе, вспоминая его невольно приходится вопросъ: да откуда же взялись эти силы? какъ можно было пережить эти минуты, эти невыносимыя ощущенія? какъ они не уничтожили, не сломили организма, какъ выдержалъ мозгъ, какъ не разорвалось сердце?!

Николай переживалъ теперь именно такія минуты часы и дни. Какойнибудь благоразумный, хладнокровный человѣкъ скажетъ:

„Ужъ будто его положеніе было такъ невыносимо? что такое неудачная любовь въ борьбѣ съ долгомъ?!—мало ли у кого бываетъ неудачная любовь, мало ли кто отказывается отъ призрака счастья сознавая долгъ, а иногда даже и просто слѣдуя совѣтамъ разсудка, благоразумія!.. и люди отъ этого не ищутъ смерти, не сходятъ съ ума!.. И даже такого человѣка какъ Николай и жалѣть нечего—кто же виноватъ, что онъ рано женился, кто же виноватъ, что онъ носитъ съ какой то раздвоенной, непонятной любовью къ двумъ женщинамъ?! если онъ борется со своимъ сердцемъ, если неподдается своей страсти—ну и прекрасно, такъ и слѣдуетъ!..“

„Кто жъ виноватъ?!“—конечно никто невиновать, да никто никого и не винить,—не винилъ и самъ Николай. Дѣло не въ обвиненіи, а въ болѣзни, въ мукахъ...

Николай былъ серьезно боленъ, болѣзнь его подготавливалась годами и теперь, очевидно, долженъ былъ произойти съ нимъ кризисъ, переломъ въ его жизни. А что страдалъ онъ глубоко—въ этомъ не

могло быть сомнѣнія и въ страданіяхъ его не исключительно была причиной та стихійная сила, которая иныхъ людей даже и совсѣмъ не касается въ теченіе жизни, другихъ едва затрагиваетъ, а третьихъ домигъ,—стихійная сила, называемая страстью любви, страшно могучая сила, наполняющая всю природу, вѣчно живая, несмотря на пренебрежительныя гримасы охладѣвшихъ, остывшихъ, недоступныхъ уже для нея организмовъ, вѣчно живая распорядительница природы...

Николай уже выдержалъ первый натискъ этой силы — и устоялъ. Онъ хорошо зналъ, что не для него не разъ грезившееся ему блаженство, онъ видѣлъ ясно, что не для него даже и тѣ скромные обрывки счастья, которые казались возможными еще такъ недавно.

Съ Наташей онъ уже простился; но ему приходилось проститься со всѣми и со всѣмъ что ему было близко и дорого — и онъ все мучительнѣе теперь чувствовалъ до какой степени все это ему близко и дорого. Такъ что жъ? кто же велить? надо разстаться съ Наташей — и оставить себѣ все остальное, то есть конечно прежде всего Мари и Гришу — если они дѣйствительно дороги!

Но что жъ дѣлать, если эта здравая, повидимому, логика оказывалась для него непримѣнимой?! „Такъ значитъ онъ сошелъ съ ума!..“ Еслибы кто нибудь ему сказалъ это — онъ конечно не сталъ бы спорить...

Прошло нѣсколько дней. Онъ уже почти устроилъ свои дѣла... Еще недѣля — и онъ уѣдетъ. Онъ бы

могъ уѣхать, еслибы хотѣлъ, хоть завтра; но, самъ того не замѣчая, тянулъ время, откладывалъ день за день, несмотря на всю невыносимость жизни въ этомъ домѣ.

Онъ былъ какъ въ туманѣ, но никто теперь не могъ замѣтить его душевнаго состоянія. Его выразительное лицо, обыкновенно выдававшее малѣйшія ощущенія, теперь превратилось въ какую-то неподвижную, застывшую маску. Онъ былъ похожъ на автомата и нѣсколько оживлялся только за чтеніемъ дядиныхъ тетрадей.

Окончивъ это чтеніе онъ принесъ тетради Борису Сергѣевичу и они весь вечеръ протолежали о необъяснимыхъ явленіяхъ, о которыхъ, главнымъ образомъ, говорилось въ этихъ тетрадяхъ.

Борисъ Сергѣевичъ съ особеннымъ удовольствіемъ бесѣдовалъ теперь съ Николаемъ о такихъ вещахъ, о которыхъ никогда ни съ кѣмъ не говорилъ. Онъ рассказывалъ ему о мистическихъ грѣзахъ своей юности, о масонскихъ работахъ, объ изысканіяхъ, произведенныхъ имъ въ западной Европѣ, о читанныхъ имъ старыхъ кабалистическихъ книгахъ...

— Я имѣлъ обо всемъ этомъ уже нѣкоторое понятіе, сказалъ Николай,—но до сихъ поръ думалъ, что все это только заблужденія человѣческаго разума, невольно и вѣчно ищущаго таинственности...

— Напрасно думалъ, горячо перебилъ его Борисъ Сергѣевичъ,—что истина завернута во всевозможное негодное тряпье—это вѣрно; но кто сдумаетъ хорошенько и терпѣливо размотать это тряпье—найдетъ ее... Я самъ, во времени моей ссылки, былъ въ

этомъ отношеніи совсѣмъ разочарованъ и до такой степени спутался, что порѣшилъ даже навсегда оставить эти занятія. Такъ и сдѣлалъ на нѣсколько лѣтъ. Но затѣмъ, въ Азіи, совсѣмъ случайно, опять попалъ на ту же дорогу... я познакомился съ однимъ очень страннымъ человѣкомъ, до того страннымъ, что и до сихъ поръ не могу себѣ объяснить его... ты уже знакомъ съ нимъ по этимъ тетрадямъ...

— Нуръ Сингъ? спросилъ Николай.

— Да. Онъ индусъ и ведетъ свое происхожденіе отъ какой-то чуть не допотопной царской династіи. Я столкнулся съ нимъ во время моего путешествія по Тибету и никогда въ жизни не думалъ даже, что можно встрѣтить такого интереснаго человѣка... Каково было мое изумленіе, когда этотъ житель глубокихъ азіатскихъ дебрей совершенно ясно представилъ мнѣ положеніе нашей европейской науки! Онъ говорилъ со мной нѣсколько часовъ и мнѣ казалось, что я слышу самаго ученаго нѣмецкаго профессора, всю жизнь изучавшаго философію...

— Онъ никогда не былъ въ Европѣ? спросилъ Николай.

— Увѣрять, что нѣтъ, и откуда онъ всему этому научился, какимъ способомъ — онъ мнѣ не сказалъ и это для меня, должно быть, навсегда останется тайной... Потомъ, убѣдивъ меня въ своихъ европейскихъ знаніяхъ, онъ вдругъ выставилъ передо мною знанія совсѣмъ иного рода, уже мною почти тогда позабытыя, признанныя бредомъ. Правда, кое что изъ этихъ знаній, изъ этого бреда, навязывалось ко мнѣ снова еще до встрѣчи съ нимъ, въ Сибири. Я

былъ въ большой пріязни съ нѣкоторыми буддистскими ламами и, изучая азіатскіе языки, снова натолкнулся на когда-то занимавшія меня явленія. Но все это было очень поверхностно, все это опять таки можно было свести къ фантазіи, къ суевѣріямъ и тому подобному. А вотъ онъ, этотъ Нуръ Сингъ, говорилъ мнѣ совсѣмъ инымъ языкомъ, говорилъ какъ ученый кабалистъ... Я вспомнилъ многое изъ своихъ прежнихъ занятій, и, кажется, заинтересовалъ его. Когда онъ увидѣлъ, что я все же очень далекъ отъ его міровоззрѣнія, онъ рѣшился поразить меня — и достигъ этой цѣли. Ты знаешь изъ моихъ тетрадей о необыкновенныхъ дѣйствіяхъ, произведенныхъ въ моемъ присутствіи этимъ человѣкомъ...

— Но вѣдь никакая самая волшебная сказка, перебилъ Николай, — не сравнится съ тѣмъ, что вы описали! Вѣдь этому никто, никто какъ есть не повѣритъ!

Борисъ Сергѣевичъ усмѣхнулся.

— Конечно никто не повѣритъ! поэтому я и не намѣреваюсь не только печатать эти мои тетради, но и кому либо говорить о томъ, что въ нихъ написано. Только тебѣ одному я ихъ далъ и затѣмъ онѣ будутъ лежать подъ спудомъ и никто ихъ не увидитъ при моей жизни...

— Зачѣмъ же вы мнѣ ихъ дали? развѣ вы думаете, что только я одинъ могу всему этому повѣрить?

— Да, я это думаю. Я знаю, наприимѣръ что вотъ теперь тебѣ даже самому кажется, что все это

пустяки, что я—человѣкъ, обманутый ловкимъ фокусникомъ, а между тѣмъ внутри тебя говоритъ что-то, что можетъ быть я и не обманутъ — и тебя все это сильно интересуетъ. Вѣдь такъ? вѣдь правда?

— Да, конечно правда. Но теперь я изумляюсь—какимъ это образомъ вы уѣхали изъ Азіи, дядя? какъ вы могли покинуть этотъ міръ чудесъ? я бы на вашемъ мѣстѣ ни за что не вернулся въ Россію!

— Кто же тебѣ сказалъ, что я здѣсь навсегда останусь. Я долженъ былъ ѣхать, потому что мнѣ хотѣлось устроить своихъ крестьянъ, и потомъ—мнѣ хотѣлось увидѣть всѣхъ васъ...

— Много хорошаго увидали! со вздохомъ вырвалось у Николая.

— Но все же я не рассказываю въ своемъ пріѣздѣ сюда, онъ былъ моей потребностью, я отогрѣлъ свое застывавшее сердце... видишь ли, я неспособенъ достигнуть высшаго равнодушнаго спокойствія, которое рекомендуетъ мой другъ Нуръ Сингъ... я человѣкъ земли и у меня все еще бьется и болитъ сердце... Но что вернусь еще въ Азію — это мною уже почти рѣшено...

Вдругъ что-то новое мелькнуло въ лицѣ Николая.

Борисъ Сергѣевичъ замѣтилъ это.

— Что? все еще разбираютъ сомнѣнія? не вѣрится?

— Да, не вѣрится! рѣшительно сказалъ Николай.—Я не могъ оторваться отъ вашихъ тетрадей, читалъ ихъ какъ описанія дѣйствительности, а между тѣмъ теперь вотъ, сейчасъ, чувствую, что все

же это для меня сказка. Да и потомъ—я не вижу конечнаго смысла этой сказки.

— Вотъ чего захотѣлъ?! такъ, сразу, въ нѣсколько дней! Да вѣдь это цѣлая огромная наука, а если вѣрить Нуръ Сингу, то надо по меньшей мѣрѣ семь лѣтъ для того чтобы человѣка подпустили только къ первому порогу знанія... Онъ говоритъ, что для того, чтобы познать часть истины, недостаточно человѣческой жизни...

— Ну, вотъ видите, вотъ ужъ и начинается сказка! Что они ловки, эти азіатскіе мудрецы, въ томъ не можетъ быть сомнѣнія, очень ловки и даже, можетъ быть, знаютъ то, чего мы еще не знаемъ; но что во всемъ этомъ много шарлатанства и обмана—это, мнѣ кажется, тоже вѣрно...

— Не знаю... не знаю! повторялъ Борисъ Сергѣевичъ. — Да вотъ постой, я тебѣ дамъ еще одну книжку, то есть не книжку, а опять тетрадь, мой переводъ, твореніе одного изъ ихъ мудрецовъ. Прочти и скажи, что объ этомъ думаешь...

Получивъ новую тетрадь, Николай ушелъ къ себѣ и засталъ на своемъ письменномъ столѣ ожидавшее его письмо. Онъ взглянулъ—почеркъ незнамый. Письмо запечатано какой то замысловатой гербовой печатью съ графской короной.

„Это еще отъ кого?!" подумалъ Николай и тотчасъ же отбросилъ письмо не распечатавъ его.

Онъ раскрылъ дядину тетрадь и началъ чтеніе.

Съ первыхъ словъ мистическая философія востока увлекла его. Хотя онъ и объяснилъ дядѣ, что все это сказка, но эта сказка очень гармонировала съ его теперешнимъ настроеніемъ.

Ему казалось, что со строкъ этой рукописи ему шепчетъ какой то тихій, успокоивающій голосъ, что кто то ему общаетъ что то, подаетъ какую то неясную надежду.

И онъ жадно читалъ.

А между тѣмъ лежавшее рядомъ съ тетрадью письмо разъ, другой и третій бросилось ему въ глаза.

„Что это за печать? Что это за гербъ?“ подумалъ онъ, протянулъ руку къ письму, разорвалъ конвертъ, развернулъ письмо, взглянулъ на подпись:

„Графъ Шапскій“.

Письмо коротенькое, французское. Николай пробжалъ его глазами.

Въ письмѣ своемъ графъ Шапскій сообщалъ ему, что имъ необходимо увидѣться безъ свидѣтелей, по крайне важному для Николая дѣлу.

„Повѣрьте, писалъ Шапскій, — что еслибы это дѣло не было дѣйствительно для васъ важнымъ, я бы не обратился къ вамъ. И наше свиданіе должно быть съ глазу на глазъ. А потому я убѣдительно прошу васъ сегодня вечеромъ ко мнѣ заѣхать, я весь вечеръ буду ждать васъ“.

Николай раздражительно бросилъ письмо.

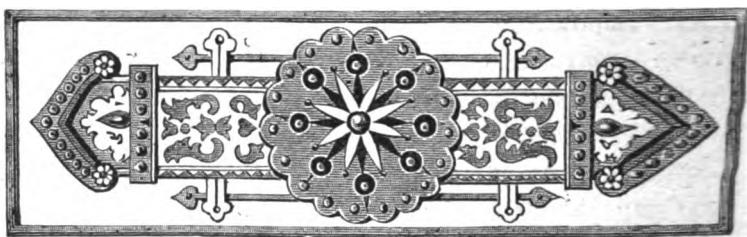
„Это еще что за таинственность? и теперь! очень мнѣ нужно... Богъ съ нимъ совсѣмъ, ничего не можетъ быть важнаго, ничего не можетъ быть серьезнаго...“

Онъ рѣшилъ, что не поѣдетъ къ Шапскому. Наживетъ въ немъ себѣ врага?—ну такъ что же, пусть. Онъ до сихъ поръ еще никогда не сдѣлалъ лиш-

няго шага для избѣжанія вражды. А ужъ теперь то—стоитъ ли объ этомъ думать! Черезъ нѣсколько дней его не будетъ въ Петербургѣ.

А главное—Щапскій ему ужъ очень не нравился. За его изысканной любезностью онъ видѣлъ что то до крайности фальшивое. Однимъ словомъ чувство, называемое антипатіей, отталкивало его отъ этого человѣка.





XXVI.

Послѣднее испытаніе.

Графъ Щапскій не любилъ останавливаться на полпути. Рѣшивъ дѣйствовать какъ можно скорѣе, онъ только ждалъ, чтобы Катерина Михайловна доставила ему деньги.

Собрать пятьдесятъ тысячъ, она не могла, но все же послала двадцать тысячъ и объяснила ему въ запискѣ, что раньше какъ черезъ два мѣсяца у нея больше не будетъ денегъ. При этомъ она просила его не ѣхать къ нимъ.

„Я больна и не выхожу изъ своихъ комнатъ и все равно никого не могу принять“.

Онъ умѣлъ читать между строкъ и эта записка убѣдила его въ томъ, что она не лжетъ, что она дѣйствительно больше денегъ дать не можетъ и что два мѣсяца придется ждать.

Онъ нашелъ что можно дать немножечко отдохнуть матери и что пришло время обратиться къ сыну.

Написавъ записку Николаю, онъ разсудилъ:

„Это конечно изумить и даже пожалуй раздражить его. Если онъ прійдетъ ко мнѣ—тѣмъ лучше, у меня конечно всего удобнѣе намъ объясниться. А можетъ быть онъ не прійдетъ—въ такомъ случаѣ вина не моя... А что если ему вздумается обратиться за объясненіями къ матери?!“

Онъ даже нѣсколько встревожился при этой мысли, но тотчасъ же успокоился и даже злая усмѣшка мелькнула на лицѣ его.

„Ничего!—что же она ему скажетъ? перепугается, станетъ выдумывать что нибудь, чтобы помѣшать нашему свиданію. Но тогда то онъ ужъ навѣрное у меня будетъ! А если и не прійдетъ и не спроситъ у матери?.. Тогда я къ нему поѣду! рѣшилъ Щапскій.—Съ такими документами, какіе у меня будутъ въ карманѣ, мнѣ открыта дорога всюду и бояться нечего. Да и чего же бояться? — встрѣчи съ этимъ Борисомъ! Во-первыхъ я могу выслѣдить когда его не будетъ дома, а потомъ я и его не испугаюсь, и уже конечно изъ всѣхъ одинъ я не потеряю самообладанія...“

Есть люди очень злые и очень безнравственные, способные на самыя жестокия, на самыя грязныя дѣянія, но все же нерѣдко медлящіе приведеніемъ ихъ въ исполненіе, не рѣшающіеся сдѣлать то, чего бы хотѣлось. Что ихъ останавливаетъ?—конечно не совѣсть, а страхъ передъ общественнымъ мнѣніемъ, передъ мнѣніемъ тѣхъ лицъ, которыя послѣ ихъ дѣянія наконецъ ихъ узнаютъ и назовутъ ихъ на-

стоящимъ именемъ. А этого настоящаго ихъ имени они трепещутъ и стыдятся. Въ нихъ говоритъ не совѣсть, но остатки „совѣстливости“, сознаніе, что хотя они и поступаютъ извѣстнымъ образомъ, но поступаютъ дурно.

У графа Щапскаго такого сознанія никогда не было. Онъ считалъ себя всегда правымъ, а что такое значить совѣстливость—объ этомъ онъ не имѣлъ никакого понятія. Пусть его называютъ люди какъ имъ угодно—все дѣло въ томъ, чтобы они не имѣли возможности дѣйствительно повредить ему.

Поэтому и не мудрено, что, прождавъ весь вечеръ Николая и не получивъ не только его визита, но и никакого отвѣта, онъ рѣшился на слѣдующій день самъ навѣстить свою жертву. Катерина Михайловна написала ему что больна и никого не принимаетъ. Прекрасно! Но онъ спроситъ прямо Николая Владиміровича и пройдетъ къ нему. А если онъ не захочетъ его принять? тогда онъ напишетъ на своей карточкѣ и пошлетъ ему нѣсколько словъ, послѣ которыхъ уже навѣрно будетъ принять.

Но этихъ словъ ему писать не пришлось, такъ какъ Николай, когда ему доложили о приѣздѣ Щапскаго, велѣлъ просить и принялъ его въ своемъ рабочемъ кабинетѣ.

— Извините меня, сказалъ онъ идя на встрѣчу Щапскому,—я получилъ вашу записку, но не могъ быть у васъ... Я очень занятъ... такъ какъ уѣзжаю.

„Глупая отговорка! подумалъ Щапскій,—могъ бы хоть написать“.

Но, взглянувъ въ лицо Николая, онъ замѣтилъ его блѣдность, его совсѣмъ разстроенный видъ.

— Вы уѣзжаете?! Куда?!

— Заграницу.

— На долго?

— Не знаю...

„Вотъ и хорошо, что не сталъ откладывать“, подумалъ Щапскій.

— Прошу васъ, садитесь, графъ! Чтѣ такое вы имѣете мнѣ передать? Я ничего не понялъ изъ вашей записки, да и не могу себѣ представить чтѣ бы это такое было...

Щапскій сѣлъ въ указанное ему кресло и на мгновеніе задумался. Онъ еще разъ взглянулъ на Николая. Его блѣдный, измученный видъ снова изумилъ его, но не возбудилъ въ немъ ни малѣйшаго признака жалости.

— Я долженъ прежде всего рассказать вамъ одну исторію, началъ онъ,—и прошу васъ выслушать ее до конца терпѣливо, вы увидите что это необходимо...

— Я васъ слушаю! усталымъ и равнодушнымъ тономъ произнесъ Николай.

Щапскій умѣлъ хорошо говорить. Его французская рѣчь была изящна и выразительна.

Онъ сталъ передавать Николаю исторію любви одной молодой замужней женщины и одного молодого человѣка. На этотъ разъ ему вовсе не надо было показывать себя въ настоящемъ свѣтѣ. Онъ конечно сегодня и не зайкнется о своихъ требованіяхъ, все это придетъ и выяснится въ свое время и даже очень скоро. Но на первый разъ онъ долженъ сыграть маленькую и очень естественную комедію, представиться нѣжнымъ отцомъ,—однимъ словомъ начать съ того, съ чего онъ началъ въ объясненіи

своемъ съ Катериной Михайловной. Она не повѣрила, потому что уже знала съ кѣмъ имѣеть дѣло. Этотъ повѣрить, а если и не повѣрить, такъ не бѣда, и тамъ будетъ видно.

Онъ рассказывалъ, тутъ же и выдумывая ее, горячую исторію фатальной страсти. И самъ того не подозрѣвая, говорилъ многое такое, что было именно теперь очень хорошо понятно Николаю.

Николай слушалъ его красивую рѣчь и невольно отдавался ея обаянію, мучительному обаянію. Онъ снова переживалъ все, черезъ что прошелъ въ это послѣднее время. Мало-по-малу онъ сталъ такъ внимательно слушать, что даже сразу ему не пришлось въ голову, чтò же это такое ему рассказываютъ, къ чему все это?

Наконецъ онъ сталъ соображать.

— Да кто же эта женщина?! крикнулъ онъ чувствуя какъ все въ немъ застыло, какъ отвращеніе и ужасъ мигомъ его наполнили.

Щапскій остановился и вынулъ изъ кармана нѣсколько писемъ.

Катерина Михайловна болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ подготовила все это. Передъ рожденіемъ Николая, капризно влюбленная въ Щапскаго, видѣвшая, что онъ начинаетъ охлаждѣвать къ ней, что она вотъ, вотъ того и гляди уйдетъ изъ ея рукъ, — онъ рѣшилась удержать его своимъ будущимъ ребенкомъ, „его“ ребенкомъ.

Послѣ объясненія съ нимъ, котораго невольнымъ свидѣтелемъ былъ Борисъ Сергѣевичъ, и видя что Щапскій не появляется у нихъ въ домѣ, она каждый день, съ настойчивостью своенравной нервной

женщины, посылала ему пламенные письма, и въ каждомъ изъ этихъ писемъ говорилось о будущемъ ребенкѣ, въ каждомъ изъ этихъ писемъ, бывшихъ въ сущности повтореніемъ одно другого, передавалась на всѣ лады исторія ихъ любви.

Она общала посвятить ему всю жизнь, бросить для него мужа, свѣтъ, Петербургъ, уѣхать за нимъ куда угодно. Каждое изъ этихъ писемъ было объясненіемъ обстоятельствъ послѣдующей ея жизни.

Щапскій взялъ съ собою всего три, четыре письма изъ предосторожности. Но достаточно было бы и одного письма—оно все открыло бы Николаю.

— Прочтите это!

Щапскій протянулъ Николаю мелко исписанные листки и рука его дрожала, голосъ его будто оборвался.

Еслибы Николай взглянулъ на него, онъ увидѣлъ бы что этотъ человекъ какъ то особенно на него смотреть—взглядъ старика долженъ былъ изображать нѣжность. Но Николай не глядѣлъ на него.

— Зачѣмъ мнѣ?! Зачѣмъ читать?! Что такое?! не своимъ голосомъ говорилъ онъ, со страхомъ и отращеніемъ отстраняя отъ себя протянутую руку съ письмами.

— Прочтите! повторилъ Щапскій.

И было ли въ его голосѣ нѣчто особенное, но вдругъ Николай, будто не по своей волѣ, а подъ какимъ то неопредѣленнымъ давленіемъ, протянулъ руку къ письмамъ, поднесъ ихъ къ горѣвшей на столѣ, у котораго они сидѣли, лампѣ и взглянулъ. Онъ тотчасъ же узналъ почеркъ матери, хорошо знакомый ему съ дѣтства по рѣдкимъ, но все же

время отъ времени получавшимся отъ нея изъ-за границы письмамъ.

„Что же это? лжетъ онъ или нѣтъ?!“

Передъ нимъ мелькнула его первая встрѣча съ Щапскимъ въ Горбатовскомъ, странный, разстроенный видъ матери, какая то таинственность, бывшая въ этомъ посѣщеніи, — однимъ словомъ все то, на что онъ не обратилъ вниманія, занятый собою и своимъ горемъ, но что теперь не могло не броситься ему въ глаза.

„Господи! лучше ужъ разомъ...“

Онъ развернулъ первое письмо, прочелъ и уронилъ его на полъ.

Нѣсколько мгновений онъ ничего не понималъ и не чувствовалъ, будто ударъ, страшный ударъ. Разразился надъ нимъ и оглушилъ его. Когда онъ очнулся отъ этого удара, то увидѣлъ передъ собою Щапскаго въ странной, неестественной позѣ, какъ будто стремящагося къ нему, какъ будто желающаго вотъ, вотъ схватить его и „взять себѣ“, да, именно: „взять себѣ.“

И этотъ Щапскій, въ которому онъ съ первой же минуты почувствовалъ антипатію, теперь былъ ему не только антипатиченъ, а просто страшенъ, отвратителенъ, прежде всего отвратителенъ!

— Je suis votre père... vous êtes mon enfant!.. между тѣмъ патетически шепталъ Щапскій.

Но Николай уже и безъ этого его шопота понималъ что все это значитъ. И въ то же время этотъ человѣкъ казался ему все страшнѣе, все отвратительнѣе.

А Щапскій продолжалъ:

— Я давно, давно уже могъ бы открыть это тебѣ, дорогое дитя мое, но все не рѣшался... Мнѣ было такъ тяжело... я не хотѣлъ тебя тревожить... не хотѣхъ заставлять тебя переживать эти тяжелыя минуты... Но вотъ не стало моихъ силъ... Я тебя увидѣлъ, тамъ, въ Горбатовскомъ, увидѣлъ на мгновеніе... мнѣ хотѣлось принять тебя въ свои объятія... вѣдь ты одинъ, одинъ у меня на свѣтѣ! и я не смѣлъ... Ты былъ для меня чужимъ...

Николай неподвижно, съ опущенными глазами, съ безжизненнымъ лицомъ стоялъ передъ нимъ.

Онъ продолжалъ:

— Только тогда я понялъ весь ужасъ моего положенія. Быть можетъ я виноватъ, да, я виноватъ, но вѣдь это было заблужденіе молодости, это была фатальная страсть, въ которой человѣкъ не властенъ... И вотъ какое ужасное за нее наказаніе!.. Я старъ, я одинокъ... у меня есть сынъ... мой... мой сынъ, единственный, дорогой, любимый — и онъ меня не знаетъ!.. Дитя мое, прости старика... прости мою слабость... Но это было выше силъ моихъ... я не могъ... я долженъ былъ все открыть тебѣ... Можетъ быть ты отъ меня не отвернешься... Мы будемъ скрывать отъ свѣта нашу тайну... Но ты будешь знать, что у тебя отецъ, для котораго ты все, и я... я не буду одинокъ въ мои послѣдніе годы, и, умирая, я умру съ отрадной мыслью, что добрая сыновняя рука закроетъ мнѣ глаза... Прости же меня, прости!.. и обними, дай мнѣ прижать тебя къ сердцу!..

Николай вздрогнулъ и поднялъ на него горячіе глаза. Онъ хотѣлъ говорить, но языкъ его не слу-

шался. Онъ только инстинктивно все дальше и дальше отодвигался отъ этого человѣка, простиравшаго къ нему объятія.

— Ты уходишь отъ меня? ты не хочешь простить отца?.. у тебя нѣтъ къ нему жалости?! шепталъ Щапскій.

Николай получилъ наконецъ способность говорить.

— Отецъ!! проскрежеталъ онъ.— Вы у меня все отняли и вы... вы мнѣ отецъ?! что вы сдѣлали... гдѣ вы были?.. кто вы, чтобы я могъ назвать васъ отцомъ?.. я васъ не знаю!.. вы отецъ!.. еслибы вы были мнѣ отецъ, вы не пришли бы теперь ко мнѣ... вы бы знали, что вы со мной дѣлаете... вы бы меня пожалѣли... Но мнѣ не нужно вашей жалости... я васъ не знаю и не хочу знать... уйдите отъ меня, уйдите!.. оставьте меня скорѣе... сейчасъ... я васъ не знаю—слышите... не знаю!.. вы не отецъ мнѣ!..

Какъ отъ ужаснаго привидѣнія онъ отстранялся отъ этого человѣка.

— Уйдите! крикнулъ онъ въ послѣдній разъ и такая сила прозвучала въ его голосѣ, что Щапскій попятился къ двери.

Онъ понялъ, что оставаться больше не можетъ, что говорить теперь нельзя. Онъ уходилъ. Но уходя онъ бросилъ Николаю послѣднюю фразу:

— А, я не отецъ!.. ты отъ меня отказываешься!.. Ну такъ увидишь, я заставлю тебя признать меня...

Онъ скрылся.

Но Николаю еще долго казалось, что онъ видитъ передъ собою это ужасное лицо, слышитъ этотъ отвратительный голосъ, чувствуетъ присутствіе, давящее присутствіе этого человѣка.

И долго онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, не въ силахъ будучи собраться съ мыслями.

„Отецъ... онъ... онъ отецъ!“ громко наконецъ крикнулъ онъ.

Его взглядъ упалъ на столъ, туда, гдѣ должны были лежать письма, но писемъ не было—Щапскій не позабылъ унести ихъ съ собою.

„И она... она мать моя?!“

Вдругъ ему пришло въ голову:

„Что же—развѣ я одинъ, вѣдь много такихъ... это часто бываетъ...“

Онъ вспомнилъ того человѣка, котораго до сихъ поръ считалъ своимъ отцомъ.

„Вѣдь я никогда не любилъ его! Да любилъ ли я когданибудь и мать? Я всегда долженъ былъ ломать себя съ нею... при ней мнѣ тяжело... всегда мнѣ было тяжело...“

Снова невыносимое, отвратительное ощущеніе охватило его. Онъ снова повторялъ:

„Онъ... онъ—отецъ! Этотъ ужасный человѣкъ... да кто же я?!“

Онъ чувствовалъ одно—что этого пережить нельзя и не слѣдуетъ.

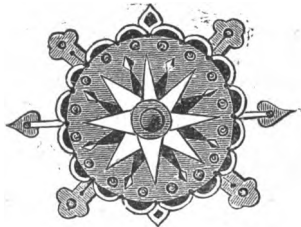
„Вотъ къ чему все клонилось, вотъ въ чемъ исходъ... вотъ что значитъ вся эта жизнь... вся эта тоска?!“

У него кружилась, туманилась голова, подкашивались ноги. И вдругъ ему ясно послышалось какъ чей то голосъ надъ самымъ его ухомъ произнесъ:

„Конечъ! конечъ!“

Онъ даже оглянулся — но никого не было. Онъ былъ одинъ въ тихой обширной комнатѣ, блѣдно освѣщаемой большой лампой подъ абажуромъ.

Со всѣхъ сторонъ его будто стало завлакивать чѣмъ то невидимымъ, какою то сѣтью и стало тянуть куда то. Онъ хотѣлъ бороться, хотѣлъ удержаться на мѣстѣ—и не могъ, и двинулся шатаясь къ своему бюро, открылъ одинъ изъ многочисленныхъ ящиковъ, вынулъ свой всегда заряженный револьверъ, потомъ подошелъ къ столу, къ лампѣ, осмотрѣлъ револьверъ, взвелъ курокъ и приподнял руку...





XXVII.

С л у ч а й.

Никакое воображеніе не можетъ придумать тѣхъ, повидимому совсѣмъ невѣроятныхъ, стеченій обстоятельствъ, какія представляетъ жизнь, если только внимательно въ нее вглядѣться. Всего легче назвать эти необыкновенныя стеченія обстоятельствъ случаемъ—„случай—и все тутъ!“ и можно на этомъ успокоиться.

Но найдется не мало людей во всѣхъ слояхъ общества, во всѣхъ странахъ, на всѣхъ ступеняхъ умственнаго развитія, которые не признають случая и не вѣрятъ въ это бессмысленное слово. Одни изъ такихъ людей случай замѣняютъ понятіемъ Божества, Провидѣнія, другіе указываютъ на психическіе законы, еще до сихъ поръ очень мало изслѣдованные нами, но все болѣе и болѣе такъ сказать на-

вязывающіеся на изслѣдованія, останавливающіе на себѣ вниманіе непредубѣжденнаго наблюдателя жизни.

Безъ всякаго сомнѣнія большинство человѣческихъ организмовъ остаются глухи и почти нечувствительны ко всему, что касается области духовной жизни. Но врядъ ли найдется такой человѣкъ, который бы могъ сказать искренно, что ни разу не встрѣтился съ чѣмъ нибудь страннымъ, непонятнымъ, необъяснимымъ.

И съ другой стороны, бесспорно существуютъ люди, и ихъ гораздо больше чѣмъ можетъ показаться съ перваго раза, которые способны ощущать и даже понимать то, чего другіе не ощущаютъ и не понимаютъ.

Къ числу такихъ людей принадлежалъ и Борисъ Сергѣевичъ. Съ нимъ иной разъ, съ самаго дѣтства, творились странныя вещи и онъ поневолѣ вѣрилъ, на примѣръ, въ предчувствіе.

Вотъ и теперь съ нимъ случилась странная вещь, случающаяся однако съ весьма многими.

Онъ сидѣлъ у себя погруженный въ невеселыя мысли, какъ вдругъ почувствовалъ необыкновенное безпокойство. Безпокойство это возросло къ каждой минутой, переходило въ тоску и наконецъ даже въ чисто физическое, мучительное ощущеніе въ сердцѣ. Онъ бросилъ книгу, которую читалъ; нѣсколько разъ тревожно прошелся по комнатѣ. Но тоска и безпокойство не проходили и онъ наконецъ понималъ, что это не спроста, что есть что то особенное, что теперь совершается или готовится совершиться что то важное и близкое ему, какое то несчастье. Вѣдь это ужъ не въ первый разъ онъ испытывалъ именно такое ощущеніе. Это предчувствіе бѣды и оно его никогда не обманывало.

Не мудрено теперь быть бѣдѣ, бѣда виситъ въ воздухѣ, много бѣдъ уже собралось надъ этимъ кровомъ. Но что же еще? Что еще новое?!

Внезапно ему пришла мысль о Николаѣ, ему захотѣлось во что бы ни стало сейчасъ, какъ можно скорѣе его увидѣть.

Онъ поспѣшно всталъ и скорымъ шагомъ отправился въ комнаты Николая.

Еслибы онъ не напелъ его тамъ, еслибы оказалось, что онъ уѣхалъ—онъ бы кажется отправился его розыскивать по всему городу.

Онъ подошелъ къ двери кабинета и быстро, будто его подталкивало что то, распахнулъ эту дверь. Передъ нимъ стоялъ Николай, освѣщенный блѣднымъ свѣтомъ лампы, съ револьверомъ въ рукѣ, съ помертвѣлымъ лицомъ и безумными, ничего не видящими глазами.

У Бориса Сергѣевича захватило духъ. Еще секунда, другая—и онъ бы опоздалъ! Онъ подбѣжалъ къ Николаю, схватилъ его за руку, вырвалъ у него револьверъ.

Тотъ очевидно не понималъ что такое происходитъ.

Но вотъ онъ узналъ дядю, тяжелый вздохъ вырвался изъ груди его.

— Зачѣмъ вы мнѣ помѣшали!? дико озираясь прошепталъ онъ.

— Николай, другъ мой, опомнись, приди въ себя, собери все мужество, будь человѣкомъ!..

Онъ самъ не зналъ, что говоритъ, но говорилъ не выпуская Николая. Онъ заставилъ его сѣсть и самъ сѣлъ рядомъ съ нимъ и продолжалъ говорить, уговаривать, успокаивать. Крѣпко его обнялъ.

Мало-по-малу Николай сталъ приходить въ себя, сталъ какъ то отогрѣваться отъ этой искренней, горячей ласки, отъ этого участія...

— Да знаете ли вы — кто былъ здѣсь?! выговорилъ онъ.

— Кто?! Кто былъ?!

— Былъ мой... мой отецъ!!

— Успокойся! еще вѣжливѣе, еще крѣпче его обнимая говорилъ Борисъ Сергѣевичъ. — Ты усталъ, ты измученъ, у тебя нервы разстроились... тебѣ померещилось...

— Не померещилось... не съ того свѣта отецъ... другой отецъ...

Борисъ Сергѣевичъ вздрогнулъ.

— Одумайся, очнись! что ты говоришь?!

— Спросите мою мать, пусть она вамъ скажетъ, кто мой отецъ. Я вамъ чужой!.. не родной... О Боже! простоналъ онъ хватаясь за грудь.

— Да это ложь!.. не вѣрь... не вѣрь!..

— Онъ показалъ мнѣ ея письма... и потомъ... я самъ... нѣтъ... я знаю что это правда... зачѣмъ вы меня остановили?!

Борисъ Сергѣевичъ припомнилъ комедію, которую разыграла съ нимъ въ Знаменскомъ по его пріѣздѣ Катерина Михайловна, и теперь самъ сталъ играть ту же комедію, воспользовавшись ея урокомъ.

Онъ сдѣлалъ все чтобы разубѣдить его. Онъ не пожалѣлъ его матери, да еслибы и захотѣлъ, то не могъ бы доказать ея невинность, но она сама ему дала возможность поселить въ умѣ Николая сомнѣніе, и Борисъ Сергѣевичъ не успокоился до тѣхъ поръ, пока не увидѣлъ, что сомнѣніе это поселено

и что Николай ухватился за него какъ за послѣднее спасеніе.

Наконецъ Борисъ Сергѣевичъ убѣдился, что опастись теперь нечего, что припадокъ слабости прошелъ и что Николай даже самъ стыдится этого припадка.

— Я даю вамъ слово, сказалъ Николай, — что никогда не допущу въ себѣ этой трусости... Не бойтесь за меня, я даю вамъ слово!.. я буду жить... но какъ жить? гдѣ? чѣмъ?! Помогите мнѣ... Куда мнѣ скрыться?! Куда уйти отъ всего и отъ всѣхъ?..

Борисъ Сергѣевичъ уже самъ рѣшилъ, что нечего теперь требовать отъ Николая невозможнаго.. А это невозможное заключалось въ томъ, чтобы онъ уѣхалъ изъ Петербурга съ женою и сыномъ—этого онъ не вынесетъ... нужно время — время сдѣлаетъ свое дѣло. А теперь ему дѣйствительно необходимо окунуться въ какую нибудь совсѣмъ новую, совсѣмъ иную жизнь, пережить совсѣмъ неожиданныя впечатлѣнія.

— Уѣзжай не на западъ, а на востокъ! сказалъ ему онъ. — Я не даромъ тебѣ далъ мои тетради. Узжай туда, гдѣ можетъ быть еще до сихъ поръ не ступала нога европейца... Тебя тамъ ждутъ...

— Кто ждетъ?!

— Не далѣе какъ сегодня я получилъ странное письмо... Постой, я принесу тебѣ его...

Онъ ушелъ и вернулся съ письмомъ на англійскомъ языкѣ. Это писалъ Нуръ Сингъ. Письмо было кратко и въ немъ значилось:

„Вы ушли, но вы скоро пришлете ко мнѣ 6

каго вамъ человѣка и онъ найдетъ здѣсь то, что ему надо. Я жду его...”

— Вы ничего обо мнѣ ему не говорили и не писали? спросилъ Николай.

— Не говорилъ—потому что когда его видѣлъ— не зналъ еще тебя... И не писалъ. Разсуди самъ, еслибы я написалъ ему послѣ нашей встрѣчи съ тобою, то врядъ ли бы ужъ могъ получить отъ него отвѣтъ. Но если и можно бы было получить отвѣтъ, я даю тебѣ слово, что по возвращеніи въ Россію не только о тебѣ, но и совсѣмъ не писалъ ему. Еслибы я не зналъ его, то это письмо меня очень бы удивило, но теперь я не удивляюсь. Поѣзжай и можетъ быть мы съ тобою встрѣтимся за много тысячъ верстъ отсюда.

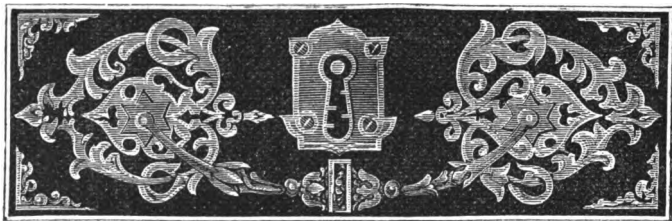
— Да, я поѣду къ вашему Нуръ Сингу—видно это судьба моя!..

— Мнѣ кажется онъ вылечить тебя отъ тоски и примирить съ жизнью, сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Я ничего не знаю и даже не стану ни о чемъ думать, сказалъ Николай, — но это такъ далеко... такъ далеко, что только туда и лежитъ мнѣ дорога!..

Они стали говорить объ этой дорогѣ и Николай рѣшилъ, что теперь уже не будетъ откладывать отъѣзда, что выѣдетъ черезъ два дня.





XXVIII.

Что тамъ?

Графъ Щапскій, непризнанный и выгнанный сыномъ, не чувствовалъ ничего кромѣ злобы. Но и злобу, какъ и всѣ свои ощущенія, онъ умѣлъ скрывать.

„Нахальный, надутый дуракъ! подумалъ онъ про Николая,—и вѣдь есть люди, которые считаютъ его умнымъ! Еслибы у него была хоть капля смысла, развѣ бы онъ поступилъ такъ?! Вѣдь не могъ же онъ вообразить, что я все выдумалъ, что я не отецъ его... Письма слишкомъ ясны, слишкомъ краснорѣчивы, и наконецъ слова его и видъ показывали, что онъ повѣрилъ... Глупецъ! могъ бы припрятать на часъ, другой свою надутую спѣсь, могъ бы притвориться... только бы выигралъ...”

Никакъ не могъ понять графъ Щапскій того, что

должно было произойти въ душѣ Николая, всего этого ада, который онъ въ немъ поднялъ.

„Ему же хуже, ему же хуже!“ повторялъ онъ про себя.

Но скоро онъ долженъ былъ сознаться, что Николай все же заставилъ его нѣсколько опѣшить, что дѣло повернулось вовсе не особенно хорошо, и что „тѣмъ хуже для него“—только фраза.

Онъ видѣлъ теперь, что еще разъ обращаться прямо къ Николаю—ужь печего и думать, ничего изъ этого не выйдетъ. Да и вотъ вѣдь онъ ѣдетъ—куда ѣдетъ? надолго ли?..

„А все же, въ концѣ концовъ, онъ будетъ вынужденъ выплачивать мнѣ пенсію! я на него по-дѣйствую черезъ мать...“

Онъ на слѣдующее же утро послалъ Катеринѣ Михайловнѣ письмо, въ которомъ объявлялъ, что былъ у нихъ наканунѣ и все открылъ сыну, такъ какъ она не желаетъ исполнить своихъ обязательствъ. „Этотъ молодой человѣкъ“ очень дурно къ нему отнесся и оскорбилъ его такъ, что онъ забыть этого не въ состояніи. Онъ рѣшилъ все кончить тихо и мирно, „между своими“, но если съ нимъ такъ обращаются, если не признаютъ его „естественныхъ“ правъ,—то онъ ничего не скроетъ отъ общества. Катерина Михайловна должна знать, что онъ выше всякихъ предразсудковъ, что онъ презираетъ общественное мнѣніе и что ему нѣтъ никакого дѣла до того что будутъ говорить собственно о немъ. Но можетъ быть ей и ея сыну это не все равно. Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ она его обманываетъ, зачѣмъ ея сынъ оскорбилъ его?

Но даже несмотря на этотъ обманъ и оскорбленіе, онъ и теперь готовъ на уступку. Онъ будетъ молчать, если они исполнять свою прямую относительно него обязанность: помогутъ ему расплатиться съ долгами, которыхъ у него на триста тысячъ рублей, а затѣмъ дадутъ ему возможность пристойно жить, съ помощью ежегодной пенсіи въ двадцать пять тысячъ рублей. Незначительность этой суммы, при ихъ состояніи, показываетъ, что онъ не желаетъ злоупотреблять своими правами...

Онъ не задумался послать это письмо. Она на-вѣрное его уничтожить...

„Ну, и пусть ихъ! даже лучше если онъ съ ними развяжется... эти сцены, комедіи, переписка—ему надобѣдаютъ... Сдѣлать форменное условіе и отдать письма—вотъ и все...“

Катерина Михайловна, получивъ письмо, въ первую минуту просто не повѣрила глазамъ своимъ.

„Да нѣтъ! этого не можетъ быть!“

Но вѣдь она знала Щапскаго, она должна была ему повѣрить.

„Все такъ и есть—его угрозы—не шутки, онъ на все способенъ!.. Совершилось таки самое страшное, чего она боялась... Но самое ли страшное? онъ грозить послѣднимъ!..“

Катерина Михайловна схватила это письмо, скомкала его, подошла къ топившемуся камину и бросила письмо въ огонь.

„Какъ же это?.. что же Николай?!“

Все рушится, все, со всѣхъ сторонъ...

„Вѣдь вотъ и онъ, какъ и Сергѣй, вышелъ въ

отставку, собрался уѣзжать... еще бы два, три дня, онъ уѣхалъ бы—ничего бы этого не было... Извергъ поспѣшилъ!.. Николай... Николай!..“

Въ ней пробудилось что-то похожее на любовь къ этому несчастному сыну, заговорила наконецъ совѣсть.

Она стояла блѣдная, похолодѣвшая... потомъ обѣими руками схватила за грудь. Ей спирало дыханіе, въ глазахъ мутилось. Холодъ, страшный холодъ леденилъ ее всю, проникалъ, какъ ей казалось, до самыхъ костей...

Вся комната, всѣ предметы закружились передъ нею. Она едва дотащила до советки, дернула ее и почти безъ чувствъ упала въ кресло.

Когда на звонокъ вбѣжала ея старшая горничная, то перепугалась увидя барыню въ такомъ положеніи.

Катерина Михайловна слабымъ голосомъ приказала перенести себя на кровать и раздѣть. Послали за докторомъ. Черезъ два часа по всему дому было извѣстно, что Катерина Михайловна серьезно больна. Въ ея спальнѣ перебивали всѣ, за исключеніемъ Николая. Онъ зналъ что она больна; но не шелъ—и она не звала его...

На слѣдующее утро Николай долженъ былъ ѣхать. Всѣ распоряженія уже были сдѣланы, все было приготовлено. Онъ ѣхалъ теперь въ Москву, а оттуда дальше и дальше, на югъ и на востокъ. Онъ не бралъ съ собою никого изъ прислуги, ѣхалъ совсѣмъ одинъ.

Весь вечеръ онъ провелъ у себя запершись, пи-

саль что-то, писалъ нѣсколько часовъ сряду. Наконецъ у него стало рябить передъ глазами. Часовая стрѣлка показывала половину второго. Онъ положилъ перо, взглянулъ на нѣсколько большихъ листовъ почтовой бумаги, исписанныхъ имъ—и потомъ, порывистымъ движеніемъ руки, разорвалъ всѣ эти листы и бросилъ ихъ на догоравшіе угли камина.

Черезъ нѣсколько секундъ листки вспыхнули и скоро отъ нихъ осталась только легкая, коробившаяся кучка пеплу, съ пробѣгавшими по ней искорками.

Это было послѣднее его прощаніе съ Наташей. Поддаваясь невольному движенію, онъ излилъ передъ нею все, чѣмъ было полно его сердце. Это была горячая, страстная, мучительная рѣчь. Это была исповѣдь тоски и мрака, наполнявшихъ его душу. Онъ не могъ не высказать ей всего этого. Но когда написалъ, когда все было кончено, когда сказалось послѣднее слово муки и страсти, — онъ внезапно рѣшилъ, что не оставитъ ей листовъ этихъ, что не долженъ, не смѣетъ...

Онъ провелъ рукою по своему блѣдному лбу, открытому каплями холоднаго пота, зажегъ свѣчку и, неслышно ступая мягкими туфлями по коврамъ, вышелъ изъ комнаты.

Въ домѣ все было тихо—ни звука, ни шороха. Онъ прошелъ нѣсколько пустыхъ комнатъ и остановился передъ дверью въ спальню. Онъ уже нѣсколько дней не переступалъ порога этой комнаты. Онъ отворилъ дверь и вошелъ, поставилъ свѣчку на маленькій рабочій столикъ Мари.

„Она спитъ! подумалъ онъ,—спитъ! хорошо что можетъ спать!“

Онъ подошелъ къ кровати. Слабый отблескъ свѣчи и лампы озарялъ лицо Мари. Она спала крѣпко, но лицо ея было теперь блѣдно, выраженіе не то грусти, не то усталости застыло на немъ.

Николай склонился надъ нею, нѣсколько мгновеній глядѣлъ на нее. Она мѣрно дышала. У него защемило сердце. Ему невольно вспомнилось иное время, давно прошедшее, невозвратное время...

Тихая слеза скатилась съ его щеки и упала на красивую, блѣую руку Мари.

Онъ припалъ къ этой рукѣ дрожащими губами, потомъ тихо отошелъ отъ кровати, взялъ свѣчу и вышелъ.

Но онъ не вернулся въ свой рабочій кабинетъ, который былъ теперь и его спальней. Онъ пошелъ дальше длиннымъ коридоромъ и отворилъ дверь въ комнату, гдѣ помѣщался Гриша съ Володей и гувернеромъ.

И здѣсь была полная тишина; французъ и мальчики крѣпко спали.

Николай подошелъ къ кровати Гриши и опустился передъ нею на колѣни, приложивъ свое мокрое отъ незамѣчаемыхъ имъ слезъ лицо къ разгорѣвшейся щекѣ мальчика.

Гриша шевельнулся, потянулся, проговорилъ что то невнятное. Николай перекрестилъ его и хотѣлъ уже выйти, какъ вдругъ замѣтилъ Володю, который сидѣлъ на своей кровати и большими, широко раскрытыми, изумленными глазами глядѣлъ на него.

— Дядя, это вы?! даже съ испугомъ выговорилъ онъ.

Николай подошелъ къ нему, крѣпко его обнялъ и поцѣловалъ.

— Ты знаешь—я уѣзжаю завтра... прощай, будь здоровъ, учись хорошенько, будь всегда добрымъ... будь друженъ съ Гришей... люби его!.. общаешься?

Володя обвилъ своими тонкими рученками шею дяди и заплакалъ.

— Я очень люблю Гришу и всегда буду любить его! сквозь слезы прошепталъ онъ. — Дядя, милый, зачѣмъ вы уѣзжаете! возвращайтесь скорѣе!..

Николай перекрестилъ и его—и почти выбѣжалъ изъ комнаты.

Но и теперь онъ не вернулся къ себѣ, а сошелъ въ нижній этажъ, къ Борису Сергѣевичу. Старикъ не спалъ и видимо поджидалъ его — и еще часа два проговорили они. Борисъ Сергѣевичъ далъ ему письма къ своимъ азіатскимъ друзьямъ, далъ послѣднія наставленія...

Николай такъ и не дожился въ эту ночь и утромъ выпелъ съ потухшими глазами, съ осунувшимся и постарѣвшимъ лицомъ. Но онъ повидимому былъ спокоенъ. Онъ отправился въ спальню матери — съ ней проститься.

Онъ въ первый разъ еще ее видѣлъ послѣ ужаснаго появленія Щапскаго. Катерина Михайловна лежала на кровати совсѣмъ съжившаяся, маленькая. При видѣ сына она закрыла глаза и протянула ему руку.

— Уѣзжаешь?! прошептала она.

— Да...

— Ну прощай... да хранить тебя Богъ!

Онъ наклонился къ ея рукѣ и прикоснулся къ ней холодными губами.

Она перекрестила его, съ трудомъ приподнялась, поцѣдовала его въ лобъ.

— Прощай, больше не увидимся! разслышалъ онъ ея шопотъ.

„Вѣдь мать! мать!!“ отдалось ему въ сердце.

Онъ еще разъ взялъ ея руку и припалъ къ ней долгимъ поцѣлуемъ.

Рыданія вырвались изъ груди Катерины Михайловны.

„Прости! прости!!“ хотѣла она сказать ему; но губы ея только беззвучно шевелились.

Онъ вышелъ...

Мари простилась съ мужемъ повидимому спокойно; но потомъ заперлась у себя и плакала, горько, тихо плакала, какъ никогда не плакала въ жизни.

Николай прошелъ въ дѣтскія комнаты, торопливо, быстро простился съ дѣтьми, даже будто не взглянулъ на оторопѣвшаго Гришу...

Борисъ Сергѣевичъ и Сергѣй ѣхали съ нимъ до первой станціи. Наташа вышла едва держась на ногахъ. Они ни слова не сказали, и только въ послѣднюю секунду, когда ихъ руки разжимались, они взглянули другъ на друга.

— Прощай! какъ безумный крикнулъ Николай и кинулся отъ нея.

Вотъ его нѣтъ... издали замираютъ шаги... все пусто. Наташа схватилась за сердце. Она почувствовала, что тамъ, въ груди у нея оборвалось что-то. Она упала въ кресло, опустила голову, и такъ осталась часъ, другой, третій... Въ комнату входили, къ ней обращались; но она ничего не слышала...

Въ петербургскомъ большомъ свѣтѣ потолковали о непонятныхъ событіяхъ въ семьѣ Горбатовыхъ. Дѣйствительно — въ этомъ домѣ происходило что то странное. Зачѣмъ это Николай Владиміровичъ вышелъ въ отставку?!

Старшій братъ ему не примѣръ, тотъ хоть и хорошій малый, но лѣнивый и пустой. А вѣдь у младшаго способности, онъ сталъ выдѣляться, на него обратили вниманіе. И хотя, благодаря его рѣзкости и невоздержности на языкъ, у него нашлись враги, люди нерасположенные, не раздѣляющіе его взглядовъ, находящіе эти взгляды даже вредными по „теперешнему времени“; но были также и друзья, единомышленники, теперь смущенные и негодовавшіе, что онъ покинулъ и ихъ, и дѣло.

Ему открывалась, какъ бы то ни было, прочная карьера, и онъ, конечно, зналъ это. И вдругъ все бросилъ, взялъ чистую отставку — и уѣхалъ!

Куда уѣхалъ? — никто не зналъ. О немъ не было ни слуху, ни духу.

Подъ предлогомъ болѣзни Катерины Михайловны горбатовскій домъ былъ закрытъ для всѣхъ — тамъ никого не принимали. Мари и Наташа не показывались въ обществѣ.

Кое кто видалъ только изрѣдка Сергѣя, да и то мелькомъ. Онъ показывался и исчезалъ, и ничего нельзя было отъ него добиться. Затѣмъ стало извѣстно, что онъ совсѣмъ погибшій человѣкъ. Время отъ времени о немъ рассказывали самыя скандалезныя исторіи — такъ, на примѣръ, онъ не стыдился нѣсколько разъ показывался на Невскомъ и въ театрахъ подъ руку съ хорошенькой особой, долго жившей у него

въ домѣ, въ качествѣ гувернантки его дѣтей, и многимъ хорошо извѣстной—теперь она жила „сама по себѣ“, и онъ тратилъ на нее большія деньги.

Онъ кутилъ напропалую, сталъ даже пить, а что всего хуже, предался страсти къ карточной игрѣ, да и какой игрѣ—азартной. Рассказывали, что онъ проигрываетъ огромныя суммы...

Впрочемъ о Горбатовыхъ поговорили немного и, мало-по-малу, стали о нихъ забывать. Семья эта уже давно не играла видной роли въ обществѣ. Конечно старикъ Горбатовъ, могъ бы поддержать, еслибы хотѣлъ, блескъ стараго дома; но онъ очевидно не хотѣлъ этого. Онъ велъ уединенную жизнь и видался только съ немногими старыми друзьями...

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Проболевъ всю зиму, къ веснѣ Катерина Михайловна почувствовала себя совсѣмъ дурно. Она уже не строила никакихъ плановъ, ни на что не надѣялась. Она превратилась почти совсѣмъ въ автомата, и врядъ ли хорошенько понимала, чтó кругомъ нея дѣлается. Одно только, что она понимала, что чувствовала—это ужасъ къ графу Шапскому.

Еще осенью, черезъ нѣсколько недѣль по отъѣздѣ Николая, она позвала къ себѣ Бориса Сергѣевича и рассказала ему о своихъ вынужденныхъ сношеніяхъ съ „этимъ человѣкомъ“, и о его требованіяхъ.

Борисъ Сергѣевичъ ее успокоилъ, обѣщавъ все устроить, и дѣйствительно, какъ ему ни было это противно, онъ рѣшился отправиться къ Шапскому.

Тотъ между тѣмъ видѣлъ, что обстоятельства повернулись противъ него: Николая нѣтъ въ Петер-

бургъ, Катерина Михайловна умираетъ... если умереть—кто же выдастъ ему деньги, кто подпишетъ обязательство выплачивать ему пенсію?! вотъ она уже на два его письма не даетъ никакого отвѣта...

Онъ считалъ это дѣло, такъ хорошо, какъ ему казалось, устроившееся было, уже совсѣмъ потеряннымъ, когда къ нему явился Борисъ Сергѣевичъ. Поэтому неудивительно, что онъ оказался очень сговорчивымъ и, получивъ отъ щедротъ Горбатова не сотни тысячъ, а всего двадцать, отдалъ ему всѣ письма.

Борисъ Сергѣевичъ принесъ больной все, что получилъ отъ Щапскаго.

Своей слабой, худой рукою она сжала его руку и прошептала:

„Теперь я умру спокойно!“

Но все же спокойно не пришлось ей умереть. Въ послѣдніе дни своей жизни она очень мучилась, металась въ бреду, ее томили и душили страшные кошмары. Она никого не узнавала и разговаривала съ людьми, которыхъ уже давно не было на свѣтѣ...

Мари по отъѣздѣ Николая сначала хотѣла было ѣхать съ Гришей за границу; но потомъ, по совѣту тетки, осталась въ Петербургѣ...

Въ ней стала развиваться религіозность, которой прежде совсѣмъ не было замѣтно. Французскіе романы были навсегда забыты и ихъ замѣнили книги духовнаго содержанія. Вмѣстѣ съ этимъ она начала благотворительную дѣятельность — и помогала она бѣднякамъ не холодно, не „по принципу“, а

вкладывая въ это дѣло свое пробудившееся и страдавшее сердце...

Часто послѣ встрѣчъ съ Наташей, послѣ разговоровъ съ нею, Борисъ Сергѣевичъ возвращался къ себѣ совсѣмъ разстроенный. Онъ ясно видѣлъ, что мало хорошаго: Наташа увядала и слабѣла.

Еслибы послѣ всего, что ей пришлось пережить, она вынесла какую нибудь серьезную острую болѣзнь, то можетъ быть и вернулась бы къ жизни. Такъ по крайней мѣрѣ нерѣдко бываетъ. Но она не заболѣла тогда.

Со дня отъѣзда Николая въ ней никто не могъ даже ничего особеннаго замѣтить—напротивъ, она казалась спокойной, настроеніе ея духа было всегда ровное, она ко всѣмъ и ко всему относилась кротко и терпѣливо...

Но жизнь ее томила, жизнь потеряла для нея всякій смыслъ...

Наконецъ ко всему присоединилось еще поведеніе Сергѣя. Хотя она и не знала о немъ многого; но все же до нея кое-что достигало. Ей было извѣстно, что онъ возвращается домой часто только къ утру, а то и совсѣмъ не ночуетъ дома. Она знала, что дядя уже нѣсколько разъ заплатилъ его долги, случайно узнавъ про нихъ.

Послѣ смерти Катерины Михайловны, Мари съ Гришей остались въ Петербургѣ, а Борисъ Сергѣевичъ, Наташа и дѣти Сергѣя перебрались въ московскій домъ съ тѣмъ, чтобы лѣто провести въ Горбатовскомъ.

Сергѣй общалъ тоже на все лѣто пріѣхать въ деревню.

Наташа слабѣла съ каждымъ днемъ; но Борисъ Сергѣевичъ все же не терялъ надежду, что деревенскій воздухъ, въ соединеніи съ его азіатскими лекарствами, принесетъ ей пользу.

Онъ забылъ всѣ свои планы, не думалъ теперь о возвращеніи въ Азію. Онъ былъ весь поглощенъ Наташей и рѣшилъ не покидать ее ни на минуту.

Отъ Николая получались время отъ времени письма. Последнее было изъ Константинополя, куда онъ попалъ совсѣмъ случайно. Но изъ этого письма ничего нельзя было заключить: оно было наполнено только нѣкоторыми распоряженіями.

Борисъ Сергѣевичъ видѣлъ, что куда ни взглянешь—вездѣ плохо. Даже найденный имъ племянникъ, Михаилъ Ивановичъ, его не радовалъ.

„Конечно онъ отличный, отличный человекъ! думалъ про него Борисъ Сергѣевичъ,—и благородный человекъ, и добрый, и съ большимъ тактомъ, но все же съ нимъ какъ то холодно, ужъ черезчуръ онъ практиченъ, черезчуръ дѣловитъ, только и слышишь отъ него:

„Промышленная компанія, акціи... облигаціи...“

Но вѣдь самъ-то Борисъ Сергѣевичъ былъ не-исправимымъ идеалистомъ, человекомъ черезчуръ ужъ непрактичнымъ, непригоднымъ къ требованіямъ вѣка, къ вопросамъ новой, закипѣвшей тогда въ Россіи жизни.

Такъ по крайней мѣрѣ о немъ думалъ Михаилъ Ивановичъ. И тотъ и другой конечно были правы со своей точки зрѣнія.

Михаилъ Ивановичъ дѣйствительно весь ушелъ въ открытую ему дядей дѣятельность и съ каждымъ

днемъ его положеніе упрочивалось и упрочивалось. Дѣльцамъ, среди которыхъ онъ теперь вращался, было только странно и непонятно какъ это такой благоразумный, такъ хорошо понимающій дѣла человѣкъ — и вдругъ теряетъ время, чуть не каждый мѣсяцъ уѣзжаетъ въ Москву.

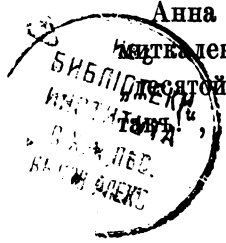
Они конечно не знали, что этими странными поѣздами ихъ новый товарищъ-дѣлецъ исполняетъ долгъ свой и что когда эти поѣздки прекратятся — Михаилъ Ивановичъ вырветъ изъ себя лучшую часть своей внутренней жизни.

Но и Надежда Николаевна, по настоянію мужа оставшаяся въ Москвѣ, и старики Бородины были увѣрены, что „Мишенька“ измѣниться не можетъ — каждый разъ, возвращаясь изъ Петербурга, онъ выказывалъ имъ всѣмъ большую любовь, большую о нихъ заботливость.

Одна только Капитолина Ивановна начинала скептически относиться къ своему любимцу и, сидя за чайнымъ столомъ въ сѣдствѣ Порфірія Яковлевича, Анны Алексѣевны и двухъ старыхъ вотовъ, нерѣдко повторяла:

„Портится нашъ Мишенька, совсѣмъ портится! съѣдятъ его эти проклятыя деньги, помяните мое слово — совсѣмъ съѣдятъ! А оставили бы насъ въ покоѣ, не стали бы поднимать старую пыль — и совсѣмъ бы хорошій человѣкъ вышелъ... Такъ ли я говорю? а?“

Анна Алексѣевна, утирая свернутымъ въ комочекъ платкомъ свое рябое, лоснившееся отъ „пятаковой чашечки“ лицо, повторяла: „такъ, матушка, такъ“, Порфірій Яковлевичъ молча показывалъ



огромной кудластой головою, а коты, неподвижные какъ египетскія изваянія, пристально, не мигая глядѣли на Капитолину Ивановну и только изрѣдка поводили усами...

Тихій предразсвѣтный часъ. Небольшой, утомленный долгимъ путемъ караванъ тянется спаленной зноемъ степью. Верблюды, однообразнымъ движеніемъ, мѣрно, будто въ люлькѣ, качаютъ на своихъ выносливыхъ спинахъ путниковъ.

На далекомъ горизонтѣ уже свѣтаетъ и мало-помалу начинаютъ обрисовываться въ туманѣ далекія горы.

Одинъ изъ путниковъ, утомленный больше другихъ, и часа на два забывшійся сномъ, теперь проснулся. Онъ чувствовалъ слабость и боль во всѣхъ членахъ отъ непривычнаго, томительнаго жги. Его мучила жажда; лицо его было блѣдно и печально.

Онъ оглядѣлся. Вокругъ все тотъ же пустынный просторъ, все та же неподвижная, мертвая природа...

Но вотъ его взоръ остановился на далекихъ, туманныхъ очертаніяхъ, на свѣтлѣющемъ небѣ. Онъ забылъ все и долго глядѣлъ впередъ, туда, на востокъ...

Теперь уже близко, близко... Но, что тамъ??... что тамъ, за этими горами?!

И вдругъ, среди пустынной тишины, онъ услышалъ несущійся къ нему издали навстрѣчу чистый музыкальный звукъ, будто чья-то незримая рука медленно перебирала струны арфы... Ближе, ближе... вотъ уже подъ самымъ ухомъ звенить струна...

Тихій голосъ шепчетъ:

„Все обманъ и ничтожество, все—игра переходящихъ формъ, смѣняющихъ одна другую... Будь выше земного обмана, выше того, что, въ своемъ жалкомъ невѣдѣніи, ты называешь бѣдою и горемъ, страданіемъ и утратой... Отрѣшись отъ земного праха!.. гляди смѣлѣе, гляди назадъ съ равнодушіемъ, а впередъ—съ надеждой... Будь достоинъ принять и выѣстить въ себя вѣчную мудрость, безтрепетно встрѣчай первые, посылаемые тебѣ лучи мірового солнца!..“

Путникъ вздрогнулъ. Кто жь говорить это? откуда эти звуки?...

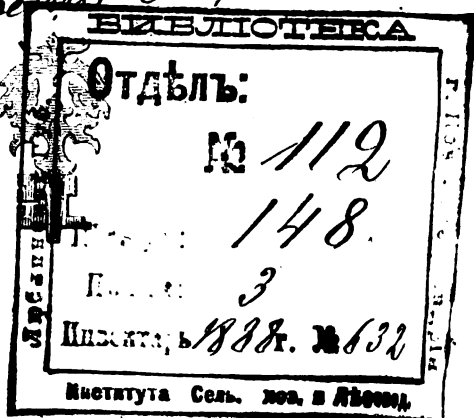
Но голосъ все звучалъ повторяя тѣ же слова и мало-по-малу они проникали въ сердце, становились понятными разуму...

Востокъ уже горѣлъ... и вотъ, будто разорвавъ оковы тумана, хлынулъ потокъ золотого свѣта...

Верблюды остановились. Вся степь ожила, а издали, во всей могучей красотѣ своей, выступала у подножья горъ роскошная, одѣтая вѣчной зеленью природа, будто радостно встрѣчая пришельца...

Словесное 324.

*632
1888*



ПРОШЛЫЕ ГОДЫ „НИВЫ“ съ 1870 по 1885 г.

Издание А. Ф. МАРКСА.

Каждый годъ «НИВЫ» заключаетъ въ себѣ 20—30 повѣстей, нѣсколько большихъ романовъ, до 200 статей по вѣсѣмъ отраслямъ наукъ, искусствъ, современной жизни и пр. и отъ 300 до 900 рисунковъ. Помѣщенные въ каждомъ томѣ повѣсти, въ отдѣльной продажѣ стоили бы болѣе 20 р. Каждый покупатель тома «НИВЫ» имѣетъ право на полученіе всѣхъ къ нему приложенныхъ безплатныхъ премій.

ЦѢНА КАЖДАГО ТОМА «НИВЫ».

Годъ.	Бро- шюро- ван.	Въ коленк. переп. съ во- лот. тиснен.	За пересылку.
1870	6 руб.	7 р. 50 к.	1 руб.
1871	4 руб.	5 р. 50 к.	1 руб.
1872	4 руб.	5 р. 50 к.	1 руб.
1873	5 руб.	6 р. 50 к.	1 руб.
1874	6 руб.	7 р. 50 к.	1 руб.
1875	5 руб.	6 р. 50 к.	1 р. 50 к.
1876	4 руб.	5 р. 50 к.	1 р. 50 к.
1877	6 руб.	7 р. 50 к.	1 р. 50 к.
1878	4 руб.	5 р. 50 к.	2 руб.
1879	4 руб.	5 р. 50 к.	2 руб.
1880	4 руб.	5 р. 50 к.	2 руб.
1881	5 руб.	6 р. 50 к.	2 руб.
1882	5 руб.	6 р. 50 к.	2 руб.
1883	4 руб.	5 р. 50 к.	2 руб.
1884	4 руб.	5 р. 50 к.	2 руб.
1885	4 руб.	5 р. 50 к.	2 руб.

при
«НИВѢ»

НАЗВАНІЯ ПРЕМІЙ:

1875	Смерть Юлія Цезаря, картина профессора Пилоти.	
1876	Спящая красавица, картина Е. Велз.	
1877	Семья рыбака, и Тарантелла, акварели Ф. Келлера.	
	{ Воскресный день въ Малороссійской деревнѣ. }	акварели
1878	{ Мининъ на Кремлевской площади въ Нижнемъ-Новгородѣ. }	Н. Е. Маковского.
	{ Бояринъ Борода Годионовъ и Будиеники. }	акварели
1879	{ Царь Борисъ и его дѣти. Феодоръ и Есения. }	А. Кившенко.
	{ Пляска Тамары. }	акварели
1880	{ Тамара, оплакиваемая родными. }	М. Зичи.
	{ Свиданіе въ осажденномъ городѣ. }	акварели
1881	{ Тарасъ Бульба и Андрій на полѣ битвы. }	М. Зичи.
1882	Дорогой гость, картина проф. В. И. Якобія. Олеография.	
1883	Бороль-женихъ, картина проф. В. И. Якобія. Олеография.	
1884	Гусляръ, картина проф. К. Е. Маковского. Олеография.	
1885	Вѣнки, картина профессора В. И. Якобія. Олеография.	

Покупатель «НИВЫ» за послѣднія восемь лѣтъ, т. е. за 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 гг. (которые отличаются особеннымъ богатствомъ матеріала) получаетъ значительную уступку, а именно: сброшюрованные безъ перес. 26 р. (вмѣсто 34 р.), съ перес. 36 р. (вмѣсто 50 р.); въ коленкорovýchъ переплетѣхъ безъ перес. 38 р. (вмѣсто 46 р.), съ перес. въ ящикъ 50 р. (вмѣсто 62 р.).

ИСТОРИЯ ИСКУССТВЪ

(то есть: история Архитектуры, Скульптуры, Живописи, Мозаики, Оружия, Церковной и Домашней Утвари, Одежды, Украшений и пр. и пр.)
съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней, въ популярномъ общепонятномъ изложеніи

П. П. ГНѢДИЧА.

Изданіе А. Ф. МАРКСА въ С.-Петербургѣ.

Большой красивый томъ, in quarto, болѣе 500 страницъ убористаго шрифта, въ 2 столбца, съ 430-ью превосходно исполненными гравюрами и рисунками въ текстѣ.

ЦѢНА: брошюванный 6 руб., съ перес. 7 руб.; въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ, тисненномъ золотомъ и 3-мя красками 7 руб., съ перес. 8 руб. 50 коп.

Появленіе предлагаемой книги было встрѣчено весьма сочувственными и лестными отзывами столичной и провинціальной прессы. Очень обстоятельные разборы были напечатаны слѣдующими периодическими изданіями: „Правительственный Вѣстникъ“ (№ 57), „С.-Петербургскія Вѣдомости“ (№ 68), „Художественный журналъ“ (за февраль мѣсяцъ), „Биржевыя Вѣдомости“ (№ 45), „Петербургскій Листокъ“ (№ 69), St.-Petersburger Herold“ (№ 69), „Moskauer Deutsche Zeitung“ (№ 63), „Петербургская Газета“ (№ 71), „Гражданинъ“ (№ 22), „Донская Пчела“ (№ 17), „Русскія Вѣдомости“ (№ 80), „Кавказъ“ (№ 78), „Нижегородскій Биржевой Листокъ“ (№ 78), „Саратовскій Дневникъ“ (№ 68), „Rigasche Zeitung“ (№ 69), и многихъ др.

„ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ“ объ этомъ изданіи говоритъ слѣдующее: „На русскомъ языкѣ есть нѣсколько сочиненій по исторіи изящныхъ искусствъ, но это все переводы иностранныхъ изданій. Первую попытку къ удовлетворенію этой, давно уже сознаваемой, потребности представляетъ появившееся на дняхъ сочиненіе г. Гнѣдича, въ роскошно иллюстрированномъ изданіи г. Маркса. Цѣль этого изданія—представить въ живомъ и смачномъ изложеніи, поясняемомъ массою рисунковъ, картину общаго хода развитія всѣхъ отраслей искусствъ съ первыхъ ихъ памятникъ до нашего времени.

Многочисленные, прекрасно исполненные рисунки даютъ возможность наглядно познакомиться съ замѣчательнѣйшими явленіями древняго и новаго искусства въ Россіи. Вообще, художественная сторона отличается такою же полнотою, какъ и литературная; при каждомъ отдѣлѣ сочиненія текстъ поясняется гравюрами. Виды замѣчательныхъ зданій, рисунки съ извѣстныхъ античныхъ и новѣйшихъ произведеній скульптуры, копій съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ, даже чертежи костюмовъ разныхъ эпохъ—все это служитъ украшеніемъ сочиненія. Можно сказать, что это одно изъ лучшихъ иллюстрированныхъ изданій, какія только появлялись въ Россіи.

„С.-ПЕТЕРБУРГСКІЯ ВѢДОМОСТИ“ между прочимъ, говорятъ объ изданіи слѣдующее: „Книга эта вполне удовлетворяетъ какъ въ литературномъ, такъ и въ художественномъ отношеніи. Живо и занимательно изложенный текстъ и сотни прекрасно исполненныхъ гравюръ, даютъ читателю ясное понятіе о ходѣ и характерѣ художественнаго творчества... Исполненіе рисунковъ удовлетворяетъ самымъ строгимъ требованіямъ, и вообще изданіе г. Маркса отличается вкусомъ и роскошью“.

„ВЪ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГАЗЕТѢ“, между прочимъ, говорится: „Книга г. Гнѣдича—очень объемистый томъ, изящно изданный г. Марксомъ, богато снабженный рисунками и гравюрами съ произведеній искусства, архитектуры, картинъ и костюмовъ. Весь онъ посвященъ исторіи искусствъ и обнимаетъ проявленія ихъ во всѣхъ странахъ міра. Книга написана живымъ литературнымъ языкомъ, она является рядомъ интересныхъ и удобочитаемыхъ монографій объ искусствѣ въ разныхъ странахъ... Мы отъ души желаемъ наибольшаго распространенія книги между публикой... Ознакомленіе съ безсмертными произведеніями искусства особенно желательно въ нашъ прозаическій вѣкъ“.

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ“, перечисляя достоинства книги, между прочимъ говоритъ: „Прежде всего нельзя не обратить вниманіе, что авторъ, кромѣ попытки написать исторію искусствъ на русскомъ языкѣ, сдѣлалъ еще болѣе важную попытку ввести во всемірную исторію—исторію и нашего искусства съ начала ея и до позднѣйшихъ дней... Прекрасный трудъ этотъ исполненъ живо, талантливо и безъ всякаго педантизма... Книга читается безъ перерыва, свободно, съ большимъ интересомъ. Вѣрнѣйшие книги не оставляютъ желать ничего лучшаго; такого изданія у насъ не было... Напечатаны такъ рисунки положительно образцово; всѣ у насъ рѣдко что печаталось“.

Изданія А. Ф. Маркса. СПБ., Невскій, 6.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. Н. МАЙКОВА.

Четвертое, исправленное и значительно дополненное издание. Съ портретомъ автора, гравированнымъ на стали и факсимиле. 3 тома въ 8-ю долю листа, каждый оwohl 500 страницъ.

Утвержденнымъ г. Министромъ опредѣленіемъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія постановлено: книгу „Полное собраніе сочиненій А. Н. Майкова“ рекомендовать для фундаментальныхъ и учебныхъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, а также для выдачи, при выпускѣ, въ награду ученикамъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, окончивающимъ въ оныхъ курсъ, о чемъ и напечатано въ журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Цѣна за всѣ три тома 6 руб., съ пересылкою 6 руб. 50 коп.; въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ 8 руб., съ перес. 9 руб.

Настоящее изданіе дополнено многими новыми стихотвореніями, цѣлою новою лирическою драмою: „ДВА МІРА“ и отдѣломъ въ прозѣ:

„РАЗСКАЗЫ ИЗЪ РУССКОЙ ИСТОРИИ“ —

единственное полное собраніе сочиненій А. Н. Майкова.

ВЪ СТАРОЙ МОСКВѢ.

Историческій романъ, относящійся ко времени коронованія и первыхъ дней царствованія императрицы Екатерины II,

графа Е. А. САЛАСА

(автора романовъ: „Пугачевцы“, „Моръ“, „Милліонъ“ и мн. др.)

Красивый томъ in 8, въ 429 стр., съ виньетками въ текстѣ.

С.-Петербургъ, 1885 г.

Цѣна брош. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р., въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ 3 р. 50 к., съ перес. 4 р.

Изданія А. Ф. Маркса. СПБ., Невскій, 6.

ПОТЕРЯННЫЙ И ВОЗВРАЩЕННЫЙ Р А И.

Поэма ДЖОНА МИЛЬТОНА.

Большое изданіе in folio, съ 50 большими превосходными картинами Густава Доре. Пер. съ англ. А. Шулговской, съ полнымъ подстрочнымъ англійск. текстомъ. Цѣна въ роскошномъ полушлагрен. перепл. съ золотымъ обрѣзомъ, въ футлярѣ, 30 руб., съ перес. 35 руб.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ П. П. ГНѢДИЧА.

Оглавленіе: 1) Кузина Бетси. 2) Изъ случайныхъ встрѣчъ. 3) Дуся. 4) По домашнимъ обстоятельствамъ. 5) На морскомъ берегу. 6) Въ южной глуши. 7) Сельская школа. 8) Академическія студіи: I. Лемтюжниковъ. II. Пейзажистъ съ лодочкой. III. Силоамская купель. 9) Подъ сѣгномъ. 10) Передъ баломъ. 11) Музыкальный вечеръ. 12) Литературное чтеніе. 13) Наши педагоги: I. Plusquamperfectum. II. Perfectum.

Большой томъ, заключающій въ себѣ 486 стран., напечатанный на хорошей веленовой бумагѣ и украшенный массой виньетокъ. Всѣ повѣсти и рассказы написаны живымъ, легкимъ языкомъ и читаются съ большимъ интересомъ.

Цѣна этому изящному изданію 2 руб., съ пересылк. 2 руб. 50 коп.; въ коленкор. перепл. 3 руб., съ пер. 3 руб. 50 коп.

Изданія А. Ф. Маркса. СПб., Невскій, 6.

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИКЪ. Повѣсть Д. В. ГРИГОРОВИЧА, съ 36 оригинальными рисунками Н. Н. КАРАЗИНА. Цѣна этому изящному изданію 1 руб. 25 к., съ пересылкою 1 руб. 50 к.; въ коленкор. перепл. 1 р. 75 к., съ пересылкою 2 р.

ШЕСТЬ РАЗСКАЗОВЪ Н. Морскаго (Лебедева), съ 118 рисунками и виньетками Н. Н. Каразина. Заглавіе разсказовъ: 1) Дяденька. 2) Уличная пѣвица. 3) Ночь. 4) Обезьянка. 5) Грѣхъ ли это? 6) Кувшинчикъ. Всѣ эти разсказы представляютъ намъ прелестныя дѣтскіе типы. Это настоящія житейскія драмы, гдѣ дѣйствующими лицами являются дѣти. По содержанію эти разсказы таковы, что книга представляетъ прекрасное чтеніе и юношамъ, и дѣвцамъ. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к.; въ коленк. перепл., съ золотымъ тисненіемъ 3 руб., съ пересылкою 3 р. 50 к.

ВЪ КАМЫШАХЪ, повѣсть Н. Н. Каразина, съ 39 рисунками автора. Изданіе 2-е. Повѣсть эта яркими красками рисуетъ жизнь Туркестанскаго края; достоинства ея достаточно доказываются уже тѣмъ, что первое изданіе было распродано въ короткое время и что она переведена на нѣм., франц. и англ. языки. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

ДВУНОГІЙ ВОЛКЪ, романъ въ двухъ част. Н. Н. Каразина съ 20 рис. автора, печатанъ на лучшей веленовой бумагѣ. Романъ этотъ представляетъ продолженіе романа „Въ камышахъ“. Онъ переведенъ на нѣм. и англ. языки, что достаточно говорить въ его пользу. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ Всеволода Нрестовскаго (автора „Петербургск. трущобъ“). 3-е изданіе. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

СЕМЬЯ ВОЛЬНОДУМЦЕВЪ. Историч. повѣсть временъ Екатерины II П. Петрова и В. Клюшниковъ. Ц. 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 к.

ВТОРАЯ ЖЕНА. Романъ Марлитта. Переводъ съ нѣм. Ц. 1 р. 50 к., съ пересылкою 1 р. 75 к.

ПРО ЧТО ЩЕБЕТАЛА ЛАСТОЧКА. Романъ Шпильгагена. Съ портретомъ и біографіею автора. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

№ 112
 № 148
 3
 88 г. № 632

ЛЮБЛИНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ





№ 112

№ 112

№ 148

3

88 г. № 632

ДРОБНИКОВОЙ Губернии





UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06300 7515

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06300 7515

